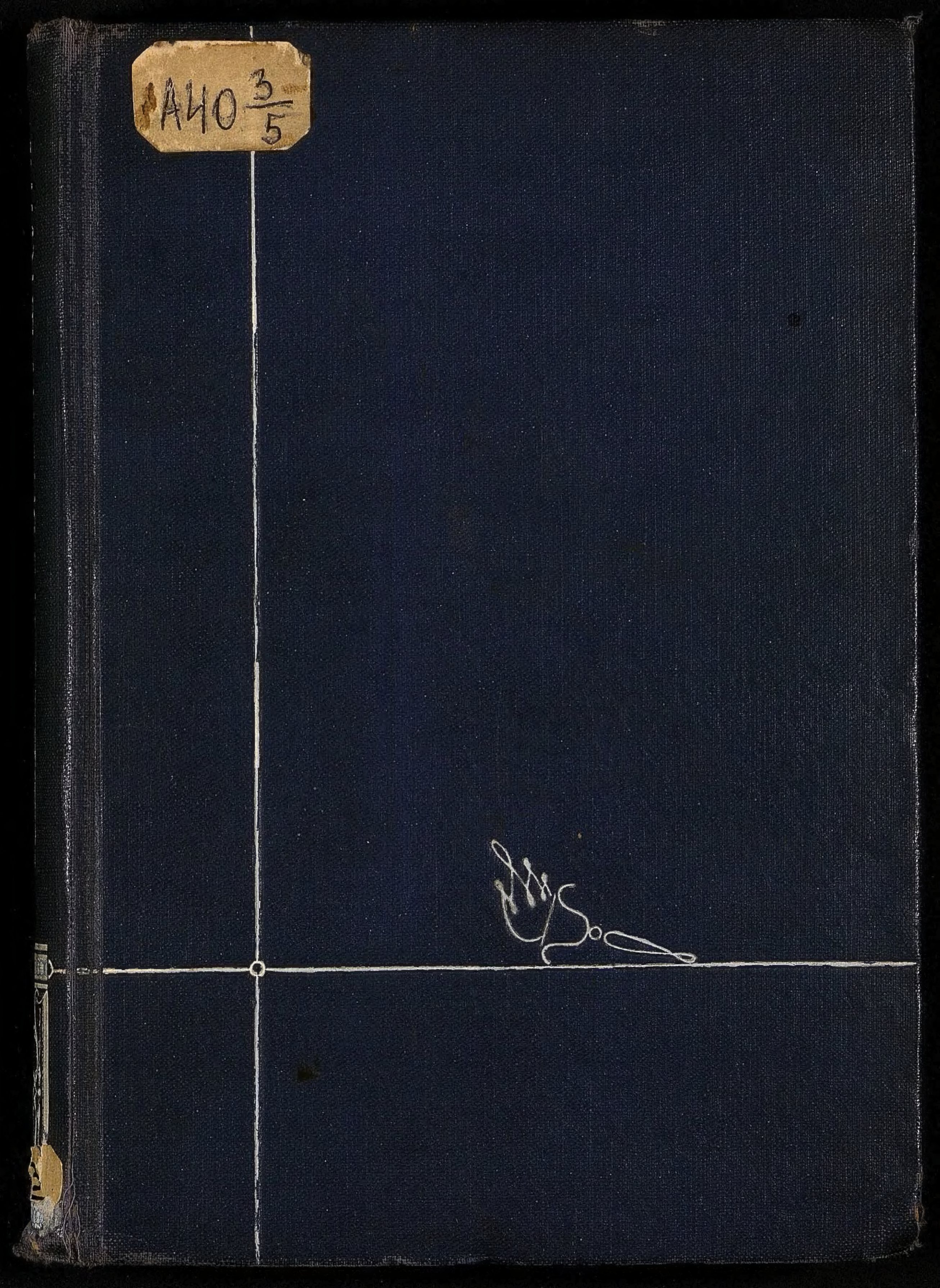
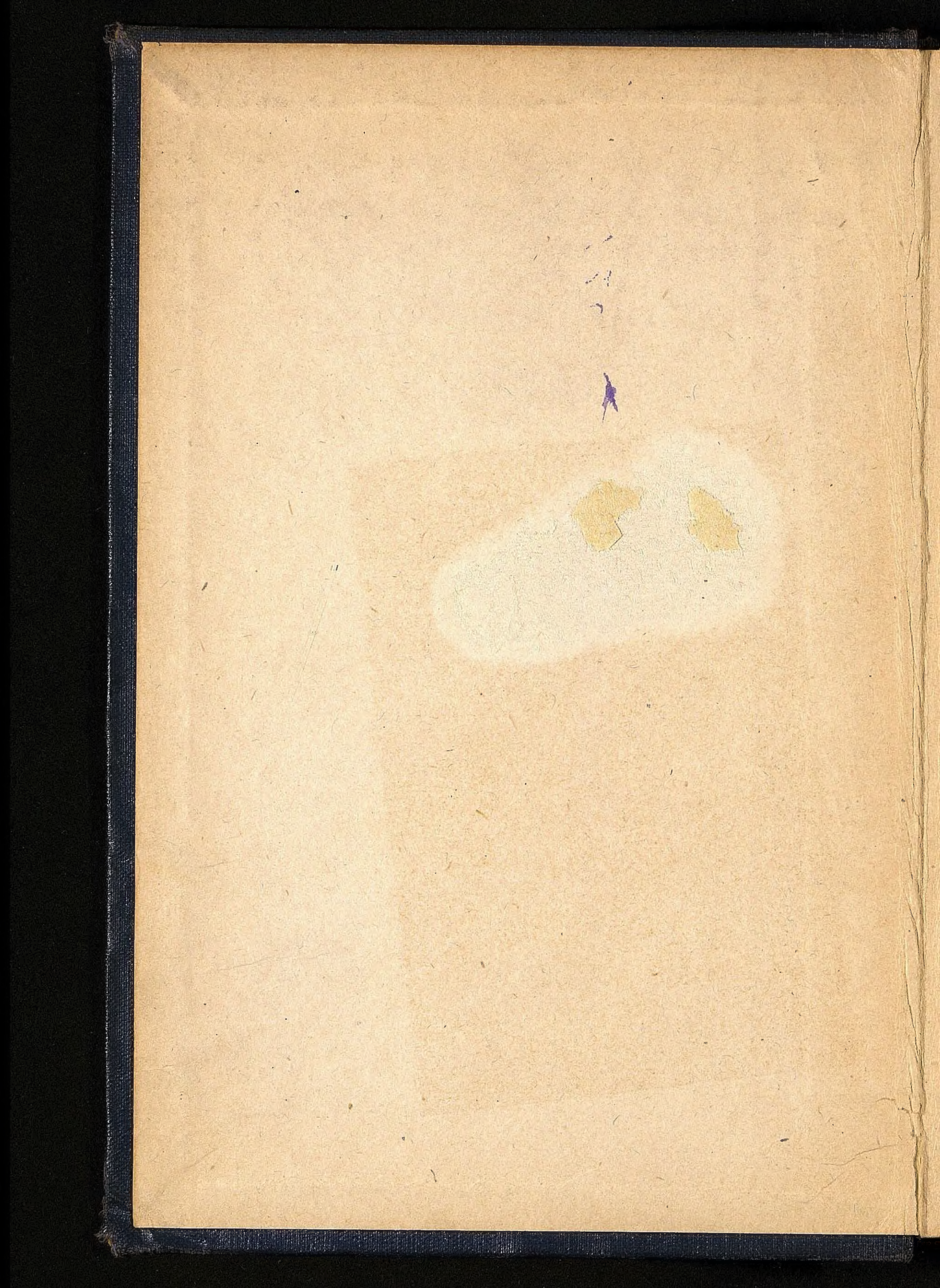
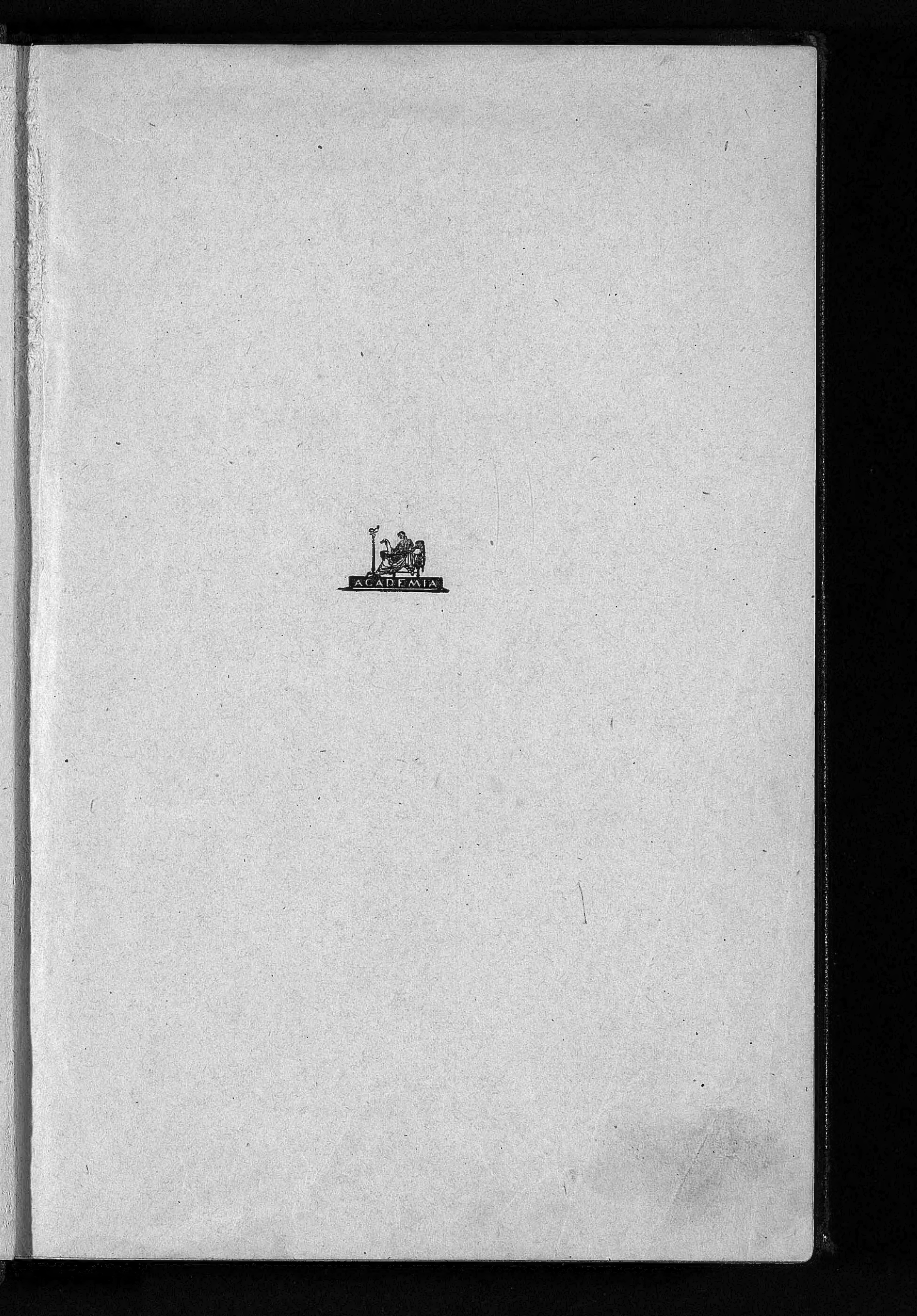
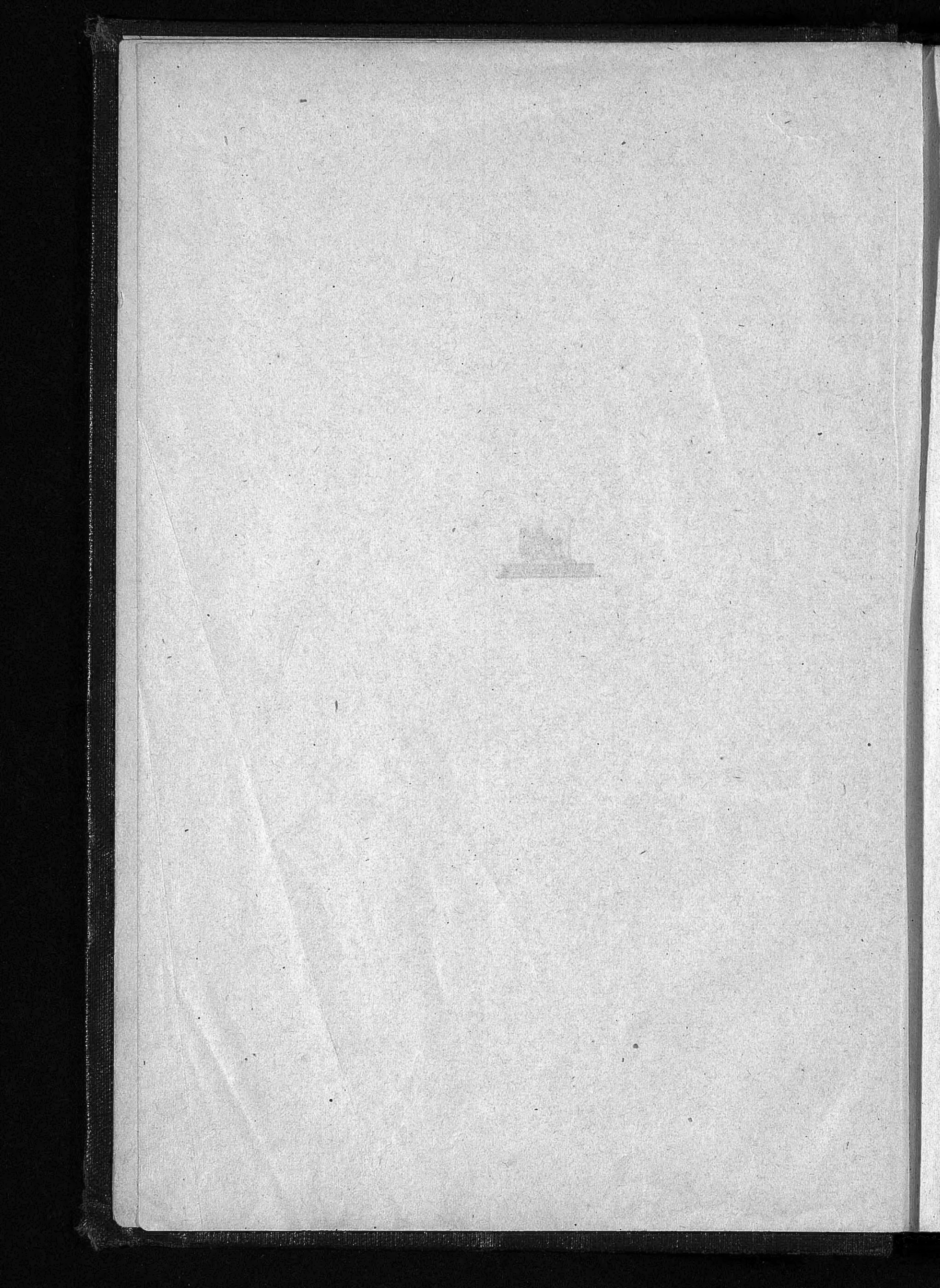

А40 3/5




ACADEMIA



К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ А. С. ПУШКИНА

ЯЗЫК ПУШКИНА

ACADEMIA
Москва—Ленинград

В. В. ВИНОГРАДОВ

ЯЗЫК ПУШКИНА

ПУШКИН И ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

ACADEMIA
1935

Супер-обложка и переплет по рисункам
А. Свитальского



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Язык Пушкина, как и вообще история русского литературного языка — область еще почти не исследованная литературоведами и лингвистами. Поэтому *Academia*, особенно в связи с наступающим в 1937 году столетием со дня гибели великого поэта, считает целесообразным предложить вниманию советских литературоведов труд В. В. Виноградова. Книга эта отличается богатством содержащегося в ней языкового материала, очень большим количеством примеров и сопоставлений, помогающих конкретно уяснить себе творческую литературно-языковую работу и борьбу Пушкина на фоне различных течений литературного языка его эпохи.

Очевидны, вместе с тем, и слабые стороны работы В. В. Виноградова. Его исходные положения, методология, классификация и обобщения носят эклектический характер. Неотчетливо сформулированы и требуют подробного анализа позиции В. Виноградова по ряду важнейших проблем лингвистической теории и в области понимания русского историко-литературного процесса.

Книга В. Виноградова, несмотря на отмеченные недостатки, даст литературоведу ценный материал для изучения творчества Пушкина и для дальнейших плодотворных исследований по истории русского литературного языка.

ACADEMIA

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мое исследование языка и стиля Пушкина первоначально распадалось на две книги: 1) Язык Пушкина; 2) Стиль Пушкина. Но необходимость уяснить историческую связь изменений пушкинского языка с общим процессом эволюции русской литературной речи в первой трети XIX века привела к подзаголовку первой книги: «Пушкин и история русского литературного языка». В связи с расширением круга исторических сопоставлений пришлось несколько сузить тему о пушкинском языке. Я должен был вынуть из книги две большие главы — «О синтаксисе Пушкина» (в связи с вопросом о французском влиянии на русский литературный язык) и «О структурных формах пушкинского слова». Они войдут в книгу о стиле Пушкина. Вместе с тем я сжал до предела ссылки на пушкинскую повествовательную и историческую прозу, надеясь посвятить языку и стилю пушкинской прозы особую работу.

Викт. Виноградов

1933 года, марта 12

ЯЗЫК ПУШКИНА

I

Пушкин и проблема национального языка

§ 1. Изучение Пушкинского языка — задача, без решения которой нельзя понять историю языка русской литературы XIX века и историю языка повествовательных жанров общей письменной и разговорной речи в первой половине XIX века.

Существуют в пределах национального языка три разных социально-языковых системы, претендующих на общее, надклассовое господство, хотя они находятся между собою в тесном соотношении и взаимодействии, внедряясь одна в другую: разговорный язык господствующего класса и интеллигенции с его социально-групповыми и стилистическими расслоениями, национальный письменный язык с его жанрами и стилистическими контекстами и язык литературы с его художественными делениями. Соотношение этих систем исторически меняется. Язык литературы бывает письменным, но может быть только писанным, так как его связи с разговорно-бытовой речью обусловлены культурно-исторически и социологически.

С конца XVIII века язык русской литературы получил основное организующее значение по отношению к «общему» письменному языку, в его внеканцелярских функциях, и по отношению к разговорному языку так называемых «хороших обществ», т. е. прежде всего дворянской среды, а затем и культурно зависевших от нее кругов буржуазии.

Но эта руководящая роль языка художественной литературы оказалась двойственной. Устанавливая нормы «общего» языка господствующих классов, язык литературы в то же время, естественно, суживал и свои грани и границы официально-бытового употребления. Нормализация осуществлялась посредством запрета и строгого ограничения в литературном обиходе слов профессиональной, «простонародной» и вообще диалектической социально чуждой (с точки зрения салонного, светско-дворянского языка) окраски. Язык дворянского салона и язык светской дамы, как «души» этого салона, признавался одновременно и главным источником и основной сферой ориентации для языка литературы. Устная словесность и бытовая письменность, которые

для некоторых социальных групп целиком вмещали в себя и формы художественного творчества, но в оценке культурных верхов интеллигенции противопоставлялись «изящной словесности», «литературе»,— все же далеко превосходили литературу и по своему объему и по своему социальному значению. И даже потом о первой половине XIX века князь Вяземский писал: «В Москве много ходячего остроумия этого ума, qui court la rue, как говорят французы. В Москве и вообще в России этот ум не только бегает по улицам, но вхож и в салоны; зато как-то редко заглядывает он в книги. У нас более устного ума, нежели печатного» («Старая записная книжка», 164). Как любопытный экземпляр бытового борзописца, тот же писатель рисует А. И. Тургенева: «Полагаем, что не было никогда и нигде борзописца ему подобного. Он мог сказать с поэтом: «Как много я в свой век бумаги исписал». Но ни друзья его, ни потомство, если оно захватит его, не ставили и не ставят того ему в упрек. Деятельность письменной переписки его изумительна. И письма его — большей частью образцы слога живой речи... Русским языком в особенности владел он, как немногим из присяжных писателей удается им владеть...» (Ib., 183). Кн. П. А. Вяземский, мечтая, как и другие его современники, о транспозиции в литературу речевых форм этой бытовой лаборатории языка, замышлял написать «Россиаду домашнюю, обиходную, сборник, энциклопедический словарь всех возможных руссицизмов, не только словесных, но и умственных и нравных, т. е. относящихся к нравам; одним словом, собрать, по возможности, все, что удобно производит исключительно — русская почва, как была она подготовлена и разработана временем, историей, событиями, поверьями и нравами исключительно — русскими. В этот сборник вошли бы поговорки, пословицы, туземные черты, анекдоты, изречения, опять-таки исключительно русские, не поддельные, не заимствованные. Тут так бы Русью и пахло, хотя до угара и до ошиба, хоть до выноса всех святых! Много нашлось бы материалов для подобной кормчей книги, для подобного зеркала, в котором отразился бы русский склад, русская жизнь до хряща, до подноготной. А у нас нет пока порядочного словаря и русских анекдотов» (Ib., 199).

Проблема раздвижения границ литературы и осознания ее содержания на почве национальной культуры стала основной для разных общественных групп (дворянства и буржуазии) в первой трети XIX века.[1] Д. В. Веневитинов (в заметке «Не-

[1] На этой почве возникает противопоставление *литературы* и *словесности*. «Под собственно так называемой *литературою* разумеют обыкновенно *письменность* народа и письменность человека. Этой письменности, кажется, должно бы противопоставить то, что мы называем *словесностью*; то и другое до сих пор смешивают... Собственная письменность или литература была бы не что иное как наружная оболочка или тень словесности» («Радуга», Журнал философии, педагогии и изящной словесности, 1832, I, 36—37).

сколько мыслей в план журнала») писал: «... как будто предназначенные противоречить истории словесности, мы получили форму литературы прежде самой ее существенности». И. К. в обзоре «Альманахов на 1827 год» («Моск. вестник», II, 1827) заявлял: «Что же нужно для того, чтобы возрасло древо поэзии русской? Нужно *свое* семя, *своя* почва, удобренная богатыми знаниями, деятельной и доблестной жизнью — историей; нужны, наконец, благотворные лучи всеоживляющего солнца — гения... Разрыть темную сокровищницу языка и истории — путь для гения» (69—70).

Пушкин, как и другие его современники, принял участие в решении вопроса о языке русской литературы и вместе с тем о литературном языке русской нации. Построение новой системы общелитературной речи посредством отбора и объединения разных социально-языковых контекстов и групповых диалектов, бытовавших не только в кругу дворянства, но и в среде городской буржуазии и крестьянства, было одним из лозунгов, провозглашенных и реализуемых Пушкиным со второй половины 20-х годов. Но, открывая шлюзы литературы для простонародного языка, для просторечия и устной словесности, Пушкин корректировал их формы языковыми навыками дворянского быта, стилистическими оценками культурного и воспитанного человека из «хорошего общества». «Немного парадоксируя, Пушкин говаривал, что русскому языку следует учиться у просвирен и лабазников; но, кажется, сам он мало прислушивался к ним и в речи своей редко простонародничал», пишет Вяземский и утверждает, что, в отличие от житейской народности Долгорукова, Державина и Крылова, «в Пушкине более обозначалась народность историческая» («Старая записная книжка», 279). Замечательно в этом отзыве не только ограничение «простонародничанья» Пушкина, но и определение общего духа Пушкинской народности как «исторической».[1] Пушкин сам откровенно указывал, что проблема «простонародности» языка для него не решалась этнографическими и диалектологическими изысканиями и наблюдениями, а была тесно связана с формами и нормами речевого быта «хорошего общества» и — шире — с пониманием путей исторического самоопределения русской нации.

Итак, вопрос о Пушкинской оценке национально-бытовых основ русского литературного языка должен служить введением в понимание и изучение самого Пушкинского языка.

§ 2. Легко перенести в далекую эпоху те категории и понятия, которые определяют систему современного литературного

[1] Ср. заявление И. В. Киреевского: «История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития: направление историческое обнимает *все*». Статья «Обозрение русской словесности 1829 года» в «Деннице» 1830, стр. XXII—XXIII.

языка или строй современной литературы. Легко, но методологически неправильно. Гораздо труднее установить живые, действенные категории социально-языковой эволюции и революции, присущие самой воспроизводимой эпохе, имманентные ей. При изучении языка Пушкина необходимо погрузиться в смысловую атмосферу того времени, понять стилистические контексты русского языка пушкинской поры. Одним из главных средств этого имманентно-исторического осмысления является знакомство с социально-языковыми категориями и понятиями, в свете которых сам Пушкин наблюдал, оценивал, отрицал и утверждал речевые формы современных ему литературы и быта. И тут исследователь должен исходить из исторического понимания языковой политики Пушкина, из отношения Пушкина к русскому языку как к одному из «первобытных» языков, который, усваивая систему европейского мышления, претендовал на сохранение своих национальных основ, своих самобытных традиций.

Соглашаясь с мнением, что «новая история есть история христианства», Пушкин однако не отвергает, в противовес Полевому, возможности национального и общечеловеческого развития «вне европейской системы» и для русской истории готов допустить «другую мысль, другую формулу, чем для европейского просвещения» (Соч. Пушкина, изд. Акад. наук, IX, 77, 78). В соответствии с такой исторической концепцией Пушкин — защитник национально-языкового самоопределения. «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими» (IX, 17). «Все должно творить в этой России и в этом русском языке» (IX, 398). «Язык, как зрение, не может быть ограничен иначе, как самою природою» (IX, 403). «Каждый язык имеет свои обороты, свои условленные риторические фигуры, свои усвоенные выражения, которые не могут быть переведены на другой язык соответствующими словами» (IX, 390).

Но Пушкинский национализм был историчен. Он опирался на опыт прошлого и живые потребности современности. Поэтому он не был, как у А. С. Шишкова, связан с мифологическим преклонением пред «славено-русским» языком, который объявлялся первоосновой всех языков, и с подчинением развития русского литературного языка принципам универсальной грамматики, обращенной к идеальному образу «первобытного» (в конечном счете того же «славянского») языка. «Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи», замечал Пушкин (IX, 401).

Грамматика представлялась Пушкину теми оковами живого национально-языкового сознания, которые регулируют и ограничивают свободное движение поэта в сфере языка, но которые писатель не имеет права совсем с себя сбросить. «Писатель должен владеть своим предметом, несмотря на затруднительность

правил, как он обязан владеть языком, несмотря на грамматические оковы» (Переписка, изд. Академии наук, II, 17). Но в то же время Пушкин готов предоставить писателю широкую свободу грамматических отступлений, лишь бы борьба с грамматикой не была враждебна «духу» национального языка. М. П. Погодину Пушкин писал о трагедии «Марфа Посадница»: «... одна беда — слог и язык. Вы неправильны до бесконечности — и с языком поступаете, как Иоанн с новым городом. Ошибок грамматических, противных духу его — усечений, сокращений — тьма. Но знаете ли? И эта беда не беда. Языку нашему надобно воли дать более, разумеется, сообразно с духом его. — И мне ваша свобода более по сердцу, чем чопорная наша правильность» (Ib., 195).

Итак, Пушкин стоит за свободу национально-языкового развития в пределах «духа» русского языка, его грамматических законов, его обычаев. В этом он ближе к Карамзину, который заставлял «чувствительного грамматика» произносить такие речи: «*Употребление* есть избалованное дитя народов, с которым нельзя обходиться сурово; надобно во многом щадить его... Грамматик должен быть добродушным и жалостливым, особливо к стихотворцам. Ах! они и так нередко стенают от упругости длинных слов в языке русском: на что их обременять лишними слогами?.. Грамматик чувствительный, и даже справедливой, с обыкновенной искренностью скажет им: ... Пишите как вам угодно — как вам угодно, друзья мои!..» («Великий муж русской грамматики»). Тех же взглядов Карамзин держался и в вопросах словаря, в вопросах лексики: «Слова не изобретаются академиями: они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение. Сии новые, мыслию одушевленные слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его без всякого ученого законодательства с нашей стороны: мы не даем, а принимаем их. Самые правила языка не изобретаются, а в нем уже существуют: надобно только открыть или показать оные» (Речь, произнесенная в торжественном собрании Российской Академии 5 декабря 1818 г.).

Напротив, те круги дворянства, которые стояли за грамматическую и семантическую рационализацию русского языка на национально-церковных основах, протестовали против авторитета литературно-бытового употребления и против норм общественного вкуса. Они защищали метафизический «разум» языка и идейно-мифологический приоритет церковно-книжной письменности. А. С. Шишков писал: «Худое употребление слова, как бы оно ни сделалось общеупотребительным, не может быть принято теми любителями словесности, которые читают с рассуждением и вникают в силу каждого слова» (Собр. соч. и перев., IV, 321). «Что такое употребление? Оно может быть общее и частное: общее объемлет весь язык и все времена; частное относится

к некоторому времени и наречию. Сие последнее есть вещь, во-первых, непостоянная, во-вторых, неопределенная...» (Ib., 88).

«...Неужели и то считать употреблением, когда какой-нибудь приехавший из чужих краев щеголь, худо знавший и там еще позабывший язык свой, не умея говорить им, вмешает в него несколько иностранных слов, а другой подобный ему писатель, услыша то, повторит их в сочинении своем?..» (Ib., V, 12). Это рационалистическое презрение Шишкова к бытовым «противумыслиям» и противоречиям слов чуждо Пушкину. Поэт не разделял мнения Шишкова, что «отвычка или привычка, яко худые ценители слов, не должны быть законом разуму» (Ib., V, 95).

Пушкин, подобно Карамзину, склонен исходить в реформах литературной речи из употребления, отвергаемого Шишковым, а не из идеального образа теоретически воссозданной системы. Карамзин стремился нормировать современное употребление языка в кругу дворянства и буржуазии, подчинив его требованиям и вкусам светского дворянского салона, т. е. очень стеснив литературный язык классовой идеологией и характерологией. Пушкин, отбыв срок карамзинского плена, кончавшегося к концу десятых годов, пытался понять и оценить формы «национального» употребления языка во всей доступной ему широте и пестроте их социально-стилистических расслоений. Критерии оценки и различения поэт искал в истории русского литературного языка и в вытекающем из нее более демократическом понимании речевых основ русской «народности». Пушкин «народнее», шире Карамзина понимает и принимает литературно-классовые границы национально-языкового употребления.

§ 3. Идеей, воодушевлявшей Пушкина в его стилистических реформах, была идея смыслового единства языковых структур. Всякий факт и всякое понятие должны мыслиться и изображаться в своем историческом контексте и в системе того языкового целого, в котором они живут. С этим критерием Пушкин подходил к определению «народности» как языковой и стилистической категории. Он решительно отвергает самую возможность истолкования понятия народности во внешнем, лексикологическом, предметно-бытовом или тематическом плане. «Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории, другие видят народность в словах, т. е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения» (IX, 26). Пушкин выдвигает идею национально-смыслового контекста. «Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев и поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу...» Они и образуют единство той смысловой структуры национального языка, в которую вмещена, между прочим, и литература и которая вполне понятна и близка лишь «соотечественникам».

«Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками — для других оно или не существует или даже может показаться пороком» (IX, 26). Эта национально-смысловая структура языка и мысли, по Пушкину, должна сказаться у писателя независимо от тем, сюжетов, сферы изображения. «... Vega и Калдерон поминутно переносят во все части света, заемлют предметы своих трагедий из итальянских повестей, из французских etc... Мудрено однакож у всех сих писателей оспоривать достоинства великой народности» (IX, 26; ср. IX, 126).

Опору для этого понимания народности и ответ на вопросы о нормах и составе русского литературного языка как «общего» языка нации Пушкин надеялся найти в истории русского языка.

II

Основные этапы истории русского литературного языка — в концепции Пушкина

§ 1. Понимание форм и категорий русского литературного языка начала XIX века у Пушкина обосновано исторически. Пушкин не раз в своих критических статьях касается исторических судеб русского языка. Схема Пушкина неоригинальна. Она воспроизводит основные этапы истории русского языка, не подчеркивая мест, считавшихся опасными и спорными даже в 20-х годах XIX века (ср. схему Н. Греча, предложенную в «Опыте краткой истории русской литературы», Спб. 1822). Однако отсутствие резких индивидуальных примет не лишает Пушкинскую схему значения для исследователя, который стремится проникнуть в живые для Пушкина формы языкового мышления русского интеллигента-дворянина. Противоречивую сложность и синтетическую обособленность литературно-языковой позиции Пушкина помогают уяснить не своеобразия его исторической концепции, а его колебания в некоторых вопросах и его оценочные суждения о некоторых явлениях истории русского языка.

Пушкин полагает вслед за Ломоносовым, А. С. Шишковым, М. Т. Каченовским, Г. П. Успенским, Г. А. Глинкой, Востоковым, Гречем, П. А. Катениным и др., что русский книжный (церковнославянский) язык испытал полное обновление в XI веке, будучи «усыновлен» церковногреческим языком и таким образом «избавлен от медленных усовершенствований времени». «В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи... Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность» («О предисловии г-на Лемонте», IX, 17).[1] В непосредственности и широте влияния

[1] Ср. у А. С. Шишкова в «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка»: «Древний славенский язык... есть корень и начало Российского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но еще более процвел и обогатился красотами, заимствованными от сродного ему эллинского языка». Ср. также близкие суждения Евгения Болхови-

греческого языка на книжно-славянский Пушкин видит одну из основных причин неоспоримых превосходств русского литературного языка перед всеми европейскими языками. Этот книжный славянский язык, воспринявший византийскую культуру и сделавшийся церковно-государственным языком русской нации, оставался, по мнению Пушкина, неприкосновенным до начала XVIII века, до эпохи Петра I. Его не покрыло ржавчиной владычество татар (IX, 18), когда прервалось развитие внутренней жизни порабощенного народа (ср. противоположные мнения, впрочем к 20-м годам уже поколебленные, Д. В. Дашкова, Г. П. Успенского и др.), и только «духовенство, пощаженное удивительною сметливостью татар, одно — в течение двух мрачных столетий — питало бледные искры византийской образованности» (IX, 220).

На судьбе русского языка, по мнению Пушкина, не отразилось заметно и литовско-польское влияние до Петра I (ср. противоположное мнение А. А. Бестужева, Н. А Полевого и др.).[1]

Эта концепция, отрицавшая крайности «европейцев» и близкая к славянофильской, однако не вела к признанию славянского языка основной организующей силой последующего национального языкового развития. Славянский книжный язык, по Пушкину, блюдет до XVIII века свою независимость от европейских традиций, от европейской системы. Но обще-

---

тинова (епископа, а впоследствии митрополита) в письме к гр. Хвостову (см. Булич, «Очерк истории языкознания в России», стр. 714—715. Таким образом в этом вопросе Пушкин присоединяется к возобладавшей к 20-м годам «славянофильской» церковно-националистической концепции. Диаметрально противоположна оценка карамзинистов, например П. Макарова: «Наши предки успели занять от греков множество названий и несколько метафор; успели, оставя древнее славенское наречие, образовать свой язык по свойствам греческого. *Процвел ли он заимствованными красотами...* решительно сказать не можем: для сего надлежало бы видеть и понимать чистый славенский язык, которого теперь не видим» (Соч. и переводы Макарова, М. 1817, I, ч. 2, 19). Источником этих суждений является мнение Карамзина, изложенное им в заметках «О русской грамматике француза Модрю» («Вестн. Европы» 1803, ч. 10, № 15, 204 — 212): «Авторы или переводчики наших духовных книг образовали язык их совершенно по греческому, наставили везде предлогов, растянули, соединили многие слова, и сею химическою операциею изменили первобытную чистоту древнего славянского». Впрочем, к 20-м годам вопрос о греческой стихии в составе церковнославянской речи утратил полемическую остроту, так как в это время считалось уже более или менее доказанным «сербское» или «болгарское» происхождение древнецерковнославянского языка, и мог быть спор лишь о роли самого церковнославянского языка в истории языка русского.

[1] Ср. у Н. А. Полевого в «Очерках русской литературы», I, 362, замечание о «прежних духовных сочинениях и переводах, училищных одах, комедиях, сатирах, поэмах, песнях и псалмах, которые породила киевско-польская ученость духовных заведений малороссийских»: «Язык всего этого был *книжный*, варварский, польско-русский, которым народ не говорил в то время».

ственно-бытовой язык не имеет благоприятных исторических условий для самобытного развития и национальной индивидуализации. Он еще не был организован, потому что еще не сложилась национальная литература. «Старой словесности у нас не существует...» (IX, 221).[1] Самобытное национально-языковое творчество почти не развивается до XVIII века. «Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности, и *Слово о полку Игореве* возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности» (IX, 220—227).

В этом суждении Пушкина об объеме и ценности самобытной национальной стихии в литературно-языковом наследстве допетровской Руси нет идеализации национально-бытового, «народного» творчества. Здесь сказался дворянский «европеизм» Пушкина, его тяготение к созданию — на национальной основе — русского литературного языка, не уступающего европейским. Но «Слово о полку Игореве» для Пушкина воплотило в себе сущность русской «исторической народности». И поэт напряженно, особенно в последние годы своей жизни, старался разгадать языковую структуру и национальное содержание этой «народности» «Слова».

Взгляды Пушкина на историю национальной «словесности» до XVIII века необходимо оценить и осмыслить в контексте литературно-языковой борьбы начала XIX века.

§ 2. Вопросы о сущности древне-русского языка, об отличиях его от «славенского» языка, о происхождении «славенского» языка в начале XIX века (особенно в десятые годы XIX века) были злободневными, насущными вопросами национально-языковой политики. От их решения зависели не только понимание национальных основ русского литературного языка, но и возможность некоторых компромиссов и некоторого примирения речевой практики двух враждующих групп дворянства — европейцев и славянофилов. Вместе с тем на почве отношения к «народной» традиции русского языка могли скорее всего наметиться пути синтеза дворянских и буржуазных стилей литературной речи.

Язык древне-русской письменности, его образы, его фразеология, его стилистические формы являлись живой силой в процессе создания литературных стилей начала XIX века. Для Шишкова и славянофилов древне-русская «словесность» была

---

[1] Бросается в глаза в общей схеме сходство мыслей Пушкина об истории русского языка со статьей Фатера: «Versuch einer kurzen Einleitung zur Uebersicht der Entstehung und Schicksale der Russischen Sprache», перевод которой был напечатан в «Вестн. Европы» за 1823 г. (№ 2, 3—4, 5, 7, 9) под заглавием: «О происхождении русского языка и о бывших с ним переменах» (см. у Булича, «Очерк истории языкознания», 789—793).

ареной взаимодействия славянского языка с «простонародным», и древне-русская письменность нецерковного содержания вместе с устной словесностью вливалась в могучий поток национально-бытового «просторечия».[1] В «Разговорах о словесности между двумя лицами аз и буки» (Собр. соч. и перев., III, 52) Шишков выстраивал в один ряд такие образцы и примеры, «ведущие нас прямо в хранилища стихотворства и красноречия...: 1) священные или духовные наши книги; 2) летописи и все подобные им предания; 3) народный язык». Таким образом для славянофила ранней формации не возникало проблемы «смешения» языков — церковнославянского и русского, не было задачи отграничения «коренного» национального языка. Пред ним была история одного «славено-русского» языка в его двух «наречиях» — церковно-книжном, «ученом» и повседневном, «простонародном». Для славянофила позднейшей формации (типа Катенина, Грибоедова или Кюхельбекера) церковнославянский язык (хотя бы и допускалось его сербское или болгарское происхождение) также не противостоял «народному» языку: он был, так сказать национализирован «историей русского народа». Церковнославянский язык и национально-бытовое просторечие в его разных диалектах признавались двумя органически слитыми формами выражения русской «народности».

«Я не смею спорить с вами», писал Катенин Н. И. Гречу по поводу его «Опыта краткой истории русской литературы», «когда вы отделяете его (т. е. русский язык) от славянского, а предложу вам только вопрос: в какой старинной книге находите вы именно язык русский?» («Сын отеч.» 1822, ч. 76, № 13, стр. 249—261).[2]

Напротив, для «европейцев», для Карамзина и тех литературных групп, которые так или иначе примыкали к нему, проблема коренного древне-русского языка резко отделялась от истории церковнославянского языка. На фоне истории древнерусского языка славянский язык выступал как сфера церковной речи, образованной по типу греческого языка и постоянно искажаемой «неучеными переписчиками». Между тем древне-рус-

---

[1] Ср. у проф. Гр. Андр. Глинки «Рассуждение о российском языке» («Вестн. Европы» 1813, ч. 70).

[2] Любопытен факт тесной связи между мыслями славянофилов о славянском языке и церковно-богословской традицией в сфере языкознания. Ср. развитие взглядов Шишкова: в книге Орнатовского «Новейшее начертание правил российской грамматики» (Харьков 1816), в книге дьякона Орлова «Краткое историческое начертание языков» (Москва 1810); в «Опыте повествования о древностях российских» (Харьков 1811—1812, ч. 1—2) у Г. П. Успенского, который различает церковнославянский язык как язык церковных книг, «утвердившийся и сделавшийся общим, особливо между знатных и почтенных людей», и русский — как «язык черни», употреблявшийся «в общенародии только для разговора», и др. под.

ская светская письменность рассматривалась как область национального, хотя и не вполне «чистого», творчества, как сфера употребления «гражданского и общенародного языка». Карамзину граница между славянским и русским языками представлялась не там, где Шишкову, и не там, где ее находили такие карамзинисты, как Д. В. Дашков.[1] Карамзин писал И. И. Дмитриеву по поводу споров о старом и новом слоге: «Кажется, что наши петербургские авторы, и старые и молодые, спорят о языках *славянском* и *русском* без ясного понятия об их различии» («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», 159). В статье «О русской грамматике француза Модрю» (1803) Карамзин проводит резкую грань между церковным языком, исказившим первобытную чистоту древнего славянского под греческим влиянием, и коренным древне-русским языком. «Слово о полку Игореве, драгоценный остаток его, доказывает, что он был весьма отличен от языка наших церковных книг. Нестор знал уже, вероятно, по-гречески, к тому же переписчики дозволяли себе поправлять слог его» (Соч. Карамзина, изд. 3, 1820, IX, 133).

Точно так же М. Т. Каченовский, первоначально («Вестн. Европы» 1809, ч. 44, стр. 98—119; ср. еще 1811, № 12, 293) считая церковнославянский язык «отцом» всех славянских наречий (ср. затем отнесение его к сербскому наречию — «Вестн. Европы», ч. 89, № 19, стр. 241) и до некоторой степени разделяя взгляд Шишкова на учение о высоком слоге, признает «великое различие» между церковным языком и «нынешним русским», с одной стороны, и между языком церковных книг и языком «Русской правды» и «Слова о полку Игореве» — с другой (ср. суждения Добровского, Востокова и др. у Булича — «Очерк истории языкознания», 725—727).

В последующих статьях (например, «Взгляды на успехи российского витийства...» — «Труды Общ. люб. росс. слов.» 1812, ч. 1; «О славянском языке вообще и в особенности о церковном» — «Вестн. Европы» 1816, ч. 89, № 19) Каченовский решительно противопоставляет язык гражданский и общенародный языку богослужебному, или книжному, и наконец приходит к мнению

[1] Д. В. Дашков в критическом очерке о Шишковском переводе двух статей из Лагарпа («Цветник» 1810, ч. 8) и в брошюре «О легчайшем способе возражать на критики» (Спб. 1811), настаивая на различии между церковнославянским и русским языками (впрочем, русский язык Дашков готов был рассматривать как бытовое искажение славянского языка, подвергшегося татарскому влиянию), в то же время полагал, что «в старину всякие книги духовные и светские писали языком славенским более или менее испорченным», и спрашивал: «Разве Русская правда, Владимирова духовная, Слово о полку Игоревом (коих у нас незнающие по-славенски без перевода читать не могут, даже и знающие очень часто не понимают), разве все сии книги писаны по-русски?» (28—29). Это была крайняя позиция аристократа-европейца.

что русский церковный язык есть старинное сербское наречие, а «древний коренной славянский язык нам неизвестен».

Карамзин авторитетом «Истории государства Российского» утвердил это мнение и ввел в общий оборот мысль о том, что библейский слог «сделался образцом для новейших книг христианских, и сам Нестор подражал ему; но русское особенное наречие сохранилось в употреблении, и с того времени мы имели два языка, книжный и народный. Таким образом изъясняется разность в языке славянской Библии и *Русской правды* (изданной скоро после Владимира), Несторовой летописи и «*Слова о полку Игореве*» («История государства Российского», 1816, I, 250).[1] Вполне понятными на этом фоне делаются и «Рассуждение о славянском языке» А. Востокова («Труды Общ. люб. росс. слов.» 1820, ч. 17), и настойчивые предложения и стремления обществ и отдельных ученых — «показать изменения российского языка от древнейших времен до осьмогонадесять столетия, принимая в основание памятники древней словесности: песни, сказки, предания, пословицы, надписи и другие письменные остатки» (ср. Булич, 745—746, 778), — и цикл работ, посвященных более точному выяснению происхождения, родины и истории древне-церковнославянского языка (труды Востокова, К. Ф. Калайдовича и др., популярное изложение Греча в «Опыте краткой истории литературы»; ср. полемику, в которой приняли участие А. А. Бестужев и П. А. Катенин).

Так, при обсуждении национально-исторических основ русского литературного языка намечаются некоторые точки соприкосновения между «европейцами» и «славянофилами». Различие было в понимании состава, границ и функций русского «общенародного» языка, а также в оценке его роли для последующей истории русской литературной речи, которая, по мысли западников, должна, освободившись от излишнего груза славянизмов, влиться в русло «европейского мышления», а по мнению славянофилов — запасшись «сокровищами родного слова», вернуться к чистоте церковно-библейской мифологии и поэтики. Картина разногласий в этом вопросе будет неполной и однобокой, если оставить в стороне буржуазно-демократическую концепцию истории русского языка. В 20-е годы выражение ее можно найти в статье Н. А. Полевого — «О древнем языке словенском» («Труды Общ. люб. росс. слов.» — «Сочинения в прозе и стихах», 1824, стр. 24—43). Развивая мысль об искусственном, церковно-книжном характере языка славянского перевода священного писания и резко отделяя этот

[1] Но ср. принадлежащий К. Ф. Калайдовичу «Опыт решения вопроса... о том, на каком языке писана Песнь о полку Игоря» («Труды Общ. люб. росс. слов.» 1818, ч. 11). Здесь вопрос решался в пользу славяно-русского языка. Ср. у Булича «Очерк истории языкознания», 745.

язык от народной «словенской» речи, Н. А. Полевой пишет: «Прежде всего должно оставить всегдашнюю неопределенность названия *словенский язык*. До сих пор немногие писатели поняли важность разделения языка церковного от народного словенского и необходимость *разобрать их каждый особо*» (Ib., 36—37).

Протестуя против характерного для славянофилов смешения церковного языка с «древним народным», против ссылок «без разбора и на Библию и на памятники народные», Н. А. Полевой признает изучение языка древних книг церковных лишь вспомогательным средством для истории русского литературного языка. «Но главное внимание надобно обратить на те памятники, где найдены следы языка народного, отделяя прибавки греко-словенские — и такие памятники есть у нас...: их составляют летописи, грамоты, старинные песни, Слово о полку Игореве, пословицы, поговорки... Надо воспользоваться и географическою номенклатурою... Откроется богатый могущественный язык словенский в первобытном его величии, силе, простоте, свойственной языкам коренным, самостоятельным; тогда увидим вставки, употреблением или влиянием чуждых языков произведенные, и найдем настоящие законы нашего русского языка» (Ib., 16, 39—40).

Таким образом в этой буржуазно-национальной концепции истории русского языка сильнее подчеркнута самобытность развития «народного языка».

§ 3. Вдумываясь в детали и экспрессивные оттенки исторической схемы Пушкина, приходится признать, что она занимает среднее, промежуточное положение в ряду этих суждений по вопросу о роли и соотношении церковнославянского и русского языков.

Концепция Пушкина несколько ближе к националистическим теориям и оценкам дворян-славянофилов, и в то же время в ней есть уклон к буржуазно-демократическим взглядам, хотя бы в ограничении притязаний церковнославянского языка на роль общенационального выражения.[1]

---

[1] Ср. отличия Пушкинской концепции истории русского литературного языка от близкой к теории Полевого схемы А. А. Марлинского: «До XII века... мы не находим письменных памятников русской поэзии: все прочее скрывается в тумане преданий и гаданий. Бытописания нашего языка еще невнятнее народных: вероятно, что варяго-россы (норманны), пришлецы скандинавские слили воедино с родом славянским язык и племена свои, и от сего-то смешения произошел язык собственно русский; но когда и каким образом отделился он от своего родоначальника, — никто определить не может. С Библиею (в X веке), написанною на болгаро-сербском наречии, славянизм наследовал от греков красоты, прихоти, обороты, словосложность и словосочинение эллинские.

Переводчики священных книг и последующие летописцы, люди духовного звания, желая возвыситься слогом, писали или думали языком церковным и от того испестрили славянский отечественными

Системе славянского книжного языка Пушкин противополагает «простонародное наречие». Впрочем, простонародное наречие у Пушкина исторически не дифференцировано. Социально-групповые деления в его пределах Пушкин отмечает лишь в аспекте современности. В историческом же плане оно интересует поэта лишь как одна из главных составных стихий литературного языка, являющаяся основой будущего развития его. «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей» (IX, 17). В этом утверждении синтеза книжного языка с простонародным наречием нашел свое выражение мещанско-дворянский (как определил потом сам Пушкин) национализм, который с половины XVIII века вступает в борьбу с языковым и культурно-бытовым западноевропейским космополитизмом аристократии, а также тянувшихся за ней пестрых слоев дворянства и буржуазии, упоенных мечтой о тоне высшего общества.

Но Пушкин, утверждая синтез церковнославянского языка с простонародным наречием — под контролем этого последнего,— вовсе не призывает к отрыву от западнических тенденций русской дворянской словесности XVIII века. «Словесность наша явилась вдруг с 18-го столетия подобно русскому дворянству без предков и родословий» (IX, 228). Рождению словесности, бывшей «плодом новообразованного общества» (IX, 221), сопутствовало резкое изменение строя книжного языка, который с эпохи Петра I «начал приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространила свое влияние и на писателей...» (IX, 18).[1]

и местными выражениями и формами, вовсе ему несвойственными. Между тем язык русский обживался в обществе и постепенно терял свою первобытную дикость, хотя редко был письменным и никогда книжным. Владычество татар впечатлело в нем едва заметные следы, но духовные писатели XVI и XVII столетия, воспитанные в пределах Польши, не мало исказили русское слово испорченными славяно-польскими выражениями. От времен Петра Великого с учеными терминами вкралась к нам страсть к германизму и латинизму. Век галлицизмов настал в царствование Елизаветы, и теперь только начинает язык наш отрясать с себя пыль древности и гремушки чуждых ему наречий» («Взгляд на старую и новую словесность в России», 189—190).

[1] Ср. у Н. А. Полевого больший упор на приказно-буржуазную стихию русского языка послепетровской эпохи: «Петр Великий хотел нового книжного языка, для которого составил азбуку. Опять появился *книжный* язык, уже второй, и основанием ему послужил приказный или деловой с примесью части разговорного, множества новых слов для новых идей и предметов и щегольством иностранными словами и фразами, более всего немецкими. Языка прежней литературы принять было невозможно: русские, вместе с церковными буквами, отказались от него, предоставив его только духовному красноречию. Взялись за язык новый, который начался с Петра Великого» (Н. А. Полевой, «Очерки русской литературы», I, 362—363).

Западничество — это другой путь языковых революций и эволюций в XVIII веке, враждебных церковнославянской традиции. По этому пути направляли литературный язык высшие классы с XVII века. «В эпоху бурь и переломов цари и бояре согласны были в одном: в необходимости сблизить Россию с Европою». Наконец при Петре I «европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы» (IX, 220). Борьба с славянщиной, подражание «легкости и щеголеватости речений изрядной компании», перенос слов и смысловых форм европейских языков, особенно французского, на почву русской литературы и общественности — основные черты этого языкового движения. «В начале 18-го столетия французская литература обладала Европою. Она должна была иметь на Россию долгое и решительное влияние». Особенно характерной фигурой на этом поприще европеизации русского языка (посредством французских прививок) Пушкин считал «поповича» Тредьяковского (IX, 18—19; ср. также 183).

Но литературное движение, направленное в сторону сближения русской словесности и русского литературного языка с французскими, Пушкин, вслед за карамзинистами, вел от Кантемира.[1] Со времен Кантемира, по его словам, «французская словесность имела всегда прямое или косвенное влияние на рождающуюся нашу литературу» (IX, 309).

«Поколение преобразованное презрело безграмотную изустную народную словесность. И князь Кантемир, один из воспитанников Петра, в предводители себе избрал Буало» (IX, Дополн. и примеч., 615).

Итак, по Пушкину, русская словесность XVIII века — это литература европейско-дворянская par excellence, выросшая на почве, чуждой национальным корням русского языка.

Все основные элементы, входившие в состав русского литературного языка, Пушкин выделил в своем историческом обзоре с полной ясностью: это 1) церковнославянский язык; 2) стили национально-бытовой русской речи; 3) западноевропейские языки. Вместе с тем Пушкин (впрочем так же, как и большинство его современников) схематически очерчивает два главных пути языкового развития в XVIII веке: путь церковно-националистической демократизации и путь буржуазно-дворянской европеизации.

Задачи и методы своего литературно-языкового творчества Пушкин ставил в зависимость не только от живых потребностей современности, вытекавших из истории языка, но и от оценки исторического дела своих предшественников — реформаторов рус-

[1] Ср., например, суждения о Кантемире К. Н. Батюшкова («Вечер у Кантемира»), Жуковского («О сатире и сатирах Кантемира»), с одной стороны, и Н. А. Полевого — с другой («Русские классики. Сочинения кн. А. Д. Кантемира»).

ского языка. Таким гением-преобразователем национального языка Пушкину, как и большинству его современников, представлялся Ломоносов, вернувший русскую литературную речь к старым «сокровищам родного слова» — к церковно-библейскому языку и к простонародной стихии — в эпоху беспрепятственного вторжения западноевропейских варваризмов и узаконивший нормы трех литературных стилей в эпоху хаотического брожения церковно-книжных, официально-канцелярских и просторечных форм.

III

Историческое дело Ломоносова и вопрос о роли церковнославянского языка в системе русского литературного языка

§ 1. Имя Ломоносова для интеллигента первой трети XIX века — исторический символ. С ним связывалось решение вопроса о значении церковнославянской стихии в системе русского литературного языка и вместе с тем решение вопроса о структуре русского национального языка. Это символическое значение имени Ломоносова как изменчивой историко-языковой категории в националистической концепции истории русской речи с наибольшим блеском обнаружено впоследствии рассуждением К. Аксакова: «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» (Москва 1846). Мимо имени Ломоносова не мог пройти ни один писатель начала XIX века, даже дворянин-европеец, пытавшийся осмыслить свое отношение к славяно-русской литературно-языковой традиции. Карамзин в своей торжественной академической речи (5 декабря 1818 г.) заявлял: «Мы имели церковные, духовные книги; имели стихотворцев, писателей, но только одного истинно *классического* (Ломоносова), и представили систему языка, которая может равняться с знаменитыми творениями Академии флорентийской и парижской... Ломоносов, дав нам образцы вдохновений поэзии и сильного красноречия, дал и грамматику» (Соч. Карамзина, 1848, III, 642—643). Но далее следует оговорка о преимуществах академической грамматики пред Ломоносовской: «Академическая решит более вопросов, содержит в себе более основательных примечаний, которые служат руководством для писателей».

В других случаях Карамзин отзывается о Ломоносове менее двусмысленно и уклончиво: Ломоносов «еще не образовал» российского слога. Лишь «во время Екатерины россияне начали выражать свои мысли ясно для ума, приятно для слуха, и вкус сделался общим». [1] «Ломоносов был первым образователем

[1] Н. М. Карамзин, «Историческое похвальное слово Екатерине II», Соч., изд. Смирдина, I, 363—364.

нашего языка; первый открыл в нем изящность, силу и гармонию... Современники могли только удивляться ему, мы судим, различаем... Лирическое стихотворство было собственным дарованием Ломоносова. Для эпической поэзии нашего века не имел он, кажется, достаточной силы воображения...». В одах его «есть, конечно, слабые места, излишности, падения... Проза Ломоносова вообще не может служить для нас образцом; длинные периоды его утомительны. Расположение слов не всегда сообразно с течением мыслей, не всегда приятно для слуха».[1] В соответствии с этими оценками Карамзин, «разделяя слог наш на эпохи», после ломоносовского периода отмечает две эпохи — одну, начинающуюся с «переводов славяно-русских г. Елагина», и последнюю — «с нашего времени, в которое образуется приятность слога, называемая французами élégance». Ср. бытовой отзыв Карамзина о Ломоносове, сохраненный Г. П. Каменевым: «Отдавая всю справедливость красноречию Ломоносова, не упустил я заметить стиль его *дикий, варварский* и старался писать чище и живее».[2] Показательно, что Карамзин дольше останавливается на сравнительной оценке разных литературных жанров ломоносовского творчества, кратко отметив роль Ломоносова как первого образователя национально-книжного языка.

Еще более характерно, что И. И. Дмитриев дипломатически обходит коренной вопрос ломоносовской реформы — вопрос о церковнославянском языке: «Ломоносов... очистил книжный язык от многих слов, обветшалых и неприятных для слуха; подчинил его законам исправленной им грамматики... и хотя советовал пользоваться чтением церковных книг, но сам начал писать чистым русским языком, понятным каждому, и заслужил славу первого образователя отечественного слова».[3] Точно так же К. Батюшков в своей речи «О влиянии легкой поэзии на язык» (1816) сначала преклоняется перед гением Ломоносова: «Он то же учинил на трудном поприще словесности, что Петр Великий на поприще гражданском... Ломоносов пробудил язык усыпленного народа... создал ему красноречие и стихотворство... и приготовил для грядущих талантов верные орудия к успехам». Но затем Батюшков вводит существенные ограничения в оценку исторического значения языковой реформы Ломоносова: «Он возвел *в свое время* язык русской до *возможной* степени совершенства — возможной, говорю, ибо язык идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с гражданскою образованностью и людскостью» (Соч. К. Батюшкова, 1850, I, 38—39). Более откровенны и недвусмысленны литературно-критические, свободные от стеснений галантного академического красноречия, оценки дела

[1] «Пантеон российских авторов», 520—521.
[2] «Вчера и сегодня» 1845, статья Второва: «Г. П. Каменев».
[3] И. И. Дмитриев, «Взгляд на мою жизнь», Москва 1866, 84—85.

Ломоносова у писателей, которые в начале XIX века разными способами искали общенациональных норм русского литературного языка в синтезе «европейского мышления» (т. е. семантической системы французского языка) с дворянскими стилями или буржуазными диалектами русской общественно-бытовой речи.

В восхвалении языковой реформы Ломоносова дворяне-европейцы сходились с славянофилами. Но в понимании сущности ее было между ними резкое различие. Европейцев в Ломоносове привлекал лик реформатора, образователя *новой*, но уже успевшей устареть системы языка. Для них имя Ломоносова было оправданием необходимости новой реформы литературного языка. П. Макаров писал: «Недоставало только человека с дарованиями превосходными и обработанными учением долговременным, чтобы отважиться на образование нового языка. Ломоносов отважился — и предал имя свое бессмертию. Он собственным примером доказал обожателям древности, что *старинное* не всегда есть *лучшее*» (Соч. и перев., I, ч. 2, 20). Но в то же время П. Макарову ясна давняя, еще с эпохи Екатерины II, устарелость Ломоносовского языка и непригодность его к европеизованному светско-дворянскому обиходу: «Ломоносов... не мог поровнять наших понятий с понятиями других народов. Уже в царствование Екатерины Россия вдруг поднялась на ту ступень величия и славы, на которой она стоит ныне. Мы переняли от чужестранцев науки, художества, обычаи, забавы, обхождение; стали думать, как все другие народы (ибо чем народы просвещеннее, тем они сходнее) — и язык Ломоносова так же сделался недостаточным, как просвещение россиян при Елизавете было недостаточно для славного века Екатерины (Ib., 21). [1] «... Языком Ломоносова мы не можем и *не должны* говорить, хотя бы умели: вышедшие из употребления слова покажутся странными; ни у кого не станет терпения дослушать период до конца» (Ib., 39—40).

Кн. П. А. Вяземский в своем сочинении «Фонвизин» признавался: «Один из лучших критиков наших, Мерзляков, восхищался в Ломоносове очаровательным соединением слов славянских с российскими. Признаюсь, не постигаю, какое может быть тут очарование. Слова славянские хороши, когда они нужны и необходимы, когда они заменяют недостаток русских: они даже тогда законны; ибо на нет и суда нет. В языке стихотворном они хороши как синонимы, как пособия, допускаемые поэтическою вольностью и служащие иногда благозвучию стиха, рифме или стопосложению. Вот и все. Но между тем нельзя не жалеть о том, что какая-то почтенная именитость, данная славянским словам перед русскими, вытеснила многие из них из языка

[1] Ср. стихи В. Л. Пушкина в «послании» В. А. Жуковскому: «И Пиндар наших стран тем слогом не писал, каким Боян в свой век героев воспевал».

стихотворного, как будто низкие...». Характерно, что обращение Ломоносова к церковнославянскому языку, как к национально объединяющей силе, кажется Вяземскому лишь временной политической мерой, продиктованной условиями той эпохи. «Смесь малороссийских, польских и немецких слов дико звучала в тогдашнем книжном наречии. Поэт и оратор, Ломоносов должен был предпочесть ему на первый случай язык священных книг наших и начал проповедывать учение его, которое впрочем полезно и необходимо, но притом не должно однако же слепо и исключительно держаться слов его. Повторять за ним безусловно то, что говорил он о пользе славянских книг — то же, что ограничиться чтением псалтыря и арифметики Магницкого потому, что он называл их вратами учености своей. Но всегда оставаться в воротах — значит никогда не войти. Карамзин другими, почти противоположными средствами, пробудил старинную тяжбу: он понял, что для размножения читателей должно образовать язык общежития» (Ib., 56—57). Так дворянин-европеец роль преобразователя русского литературного языка передает Карамзину.[1]

§ 2. Писатели, стремившиеся к буржуазной «демократизации» светской литературной речи, сохраняли за Ломоносовым лишь титул создателя лирического стиля, но подчеркивали скудость национальных элементов в его языке. А. А. Бестужев в своем «Взгляде на старую и новую словесность в России» писал: «Гений Ломоносова... целым веком двинул вперед словесность нашу. Русский язык обязан ему правилами, стихотворство и красноречие — формами, тот и другой — образцами. Дряхлевший слог наш оюнел под пером Ломоносова. Правда, он занял у своих учителей, немцев, какое-то единообразие в расположении и обилие в рассказе; но величие мыслей и роскошь картин искупают сии малые пятна в таланте поэта, создавшего язык лирический».[2]

Любопытно с серией этих оценок сопоставить суждения о Ломоносове интеллигента-разночинца той эпохи, например, Н. А. Полевого. С точки зрения Н. А. Полевого литературно-языковая реформа Ломоносова была недостаточно национальна, «самобытна».[3] «Пока проказничал Тредьяковский и готовился Сумароков — явился необыкновенный человек: Ломоносов, Петр

---

[1] Ср. в «Замечаниях на краткое обозрение русской литературы 1822 года», напечатанных в № 5 «Северного архива» (1823), суждение кн. Вяземского о Ломоносове: «Как назвать его преобразователем нашего существующего прозаического слога, когда никто не пишет по его образцу» (Полн. собр. соч. кн. Вяземского, I, 105).

[2] «Стихотворения и полемические статьи» (Полн. собр. соч. А. Марлинского, 1840, ч. 11, 195).

[3] Ср. сходные суждения В. Г. Белинского о Ломоносове в «Литературных мечтаниях»: «Прельщенный блеском иноземного просвещения, он закрыл глаза для родного... оставил без внимания народные песни и сказки. Он как будто и не слыхал о них. Замечаете ли вы в его сочинениях хотя

в своем роде. Говорят, что он перенял склад поэзии своей у немцев. Но что делали тогда немцы? Подражали классическим французам, так как и англичане не смели тогда преклониться пред великим своим Шекспиром и отвергали даже приобретенную ими могучую самобытность литературную. Но Ломоносов, соединив с классицизмом схоластику, вставлял целиком в оды свои места из Цицерона, как в слова и речи свои вклеивал места из Плиния. Подражание и классицизм были сущностью всей русской литературы: схоластически обрабатывал Ломоносов язык русский».[1] Утверждая, что «Ломоносов,— имя у нас народное, имя типовое»,[2] и указывая, что Ломоносов «создает нашу лирическую поэзию» и «умеет передавать в звучных стихах красоты библейского языка», Н. А. Полевой считает языковую реформу Ломоносова так же, как и Карамзинскую, пройденными этапами литературно-языкового развития. Поэтому он не *противополагает* Карамзина Ломоносову, а *сопоставляет* их. «Если бы надобно было сравнивать с кем-либо Карамзина, мы сравнили бы его с Ломоносовым: он шел с того места, на котором Ломоносов остановился, кончил то, что Ломоносов начал...».[3] По Полевому, «Карамзин составлял переход от латино-французской эпохи к чисто французской эпохе XVIII века».[4]

Таким образом с точки зрения идеальных норм русского литературного языка, в различном виде предносившихся дворянской «аристократии» и буржуазно-демократической интеллигенции начала XIX века, языковая реформа Ломоносова была великим делом, но делом прошлого, утратившим свое руководящее значение для творчества русской национальной речи в XIX веке.[5] Не удовлетворяли ни Ломоносовское решение вопроса о функциях церковнославянского языка, склонившееся к компромиссу между модернизованными по западноевропейскому образцу стилями феодализма и националистическими

слабые следы влияния летописей и вообще народных преданий земли русской? Нет, ничего этого не бывало. Говорят, что он глубоко постиг свойства языка русского! Не спорю — его грамматика дивное, великое дело. Но для чего же он пялил и корчил русский язык на образец латинского и немецкого? Почему каждый период его речей набит без всякой нужды таким множеством вставочных предложений и завострен на конце глаголом? Разве этого требовал гений языка русского, разгаданный сим великим человеком?.. Его (Ломоносова) погубила слепая подражательность... она одна виною, что его никто не читает, что он не признан и забыт народом, и что о нем помнят одни записные литераторы» (Соч. В. Белинского, М. 1872, I, 44—45).

[1] Полевой, «Очерки русской литературы» I, 48—49. Ср. замечание А. С. Пушкина, что «Ломоносов, следуя немцам, следовал французской литературе» (IX, 8).

[2] Ib., I, 230—259.

[3] Ib., II, 6—7.

[4] Ib., I, 110.

[5] Ср. в «Очерке русской словесности XVIII столетия» Н. Стрекалова (М. 1837): «Привести в порядок разнородные стихии, сблизить язык

тенденциями в среде аристократии и буржуазии, ни Ломоносовская постановка вопроса о составе, границах и стилях русского бытового просторечия и простонародной речи в структуре литературного языка.[1] Оба вопроса подверглись пересмотру в литературной теории и практике карамзинистов и в литературной борьбе разночинно-демократической интеллигенции.

§ 3. Совсем иное отношение к языку Ломоносова и его реформе было в лагере славянофилов как из дворянской среды, так и из среды духовенства и разночинцев-семинаристов.

Для славянофила Ломоносов был вождем, навсегда определившим пути литературно-языкового развития. Ломоносов — знамя национальной самобытности русского языка, ядром которого — в понимании славянофила — должна быть церковно-библейская речь. Характерно суждение П. А. Катенина о Ломоносове в связи с вопросом о национально «очищающем» и объединяющем значении языка «священных книг»: «Неучи беспрестанно искажали свое наречие смешением слов татарских, польских и других, а грамотные беспрестанно очищали и возвышали его, держась коренных слов и оборотов славянских. Перевод священных книг был у них всегда перед глазами, как верный путеводитель, которому последуя, они не могли сбиться. И вот чему мы обязаны, даже в последнее время, воскресением нашего языка при Ломоносове, а без того он сделался бы не тем чистым, коренным, смею сказать, единственным в Европе языком, но грубым, неловким, подлым наречием, пестрее английского и польского» («Сын отеч.» 1822, ч. 77, № 18, 173, «Ответ на ответ»).

Точно так же для А. С. Шишкова Ломоносов великий «стихотворец» и учитель, который «умел высокий словенский слог с просторечивым российским так искусно смешивать, чтоб высокопарность одного из них приятно обнималась с простотой другого. Надлежит долговременным искусством и трудом такое же приобресть знание и силу в языке, какие он имел, дабы уметь в высоком слоге помещать низкие мысли и слова, таковые например как: *рыкать, рыгать, тащить за волосы, подгнет, удалая*

гражданский, еще необразованный, с богослужебным, более образованным и богатым — и создать из этого стройное целое предоставлено было Ломоносову... Непростительно упрекать его за то единственно, что он сообщил языку словотечение латинское: он был напитан учением латинским, образцами древними; притом, неустроенный язык требовал каких-либо правильных форм; Ломоносов едва ли мог подслушать в тогдашнем обществе чистый народный язык и, может быть, он избрал лучшее... Но в лирике он стяжал славное имя. Хотя... направление сообщено ему было Германскою лирикою: следовательно, и французскою XVII века... Ломоносов умел вдохнуть в свою лирику народный дух, умел быть хорошим поэтом» (71—74).

[1] О сущности Ломоносовской реформы см. III главу моей книги: «Очерки по истории русского литературного языка с конца XVII в. по конец XIX в.», Учпедгиз, 1934.

голова и тому подобные, не унижая ими слога и сохраняя всю важность оного».[1] Но с именем Ломоносова для славянофила шишковской формации была связана не столько проблема «смешения» церковнославянского «наречия» с простонародным, сколько проблема «славенского» языка как структурной основы русской литературной речи. Поэтому А. С. Шишков, всецело принимая теорию трех стилей, утвержденную на принципе структурного соотношения церковнославянской и русской стихий в литературном языке, несколько полемически относится к ломоносовским ограничениям церковнославянизмов литературного языка кругом Библии и наиболее употребительных в повседневном церковном обиходе книг. А. С. Шишков пересматривает вопрос об «обветшалых» церковнославянизмах. Сопоставляя язык Ломоносова с его церковно-библейскими образцами, он отдает предпочтение библейскому оригиналу, писанному хотя и древним «славенским, не весьма уже ясным для нас слогом». «Но и тут, даже сквозь мрак и темноту, сияют в нем неподражаемые красоты и пресильные, поистине стихотворческие в кратких словах многомысленные выражения...».[2] «Когда столь превосходный писатель, каков был Ломоносов, при всей пылкости воображения своего, не токмо прекрасными стихами своими не мог затмить красоты писанного прозою славенского перевода, но едва ли и достичь до оной, то как же младые умы, желающие утвердиться в силе красноречия, не найдут в сокровищах священного писания полезной для себя пищи?»[3]

Эта борьба за церковнославянские основы русского литературного языка — даже в ее наиболее консервативных проявлениях — опиралась на широкие круги духовенства и провинциального дворянства, чиновничества и купечества. А. С. Шишков настаивал на понятности «Пролога», «Четий-Миней» и других церковных книг даже для «безграмотного мужика».[4] Вместе с тем мечтою «славянофилов было, чтобы церковнославянский язык стал нормой речи «знатных и почтенных людей» (см. Г. П. Успенский, «Опыт повествования о древностях российских», 2 ч., 1811—1812). Шишковист Воронов заявлял, что — при иной

[1] «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», Спб. 1818, 2-е изд., 14.

[2] Ib., 72—80.

[3] Ib., 89.

[4] В «Рассуждении о красноречии священного писания...» А. С. Шишков заявил: «У нас всякий безграмотный мужик заставляет грамотного сына своего читать пред ним Пролог, Четию-Минею и другие духовные книги, разумея и слушая его с удовольствием» (Собр. соч. и перев., IV, 95). Но уже у аристократа-западника Д. В. Дашкова в его книге «О легчайшем способе возражать на критики» (Спб. 1811) находим отрицание такого непосредственного понимания: «У нас ни один мужик, хотя бы и грамотный, не поймет ничего из Пролога и Четии-Минеи, если не учился читать по часослову и не затвердил начальных правил словенского языка» (26—27).

исторической ситуации — церковнославянский язык «был бы языком так называемого большого света и перевесил бы своей важностью все современные ему языки» («Чт. в Бес. люб. росс. слов.», Спб. 1816, т. 15, 37).

§ 4. В этом столкновении противоречивых суждений о Ломоносове как о реформаторе национально-литературного языка отзывы Пушкина, относящиеся к эпохе послекарамзинского плена, т. е. к 20-м годам, занимают место, как будто близкое к славянофильской позиции.[1] «Ломоносов сотворил язык» — эта отрывочная фраза Пушкина сохранилась в зачеркнутых строках рецензии на «Северную лиру» (1827).[2] А. А. Бестужеву поэт писал в 1825 году: «В Ломоносове уважаю великого человека, но, конечно, не великого поэта. Он понял истинный источник русского языка и красоты оного; вот его главная заслуга» (Переписка, I, 225). Пушкин как бы присоединяется к «историческому делу» Ломоносова в области создания русского литературного языка. Так и понимали позднее националистически настроенные писатели это уважение Пушкина к памяти Ломоносова. «Мы помним», писал С. П. Шевырев («Москвитянин» 1841, ч. 5, № 9), «с каким благоговением Пушкин говорил о нем, как о создателе языка: он даже не позволял в присутствии своем сказать что-нибудь противное памяти великого нашего мастера».

Впрочем, для славянофила, уже пережившего синтез Ломоносовской и Карамзинской реформ в творчестве Пушкина, имя Ломоносова не было антитезой имени Карамзина. Между ними устанавливалась связь по преемству. И тот же С. П. Шевырев писал: «Кто же первый был главным виновником... сближения между литературным языком нашим и языками европейскими, которые выразили в себе начало общественной новоевропейской жизни? Все тот же Карамзин. Он принял из рук Ломоносова русскую речь в форме длинного периода, скроенного по латинской форме и превращенного в риторическую фигуру. Эта форма была гораздо ближе к форме немецкой, нежели к формам других языков европейских. У Карамзина же русская речь явилась, в первый раз, в виде легкой, ясной, новоевропейской фразы».[3] Таким образом со второй половины 20-х годов «дело Ломоносова» сочетается с вопросом о Карамзинской языковой реформе, которая в свою очередь также начинает постепенно уходить

---

[1] Но ср. суждения Пушкина о литературном творчестве Ломоносова «Ломоносов, следуя немцам, следовал ей (французской литературе)» (IX, 8). Батюшков называется «счастливым сподвижником Ломоносова» (IX, 12). Ср. в стихотворении «К Жуковскому» характеристику Ломоносова: «бессмертный наш певец, веселье россиян, полуночное диво».

[2] П. Е. Щеголев, «Неизданная статья Пушкина об альманахе: «Северная лира», «Пушкин и его современники», вып. XXIII—XXIV, 7.

[3] «Москвитянин» 1842, ч. 2, № 3, 159.

в историю.[1] Этим уясняется до некоторой степени эволюция взглядов самого Пушкина на значение преобразовательной деятельности Ломоносова.

В статье «О предисловии г. Лемонте к переводу басен Крылова» (1825) Пушкин, более подробно развивая свои мысли о Ломоносове, признает, что сущность Ломоносовской реформы заключается в организации поэтической речи и в кодификации «правил общественного языка» (т. е. норм грамматики): Ломоносов «утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия... и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка». Разъясняя содержание этих источников, Пушкин принимает формулу Шишковской оценки Ломоносова: «Слог его, ровный, цветущий и живописный, заемлет главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным. Вот почему преложения псалмов и другие сильные и близкие подражания высокой поэзии священных книг суть его лучшие произведения. Они останутся вечными памятниками русской словесности: по ним долго еще должны мы будем изучаться стихотворному языку нашему». Эта оценка обходит вопрос о Ломоносовской реформе литературного языка по принципу расслоения его на три стиля. Она ограничивает живые формы литературного творчества Ломоносова сферой библейской поэзии. В этом контексте сама формула Шишкова получает несколько иной смысл: Пушкин принимает «открытие» Ломоносова, т. е. готов вслед за ним признать «истинными источниками» стихотворной речи книжный славянский язык и язык простонародный в их «счастливом слиянии». Но остается неясным, какой из этих двух стихий Пушкин придает доминирующее значение, как он понимает их состав, их границы, их структурное соотношение. Пушкин санкционирует *метод* Ломоносова, метод конструктивного объединения разнородных словесных рядов, метод стилистического слияния крайностей,[2] но не принимает его литературно-языкового наследства, не открывает в литературу, подобно Шишкову, Катенину, Кюхельбекеру и другим славянофилам, свободного доступа церковным архаизмам. Напротив, Пушкин подчеркивает чуждость Ломоносовского языка светскому обществу и независимость исторической славы великого Ломоносова от «мелочных почестей модного писателя»: «Странно жаловаться, что светские люди не читают

[1] Ср. оценку литературной деятельности Карамзина у Н. А. Полевого («Моск. телеграф» 1829, кн. XII): «Он писатель не нынешнего века... его история и другие сочинения в отношении к современным требованиям нашей литературы неудовлетворительны».

[2] Характерно, однако, отрицание Пушкиным «свободы» в слоге Ломоносова (черновая заметка по поводу статей В. Кюхельбекера в «Мнемозине», «Пушкин и его современники», вып. XXXVI).

Ломоносова, и требовать, чтоб человек, умерший семьдесят лет тому назад, оставался и ныне любимцем публики» (IX, 18—19).[1]

Таким образом в этом суждении о Ломоносове симптоматично лишь признание церковнославянского языка одним из «истинных источников» поэтического языка. Тут звучит явное противопоставление стиха прозе. Опыты Ломоносова в прозе, законы и образцы классического красноречия и даже Ломоносовская теория трех стилей отвергаются. Эта оговорка недвусмысленно направлена против Шишкова и других славянофилов.

Ведь, например, для П. А. Катенина, как и для А. С. Шишкова, церковнославянский язык был структурной основой деления литературной речи вообще (а не только поэтического языка) на стили — высокий, средний и простой. «Не только каждый род сочинений, даже в особенности каждое сочинение требует особого слога, приличного содержанию. Оттенки языка бесчисленны, как предметы, ими выражаемые: в нем оба края связаны неприметной цепью, как в самой природе. В комедии, в сказке нет места славянским словам, средний слог возвысится ими, наконец, высокий будет ими изобиловать. Если сочинитель употребит их некстати или без разбора, виноват его вкус, а не правила» («Сын отеч.» 1822, ч. 77, № 18, стр. 176—177). Следовательно, для Катенина идея общенационального единства русского литературного языка, его стилистической структурности была связана с признанием возводимой к Ломоносову мысли об объединяющей роли церковнославянского языка. В «Сыне отечества» (1822, ч. 76, № 13) Катенин писал: «Язык русский? Ломоносов первый его очистил и сделал почти таким, каков он и теперь. Чем же он достиг своей цели? Приближением к языку славенскому и церковному. Должны ли мы сбиваться с пути, им так счастливо проложенного? Не лучше ли следовать на нем и новыми усилиями присвоивать себе новое богатство, в коренном языке нашем сокрытое».[2] Таким образом церковнославянский язык в свете новой сравнительно-исторической концепции языкового развития, основанной на принципах национализма, уже не является для Катенина «древне-русским», не образует его палеонтологической основы, как для Шишкова, но от этого не пере-

---

[1] Ср. замечание Пушкина в письме к кн. П. А. Вяземскому (Переписка, I, 264, 14—15, август 1825 г.): «Мой милый, поэзия твой родной язык, слышно по выговору, но кто ж виноват, что ты столь же редко говоришь на нем, как дамы 1807 года на славяно-росском. И нет над тобою как бы некоего Шишкова, или Сергея Глинки, или иной няни Василисы, чтобы на тебя прикрикнуть...»

[2] Ср. разъяснение П. А. Катенина, адресованное к Н. А. Полевому, что славянофилы не отожествляют языка церковнославянского с древнерусским, «знают не хуже других, что Библия переведена людьми не русскими; но уверены в том, что с тех пор, как приняла ее Россия, ею дополнился и обогатился язык русский» («Моск. телеграф» 1833, № 11, 458).

стает быть живой и центральной силой в образовании общерусского национально-литературного языка. И Катенину был ближе Ломоносов с его национально-историческим реализмом, чем Шишков с его метафизическим панславизмом. Напротив, Пушкин был далек от того, чтобы видеть (вслед за Ломоносовым, Шишковым, Катениным и другими славянофилами) в «славенском» языке регулятора стилей или, как писал Катенин, «верного путеводителя, которому последуя — нельзя сбиться».

Правильность такого понимания Пушкинской позиции в отношении Ломоносова подтверждается неизменно отрицательными суждениями Пушкина о прозе Ломоносова, построенной на формах юго-западной (следовательно, латино-польско-немецкой) риторики.

В «Мыслях на дороге» («Путешествие из Москвы в Петербург» 1833—1835) Пушкин отзывается о Ломоносове — «профессоре поэзии и элоквенции» — как об «исправном чиновнике», а не «поэте, вдохновенном свыше», не «ораторе, мощно увлекающем». «Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость полу-славенская, полу-латинская, сделалась было необходимостью: к счастью, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова» (IX, 176). Говоря о прозе Карамзина, Пушкин имел в виду главным образом «Историю государства Российского», которая стремилась оживить сентиментально-риторический стиль словарным реквизитом старины и народности. Об «Истории государства Российского», высокий риторический стиль которой не чуждался славянизмов и архаизмов, отзывался даже А. С. Шишков в сочувственных выражениях: «Карамзин в истории своей не образовал язык, но возвратился к нему, и умно сделал» (Собр. соч. и перев., XII, 168).[1]

[1] Ср. суждения критики 30-х годов: «Сам Карамзин, убежденный доводами противников и занятиями своими приведенный к изучению памятников русской древности, много изменил язык свой, который имел сначала мало определительности, будучи только неверным подражанием иностранным образцам легкой прозы» («Чтения о новейшей изящной словесности». Соч. Д. О. Л. Б. Вульфа, Москва 1835, стр. 465). Ср. у Н. И. Греча в «Чтениях о русском языке»: «Споры славянофилов и карамзинистов умолкли или раздавались только изредка в слабых отголосках. Совершенный им конец положило появление «Истории государства российского», доказав, что Карамзин отнюдь не думал отвергать особенностей и красот языка церковного, а только, по свойству прежних своих сочинений, не считал надобным им пользоваться» (ч. 1, стр. 158). Любопытно также заявление Ф. Ф. Вигеля: «Самого Карамзина грубости Шишкова сделали несколько осмотрительным; он указывал ему на средства дать более важности и достоинства историческому слогу, более он сделать не мог, а тот со своим чудесным умом и талантом не оставил ими воспользоваться» («Воспоминания», II, 152).

Интересно сопоставить с мнением Пушкина о Ломоносовской прозе отзыв кн. Вяземского: «Прозаический язык Ломоносова — тело, оживленное то германским, то латинским духом, коему даны в пособие славянские слова. Язык Фонвизина при тех же пособиях часто сбивается на галлицизмы. Ни в том, ни в другом нет чисто русского, ни чисто славянского, ни даже чисто славяно-русского языка, если чистота может быть при подобной пестроте» («Фонвизин», 56). Еще более резки и прямы суждения Пушкина о Ломоносове в связи с вопросом о соотношении между национально-бытовой и церковно-книжной стихиями в структуре русского литературного языка: «Давно ли стали мы писать языком общепонятным? Убедились ли мы, что славянский язык не есть язык русский, и что мы не можем смешивать их своенравно, что если многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг в нашу литературу, то из сего еще не следует, чтоб мы могли писать: *да лобжет мя лобзанием*, вместо *цалуй меня* etc. Конечно, и Ломоносов того не думал, он предпочел изучение славянского языка, как необходимое средство к основательному знанию языка русского» (IX, Примеч., 524).

Эта перемена в отношении Пушкина к языку Ломоносова, в оценке функций церковнославянского языка и в понимании его границ была обусловлена изменившейся к 30-м годам общей ситуацией в истории русской литературной речи. Если в 20-е годы принципиальная защита церковнославянизмов и их слияния с «простонародным наречием» была символом освобождения поэта от стилистических шаблонов и стеснений салонного «светского» языка карамзинистов и свидетельствовала о расширении социально-языковой сферы его творчества, то к 30-м годам, когда наметился крутой поворот литературного языка в сторону буржуазных стилей книжной речи, в сторону «буржуазного просторечия» и «простонародных» диалектов, огульное отстаиванье гражданских прав всех церковнославянизмов и их приоритета в структуре письменного языка было бы делом консервативным, запоздалым и бесплодным. На этом фоне становятся понятными новые точки зрения в новой оценке Пушкиным Ломоносовской поэзии и Ломоносовского стихотворного языка, укоризненный упор на такие черты Ломоносовского стиля, которые противоречили принципам «простоты, точности и народности» («Мысли на дороге», 1833—1835): «Его [Ломоносова] влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности — вот следы, оставленные Ломоносовым» (IX, 176). Любопытно, что в черновом наброске статьи — вслед за отрицательной характеристикой «утомительных и надутых» од Ломоносова, писанных по устарелому «образцу тогдашних немецких стихотворцев», —

следовал менее суровый отзыв об его библейской поэзии: «Подражания псалмам и книге Иова — лучше, но отличаются только хорошим слогом и то не всегда точным. Их поэзия принадлежит не Ломоносову» (IX, Примеч., 523—524). В этих словах личное литературное дело Ломоносова решительно отделяется от судеб церковнославянского языка, которому Ломоносов был обязан «поэзией» своих подражаний Библии. Таким образом, отрицая для современности руководящую роль Ломоносова в истории русского литературного языка, Пушкин в то же время утверждает «поэзию», т. е. стилистическую ценность, «библеизмов». Тут намечаются существенные коррективы, внесенные Пушкиным и в самый метод Ломоносовского употребления «церковнославянизмов». В свете этих суждений несколько уясняется и более ранняя (1826—1828) заметка Пушкина об отношении Ломоносова к русскому языку, сохранившаяся на полях статьи кн. Вяземского об Озерове: «Сумароков прекрасно знал русский язык (лучше, нежели Ломоносов)».[1] Это предпочтение Сумарокова Ломоносову говорит, конечно, о сочувствии Пушкина той борьбе, которую вел Сумароков против пышных Ломоносовских перифраз и условных, лишенных предметной ясности, славянских метафор, защищая «простоту» языка, логическую и предметную точность словоупотребления, отстаивая литературные права дворянского «просторечия», опиравшегося на французскую семантику и на «простонародный», крестьянский язык.

Комментарием, разъясняющим это противопоставление Сумарокова Ломоносову, может служить такое место из воспоминаний того же кн. Вяземского о своих детских лирических опытах в Сумароковском стиле:

«Воспой, о муза, песнь высоку
И в струны лиры ударяй,
Воспой врагов ты суматоху
И славу россов возглашай.

Я очень дорожил словом *суматоха*. Мне казалось, что тут есть какой-то отзыв своевольной и, так сказать, фамильярной поэзии Сумарокова в противоположность с поэзией Ломоносова, несколько чопорною и официальною».[2] Вот эта-то фамильярность языка Сумарокова, его стремление к прямым и точным обозначениям бытового просторечия, его борьба с предметной расплывчатостью перифраз и метафор высокого слога, с логической противоречивостью Ломоносовского стиля были близки Пушкину во второй половине 20-х годов. Легко понять важность

[1] Л. Н. Майков, «Пушкин», 1899, 274. Не лишено основания замечание Л. Н. Майкова, что Пушкин исключал из обозначения «дрянью» те немногие пьесы, в которых Сумароков пользовался мотивами и выражениями народной поэзии и — добавлю — «простонародного языка».

[2] Полн. собр. соч. кн. Вяземского, Спб. 1878, I, 12.

этих идей для Пушкина, если вдуматься хотя бы в такие стилистические комментарии Сумарокова к стихам Ломоносова:

Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда.

«*Градов ограда* сказать не можно. Можно молвить *селения ограда*, а не *ограда града*; град от того и имя свое имеет, что он огражден. Я не знаю сверьх того, что за ограда града тишина. Я думаю, что ограда града войско и оружие, а не тишина». [1]

Войне поставила конец.

«*Войну окончать* или *сделать войне конец,* сказать можно, а войне *поставить конец,* я не знаю можно ли сказать. Можно употребить вместо *построить дом, поставить дом,* а вместо *окончать войну,* весьма мне сумнительно, чтоб позволено было написать *поставить конец*». [2]

Ломоносовское выражение явилось, конечно, как лексическое видоизменение церковнославянского идиома: «*поставить предел*».

Это острое чутье языка и тяготение к предметно-бытовой простоте и точности словоупотребления, к расширению литературных функций дворянского просторечия побудили Пушкина оценить Сумароковское знание языка выше, чем Ломоносовское. [3]

Таким образом отношение Пушкина к языковой реформе Ломоносова изменчиво, парадоксально и уединенно — при внешней близости его оценки в 20-е годы к славянофильской, в 30-е годы — к разночинно-демократической. Вопреки западникам, Пушкин в 20-е годы провозглашает дело Ломоносова живым. Для Пушкина церковнославянская стихия становится истинным источником поэтического языка. Поэт находит красоты и поэзию в Библии, подобно славянофилам. Он признает так же, как славянофилы, стилистическую плодотворность и ценность принципа слияния церковного языка с простонародным. Но в концепции Пушкина церковнославянский язык не делается структурной основой русской литературной речи. Употребление церковнославянского языка — в понимании Пушкина — всегда было включено в границы, более стесненные, чем те, которые мерещились «архаистам». О стихах и прозе Кюхельбекера поэт писал: «Читал стихи и прозу Кюхельбекера. Что за чудак! Только в его голову могла войти жидовская мысль воспевать Грецию, великолепную, классическую поэтическую Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом, славяно-русскими стихами,

---

[1] Полн. собр. соч. А. Сумарокова, Москва 1787, X, 77—78.

[2] Ib., 80.

[3] Ср. некоторые замечания о языковой и стилистической системе Сумарокова сравнительно с Ломоносовской у Г. А. Гуковского: «Русская поэзия XVIII века», 1927, 19—34. Ср. также в моих «Очерках по истории русского литературного языка».

целиком взятыми из Иеремия. Что бы сказал Гомер и Пиндар?» (Переписка, I, 51).

Язык светского общежития, письменный язык общества развивается в ином направлении, идет другими путями, и дело Ломоносова и славянофилов в этой общественно-бытовой сфере Пушкину кажется бесплодным и «смешным». [1] Когда перед поэтом шире развернулась в своей исторической неотвратимости перспектива включения в литературу разных социально-бытовых разговорных стилей, Пушкин, как и разночинец Полевой (и как В. Г. Белинский), увидел в Ломоносовской реформе недостаток «*народности*». Не менее знаменательно игнорирование Пушкиным Ломоносовско-Шишковской теории трех стилей. Это значит, что Пушкин, подобно западникам, отвергает нормы разграничения стилей, покоившиеся на Ломоносовских принципах, и первоначально создает новые типы стилистических структур, опираясь преимущественно на систему среднего стиля, менее всего определенного Ломоносовым.

Кодифицированные Ломоносовым три контекста, три «стиля» литературно-книжного языка не покрывали всех жанров литературы (особенно переводной). Трудно было подыскивать фразеологические эквиваленты семантике западноевропейских языков в условно-метафорической «церковной» структуре высокого слога. Поэтому в поисках семантических соответствий формам западноевропейского выражения приходилось или сочетать славянизмы с варваризмами, галлицизмами, чем разрушались принципы строения высокого стиля, или же создавать «кальки», морфологические «снимки» с западноевропейской (преимущественно французской) фразеологии, допуская пестрое смешение разных лексических типов. В обоих случаях происходило нарушение границ стилей и возникали новые структурные формы высокого и «среднего» стилей, мало соответствовавшие Ломоносовским нормам. Таким образом теория трех стилей, обоснованная на разных приемах соотношения «славенского и русского языков», вернее — на постепенном переходе от «славенских» жанров к смешанным «славено-росским» и, наконец, к чистым «российским», обнаруживала свой схематизм, свою недостаточность, несоответствие с более сложными стилистическими категориями литературно-книжной речи и с социально-языковыми категориями разговорно-бытового, особенно дворянского, языка. В самом деле, в теории трех стилей более полно и точно очерчена лишь смысловая сфера высокого стиля. Именно для определения его контекста Ломоносов отбрасывает «обветшалые» формы и, следовательно, ставит более узкие пределы церковной традиции, рассматривая ее главным образом как *живой* круг *употреби-*

---

[1] Ср. замечания Ю. Н. Тынянова: «Архаисты и новаторы», статья «Архаисты и Пушкин».

тельных в повседневной церковной практике его эпохи славенских книг. Отсюда из *ходячего церковно-книжного употребления* извлекались семантические нормы высокого слога с его условной фразеологией. Разграничение здесь — не историческое, не этимологическое, а нормативно систематизирующее. Риторика устанавливала принципы связи слов, фраз и образов, композицию речи. Впрочем, в нормативности был заложен специфический охранительный принцип, направленный против «диких и странных слова нелепостей, входящих к нам от чужих языков». На этом фронте и произошел прорыв в Ломоносовском высоком и среднем слоге. Структура высокого слога была обращена к традиции церковных книг, которая в своем основном русле становилась все более и более профессионально-богословской, церковно-культовой. Эволюция же высокого слога на путях «светских» литературных жанров приводила его к отрыву от первоначального церковно-книжного контекста, следовательно к органическому перерождению в средний «французский стиль» или в высокий «цветной» слог, но уже с иным функциональным обоснованием (не диалектологическим, а риторическим) фразеологии и образов, чаще всего тоже вытекавших из французской стилистики и поэтики, или же к застою, к навсегда определенной схеме фразеологической и композиционной структуры. Следовательно, высокий славенский слог мог развиваться преимущественно за счет ветшавших церковных книг или за счет профессионально-богословской, проповеднической литературы. Но от этой церковной культуры все дальше и дальше отходила «светская» литература, стремясь вступить в культурно-исторический контекст западноевропейских литератур. Этой антиномии «высокого слога», которая исторически сказывается в умирании ряда прикрепленных к нему литературных жанров или в их трансформации (например, героической поэмы, трагедии, оды) соответствовала механическая зыбкость, ненормированность «посредственного» слога. Это была промежуточная форма без устойчивых границ. Вот разработку этой-то области взяли на себя западники, стремясь на почве ее уравнять салонную речь и язык литературы. Расширить и изменить структуру этой стилистической сферы, пробив в нее путь для широкого потока просторечия, простонародных и профессиональных диалектов, стремились сторонники буржуазной демократизации языка. И Пушкин в вопросах стилистического расслоения литературного языка порывает связи с Ломоносовско-Шишковской теорией трех стилей, признав однако церковнославянизмы живым структурным элементом русского литературного языка.

Таково принципиальное отношение Пушкина к церковнославянской стихии. Вместе с тем намечаются три основных этапа в смене взглядов Пушкина на роль церковнославянизмов в структуре русского литературного языка:

1. Период лексического и семантического исключения церковнославянизмов и их полемической «светской» трансформации (приблизительно до начала 20-х годов).

2. Период художественного утверждения церковнославянизмов и «смешения» их с разными стилями литературной речи, с бытовым просторечием и языком древней русской «светской» письменности (до конца 20-х годов).

3. Период структурного приспособления церковно-библейской стихии к системе русского литературного языка, основанного на национально-бытовых стилях, и в то же время период экспрессивной и предметно-стилистической дифференциации церковнославянизмов (с конца 20-х годов).

Кроме того, отрицание Пушкиным церковнославянской конструкции в стиле Ломоносова свидетельствует о том, что проблемы стихового синтаксиса и повествовательной прозы разрешались Пушкиным в направлении, противоположном церковно-книжной традиции.

IV

Разногласия западников и славянофилов по вопросу о церковнославянизмах и позиция Пушкина в этой борьбе

§ 1. Признание церковнославянского языка одним из структурных элементов русской литературной речи ставило Пушкина перед вопросом о методах стилистического включения и исключения «славенизмов». Нормы и приемы употребления и стилистического «смешения» церковнославянского языка подсказывались поэту литературной практикой. Но окружавшие творчество Пушкина литературные стили были подчинены в этом кругу явлений некоторым художественно-идеологическим принципам, которые разделяли литераторов из дворянской среды на два лагеря: славянофилов и западников («европейцев»).

Отношение западников к церковнославянизмам опиралось на семантическую, экспрессивную и стилистическую оценку разных форм церковнославянского языка. Для европейцев славянский язык не представлял структурного единства. Для них это был профессиональный язык культа, язык духовенства, ученых педантов — и отчасти в то же время письменно-книжный язык чиновничества и купечества, близкий к канцелярскому.[1] «Нечистый, надутый славенщизною» (по выражению Карамзина) слог не мог найти широкого применения в дворянском салоне,[2] так же как и канцелярско-бюрократический стиль XVIII века. Система идеологии и мифологии церковного языка дворянам-европейцам была чужда. «Славенская» речь, за пределами общеевропейской

[1] Ср. в «Воспоминаниях» Ф. Ф. Вигеля, 1864, I: «При Екатерине дворяне собственно званием канцелярского гнушались, и оно оставлено было детям священно- и церковно-служителей и разночинцев» (172). Но тот же Вигель свидетельствует о воздействии французской философии и революционной идеологии на чиновничество позднейшей эпохи: «Цитаты из священного писания, коими прежние подьячие любили приправлять свой разговор, заменились в устах их изречениями философов XVIII века и революционных ораторов» (II, 26).

[2] Ср. слова кн. Вяземского: «Наш язык происходит, пожалуй, от благородных, но бедных родителей... Славянский язык хорош для церковного богослужения. Молиться на нем можно, но нельзя писать романы, драмы, политические, философские рассуждения» (Собр. соч., VIII, 39).

библейской фразеологии, представлялась им механически движущимся рядом образов, выражений, «устарелых», «грубых» слов, конструкций, одни из которых европейцы считали необходимым сдать в архив, а другие — приспособить к структуре «салонного» светского языка. «После Ломоносова», писал П. Макаров, «мы узнали тысячи новых вещей; чужестранные обычаи родили в уме нашем тысячи новых понятий; вкус очистился; читатели не хотят, не терпят выражений, противных слуху; более двух третей русского словаря остается без употребления: что делать? искать новых средств изъясняться» (Соч. и перев., I, ч. 2, 22). «Высокий слог должен отличаться не словами или фразами, но содержанием, мыслями, чувствованиями, картинами, цветами поэзии» (Ib., 40).

К. Н. Батюшков писал Н. И. Гнедичу (1816): «Чем более вникаю в язык наш, чем более пишу и размышляю, тем более удостоверяюсь, что язык наш не терпит славянизмов, что верх искусства — похищать древние слова и давать им место в нашем языке, которого грамматика и синтаксис, одним словом, все — противно сербскому языку».[1] В другом письме к тому же Гнедичу, от 19 сентября 1809 г., К. Н. Батюшков объясняет социальные причины борьбы с славянизмами в литературном языке: «Излишний славянизм не нужен, а тебе будет и пагубен. Стихи твои... будут читать женщины, а с ними худо говорить непонятным языком. Притом, кажется, что славянские слова и обороты вовсе не нужны в иных местах... Но и здесь соблюсти середину — подвиг во истину трудный».[2]

Еще более красочно заявление П. Макарова: «Слог церковных книг не имеет никакого сходства с тем, которого требуют от писателей светских... При том наши старинные книги не сообщают красок для роскошных будуаров Аспазий, для картин Вилландовых, Мейснеровых или Доратовых. Громкая лира может иногда подражать Давидовой арфе; но веселое, нежное, романическое воображение пугается темных пещер, в которых добродетель укрывалась от прелестей мира» (Соч. и перев., I, ч. 2, 35).

Конечно, осуждение церковнославянизмов не означало отказа от библейских образов. Ведь библейские образы и фразы вошли и в систему европейских языков. За Библией западники сохраняли значение поэтического источника. Но библейские образы и мифы должны быть переведены на светский язык, приспособлены к его структуре. «Когда переведут священное писание на язык человеческий?» спрашивал К. Н. Батюшков.[3] «Мне кажется, что гораздо полезнее чтение Библии, нежели всех наших академических сочинений», советовал он Н. И. Гнедичу.[4]

---

[1] Соч. Батюшкова, изд. Академии наук, III, 409—410, ср. 70.
[2] Ib., 47—48.
[3] Ib., 410.
[4] Ib., 48.

Сама же по себе система церковнославянского языка западникам казалась чужеродным организмом, скроенным по типу греческого языка. Поэтому церковнославянские слова и фразы отвлекались ими от смыслового контекста церковно-библейской идеологии и мифологии и расценивались с точки зрения семантических норм светского, салонно-литературного языка, очерченного строгим кругом экспрессивных форм, навыками элегантного вкуса. Исключалось из церковнославянского языка все то, что не соответствовало нормам «правильного» и «приятного» стиля, все то, что вызывало такие оценки: 1) *темно;* 2) *педантически:* «когда кто слишком привязан к школярщине, к древностям...»; 3) *принужденно;* 4) *высокопарно* или *надуто;* 5) слишком *низко*; 6) слишком *растянуто* и 7) слишком *коротко.*[1]

Прежде всего выступал критерий экспрессивного соответствия салонному стилю. «*Персты* и *сокрушу* производят какое-то дурное действие», писал Н. М. Карамзин И. И. Дмитриеву («Письма», 42). «*Отзыв* для меня лучше, чем *отглас*», оценивал он же (Ib., 50). «Все части учености *возделываются* там с успехом. Лучше бы было в сем смысле сказать: по-русски: *обработываются*».[2] Карамзин иронизирует над «големыми претолковниками, иже отревают все, еже есть русское, и блещаются блаженне сиянием славеномудрия».[3] Пародический подбор «обветшалых» славянизмов подчеркивает, что в таком археологическом виде представлялась западникам основная сфера церковнославянского языка.

Кн. Вяземский, разбирая стих Ломоносова: «И полк всех нежностей теснится», замечает: «Полк и нежности... не ладят между собою».[4]

Насколько строго очерчены и взвешены были нормы салонного стиля, можно судить по такому письму Ю. А. Нелединского-Мелецкого к дочери (от 3 сентября 1817 г.), в котором он разбирает язык ее послания к сестре: «Письмо твое преприятное, — писано плавно, просто... Только одно слово в письме твоем к сестре ты поместила, которое, хотя употреблено правильно, однако, оно разнит со слогом всего письма. — *Событие*, — сохрани бог, коли его употребишь, писавши к женщине! Назовут тебя педанткой. «*Ничто не мешает желать нам события того, что имеем в виду. — Ничто не мешает желать нам, чтоб сбылось то, на что мы целим,* — было бы проще».[5]

---

[1] Ср. Скворцов, «Сокращенный курс российского слога», 1796, 87—97. Я. Грот, «Филологические разыскания», I, 83.

[2] «Моск. журнал», III, 271—272.

[3] «Моск. журнал» 1791, IV, 112.

[4] «Старая записная книжка» (65). Но ср. у К. Н. Батюшкова стих: «Там теней бледный полк толпится на брегах» («Тибуллова элегия», XI, из 1-й книги).

[5] «Хроника недавней старины. Из архива кн. Оболенского-Нелединского-Мелецкого», Спб. 1876, 236.

Ломоносовский принцип смешения церковнославянской речи с простонародным языком отрицался западниками. Противополагая новый стихотворный язык, язык Батюшкова и Жуковского, «старому», Плетнев писал о прежнем литературном языке:[1] «Ему вредят, его обезображивают неправильные усечения слов, неверные на них ударения и неуместная смесь славянских слов с чистым русским наречием» («Заметка о сочинения Жуковского и Батюшкова», Соч. и переп., I, 24).

Отношение европейцев к принципу «соединения церковнославянских выражений с российскими» лучше всего определяется кн. Вяземским: «В языках не бывает двуглавых созданий или сросшихся сиамцев; и тем лучше: ибо такой язык был бы урод... Слова славянские хороши, когда они нужны и необходимы, когда они заменяют недостаток русских: они даже тогда законны:.. В языке стихотворном они хороши как синонимы, как пособия, допускаемые поэтическою вольностью и служащие иногда благозвучию стиха, рифме или стопосложению. Вот и все».[2]

Таким образом при разрушении контекстов и стилей, сложившихся на основе структурного сочленения церковнославянского и русского языков, обнажались экспрессивные и семантические несоответствия множества церковно-книжных слов нормам светского языка. Стилистическая чистка имела своей целью унификацию литературного стиля, выравниванье семантических рядов. Между тем славянофилы при различении стилей всегда подчеркивали не только значение общего контекста, но и функции разнообразных стилистических варьянтов и соответствий, важность стилистического многообразия: «Однокоренные и даже одинаково пишущиеся слова, хотя часто значат одно и то же, однако получают важность и простоту, а иногда и низость значения своего от других сопряженных с ними слов. Например, *брань* и *брань* есть одно и то же, но *чернильная брань* от невежды есть совсем не то, что *Бородинская брань*. В выражениях: *огонь пожирает здания* и *собака пожирает кости*, хотя употреблен один и тот же глагол, но первый важнее второго, так что первого, без понижения в слоге, нельзя превратить в *жрет* а второй — можно. От первого пошли высокие слова: жертва, жертвенник, жрец; от второго — низкие: обжора,

---

[1] Ср. у кн. П. А. Вяземского в стихотворении «Всякий на свой покрой» (1823):

Язык наш был кафтан тяжелый,
И слишком пахнул стариной:
Дал Карамзин покрой иной.
Пускай ворчат себе расколы!
Все приняли его покрой.

(Полн. собр. соч., III, 201)

[2] Кн. Вяземский, «Фонвизин» (55—56).

прожора и пр. То же самое сказать можем и о глаголах *умастить* и *вымазать*; они, конечно, одно и то же значат, но столько же неприлично сказать: *вымазал главу елеем*, сколько *умастил колеса дегтем*» (А. С. Шишков, Собр. соч. и перев., XI, 340). Различие в «высоте» и «низости» слов было для славянофилов критерием конструктивного соотношения лексических рядов. «В словах, отдельно от выражений, не всегда должно полагаться на один суд навыка, не внимая советам рассудка» (XII, 182).

Для европейцев это многообразие славяно-русских стилистических контекстов было лишено выразительности. Оно возмещалось разнообразием экспрессивных и семантических варьяций салонно-дворянского словоупотребления, сложными приемами словесных конфигураций, игрой стилистических оттенков, но в строго очерченном кругу норм «светской» речи.

Вместе с тем изменялись в стиле европейцев самые принципы предметного осмысления церковнославянизмов. Оторванные от своего контекста, славянизмы проецировались на семантическую систему бытового языка и подвергались «этимологизации» на основе его норм. В этом стиле многие из «старых слов и фраз» — «иные пришли совсем в забвение; другие, невзирая на богатство смысла своего, сделались для не привыкших к ним ушей странны и дики; третьи переменили совсем знаменование свое и употребляются не в тех смыслах, в каких с начала употреблялись» (А. С. Шишков, «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», 45—47). А. С. Шишков указывает примеры такого забвения: «*В безмолвной куще сосн густых... куща* ничего другого не значит, как *шалаш* или *хижина*. Чтож такое: *куща сосн?*» (Ib., 61); «вместо *надлежит* или *должно*, говорят *довлеет*, которое слово значит *довольно*...; вместо *слушать с раболепностью* или *со страхом*, говорят *с подобострастием*, которое слово значит *одинакую страстям подвластность* и т. д.» (Ib., 67).[1]

[1] Этот прием омонимического уравнения и бытового переосмысления церковнославянизмов ярко обозначился уже в дворянских стилях второй половины XVIII века. В. К. Тредьяковский упрекал А. П. Сумарокова: «Автор отнюдь не знает коренного нашего языка славенского. Пишет он *коль*, производя от подлого *коли*, за (т. е. вместо) *когда* и *ежели* весьма неправо и развращенно... Пишет же автор *отселе* за *отсюду*, не зная, для того что *отселе* значит *отныне*. Пишет он и *довлеют* за *долженствуют*. Однако, слово *довлеет* значит *довольно есть*, а не *должно есть*. Слово *поборник* значит не противника (ср. стих Сумарокова: «Поборник истины, бесстыдных дел рачитель»), но *защитника, спосгешника*». Очень интересны указания В. К. Тредьяковского на различия между «славенским» и «славено-российским» языками по поводу Сумароковского употребления слова — *седалище*: «Знает автор, что сие слово есть славенское, и употреблено в псалмах за стул; но не знает, что славено-российский язык, которым автор все свое пишет, соединил с сим словом ныне гнусную идею, а именно то, что в писании названо у нас афедроном» (т. е. задницею). А. А. Куник, «Сборник материалов для истории Академии наук в XVIII веке», Спб. 1866, II, 479, 480, 483.

Для этих приемов бытовой этимологизации церковнославянизмов очень типичны рассуждения кн. Вяземского о стихах Ломоносова: «В оде десятой:

Когда заря багряным оком
Румянец умножает роз,

багряное око — никуда не годится. Оно вовсе непоэтически означает воспаление в глазу и прямо относится до глазного врача». И в другом месте «Записной книжки»: «Ломоносов сказал: «Заря багряною рукою». Это хорошо, только напоминает прачку, которая в декабре месяце моет белье в реке».[1] В сущности, от этого метода толкования очень мало отличается «пояснение» Воейкова к стиху «Руслана и Людмилы» Пушкина: «С ужасным, пламенным челом», — т. е. с красным, вишневым лбом».

По тому же способу расценивалась и рассматривалась карамзинистами фразеология церковнославянского языка. «Можно ли *разрушить* коварство?», спрашивает Карамзин. Прочитав фразу: «Беспокойства, *восставшие* в твоем семействе», он поясняет: «Беспокойства ни *ложиться*, ни *восставать* не могут».[2]

Протесты европейцев против «долгосложно-протяжно-парящих» слов свидетельствуют, что отрицательная оценка славянизмов зависела не только от значений слов, но и от их морфологической структуры. О славянофиле П. Львове[3] «Разговор в царстве мертвых» говорит так:

Писал похвальные слова мужам великим
Надутым слогом, пухлым диким.
Предлинные слова в шесть, семь слогов ковал.[4]

Н. М. Карамзин заявлял, что «авторы или переводчики наших духовных книг... растянули, соединили многие слова и *сею химическою операциею* изменили первобытную чистоту древнего славянского». Д. В. Дашков, критикуя «Рассуждение» Шишкова,[5] спрашивал: «должно ли искать в нежных сочинениях огромных и многозвучных слов?» и в статье о шишковском переводе двух статей из Лагарпа («Цветник» 1810, VIII, стр. 297—300) приводил пародические примеры длиннейших славянских образований по типу «древо *благосенно-лиственное*», вроде: «*длинногустозакоптелая* борода, *христогробопоклоняемая* страна» и т. п.

Кн. Вяземский в статье «О злоупотреблении слов», рассуждая о лексической скудости русского литературного языка, ирони-

[1] Кн. Вяземский, «Старая записная книжка», XI, 62.

[2] «Моск. журнал», II, 207.

[3] О П. Львове см. «Литературное наследство. XVIII век», 217.

[4] «Современник» 1857, LXIII, N. «Примечания к письмам Карамзина» (0215).

[5] Ср. замечание А. С. Шишкова: «Иной... не хочет верить, что *благодатный, неискусобразный, тлетворный, злокозненный, багрянородный* суть русские слова, и утверждает это тем, что ни в Лизе, ни в Анюте их не читал».

зирует над славянизмами и славянофилами: «У нас нет глагола, равнозначительного с французским déguiser, нет у нас и еще кое-каких слов, несмотря на восклицания патриотических или (извините!) отечественнолюбивых филологов или (извините!) словолюбцев, удивляющихся богатству нашего языка, богатого... вещественными, физическими запасами, но часто остающегося в долгу, когда требуем от него слов утонченных и нравственных».[1]

А. С. Шишков протестовал против этого гоненья на длинные славянизмы: «В языке нужны и длинные и короткие слова; ибо без коротких слов будет он похож на некое протяжное мычание коров, а без длинных — на некое единообразное и краткозвучное стрекотание сорок» (Собр. соч. и перев., V, 229).

Отбор и запрет были только начальным этапом в работе западников над церковнославянизмами. Далее наступал процесс стилистической ассимиляции, фразеологического приспособления и переосмысления их. Для характеристики приемов салонного «переодевания» церковнославянизмов любопытен такой пример каламбурного употребления библейских символов у Карамзина в письме к Дмитриеву: «Как можно вымарать стихи свои? Они для меня всех дороже. Воля твоя: *я воскрешу* их, *сниму с креста* или *крест с них*» («Письма», 106).

Так церковнославянская лексика и фразеология, отобранная и приноровленная к стилистическим и жанровым варьяциям языка светского дворянского общества, теряла свою культовую и книжно-официальную экспрессию, отрывалась от контекста церковной идеологии и в этом «очищенном» виде вступала в разнообразные сочетания с формами литературной и разговорно-бытовой фразеологии, смешиваясь с салонным просторечием и французским языком. А. С. Шишков жаловался: «Славенский язык презрен, никто в нем не упражняется, и даже самое духовенство, сильною рукою обычая влекомое, начинает уклоняться от него» (Собр. соч. и перев., XII, 249).[2]

---

[1] Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского, 1878, I, 270.

[2] Любопытна картина социально-языкового взаимодействия между светским обществом и духовенством, рисуемая в комическом свете кн. Вяземским: «Во дни процветания библейских обществ, манифестов Шишкова и злоупотребления, часто совершенно не у места, текстами из священного писания, Дмитриев говорил: «С тех пор как наши светские писатели просятся в духовные, духовные стараются применить язык свой к светскому». К нему ходил один московский священник, довольно образованный и до того сведущий во французском языке, что, когда проходил по церкви мимо барынь с кадилом в руках, говорил им: «pardon, mesdames». Он не любил митрополита Филарета и критиковал язык и слог проповедей его. Дмитриев никогда не был большим приверженцем Филарета, но в этом случае защищал его. «Да, помилуйте, ваше превосходительство», сказал ему однажды священник, «ну таким ли языком писана ваша *Модная жена?*» («Старая записная книжка», 76).

Разговорно-бытовая стихия опрокидывала, нарушала употребление даже таких церковнославянизмов, которые укрепились в официально-канцелярском языке. Например, указом Павла I (1797) отменялось слово *выполнение*, взамен «повелено употреблять слово — *исполнение*». [1] Кн. П. А. Вяземский в статье «О злоупотреблении слов» разъясняет, что причиной такого распоряжения было смешение этих слов: «У нас есть глаголы — *исполнить* и *выполнить*. Каждый имеет свое определенное значение, но злоупотребление замешалось, и начали последний ставить иногда на месте первого. Кто-то, писавший к императору Павлу I, впал в эту ошибку. Государь собственноручно означил на бумаге: «Выполняют горшки, а приказанья царя исполняют»,— и возвратил бумагу с выговором». [2] Но, с другой стороны, в том же указе Павла I запрещалось употребление слова «*преследование*» (а взамен предписывалось: «посланной в погоню»). Дело в том, что под влиянием французского poursuivre значение церковнославянского глагола *преследовать* резко изменилось. Так, еще А. П. Сумароков писал о «неприятностях в язык наш введенных». «Например: слова *обнародовать, преследовать, подметить, на какой конец* и пр. Не знаю только, будут ли наши потомки сии странные изображения употреблять... например: слово *поборник* не то знаменует, каково оно, но совсем противное; *поборник* мой по естеству своему тот, который меня поборает; а по употреблению тот, который за меня других поборает. Сим образом вошло сие: *слышу запах*, хотя запах обонянию, а не слуху свойственен; но *слышу* вместо обоняю никто еще в печати не издавал, хотя в простом складе то употребить и можно. *Обнародовать* значит *населить*. *Преследовать*: исследованное дело вновь исследовать, или огнать кого, а не гнать! а *предметом* могла бы назваться *цель*, а не *видь* моих устремлений, если бы такое слово и существовало. Вошло было в моду слово *тесная дружба*, вместо *великая дружба*, но в нашем языке тесная дружба знаменует принужденную дружбу; да и то не употребительно». [3]

Таким образом границы литературного языка для европейцев сужались. Обречен был на отмирание целый ряд жанров в высоком и даже среднем слоге. Шишков боролся с этим литературно-культурным течением, прибегая к злостным политическим намекам: «Желание некоторых новых писателей сравнить книжный язык с разговорным, т. е. сделать его одинаким для всякого рода писаний, не похоже ли на желание тех новых мудрецов, которые помышляли все состояния людей сделать равными?» (Собр. соч. и перев., IV, 74). Языковая реформа карамзинистов казалась славянофилу попыткой «под именем русского языка произвесть новый, который бы состоял из одного про-

[1] «Русск. старина» 1871, I—VI, 531—532.
[2] Полн. собр. соч. кн. Вяземского, I, 285.
[3] Полн. собр. соч. Сумарокова, М. 1787, X, 14—15.

сторечия, располагаемого по складу французского языка, совершенно свойствами своими с нашим различного» (Ib., XII, 163). Задача западников была — из того фонда слов и выражений, который составлял общее владение книжного и разговорного языка дворянства, — с захватом смежных сфер литературы и просторечия, создать формы салонного светского «красноречия», далекого от приказных и церковных стилей, ориентируясь на французский язык и на риторику «благородного» общества. Различие между стилями салонно-литературного языка было обусловлено степенью риторической изощренности. «Высокий слог должен отличаться не словами или фразами, но содержанием, мыслями, чувствованиями, картинами, цветами поэзии», писал П. Макаров (Соч. и перев., II, 41). В этом плане подвергались переоценке и переосмыслению церковнославянизмы, вовлекавшиеся в «средний» французский стиль. Мифология и идеология церковнославянского языка принципиально отвергалась, устранялась или распиналась по принципам европейской семантики.

В сущности, та же далекость от мифологических и идейных основ церковной речи, тот же эстетический отбор звучных и понятных слов и выражений, но уже с оттенком игривой иронии, характеризуют отношение к «славенскому» языку со стороны тех продолжателей Карамзинского дела, которые стали приспособлять Карамзинский стиль к буржуазным вкусам 20—30-х годов. Александр Бестужев писал: «Язык славенский служит для нас арсеналом: берем оттуда меч и шлем, но уже под кольчугой не одеваем героев своих бычачьею кожей, а в охабни рядимся только в маскерад. Употребляем звучные слова, например, вертоград, ланиты, десница, но оставляем червям старины семо и овамо, говядо и т. п. Впрочем, для редкости я бы желал взглянуть на поэму или трагедию, в наше время писанную на славенском языке, хотя бы не стихами, а в благородной (т. е. не мещанской) прозе» («Сын. отеч.» 1822, XVIII, 262—263). И в другом месте: «Легкий слог должно употреблять и в важных сочинениях, если хотим дать им вес, не делая их увесистыми. Впрочем, легкие пьесы не чуждаются выражений высоких. Батюшков, Жуковский, Пушкин в самых эротических сочинениях употребляли слова: денница, трикраты, скудель и т. п., потому что гений украшает все, до чего ни касается. Другой пишет то же, но слог его пуст, а все не легок» (Ib., 265). Любопытно вспомнить отзыв В. К. Кюхельбекера о стилистических замечаниях А. А. Бестужева по поводу церковнославянизмов: «Невежество... особенно обнаруживается в суждениях об языке и слоге, например, Бестужев не знает или не хочет знать, что *внуши* на славянском синоним глаголу *внемли*, что *воня* слово отнюдь не низкое, а принадлежащее церковному языку и пр.» («Дневник В. К. Кюхельбекера», 125).

Отношение А. А. Бестужева-Марлинского к церковнославянизмам, которые проецировались им на смысловой фон разговорного языка, особенно ярко обнаруживается в таком отзыве о Катенинском переводе Расиновой «Эсфири»: «Переводчик хотел украсить Расина; у него даже животом славят всевышнего:

Уста мои, сердце и весь мой живот,
Подателя благ мне, да господа славит.

Трудно поверить, что еврейские девы были чревовещательницами, но в переносном смысле принять сего нельзя, ибо поющая израильтянка перечисляет здесь свои члены. В подлиннике:

Que, ma bouche et mon coeur
et tout ce que je suis».

Правда, в плоскости исторического повествования, где самый предмет изложения влек за собой старинную номенклатуру, где национально-патриотическая патетика легче всего находила себе выражение в формах церковной риторики, как будто достигнуто было некоторое соглашение между европейцами и славянофилами. По крайней мере, язык «Истории государства Российского» Карамзина в 20-е и особенно в 30-е годы оценивался как симптом некоторого компромисса, уклона Карамзина в сторону славянофильства и церковно-книжной традиции. Так, по мнению Н. И. Греча, появление «Истории государства Российского» доказало, что «Карамзин отнюдь не думал отвергать особенностей и красот языка церковного, а только, по свойству прежних своих сочинений, не считал надобным ими пользоваться» («Чтения о русском языке», I, 158). По оценке Ф. Ф. Вигеля, А. С. Шишков указал Карамзину «средства дать более важности и достоинства историческому слогу» («Воспоминания», II, 152). Однако эта реставрация стилистических прав церковнославянского языка в некоторых литературных (преимущественно публицистических) жанрах, характерная для дворянско-аристократических стилей первой половины XIX века, сопровождалась существенными ограничениями функций церковнославянизмов и не нуждалась ни в лингвистических теориях Шишкова ни в стилистической систематике славянофилов младшей линии. И приемы фразеологических комбинаций и формы синтаксического построения у Карамзина и у карамзинистов продолжали носить открытый, глубокий отпечаток западноевропейского, главным образом французского, влияния.

Еще во второй половине XVIII века круто и резко западники повернули в европейскую сторону от церковнославянского синтаксиса. Уже в «Сокращенном курсе российского слога» Подшивалова (Скворцова) новые формы синтаксического построения объясняются отрывом литературы от церковнославянской тра-

дищии и ставятся в непосредственную связь с французским влиянием на русский язык (20—30).

В реформе синтаксиса русской литературной речи европейцы нередко видели свою главную победу над славянофилами и национальное оправдание своего разрыва с церковнославянской традицией. И. И. Дмитриев считал утверждение новых форм синтаксиса основой литературной деятельности Карамзина: «Вникая в свойство языка и в тогдашний механизм нашего слога, он находил в последнем какую-то пестроту, неопределительность и вялость или запутанность, происходящие от раболепного подражания синтаксису не только славянского, но и других, древних и новых европейских языков, и по зрелом размышлении пошел своей дорогой и начал писать языком, подходящим к разговорному образованного общества 70-х годов... в составлении частей периода употреблять возможную сжатость и притом воздерживаться от частых союзов и местоимений «который» и «которых», а вдобавок еще и «коих»; наконец, наблюдать естественный порядок в словорасположении. Объясним это примером. Елагин, помнится мне, третью книгу «Российской истории» начинает так: «Неизмеримой вечности в пучину отшедший князя Владимира дух». Держась естественного порядка в словорасположении, следовало бы поставить: «Дух князя Владимира, отшедший в пучину вечности неизмеримой», хотя и таким образом изложенная часть периода была бы надута и нетерпима образованным вкусом» («Взгляд на мою жизнь» — Соч. И. И. Дмитриева, II, 60—61).

В 1785 году (11 июня) приятель Карамзина Петров писал ему, пародируя синтаксис книжного языка: «Лучше пиши все свое сочинение на славяно-русском языке долгосложно-протяжнопарящими словами. Для дополнения же твоего искусства писать таким слогом, советую тебе читать сочинения в стихах и в прозе Василия Тредьяковского, *коего о в любви езде остров книжицею пользуюсь переводною, ныне с французского языка и весьма ту читаю»* (М. П. Погодин, «Н. М. Карамзин», 1866, I, 30). С именем Карамзина писатели первой половины XIX века в 30—40-х годах непрочь были связывать самую проблему литературного «слога». Так, Н. И. Греч в «Чтениях о русском языке» писал, что в XVIII веке «слога еще не было, если мы под сим слогом разумеем свойственное духу нашего языка расположение слов, приличных предмету» (110). Указав на латино-немецкий синтаксис Ломоносова, Н. И. Греч продолжает: «Ломоносов не говорит о собственной русской конструкции, т. е. о порядке и размещении слов, свойственных русскому языку. От этого упущения возникло странное и нелепое правило позднейших грамотеев: «ставь слова как хочешь» (110—111). «Лишь Карамзин угадал и употребил истинное русское словосочетание, узнал, как Малерб, где должно ставить каждое слово.

Ломоносов создал язык, Карамзину мы обязаны слогом русским» (127).

Еще раньше, в «Учебной книге русской словесности» тот же Н. И. Греч приписывал Карамзину реформу литературного «словосочинения»: «Карамзин по справедливости предпочел словосочинение французское и английское периодам латинским и немецким, в которые дотоле ковали русский язык; он видел, что язык сей, пользуясь в поэзии и в высшем красноречии свободою языков древних, должен в прозе дидактической, повествовательной и разговорной придерживаться выражений народных, следовать словосочинению логическому, господствующему в новых языках европейских» (изд. 2, Спб. 1830, ч. IV, стр. XII). Укрепившиеся в русском литературном языке под французским и английским влиянием нормы словорасположения были отчетливо и точно описаны и формулированы И. И. Давыдовым в статье «Опыт о порядке слов» («Труды Общ. люб. росс. слов.» 1816—1817, 1819, V, VII, IX, XIV).

Порядок слов — это был больной вопрос синтаксиса церковнославянского языка XVIII века. С ним соединялся вопрос о структуре синтагм, о протяжении предложения, о длине периода. Когда в начале XIX века представители новой литературы говорили о «старом слоге», то они прежде всего обвиняли его в «запутанной расстановке слов» и в «затрудненном движении мысли по тягучим периодам». Так, П. А. Плетнев, отмечая среди недостатков Милонова как писателя, который «стоит по языку назади от своего времени», запутанную расстановку слов, тут же прибавляет: «Встречаются у него периоды столь длинные, что внимание, будучи утомлено набором подлежащих или сказуемых, теряет из виду связь мыслей» (Соч. и переп. I, 23). «Правильный ход всех слов периода, смотря по смыслу речи», «естественное словосочетание» и «гармония» — вот те свойства нового слога, которые противополагались запутанности конструкций и однообразию периодов старого языка. В «Заметке о сочинениях Жуковского и Батюшкова» тот же Плетнев писал:

«Живи! — и тучи пробегали
Чтоб редко по водам твоим. [1]

Сия гробница скрыла
Затмившего мать лунный свет. [2]

Всякий согласится, что подобная расстановка слов, при всех совершенствах поэзии, стихи делает запутанными. [3] Жуковский

---

[1] «Водопад» Державина, 71 строфа.

[2] «На смерть графини Румянцевой», стр. 6.

[3] Н. Д. Чечулин («О стихотворениях Державина», «Изв. Отд. русск. яз. и словесн. РАН», XXIV, кн. 1, стр. 87—88) правильно указывает, что это «искусственное расположение слов, совершенно не соответствующее логическому отношению отражаемых ими понятий», было связано с классическими, преимущественно латинскими, традициями в русском литературном языке. «Искусственность, даже запутанность словоразмещения

и Батюшков показали прекрасные образцы, как надобно... очищать дорогу течению мыслей. Это имело удивительные последствия» (Ib., 25).

Понятие гармонии определялось как соответствие между внешними фонетико-синтаксическими формами речи и ее содержанием. «Гармония», писал П. А. Плетнев, «требует полноты звуков, смотря по объятности мысли, точно так, как статуя — определенных округлостей, соответственно величине своей. Маленькое сухощавое лицо, сколько бы черты его приятны ни были, всегда кажется нехорошим при большом туловище. Каждое чувство, каждая мысль поэта имеет свою объятность. Вкус не может математически определить ее, но чувствует, когда находит ее в стихах или уменьшенною, или преувеличенною, — и говорит: «Здесь не полно, а здесь растянуто» (Ib., 25).

Но этот принцип гармонии осуществляется в синтаксических конструкциях более сжатых, более тесных, по сравнению с синтаксисом предшествующей поры. Плетнев даже несколько боязливо относится к «сжатости» слога Жуковского: «Что касается до изображения глубоких чувствований, слог его сжат, и потому чаще всех писателей у него встречается фигура удержания:

О ,кто ты, тайный вождь! Душа тебе во след!..[1]

Хотя он первый удачнее всех начал в самых коротких словах заключать множество мыслей, но это ему иногда вредит, потому что излишняя сжатость слога бывает причиною темноты мыслей» (Ib., 27).

Очень интересны суждения С. П. Шевырева о синтаксической реформе Н. М. Карамзина.[2] С именем Карамзина связывается процесс укоренения в русском литературном языке «легкой, ясной, новоевропейской фразы». Находясь под влиянием германской философии, С. П. Шевырев выдвигает такую формулу «доброго эклектизма» русской литературной речи: «мы думаем по-немецки, а выражаемся по-французски».

почиталась за одно из украшений речи в классической, особенно в римской литературе; такой взгляд держался и в среде поэтов, писавших по латыни и в XVI—XVII веках. Синтаксис Державина особенно пестрит запутанностью конструкций, например:

Кого ужасный глас от сна
На брань трубы не возбуждает (II, 102).

или:

И чем в Петрополе, будь счастливей на Званке.

В стихотворении «Жизнь званская» (II, 408):

Забавно, в тьме челнов с сетьми как рыбаки,
Ленивым строем плыв, страшат тварь влаги стуком».

Ср. также описание державинского синтаксиса у Я. К. Грота: «Язык Державина», Соч., IX, 352—354.

[1] «Славянка», элегия.

[2] «Москвитянин» 1842, II, № 3, 159—160.

Следы особенно сильного влияния французского языка Шевырев находит в повествовательной прозе: «Направлению Карамзина... мы остаемся до сих пор верны, и, конечно, проза французская более всякой другой имеет влияния на современную русскую. После французов и англичан — мы в Европе все-таки первые рассказчики и в этом далеко оставили за собою немцев».

Чрезвычайно остро и глубоко различие в отношениях к вопросам синтаксиса между западниками и славянофилами охарактеризовано в 40-х годах К. С. Аксаковым. Западники, по мнению К. С. Аксакова, боролись с «фразой органическою» и утверждали «фразу неорганическую». Органическая фраза, свойственная письменной речи и развивавшаяся в церковнославянском языке, это «фраза полная, замкнутая, объемлемая основным понятием», с глаголом, поставленным на конце и «твердо, окончательно заключающим фразу», с порядком слов, похожим на латино-немецкий. «Письмо соответствует такой фразе, где слово ждет, пока сомкнется вся она, совокупит в одно целое все свои части; где слова должны помниться, пока предстанут в общем строении, — следовательно, неудобной для разговора фразе, где часто глубоко, подолгу обдумывается выражение...»[1] В сущности, сама эта цитата из рассуждения К. Аксакова может лучше всего иллюстрировать своим синтаксическим строем понятие «фразы органической». Вот с этим-то типом сложно построенной «органической фразы» боролись западники, канонизуя как основную форму литературного языка «фразу неорганическую». Она так описывается К. Аксаковым: «Слог идет, куда ведет его случайность... фраза перебивается несколько раз, конструкция остается решительно недоконченною; но кроме этого, когда и не перебивается конструкция, когда может она свободно, плавно выразиться в речи, и тогда элемент, сфера языка образуют ее согласно с собою, представляют ее свободно бегущею; фраза, при отсутствии твердой, постоянной мысли, вполне ею владеющей, является всегда легкою, незамкнутою, открытою; по мере того, как понятия в течение самой речи восстают одно за другим, присоединяются к ней слова».[2]

Итак, отношение западников к церковнославянизмам можно выразить в следующих тезисах:

1. Церковнославянский язык как структурная основа литературной речи отрицается, признается «обветшалым», несоответствующим формам новой буржуазно-дворянской европейской культуры.

2. Жанры и стили литературной речи, обусловленные «смешением» церковнославянского языка с русским, игнорируются.

---

[1] К. Аксаков, «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», 1846, 365.

[2] Op. cit., 363.

Самый принцип слияния церковнославянизмов с просторечием и «простонародными словами» считается отжившим, социально-чуждым.

3. Церковнославянизмы подвергаются исключению и чистке с точки зрения норм «салонного» стиля, языка «светской дамы», утвержденного на формах «среднего слога».

4. Остающиеся церковнославянизмы переживают процесс этимологизации и переосмысления на основе национально-бытовых дворянских разговорных стилей и французского языка.

5. Фразовая структура церковнославянского языка отвергается или экспрессивно преобразуется, распадаясь на отдельные элементы, вступающие в новые контексты.

6. Библейские образы, особенно если они переведены на «человеческий язык», сохраняются и даже культивируются в «цветных», высоких стилях.

7. Синтаксические формы церковнославянского языка подвергаются коренной ломке (структура периода, порядок слов, принципы сочетания и подчинения предложений, ритм).

8. Сужение сферы церковнославянского языка было связано с отрицанием старой книжной культуры, близкой к церковной идеологии и мифологии. В общественном быту русского европейца стирались резкие грани между книжным и разговорным языком. Нормы литературной речи приспособлялись к языку дворянского салона, а разговорный язык светского общества в свою очередь устанавливал свои нормы под влиянием форм литературного выражения.

Славянофилы не могли принять ни одного из этих положений.

§ 2. Взгляды славянофилов на значение и назначение церковнославянской стихии в структуре русского литературного языка связаны не только с их общественно-философскими и литературно-эстетическими воззрениями, но и с их концепцией языка, концепцией образа и литературного выражения. Наиболее полным и цельным идеологом славянофильства начала XIX века в сфере литературного языка был А. С. Шишков. Для него язык — прежде всего своеобразная структура идеологии и мифологии, а слово — образ и миф о мире. Идеальнее и законченнее, чище и «первобытнее» система образного отражения действительности запечатлена, по мнению Шишкова, в «славенском» языке и в русском, как одном из наречий этого «славенского» языка. Именно эта относительная чистота сохранившихся в «славенском» языке, как языке Библии и церковной письменности, первобытных, «коренных» образных основ языка всего человечества побуждала Шишкова и других славянофилов отстаивать господствующее положение церковнославянизмов в литературной речи. Та же причина, по мнению славянофилов, обеспечивала церковнославянскому языку ни с чем не сравнимую

силу экспрессии, яркость и богатство метафор, обилие мыслей, красоты поэтического выражения, простоту и величие значений.

Идея структурного единства общечеловеческого языка, хотя и в разной степени, определяла понимание слова не только у Шишкова, но и у других славянофилов. Например, Грибоедов свои интересные замечания на русскую грамматику Греча заканчивал таким заявлением: «По-моему, система языка только в подробностях образуется постепенно, а главное ее основание есть *одна из врожденных идей в человеке*; доказательством служат народы, отделенные друг от друга океаном, никогда не имевшие сообщения между собою, а коренные правила языка у всех у них одни и те же».[1]

Поэтому необходимо, хотя бы в общей форме, изложить Шишковскую метафизическую концепцию языка, чтобы вполне уяснить отношение славянофилов к «красотам» и «поэзии» церковнославянского языка.

Преимущества славянского языка доказываются необыкновенной прозрачностью его смысловой структуры. «Наблюдательный ум часто видит в нем непрерывную цепь понятий, одно от другого рожденных, так что по сей цепи удобно может восходить от последнего до первоначального ее, весьма отдаленного, звена» (Собр. соч. и перев., XI, 18. Речь, произнесенная 5 февраля 1821 г.). Ведь «первобытный язык исчез сам по себе, но существует во всех языках, в иных больше, в иных меньше. Он существует в них не словами своими, но корнями, из которых каждый язык произвел свои ветви» («Опыт рассуждения о первоначальном единстве и разности языков», 31). Так, в аспекте палеонтологии речи каждый язык говорит о первобытном языке и хранит его следы. Возникает вопрос: «какой язык сохраняет в себе более первоначальных корней, или, скажем иначе, существует ли такой ближайший к первобытному язык», чтобы в нем яснее всего сквозила структура первобытной речи? (Ib., 46). Шишков склонен таким «яфетическим» (ср. «Выписку из книги Tableau de Pologne par Malte Brun», 1—2) языком почитать язык славянский. Шишков подходит к решению проблемы первобытности через анализ семантической структуры слова. В каждом слове различаются два значения: коренное и ветвенное. «Коренное значение, относясь ко многим вещам вдруг, не определяет никоторой из них, но только *показывает* нечто всем им сродное или свойственное» («Опыт рассуждения...», 42). «Ветвенное, напротив, определяет каждую вещь порознь». Оно «устремляет воображение наше прямо на образ вещи...» (Ib., 43). При этом возможно забвение мотивации значения, забвение внутренней формы слова, образа: «коренное значение затмевается ветвенным и даже совсем от очей

[1] Полн. собр. соч. А. С. Грибоедова, изд. Академии наук, III, 103.

разума исчезает» (Ib., 43). «Повторение и наслышка» содействуют непосредственному прикреплению слова к «предмету» без понимания «причины, по которой он так назван» (таковы, например, слова: камень, гриб, вишня — в отличие от слов, сохраняющих внутреннюю форму, «таких как темница, медведь, черница» и т. п.). Отсюда вытекает обобщение смысла, распространение его на целый род «предметов» — иногда в противоречии с коренным значением слова, например, белый голубь (т. е. белый голубой).

Метод отыскания коренного значения — сопоставление слов одного корня с точки зрения связи понятий (например, гриб — гроб). Фонетическая близость слов сама по себе не может «привести к познанию, каким образом от одного и того же языка расплодились толь многие и толь различные между собою наречия» (Ib., 48—49).[1] Поэтому гораздо важнее изучение систем мышления... «Надлежит вникать в те переходы из одних понятий в другие, с ними смежные, какими ум человеческий в каждом языке при составлении оного руководствовался, когда из общего всем им корня каждый народ по собственным своим соображениям производил ветви» (Ib., 49). При общности корня можно рассмотреть, сквозь различие выговора и значений в разных языках, единство первоначального понятия, из которого произошли все ветви этого корня. Надо лишь «освободить ум из-под сильной власти навыка» (Ib., 61).

Формы разветвлений коренного значения у разных народов неодинаковы, «поелику один человек относит по некоему подобию коренное понятие к одной, а другой по такому ж понятию к другой вещи или предмету» (ср. значения русского *отбой* и французского *débat*). Число ветвей одного корня различно в разных национальных языках (ср. *бить* — *убить*, франц. *battre* — *tuer*). Однако и при разности обозначений какого-нибудь предмета «должна быть некая потаенная смежность понятий или связь мыслей» между разными языками человечества, так как из смысловой структуры предмета объясняется характер его имени (ср. франц. *le vent s'abat* — и общепонятность выражения «сбивает себя» в смысле нашего «стихает»).

Так перед исследователем встает во всей остроте проблема «семантических рядов», упирающихся в первоначальное коренное значение, или, лучше, семантических «дерев», разросшихся своими ветвями из одного корня. Семантика для Шишкова «есть истинное основание сродства языков, показующее несомненное происхождение их от одного начала, т. е. от пер-

[1] Еще более резко отвергаются Шишковым «толкования, основанные на одном сходстве звука». Он сравнивает их с каламбурными осмыслениями иностранных слов такого типа: кабинет — как бы нет; итал. placa gli sdegni tuoi — плакали деньги твои; франц. oublions jusqu'à la trace — обольом жосткой матрас (XI, 83).

вобытного языка, и открывающее нам следы ума человеческого, хотя в каждом языке при размножении оного различно действовавшего, но всегда на основании порядка и непрерывной цепи соображений» (Ib., 78). Различия между языками — это различия типов и стадий мышления в пределах закономерных связей понятий. «Разность сия не есть особое каждым народом изобретение слов, но постепенное, на очевидных причинах основанное и, следственно, весьма естественное изменение и возрастание одного и того же языка» (Ib., 88).

Внешним основанием, так сказать видимой опорой семантических сопоставлений являются «согласные» звуки корня как наиболее существенные и устойчивые его формы, «с которыми гласные, как меньше существенные части, по произвольному употреблению соединяются и перемешиваются» (Ib., 88, Примеч. 2).[1] Корень — при всех своих изменениях и сокращениях — все же остается символом (хотя и не осознаваемым, «субстанциальным», так сказать) единства всех языков, «не перестает объявлять то же самое, общее всем языкам коренное понятие, от которого каждый из них производил свои ветви» (Ib., 90). И только через посредство корней можно разуметь принципы связи между разными языками (ср. латинское *interstitium* — междустояние и русское *промежуток*; но промежуток и междустояние «оба суть не иное что как то, что между двумя пределами лежит или *стоит*», Ib., 91). Различия между системами мышления, открываемые в разных языках, объясняются эволюцией культуры и сменой идеологий. Например, латинское *superstitium* — по своему «составу» соответствует русскому *застойство*, а по смыслу — *суеверие*. Но, с точки зрения Шишкова, палеонтология корня делается понятной, если вспомнить, что «латинцы в языческие времена почитали христианскую мысль о *стоянии*, т. е. пребывании за пределами жизни, *суетною верою* и потому под словом застойство, superstitium, разумели *суеверие*» (Ib., 92).[2]

Так «словопроизводство», или, по нашему, палеонтология слова, становится центром славянофильского учения об языке. Она вручает «светильник, озаряющий те таинства, которые без того

---

[1] Впрочем, Шишков настаивает на решительном предпочтении семантического принципа фонетическому: dies и jour не имеют в звуковом строении ни малейшего сходства, «но по происхождению и значению оба суть одно и то же слово» (ср., напротив, лат. prosto и русское *просто* 98).

[2] Точно так же, определяя коренную связь глагола *крою* (с его ветвями: закрыть, открыть, покрыть, крыша, покрываю, покровитель, сокровище и пр.) с словом *кора*, Шишков такой ссылкой на первобытный быт, на материальную культуру объясняет «смежность понятий»: «Без сомнения, первые люди, прежде нежели достигли до построения домов из бревен или досок, находили убежище и защиту под ветвями дерев, под кущами или шалашами, где древесные листья, а особливо *кора* служили им первою корышею (сокращенно же *крышею* или *крышкою*) от непогод» (Ib., 186).

останутся сокрытыми во всегдашнем мраке. Тогда во всяком слове будем мы видеть мысль, а не простой звук с привязанным к нему неизвестно почему и откуда значением» (Ib., 99—100). Только в глоттогоническом плане уясняется диалектика смысловой эволюции слова. «Так, например, в глаголе повелительного наклонения *ступай!* скорее представляется нам понятие о движении, нежели о неподвижности; однакож, собственно, по коренному смыслу, значит он: останавливайся на стопе (т. е. на подошве ноги); но как сия кратковременная *остановка* или *пребывание на стопе* в сравнении с движением человека нечувствительна, то в сем соединении двух противных между собою действий одно из них затмевает другое, так что мы под глаголом *ступай!* разумеем более *иди*, нежели *останавливайся*» (Ib., 82, Примеч.).

Исследователь законов языка, сопоставляя формы выражения понятий на разных языках, в славянском языке находит наиболее осязательные следы первичной образной связи понятий (ср. «язык = я (есмь) зык, т. е. звук, звон, голос, гул»; немецкое Jahr, не обнаруживающее первоначальной мысли, уясняется через славянское *яр*, означающее «солнечную теплоту или свойство огня...» (Ib., 117) и т. п.). А ведь «смежность и соответственность понятий, изыскание доказательств к связыванию колен» — не только единственный путь к решению вопроса о происхождении языка, но и непререкаемое доказательство первобытности славянского языка.

Характеристической чертой славянского языка является его «семейственность», обилие форм, связанных с одним корнем (ср. анализ слова *лукà* и производных: лукоморье, излучина, луковица, лукавить, отлучать, случать, прилука, залучить и т. д., Собр. соч. и перев., IV, 27—31), и, следовательно, ясность идеологической системы языка. Ведь каждое слово «заключает в себе не простое только значение, но разум, выводимый из первоначального понятия, т. е. из корня, от которого сие слово, как ветвь, произросло» (Ib., 30). Таким образом в славянском языке система связи первоначальных понятий как некий идеальный остов сохранена в большей целости, чем в других языках, например французском (ср., например, славянское семейство слов — *лука* и производных от этого корня с французскими соответствиями, Ib., 31—32). [1] «Где таковые семейства многочисленнее и где их больше, то кажется безошибочно заключить можно, что язык сей есть несравненно древнейший и богатейший, поелику видно, что он о составле-

---

[1] Ср. «Опыт рассуждения о первоначалии, единстве и разности языков» и академическую речь 5 февраля 1821 г.: «Я почитаю язык наш столь древним, что источники его теряются во мраке времен; столь в звуках своих верным подражателем природы, что, кажется, она сама составляла оный» (Собр. соч. и перев., XI, 18).

нии слов своих, так сказать, сам умствовал, из самого себя извлекал их, рождал; а не случайно как-нибудь заимствовал и собирал от других народов» (Ib., 32—33). В связи с этим свойством славянского языка находится лаконическая изобразительность его словесного строя, малочисленность слов-терминов и обилие слов, «описующих образ вещи или действие или качество и, следовательно, заступающих место целых речений» (Ib., 33). Иными словами: по Шишкову, славянский язык превосходит другие языки богатством мыслей (ср. внутреннюю форму славянского слова — *целомудрие* с французским chasteté и немецким Keuschheit; ср. богатство идей в славянских сложных словах: присносущный, благообразный, лютонравный, песнопение, благоухание, чадолюбие, искони, вретище, сладкоречие и «тысяче сему подобных», Ib., 34). Отсюда вытекают риторические красоты славянского языка, состоящие в его простоте и силе, в точном соответствии мысли с «великолепием и важностью слов», в необыкновенной смелости и образности выражений, в богатстве экспрессивных форм (ср. «парение духа, выспренность мысли и высоту языка» Псалтыри с одной стороны, и «простой, мягкий, нежный язык «Песни песней» — с другой»). «Что составляет красноречие, как не избранные, богатые смыслом слова, расположенные таким образом, что услаждают вместе и слух и разум? Что составляет и силу и высоту слога, как не краткость?» (Ib., 52). И все это можно в изобилии найти в языке священного писания и церковных, богословских книг, который, конечно, требует большего размышления и глубокомыслия при чтении в сравнении с тою легкостью, «с какою пробегаются простые стишки или повести и рассказы, служащие пищею одному любопытству, а не уму» (Ib., 43).

В каком же отношении к этому славянскому «коренному» языку, полному необычайных красот, уберегшемуся от порчи, находится русский язык? Это — *один и тот же язык:* ведь «под именем языка разумеются корни слов и ветви, от них происшедшие». А они в большей своей части общие у русского и «славенского» языков. Следовательно, различны лишь стили и «наречия». Но это вообще величины гораздо более переменные, чем язык. Библия, летописи, народные сказки или песни — вот, например разные слоги, разные наречия. Но различия слов и «речей» в них не закрывают общности «корневой» основы.

Из наличия наречий в структуре одного языка следует, по Шишкову, что нелепо доказывать отдельность русского языка от «славенского» ссылками на различия их лексических структур, например указывая на «двоякие» имена: «по-русски глаз, лоб, щеки, плечи, а по-славенски око, чело, ланиты, рамена» (Ib., 56). Ведь и в одном языке возможны синонимы (ср. в священных книгах — *рамена* и *плечи*). А, кроме того, даже отсутствие некоторых из этих слов в церковных книгах, писанных

высоким или важным слогом, отнюдь не является отрицанием существования их в «славенском» языке: «Ибо в каком важном сочинении найдем мы *калякать, кобениться, задориться, пригорюниться, ошеломить, треснуть в рожу* и подобные тому простые или низкие слова? Весьма бы странно было признать их не славенскими для того только, что их нет в высоких творениях, в которых им и быть неприлично» (Ib., 57).

Еще более нелепо, признав «славенский» и русский языки наречиями одного и того же языка — первый «наречием священного писания», второй — «наречием светских книг»,— сводить разность между ними к различиям морфологической классификации слов и фраз или к механическому разделению выражений на «русские» и «славенские», «кричать: *чресла, жезл, препояши, безлучный, огнезарный, безлестный, всезлобный, плотоядный, воссоздать, бдение, стыдение, воздоенный* и пр. — это славенские — сохрани нас бог от них! — а *подпоясаться, дубина, горшок, лапти, кочерга, блины, помело, огурцы, квашня,* — вот это наши русские слова» (Собр. соч. и перев., IV, 103).

Опираясь отчасти на факты исторического сродства языков, отчасти на факты «смешения», Шишков категорически отрицает логичность этого мнимого разделения и опровергает его наивно-бытовую стилистическую формулировку: «Сие неудобовозможное разделение основывают... на том мечтательном правиле,что которое слово употребляется в обыкновенных разговорах, так то русское, а которое не употребляется, так то славенское» (Ib., 58). Но последовательное применение этого правила должно привести к удалению из разговора и «таких слов, как нрав, враг, владеть, награда, и к замене их летописными и простонародными — норов, ворог, володеть, нагорода» (Ib., 59). Считая русский и славянский языки одним языком, Шишков стремится приблизить значение русских слов к идеальной структуре славянской семантики.

Любопытны для понимания системы литературно-стилистических категорий в теории националистов-церковнокнижников (название *архаисты* абсолютно неприменимо к Шишкову и его школе) взгляды Шишкова на соотношение русского и славянского наречий в структуре современного ему литературного языка. Шишков считает различие между ними не этимологическим, а стилистическим. Оно обусловлено отношениями «ветвей», т. е. принципами связыванья понятий — слов в каждом слоге. «Всякое слово пускает от себя ветви, из которых иные приличны высокому, а другие простому наречию или слогу». Составляя одно и то же древо (т. е. один язык), эти ветви дифференцированы своим «составом», формами своих разветвлений. Поэтому «нельзя о каждом слове отдельно, не в составе речи говорить» (Ib., 58). Необходимо осмыслить различие слогов путем «разбора свойств» их, «первоначальных оснований», путем анализа их отношений

к коренному, заключающемуся в словах «разуму», и тогда легко понять, «какое слово какому слогу прилично».

В этом аспекте теряют всякое значение аргументы против славянского языка, опирающиеся на примеры невежественного, комического смешения разных стилистических категорий в литературных произведениях докарамзинской эпохи. Шишков пародирует эти указания такими «образцами»: «несомый быстрыми конями рыцарь внезапу низвергся с колесницы и *расквасил себе рожу*»; «я, *братец*, велегласно зову тебя *на чашку чаю*» (Ломоносов «*велегласно*» не сказал бы в разговорах с приятелями); «препояши чресла твоя и *возьми дубину в руки*» (Ib., 102). Кроме того, Шишков иронически предлагает унификаторам стилей заменить славянские выражения просторечными эквивалентами:

юная дева трепещет к хладну сердцу выю клонит склонясь на длань рукой единый млад, другий с брадой	молодая девка дрожит; к холодному сердцу шею гнет; опустя голову на ладонь; один молод, другой с бородою [1]

или в поэме Хераскова; вместо «*многоочитые* колеса» — сказать *многоглазые*; вместо *вспять подвиглися* — «со трепетом они (небесные огни) — *назад попятились...*» Комическая нелепость такого отожествления очевидна.

Вывод ясен: слоги литературного языка разграничены структурно характером мыслей и их выражений. Для оценки и понимания стилистических форм слова важнее всего контекст, смысловая структура фразы, произведения, стиля в целом. Необходимо достичь «в подбирании слов искусства, какое должны иметь продавцы жемчужных нитей: малейшая худость или неравенство одной жемчужины с другими уменьшает в глазах знатока цену всей нитки» (Ib., 65). «Равенство слога» основано на принципе сочетания слов «одной высоты».

Таким образом, по мысли Шишкова, церковнославянский язык, образуя целостную систему идеологии и мифологии, вступает в разные стилистические связи с «наречиями», жанрами, диалектами русского бытового языка. На этой почве органически вырастают три основных стилистических структуры — высокого, среднего, простого слога с многообразием стилистических вариаций в пределах каждой из них. Структурное разграничение «высокого» и «простого» слога непонятно, если смотреть на него с точки зрения чужого, например французского, языка. «Французы по недостатку сложных имен и сосло-

---

[1] Ср. XI, 207: «Простыми именами и глаголами простые токмо и вещи объясняются, возвышенными же возвышенные или умственные, иносказательные... например, сделать перегородку в горнице не есть *сделать преграду!* напротив того, *поставить преграду злодейству* не есть поставить перегородку (ср. также: нагородить много клеток и *наградить добродетель*).

вов часто должны бывают употреблять одинакие слова, как в простом, так и высоком слоге. Они, например, между выражениями: *он разодрал свое платье* и *он растерзал свою одежду* не могут чувствовать такой разности, какую мы в своем языке чувствуем, потому что они как в том, так и в другом случае употребят одинакий глагол déchirer. Для выражения худого или изорванного платья имеют они пять сословов: haillons, guenilles, chiffons, lambeaux, drillons; все сии слова суть самые простые, соответствующие нашим: лохмотье, лоскутье, отрепье, ветошки, обноски, но высоких, тож самое значащих слов, таковых, как рубище, вретище, у них недостает» (Собр. соч. и перев., V, 134—135). Другой пример: «*ход* есть простое слово, среднему слогу мало, высокому же совсем неприличное и употребляемое токмо в общенародных разговорах, как например: не ходи, тут нет ходу; велик ли ход корабля? есть ли ход на рыбу, т. е. ловится ли рыба? и пр. Все происходящие отсюда названия частию суть самые простые, не могущие быть употребляемы в благородном слоге, как то: ходьба, сходня, ходули, ходок и пр. Итак, весьма странно читать, когда не разбирающие приличия слов писатели, последуя французскому выражению la marche de la nature, думают, что и нам вместо *течение природы* пристойно говорить *ход природы* и т. д. Мне кажется: *ход законов, солнца, государственных дел* и пр. вместо *течение законов, солнца, государственных дел* и пр. столь же не хорошо, как естли бы Ломоносов вместо *чрез огнь и рвы течет с размаху* сказал: «*чрез огнь и рвы бежит с размаху*» (Собр. соч. и перев., IV, 343).

Между тем для соблюдения внутренней цельности стиля необходимо понимание тончайших отличий в экспрессии слов, в «приличии» их употребления «Например, *рамена* и *плечи* суть два слова, оба не низкие, но возьмем следующий стих Ломоносова:

Напрягся мышцами и рамена подвигнул
И тяготу земли превыше облак вскинул.

Мог ли бы Ломоносов вместо: *и рамена подвигнул* сказать здесь: *и плечи подвинул*? Отнюдь нет. Такое выражение обезобразило бы стих его. Но Херасков во «Владимире» мог сказать:

Лежат ее власы, как злато, по плечам.

Для чего в стихе Ломоносова надлежало сказать *рамена* а в стихе Хераскова можно было употребить *плечи*? Для того что в первом из оных все прочие слова суть высокие: *напрягся, мышцы, подвигнул*, следовательно, мысль и слова в нем гораздо выше, нежели в стихе Хераскова; а потому равенство слога и требовало сочетания одинакой высоты слов» (Ib., 66).

Совершенно иное отношение к слову и стилю отмечает Шишков у писателей, утративших под влиянием французского

языка чутье литературных стилей: «Прежние писатели, прочитав стихи:

> И душу первую и первый вздох зажег,
> В победе чистыя любви прияв залог. [1]

сказали бы: мы употребляли глагол *зажечь*, говоря о вещах' имеющих тело: зажечь свечку, зажечь дрова и пр. Но когда надлежало говорить о предметах умственных, о страстях, в которых предполагается некоторый огонь или пылкость, тогда находили приличнее вместо *зажечь*, говорить: *воспламенить гнев, любовь, ярость* и пр. О вещах же таковых, как дума или вздох... не говорили мы — ни зажечь, ни воспламенить» (XII, 201).

Однако при обладании достаточными «знанием и силой в языке» можно, не «унижая» слога и не искажая его структуры, смешивать, сочетать высокие слова и мысли с «простонародным наречием» (ср. язык Ломоносова, Державина). Принципы конструктивных объединений в системе трех стилей емки и подвижны. Они допускают подъем слов из одного слога в другой и перемещение лексических рядов, если все эти сдвиги и столкновения будут семантически и стилистически оправданы.

Поэтому Шишков борется с теми морфологическими способами распознавания церковнославянской стихии, которые торжествовали в русской лингвистике до последнего времени, [2] и настаивает на приоритете семантических и стилистических критериев.

Итак, три Ломоносовских стиля — это особого рода структуры, обладающие внутренним смысловым единством. Это единство нарушается вторжением чуждых элементов. К ним нужно прежде всего отнести иностранные слова. «Всякое иностранное слово есть помешательство процветать своему собственному, и потому чем большее число их, тем больше от них вреда языку» (Собр. соч. и перев., V, 13). Но научное сознание и тут приходит на помощь употреблению, этимологически отделяя «мнимые» иностранные речения, т. е. в сущности свои же, «славенские», слова, но вторично пришедшие кружным путем (через западноевропейские языки) обратно к нам, от подлинно чужих (Ib., 13—16). Одной из стилистических причин славянофильского протеста против варваризмов является указание на отсутствие в заимствованных словах «внутренней формы», «сознachения», на отсутствие в них лексических связей с «коренными» славянскими словами. Эта ущербность, темнота «этимологического» строения делает западноевропейские, неславянские слова

[1] Эти стихи взяты А. С. Шишковым из стихотворения кн. П. А. Вяземского «Первый снег» (Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского, III, 148).

[2] См. мою статью: «К истории лексики русского литературного языка» («Русская речь» 1927, вып. 1).

и фразы «странными для нашего слуха и непонятными для разума». Например, «лучше привыкнуть к богемскому слову *пешник*, нежели к французскому *тротуар*». «При слове *пешник*, гораздо приятнейшем для уха, я тотчас воображаю дорожку, по которой ходят пешком; а при слове *тротуар* надобно мне еще узнать, что во французском языке есть глагол trotter (ступать), [1] из которого сделано слово trottoir (ступальня). *Пешник* поймет всякий, а для тротуара надобно всем учиться по-французски» (Ib., 20—21). Таким образом рационалистическое отношение Шишкова к языку выражается в требовании непосредственного узнавания «мысли», связывающей слова в «семейства»: «без отыскания корня затмится в древе мысль, произведшая все ветви оного» (Ib., V, 31, 37). Каждый из контекстов литературного языка имеет свою лестницу восхождений к корням, и там, у корней, все эти контексты сочетаются в субстанциальное единство ясной и чистой, первобытной «божественной» структуры. Иначе «потеряются следы ума, составляющего язык» (Ib., 32). А между тем ум и «ухо» для Шишкова — категории языкового понимания почти противоположные. «Ухо», «слух» ведет к непосредственной разговорно-языковой данности, ум — к книжной культуре, в глубь языка, ближе к его «источнику».

Те же соображения и наблюдения побуждают славянофилов отрицательно относиться к заимствованной западноевропейской фразеологии, к фразеологическим калькам с иностранных языков.

Разграничение контекстов литературного языка связано с прикреплением к каждому из них группы литературных жанров. В пределах «простого слога» устанавливалось взаимодействие между бытовым употреблением и литературным. Эпиграммы, сонеты, сказочки, «басенки» вырастают на почве разговорного языка. В этих родах можно быть «прекраснейшим сочинителем, не знав и десятой доли своего языка»: тут «потребны только острота ума и обыкновенной в разговорах употребляемый язык» (Ib., 18). Но есть такие сферы творчества, в которых необходимо потенциальное обладание всем составом литературной речи. Вмещенные в установленный контекст книжного языка, эти литературные жанры однако требуют непрестанного обогащения, расширения своей словесной сферы, притягивая к себе новые языковые формы. «Творцу поэмы, богослову, философу, сочинителю естественной истории и другим подобным писателям нужен не один токмо разговорный, но весь книжный язык и во всем его пространстве. Даже и оный иногда им недостаточен: они принуждены бывают сами творить, созидать слова для выражения своих мыслей» (Ib., 18—19).

В связи с этими мыслями Шишков, следуя Ломоносовской традиции, делит словесность «на три рода». «Одна из них давно

---

[1] «Обыкновенно говорится о лошади, бегущей рысью» (примеч. Шишкова).

процветает, и сколько древностью своею, столько же изяществом и высотою всякое новейших языков витийство превосходит. Но оная посвящена была одним духовным умствованиям и размышлениям. Отсюда нынешнее наше наречие или слог получил и, может, еще более получит недосягаемую другими языками высоту и крепость. Вторая словесность наша состоит в народном языке, не столь высоком, как священный язык, однако же весьма приятном, и который часто в простоте своей скрывает самое сладкое для сердца и чувств красноречие... Третья словесность наша, составляющая те роды сочинений, которых мы не имели, процветает не более одного века. Мы взяли ее от чужих народов, но заимствуя от них хорошее, может быть, слишком рабственно им подражали и, гонясь за образом мыслей и свойствами языков их, много отклонили себя от собственных занятий» (Собр. соч. и перев., IV, 140—142). Эта третья словесность — литература среднего стиля, культивируемая западниками. Шишков вовсе не отрицает и не отвергает процветания словесности «среднего стиля», несмотря на «необдуманно избранный ею путь» подражания французскому языку, «от часу далее отводящий нас от двух богатейших в языке нашем источников», т. е. церковнославянского языка и «простонародной» речи.

Таким образом в этой славянской концепции литературы и литературного языка открыто провозглашалось превосходство старой церковно-книжной и научно-деловой культуры речи, и в противовес европейцам проводилось строгое разграничение между формами книжного и разговорного языков. «Невозможно не различать их, потому что книжный язык всегда бывает выше языка, употребляемого в разговорах; сие не может быть иначе, потому что мы сообщаем друг другу мысли свои просто, без всякого приуготовления; а когда сочиняем книгу, то чем она важнее, тем больше сидим над нею и думаем, как бы нам мысли свои объяснить и выразить лучше».[1]

Разговорно-бытовая речь в ее повседневном, неприкрашенном виде лишь отчасти совпадает с простым слогом книжного языка.[2] Но, сливаясь краями, круги книжной и разговорной речи расходятся в разные стороны. Смысловая структура их настолько различна, что нерассудительное перенесение фраз из одного контекста в другой способно «всех поморить со смеху». Нельзя сказать в разговоре: *гряди Суворов, надежда наша, победи врагов*, или употребить такие слова, как *звездоподобный*,

---

[1] Примечания на критику, изданную в «Моск. Меркурии...», ч. II, 433.

[2] Понимание состава и границ простого слога литературной речи у славянофилов было ближе к «природе», реалистичнее, чем у западников. Ср., например, замечание карамзиниста Блудова: «Слог самый простой не есть язык обыкновенных разговоров, так же как самый простой фрак не есть еще шлафрок». (Е. Ковалевский, «Граф Блудов и его время», Спб. 1866, 242).

златогласый, быстроокий. С другой стороны, «весьма бы смешно было в похвальном слове какому-нибудь полководцу вместо: *герой! вселенная тебе дивится*, сказать: *Ваше превосходительство, вселенная вам удивляется*».[1]

Проблема социально-стилистических дроблений в сфере дворянской разговорно-бытовой речи не получает у Шишкова принципиального обоснования и рассмотрения. Это понятно. Ведь Шишков отрицает нормы разговорной речи, наличие в ней стилей: «Книги пишутся простым, средним и высоким слогом. Издатель Меркурия, перемешав, как видно, сии понятия, думает, что мы разговариваем между собою простым, средним и высоким языком. Признаться, что я о таком разделении разговоров наших на различные слоги отроду в первый раз слышу».[2] Поэтому Шишков склонен относиться к устной стихии как к некоторому субстанциональному единству, которое строится на принципиально иных основах, чем язык литературы.[3] Структурная обособленность разговорной речи как специфической сферы выражения, резко отличной от книжного языка, определяется условиями ее социального и материального бытования. Разговорною речью владеют «слух» и «употребление», т. е. те силы, которым не подвластен книжный язык в его высоком и отчасти в среднем слоге. Отсюда и более широкая социальная терпимость Шишкова к лексическому составу простого слога, который может включать в себя «простонародные», «грубые» слова. Так как салонный язык, язык дамы, относится к сфере разговорной речи, то нормы его славянофилу представляются не только необязательными для языка литературы, но даже и вовсе чуждыми принципам книжного «разума». «Милые дамы, или, по нашему грубому языку, *женщины, барыни, барышни*, редко бывают сочинительницами, и так пусть их говорят, как хотят».

Националистическое понимание структуры литературного языка предопределяет приемы стилистической интерпретации церковнославянизмов в славянофильской практике.

Церковнославянская стихия — источник глубоких мыслей, возвышенных образов, сильных метафор. Чем меньше применять к ней критерий «обветшалости» или устарелости, тем книжный язык богаче и обильнее мыслями.[4] Западники, отрицающие при-

---

[1] Собр. соч. и перев., ч. II, 434.

[2] Ib., 432.

[3] «Книжный язык так отличен от языка разговорного, что ежели мы представим себе человека, весь свой век обращавшегося в лучших обществах, но никогда не читавшего ни одной важной книги, то он высокого и глубокомысленного сочинения понимать не будет» (Ib., 434). «Вопреки сему часто бывает, что человек пресильной в книжном языке едва в беседах разговаривать умеет» (Ib., 435).

[4] «Забывать или стеснять смысл знаменательных слов есть уменьшать богатство языка и лишать себя способов величаво и сильно объясняться

годность таких слов, как «*брашно, требище, рясна, зодчество, доблесть, прозябать, наитствование* и т. п.» («Рассуждение», 28), или «*любомудрие, умоделие, багряница, велелепие*» (Ib., 47) и пр., «имеют худое понятие о происхождении и свойстве языков и о их между собою соответствовании» (Ib., 28). Не критерий соответствия салонному жаргону (le petit jargon de coterie), не система соотношений с французским языком, не принцип отражений европейского мышления должны лежать в основе литературного употребления, а глубокое знание церковно-книжного языка, понимание «силы и красот» русского национального языка. Поэтому для славянофилов обилие в славянском языке сложных слов вроде: *присносущный, благообразный, лютонравный, песнопение, благоухание, чадолюбие, сладкоречие, всерадостный, всесильный, всещедрый* и т. п. — лишнее доказательство преимуществ славянского языка перед французским (Собр. соч. и перев., IV, 34—36).

По той же причине славянофилам глубоко чужды нормы стилистической оценки с точки зрения разговорной «приятности». У П. А. Катенина в стихотворении «Софокл» «сыны» Софокла говорят:

«Что нам? чрез меру мы богаты,
Зря дар ума толикий в нем...

а сам Софокл читает такие стихи перед народом:

Но *вящий дар* от щедрых нам богов
Священное, чудесное то древо,
Его же вдруг земли родило чрево,
А Зевс и дщерь его под свой прияли кров;[1]

у А. С. Грибоедова в стихотворении «Давид»:

Далече страх я отженя
Во сретенье исшел: меня
Он проклял и *долми своими*;[2]

у В. К. Кюхельбекера в стихотворении «Памяти Грибоедова»:

Все, все в твоем *слиялись зраке*

и т. п.[3]

С разрушением системы церковнославянского языка литературная речь, по мнению славянофилов, лишится своего смыслового ядра. Церковнославянский язык несет свет внутренних

на оном» (Собр. соч. и перев., V, 61—62). Но вместе с тем А. С. Шишков не отрицал движения в пределах славянского языка: «Я не то утверждаю», убеждал он, «что должно писать точно славенским слогом, но говорю, что славенский язык есть корень и основание российского языка; он сообщает ему богатство, разум, силу, красоту» («Рассуждение о старом и новом слоге», 90).

[1] Соч. и перев. в стихах П. Катенина, Спб. 1832, 31 и 33.

[2] Полн. собр. соч. А. С. Грибоедова, изд. Академии наук, I, 5—6. Ср. Н. К. Пиксанов, «Творческая история» «Горе от ума», 1928, 158.

[3] Полн. собр. соч. В. К. Кюхельбекера, М. 1908, 79.

форм, первобытных образов в бытовое просторечие. «Руссизмы» должны, по мнению Шишкова, семантически определяться и группироваться, подвергаясь этимологизации на основе церковнославянской лексики, приноровляясь к корням и семантическим рядам церковнославянского языка. В «Рассуждении о красноречии священного писания» А. С. Шишков, анализируя русское словарное гнездо *«доить»,* устанавливал тожество входящих в него лексем, тесную связь их значений с церковнославянскими «омонимами» (доить — кормить грудью ребенка) и доказывал возможность такого словоупотребления: «мать доит младенца», или: «корова доит теленка» (по семантической связи с фразой: «корова доит молоко»; ср. дойная корова). «Почему же, когда она (корова) изливает его (молоко) в подойник, так это доит; а когда изливает его в рот к теленку, так это не доит? Одинакие действия всегда одинакими словами выражаются» (Собр. соч. и перев., IV, 77—79). Показав единство семантического стержня у русских и «славенских» слов гнезда *доить,* Шишков делал логический вывод о законности употребления производных славянских высоких метафор: *воздоить, воздоенный* — в значении: воспитать, воспитанный. «Да неужели вы в наречии вашем только и оставляете то, что у нас говорили одни коровницы? Самые низкие слова: *подоить корову, надоить молока, подойник, удой* и пр. вы знаете; а самых благороднейших, означающих воспитание, таковых, как *воздоить—воздоенный,* вы не знаете?» (Ib., 85; ср. также анализ гнезда *пробавить*).

Таким образом метод семантической интерпретации словесного материала у славянофилов диаметрально противоположен стилистической практике западников. Внутренняя форма русских слов постигается посредством проекции их на систему «славенского» языка. Западники, ориентирующиеся на «европейское мышление», казались Шишкову жалкими извратителями родного языка, гасителями «внутренних форм» в словах. «Бедные те писатели, которые, не читая коренных книг своих, думают, что они узнают язык свой из простых разговоров и книг иностранных. Они, забывая старинные, из корня языка извлеченные слова, будут безобразить словесность новыми, с чужих языков переведенными и нам несвойственными словами и речениями» (Собр. соч. и перев., V, 94). «Безобразие» переводных русско-французских слов и фраз, по Шишкову, состояло или в отсутствии у них образности, «внутренних форм», или же в недостатке «естественной простоты», в логической беспредметности и невразумительности их символики. «Иносказание тогда не хорошо, когда заключающееся в нем уподобление или лживо, или так отдалено от догадки, что ум не скоро может постигнуть оное» (Собр. соч. и перев., XII, 214). Напротив, церковнославянские образы характеризуются, по мнению славянофилов, своей краткостью, простотой и ярко-

стью. Комментируя библейское выражение: «очи его — видение денницы» (т. е. «сверкающи, светоносны как заря»), Шишков пишет: «Приметим красоту подобных выражений, свойственную одному славенскому языку: *очи его — видение денницы, гортань его — пещь огненная, хребет его — железо слиянно* и пр. Здесь вещи не уподобляются между собою, но, так сказать, одна в другую претворяются. Воображение наше не сравнивает их, но вдруг, как бы некиим волшебным превращением, одну на месте другой видит» («Рассуждение о старом и новом слоге», 87).

Эта «имажинистская» точка зрения, опиравшаяся на предпосылку идеологической и мифологической структурности церковнославянского языка, была непонятна западникам. По их мнению, в ней был непоправимый порок: смешение общеязыковых, стилистических и эстетических категорий. М. А. Дмитриев («Мелочи из запаса моей памяти», М. 1869, стр. 73) писал о Шишкове: «Он до такой степени не тверд в понятии о свойствах языка, что для него слово, оборот речи и самая метафора, все это, и фигуры, и тропы, принадлежали самому языку. Находил ли он метафору — это у него свойство и красота славянского языка; находил ли он эллинизм и такую перестановку, такое сочетание частей речи, от которых речь запутана и вовсе непонятна для русского человека — это у него опять свойства и красота славянского языка».

Вместе с тем западники упрекали славянофилов в смешении синтаксической точки зрения с этимологической, в гипертрофии лексикологических и семантических методов. Шишков «не знал», уверял тот же М. А. Дмитриев, «что галлицизм, германизм, и пр. заключаются не в слове, а в обороте речи, что и относится не к этимологии, а к синтаксису» (Ib., 73). Действительно, разработкой вопросов синтаксиса славянофилы занимались мало. Но французское «словотечение» западников для них было неприемлемо. Они отказывались «в размещении слов следовать не свойству своего, но свойству чуждого, не сродного с ним языка» (Собр. соч. и перев., XII, 193). Они защищали сложный, запутанный период, «органическую фразу» и многосоюзие. В. К. Кюхельбекер писал о союзах: «Наш язык, необыкновенно богатый, в некоторых, хотя и в немногих случаях — и необыкновенно беден. Так, например, кроме *и* и *но* у нас почти нет союзов, годных в поэзии: самые *а* и *же* редко употребляются. Союз *ибо* чуть ли не первый я осмелился употреблять в стихах, и то в драматических белых» («Дневник», 114).

В конструкции предложения славянофилы отстаивали права глагола, попираемые западниками. Шишкову казалось странным «для мнимой краткости, выкидывая из выражений необходимо нужные глаголы, делаться невразумительным» (Собр. соч. и перев., XII, 195). «Плутарх справедливо сказал: речь без глагола не есть речь, но мычание» (Ib., 205).

Итак, отношение славянофилов к церковнославянизмам можно выразить в следующих тезисах:

1. Славянский язык — источник первобытной чистоты и семантической прозрачности русского литературного языка. Только в свете церковнославянской мифологии постигается связь идей и образов в русском языке.

2. Славянский язык определяет грани контекстов и стилей русского литературного языка. Высокий, средний и простой слог — это структуры, в которых функционально объединены и разъединены разные сферы словаря и фразеологии.

3. Смешение церковнославянского языка с русским — основа исторического развития русской общенациональной литературной речи.

4. Книжный язык, восходящий к церковнославянскому языку, не может быть подчинен нормам разговорного языка, тем более нормам салонного стиля, в котором внутренние формы слов и ясность семантических связей нарушены влиянием французского языка.

5. Церковнославянизмы богаты идейным содержанием. Они вобрали в себя квинтэссенцию общечеловеческой мысли, «разум» человеческого языка.

6. Церковнославянизмы сохраняют во всей чистоте и яркости внутренний образ, выражающий форму представления предмета в слове.

7. Руссизмы связаны с церковнославянизмами органически, и эта связь порождает многообразие, богатство форм выражения в русском литературном языке, превосходящее все европейские языки.

8. Заимствования из европейских языков лишь затемняют ясность семантических связей в русской литературной речи, сокращают сферу мысли и разрушают систему внутренних форм языка.

Общественно-идеологические корни литературного славянофильства очень сложны. В формах церковно-книжной речи находила выражение социально-политическая и религиозная идеология части дворянства, разных кругов бюрократии и духовенства. Церковнославянский язык больше всего соответствовал и эстетическим вкусам этих общественных групп. Бюрократически-чиновничья среда сохраняла в своем быту много пережитков церковно-книжного языка, который представлялся более близким к архаическому строю приказной речи. Из церковнославянских элементов преимущественно слагались формы официальной риторики. Очень симптоматична полемическая деятельность «европейцев» (французофилов) первой трети XIX века, направленная на реформу делового и дипломатического языка по французским образцам (ср. труды И. И. Дмитриева, М. М. Сперанского, Д. В. Дашкова и др.; см. Н. И. Греч, «Чтения о русском языке», I, 150—154). Консервативные слои дворянской

знати видели в церковно-книжном языке и его идеологии охранительное национальное начало, противодействующее вредному влиянию французского языка и связанной с ним буржуазно-либеральной, материалистической и революционной идеологии. Очень характерен лингвистический анекдот, записанный кн. Вяземским в «Старой записной книжке»: «В конце прошлого столетия сделано было распоряжение коллегией иностранных дел, чтобы впредь депеши заграничных министров писаны были исключительно на русском языке. Это переполошило многих из наших посланников, более знакомых с французским дипломатическим языком, нежели с русским. Один из них в разгар французской революции писал: гостиницы гобзят[1] *беситанниками*, что должно было соответствовать французской фразе: les auberges abondent en sansculote» (101—102). С другой стороны, провинциальное мелкопоместное дворянство еще не вполне освободилось к началу XIX века от традиции обучения грамоте по часослову и псалтыри. Вместе с тем тяготение к церковно-книжным формам выражения развивалось и в среде либерального, передового дворянства. Социальными причинами этого художественно-литературного течения были, кроме борьбы с европейским космополитизмом аристократии, демократический национализм, обычно совмещавший «простонародность» с церковною книжностью или культом национальной старины, и агитационная потребность в «высоких» риторических формах выражения, соответствующих патетическому строю гражданской поэзии. Торжественная патетика церковнославянской речи, подвергшись семантическому преобразованию, легче всего удовлетворяла эту потребность.

§ 3. Положение Пушкина в этой борьбе непостоянно и противоречиво. Усвоив многое из литературной практики европейцев, Пушкин затем учился у славянофилов ценить образ, простоту выражения, экспрессивное многообразие речи и приемы смешения разных стилистических сфер.

В начале своей литературной деятельности поэт вовлекается в теорию и практику европейцев («Мне, твердый Карамзин, мне ты пример»). От нее он воспринял прежде всего отрицательное отношение к реформе, направленной на пересоздание русского литературного языка по типу церковнославянского. Структурные формы церковнославянской стилистики Пушкину были до 20-х годов литературно чужды. Вслед за западниками он отвергает славянофильскую теорию трех стилей. И церковнославянский язык предстает поэту в начале его литературного поприща, не как «первобытная» и национально-характеристическая структурная основа русского литературного языка и не как система своеобразной религиозной идеологии и мифологии

---

[1] То есть изобилуют: церковнославянское *гобзовати* — делаться обильным, церковнославянское *гобзити* — делать обильным.

а как враждебная поэтике «западной» школы сфера литературных средств и приемов, как «глухого варварства начала».

Понимая под церковнославянской стихией исторически меняющуюся систему языковых и стилистических явлений, целесообразно отделить церковнославянизмы морфологические от церковнославянизмов семантических и стилистических.

В языке Пушкина, как и в общем литературном языке первой трети XIX века, восторжествовало карамзинское правило, согласно которому литературно-книжный язык должен был в своем фонетико-морфологическом строе слиться с разговорным языком образованного буржуазно-дворянского общества (bonne société). Тенденция к фонетико-морфологической ассимиляции книжно-славянских элементов речи с литературно-русскими сохраняет силу (с некоторыми ограничениями) в пушкинском языке и после того как Пушкин в своем творчестве перестает придерживаться условных салонно-дворянских норм стилей карамзинизма.

Для Пушкина понятие церковнославянизма сводилось к «церковнобиблеизму», т. е. к стилистическим и экспрессивным формам церковно-библейского выражения. Морфологические приметы сначала в стихотворном языке Пушкина не имели решающего значения.[1] Лишь в 20-х годах они были оценены поэтом как материал для стилизации, для придания языку архаического или церковно-книжного колорита. В стихотворении Батюшкова «Гезиод и Омир соперники» Пушкин отмечает, как «библеизм неуместный»,[2] слова Гезиода:

В юдоли сей страдалец искони

в речи, пересыпанной морфологическими церковнославянизмами:

Твой гений *проницал* в Олимп: и вечны боги
Отверзли для тебя заоблачны *чертоги*.
И что ж? В юдоли сей страдалец искони,
Ты роком *обречен* в печалях кончить дни.

Таким образом «библеизм» определяется Пушкиным по стилистической окраске семантических форм или по предметному значению слов и фраз.

Необходимо от церковнославянизмов, уже растворившихся в русском литературном — прозаическом или стиховом — языке, уже утративших специфичность церковно-книжной или рели-

---

[1] Об эволюции фонетико-морфологической системы Пушкинского языка в связи с процессом общего изменения стиховой речи в первой трети XIX века см., например, Е. Ф. Будде, «Опыт грамматики языка А. С. Пушкина», Спб. 1904; «О поэтическом языке Пушкина»—«Пушкин», под ред. С. А. Венгерова, V; у С. И. Бернштейна, «О методологическом значении фонетического изучения рифм» — «Пушкинист», IV; у Л. П. Лобова в статье: «Из истории русского литературного языка» («Сборн. Общ. историч., филос. и социальных наук при Пермском унив.», 1929, III) и некоторые другие работы.

[2] Л. Майков, «Пушкин о Батюшкове», 305.

гиозно-мифологической экспрессии и символики, отграничить живые и архаические формы церковнославянского языка, которые понимались в кругу светской дворянской интеллигенции начала XIX века, тяготевшей к западной культуре, как структурные элементы церковно-книжной или возникшей из нее «славяно-российской» речи и особого христиански-церковного мировоззрения. Само понятие церковнославянизма в русском литературном языке — исторически и социологически изменчиво. Оно определяется теми соотношениями, которые устанавливаются в ту или иную эпоху между языком и идеологией господствующих классов и языком религиозного культа. И в пределах разных социальных групп дворянства церковно-книжная культура и генетически связанные с ней формы языка, мифологии и идеологии в начале XIX века имели неодинаковый объем и, следовательно, не вполне однородное содержание, не вполне тожественную структуру. Понятно, что и признаки церковнославянской речи как морфологические и синтаксические, так—особенно — лексические и фразеологические были в стиле разных социальных групп различны. Экспрессивные оттенки, облекавшие одно и то же слово, фразу, приемы распространения образов, внутренние символические формы слов и, следовательно, общие конструктивные принципы речи варьировались в зависимости от объема и выразительной силы церковнославянской стихии в том или ином литературном стиле. Противоречия между западниками и славянофилами в этом отношении особенно показательны. Поэтому в Пушкинском стиле, примкнувшем к Карамзинской школе, до конца десятых годов можно наблюдать славянизмы невольные, традиционные, т. е. уже укоренившиеся в соответствующих жанрах и стилях литературного языка и не носившие яркого экспрессивного отпечатка программной церковнокнижности.

Стиль самых ранних произведений Пушкина, переполненный (особенно в эпических и «одических» опытах) морфологическими, синтаксическими и лексическими «архаизмами» среднего и отчасти высокого слога, т. е. такими формами слов и такими конструкциями, которые к половине 20-х годов уже исключаются из общей, «нейтральной» системы литературного (даже стихотворного) языка и переходят на роли характеристических примет, показательных симптомов стилизации (археологической или этнографической), — этот стиль в общем враждебен церковнославянскому языку, его мифологии и идеологии. Он и двигается в направлении «европеизмов» французского типа, в сторону от церковнославянской культуры XVIII — начала XIX века.

Характерно, что в первом печатном стихотворении Пушкина «К другу стихотворцу» (1814) церковнославянские формы встречаются не в речи священника, а в обращении к нему «мужиков»: «*настави грешных нас*», и окружены комической атмосферой.

Ведь средний стиль — это сфера «нейтрализации» церковнославянского колорита, та «переходная» стилистическая область, в пределах которой происходило «олитературиванье» разговорной речи, светское «обмирщение» церковнославянской лексики и фразеологии и создание норм «общего» литературного языка. Конечно, если руководствоваться наивно-морфологической точкой зрения (до сих пор — единственной, которая применялась и применяется к изучению «церковнославянизмов» в истории русского литературного языка),[1] то в ранних стихотворениях Пушкина можно указать множество «церковнославянизмов» (например, в стихотворении «К другу стихотворцу»: спешишь опасною *стезей;* навек *соединясь*, под сенью мирною... *сокрыт;* мой *жребий пал;* питают *здравый* ум»; *гремяща* слава и др.; в стихотворении «Кольна» церковнославянизмы особенно густы: *взмущенны волны: в чертогах...* царь... *вещал; гряди во мрак* лесов; вал, шумящей *прохлажден* осиной; гробы черный *вран стрежет; воздвигни памятник* побед; *денница* красная выводит *златое утро в небеса;* он *рек; воспели* барды *гимн святой; мощною* рукой *влечет* из бездны; в густой и дикий злак *поверг; воспомнить* веки *отдаленны* в мечтаньи сладком; он *узрит мрачные* гробницы; *старец*, летами *согбен; владыко* сильный; *главу* ко груди *преклонил;* дуб *престал* дымиться; цвет *отчизны* край *златой:* что *рек ты* мне, *младой воитель;* что зрит он с *сладким восхищеньем;* под грозным *дышуща* покровом и мн. др.; в стихотворении «Венере от Лаисы»: *смертный* человек; *покорствуя* судьбине; зреть себя в *прозрачности;* в стихотворении «Опытность»: *хладным разумом; возложит, с рассудком* и т. д.).

Но такой абстрактно-морфологический анализ не поможет уяснить ни эволюции Пушкинского языка, ни его индивидуальных отличий от других современных стилей, ни позиции Пушкина в борьбе между славянофилами и западниками. Гораздо целесообразнее установить внутренние тенденции понимания, употребления и исключения церковнославянизмов, присущие языку Пушкина в первый период его творчества или навсегда укоренившиеся в нем под влиянием западников. Так, характерно для Пушкинского языка ранней поры постепенное сужение сферы церковнославянизмов, ограничение их привычными, наиболее употребительными формами и — преимущественно — фразеологией и символикой Библии. Славянизмы «высокого стиля», встречающиеся в самых юных стихотворениях, такие как *расточить* (в значении разогнать, рассеять):

Там с верной, храброю дружиной
Полки врагов я *расточил*

(«Кольна», 1814)

---

[1] Ср. мою статью: «К истории лексики русского литературного языка». «Русская речь» 1927, I.

протекать (с винительным падежом в значении проходить):

И ныне, по стезе глухой
Пустыню с милым *протекает*
Пленившим сердце красотой!

(Там же)

Ср. в «Послании к кн. А. М. Горчакову» (1817) уже с иной конструкцией:

Смотря на путь, оставленный навек,
На краткий путь, усыпанный цветами,
Которым я так весело *протек*,
Я слезы лью, я трачу век напрасно.

Но ср. у М. Милонова в стихотворении «К юности»:

Да с бодрой я еще душою
Путь краткий к гробу протеку.

Ср. у В. А. Жуковского в стихотворении «Мир» (1800):

Ты славы путь протек.

Ср. в позднейших Пушкинских стихотворениях употребление глаголов той же основы с иной конструкцией:

И он поспешно в путь потек

(«Анчар»)

Равнодушна и ленива
Потекла путем одним

(«Прозерпина»)

и мн. др.

осклаблять(ся), осклабленный:

Чашу дружбы круговую
Пенистым сребря вином
Рек с осклабленным лицом [1]

(«Блаженство», 1814)

Ср. в «Монахе» (1814)

Она ему взор томный осклабляет.

Снова появляется глагол осклабить только в VI главе «Евгения Онегина» и уже с иронической экспрессией:

Тот после первого привета,
Прервав начатый разговор,
Онегину, *осклабя* взор,
Вручил записку от поэта.

Ср. у Батюшкова:

Певец Любовныя Езды
Осклабил взор усмешкой чудной
И рек...

(«Видение на берегах Леты»)

---

[1] В «Словаре Акад. Росс.», 1822, IV, 400 — глагол *осклаблятися* обозначен как «славянский».

Ср. еще раньше у Державина:

Весна нам взор свой осклабляет

(«Прог.», 425, 3)

Ты шествуешь и осклабляешь
Твой взор на них.

(«Шведский мир», 309, I)

Но если ты ж, хотя в издевку,
Осклабишь взор свой на кого...

(«На счастие»)

Шириться крылами:

Вознесся памятник. *Ширяяся крылами*
Над ним сидит орел младой.[1]

(«Воспоминания в Царском селе», 1814)

Вседержитель:

Но сильного в боях небесный вседержитель
Лучом последним увенчал...

(«Воспоминания в Царском селе»)

Воитель:

Что рек ты мне, младой воитель?
Куда сокрылся похититель?

(«Кольна»)

Не здесь его сразил воитель поседелый,

(«Воспоминания в Царском селе»)

Остри свой меч, воитель молодой.

(«Гараль и Гальвина», 1814)

Слова *«воитель молодой»* — здесь строфический рефрен (повторяется 13 раз).

Ср. в «Руслане и Людмиле»:

Один — Рогдай, воитель смелый.

Ср. слова кудесника в «Песни о вещем Олеге» (1822):

Воителю слава отрада;
Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда.

Ср. у Н. М. Языкова в стихотворении «Меченосец Аран»:

Как мощного воителя стрела...

---

[1] Ср. у Державина в стихотворении «Утро», стих 90: «Над ними в высоте ширяется орел». Ср. у Панаева в «Литературных воспоминаниях» изложение лекции Кречетова о Державине: «Державин высоко парит, как орел, и гордо ширяет в поднебесьи» («Литературные воспоминания и воспоминания о Белинском», Спб. 1876, стр. 7). Ср. у Милонова о Державине:

Ширяясь в высоте, и всякой чужд границе,
Как бог, — он в *божестве*, и как поэт — в *Фелице*.

Озреться:

Взгляни: они бегут, озреться не дерзают
(«Воспоминания в Царском селе»)

Но несовершенный вид — *озираться* укрепился в языке Пушкина.

Ср. в «Утопленнике»:

Озираясь, он спешит.

Сретать:

Бегут — и в тьме ночной их глад и смерть сретают
(«Воспоминания в Царском селе»)

Ср. в стилизованном послании «Н. С. Мордвинову» (1825):

И с шумной радостью взыграл и полетел
Во сретенье твоей денницы.

Ср. у К. Н. Батюшкова в стихотворении «Мои пенаты»:

В Аонии прелестной
Сретает хоры муз.

Ср. у М. Милонова:

Раскаянье к земле приникшее челом
В потоке слез свое сретает искупленье
(«Уныние»)

Вчера твои красы сретали жадны взоры...
(«На скоропостижную смерть Д...»)

Вчера сретала ты мой плеск и удивленье...

Поносный:

Воздвигся памятник простой.
О сколь он для тебя, кагульский брег, поносен!
(«Воспоминания в Царском селе», 1814)

Ср. каламбурное употребление омонима *поносный* в стихотворении 1825 года:

Я не парю — сижу орлом
И болен праздностью поносной. [1]

Но ср. у И. И. Дмитриева:

Дай лучше смерть, чем жизнь поносну
(«Ермак»)

Людство:

Навек оставлю Рим: я *людства* ненавижу
(«К Лицинию» 1815) [2]

---

[1] Глагол *«поносить»* — иного стилистического состава. Ср. в стихотворении «Катенину» (1821):

Так легкомысленной душой,
О боги, смертный вас поносит...
Цензуру поносить хулой неосторожной
(„Послание цензору“, 1822)

и др.

[2] Ср. «Словарь Акад. Росс.», III, 657. В новой редакции стихотворения «К Лицинию» (1825) этот стих изменен так:

Я рабство ненавижу.

Ср. у Жуковского в «Громобое»:

Он в людстве дик, в семействе сир.

Ср. у И. И. Дмитриева:

И в людстве сирота

(«К Г. Р. Державину»)

Куща:

Повесит меч войны средь отческия кущи

(«Эпиграмма», 1815).

Ср. в пародической «Оде его сиятельству графу Дмитрию Ивановичу Хвостову» (1825):

Моляся кораблю бегущу,
Да Бейрона он узрит кущу

и примечание, указывающее, что эти стихи — «подражание Его Высокопревосходительству Действительному Тайному Советнику Ивану Ивановичу Дмитриеву, знаменитому другу Гр. Хвостова».

К тебе я руки простирал,
Уже из отческия кущи,
Взирая на суда бегущи.

Слово *куща* — обычно у Батюшкова:

И кущи сельские стояли без дверей

(«Элегия из Тибулла»)

Едва дымился огнь в часы туманной нощи
Близ кущи ратника, который сном почил

(«Воспоминание»)

И села пахарей, и кущи рыбаков

(«Воспоминания», Отрывок)

... И самый блеск престола
Без Делии — ничто, а с ней и куща — храм

(«Тибуллова элегия», из III книги)

и др. под.

Такие церковнославянизмы быстро исчезают из стихового языка Пушкина, и до половины 20-х годов, когда начинается возврат поэта к традициям книжно-архаических стилей, лексем с такой стилистической окраской в Пушкинском языке не наблюдается. Кроме того, в эпистолярной прозе церковнославянские архаизмы часто употребляются иронически, как цитаты, как выражения другого языка, например: «Кто *на ны*» (Переписка, 1821, I, 32); «У нас все *елико печатано* имеет действие на святую Русь» (1823, Ib., 67):«На ней карантин и строго запрещается казакам переезжать *об он пол*» (Ib., 78) и т. п.

Из приемов, направленных на устранение церковно-библейского колорита, прежде всего следует отметить специфическое смешение образов церковно-библейских с условно-литературными отражениями античной (вернее — классической) мифологии.[1] В своих рукописных заметках на полях «Опытов» Батюшкова Пушкин во второй половине 20-х годов (1826—1828) резко осуждал это языковое «противоречие» в стиле Батюшкова.

Тогда, клянусь *богами*
(И слово уж сдержу),
Я с сельскими попами
Молебен отслужу

(«Городок», 1814)

Стоит богов домашних *лик*
В *кивоте* небогатом

(«Мечтатель», 1815)

Послушай, муз невинных
Лукавый *духовник*

(«К Дельвигу», 1815)

Христос воскрес, питомец Феба

(1816)

Ср. в «Послании Лиде» — еще более пестрое смешение разных лексических планов:

И стал апостол мудрой веры
Анакреонов и Нинон

(1816)

Когда сожмешь ты снова руку,
Которая тебе дарит
На скучный путь и на разлуку
Святую Библию Харит?...
По ней молись своей Венере
Благочестивою душой...
Да сохранит тебя в чужбине
Христос и верный Купидон

(1818)

В «Гавриилиаде»:

Но говорит армянское преданье,
Что царь небес, не пожелев похвал,
В *Меркурии Архангела* избрал.

Также в сравнении:

И царь небес, не говоря ни слова,
С престола встал и манием бровей
Всех удалил, как древний бог Гомера,
Когда смирял бесчисленных детей,
Но Греции навек угасла вера,
Зевеса нет, мы сделались умней.

---

[1] Это смешение — характерная особенность стиля дворянской русской культуры, укрепившаяся в нем с конца XVII века.

Ср. в письме к Н. И. Гнедичу от 24 марта 1821 г.: «Молю Феба и казанскую богоматерь» (Переписка, I, 31).

К той же сфере антиславянистских тенденций относится прием иронического, пародического или каламбурного употребления и применения церковнославянизмов и библеизмов, вступающих в смешение с разговорно-бытовыми выражениями и даже целыми фразеологическими сериями, например:

Зевая веселился
В театре, на пирах;
Не ведал я покоя,
Увы! ни на часок,
Как будто *у налоя*
В великий четверток
Измученный дьячок

(«Городок», 1814)

Дай бог, чтоб милостию неба
Рассудок на Руси воскрес...
Чтоб в Академии почтенной
Воскресли члены ото сна...
Но да не будет воскресенья
Усопшей прозы и стихов.

(«Христос воскрес, питомец Феба», 1815)

Мой друг, неславный я поэт,
Хоть христианин православный...
Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.

(«К Илличевскому», 1817)

Ср. каламбурно-эротическое переосмысление церковных символов — *богоматерь, богородица:* [1]

Ты богоматерь, нет сомненья,
Не та, которая красой
Пленила только дух святой...
Не та, которая Христа
Родила, не спросясь супруга.
Есть бог другой земного круга...
Он весь в тебя — ты мать Амура
Ты, богородица моя!

(1824)

---

[1] В стихотворении, адресованном А. И. Тургеневу (1817), стихи:

Один лишь ты, любовник страстной
И Соломирской, и *креста,*
То ночью прыгаешь с прекрасной,
То проповедуешь Христа —

сопровождаются таким пародически-каламбурным примечанием: «Креста, сиречь не Анненского и не Владимирского, а честнаго и животворящего».

Велико дело красота.
О, Хлоя, мудрые солгали:
Не все на свете суета.

(«Посланье к молодой актрисе», 1814)

Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля — суеты.

(«Орлову», 1819)

Ср. в черновом наброске 1819 г.:

Все призрак, суета,
Все дрянь и гадость.

Ср. у Жуковского в стихотворении «К А. Н. Арбеневой» (1812):

Давно сказал мудрец еврейский нам:
«Все суета». Урок всем хлопотливым.
И суета, мой друг, за суету —
Я милую печальной предпочту.[1]

Тот же прием — в письме Пушкина к барону А. А. Дельвигу: «Жду и недождусь появления в свет ваших стихов, только их получу, *заколю агнца, восхвалю господа* — и украшу цветами свой шалаш» (Переписка, I, 87, 1823). Ср. в письме от 25 марта 1821 г: «Умертви в себе ветхого человека — не убивай вдохновенного поэта» (Переписка, I, 28); в письме к Л. С. Пушкину: «Что погреба? Признаюсь, и по них сердце болит. Не найдется ли между вами *Ноя для насаждения винограда*? На святой Руси не шутка — ходить нагишом, а хамы смеются» (Ib., 148); в письме к кн. Вяземскому: «Повторяю тебе перед евангелием и святым причастием, что Дмитриев... не должен иметь более весу, чем Херасков...» (от апреля 1824 г.); ср. в письме к брату (от 27 июня 1821 г.): «Помню вечера его, любезность его, V. C. P. его, L. D. его, Овошникову его, лампу его и всего, елико друга моего»; в письме к кн. Вяземскому: «Упоительным

---

[1] Ср. у В. А. Жуковского в «Протоколе двадцатого арзамасского заседания»:

Стала с пуза Кассандра, как древле с вершины Синая
Вождь Моисей ко евреям, громко вещать к арзамасцам...

В шутливом послании 1812 г.:

Исткните (пишут) око,
Смущающее вас!
И был бы я циклопом...

и др. под.

Ср. у кн. П. А. Вяземского «Из письма к Эоловой арфе», А. И. Тургеневу:

Если прилипнет язык Шишкова
К твоей гортани... как ярлык,
На коем вывела натура...

мечтам, *твоя от твоих»* (от 14 октября 1823 г., Переписка, I, 77); ему же: «Посылаю тебе маленькое поминаньеце за упокой души раба божия Байрона» (Ib., 136) и др.

С этим приемом тесно связан принцип риторического «переодевания» церковнославянизмов. Здесь также есть пародическая направленность. Она состоит не только в «искажении» смысла библейской формулы посредством ее неожиданного комического применения к предметам бытового обихода, но обостряется «разрушением» самого библейского текста, который наполовину переводится на язык просторечия и служит средством риторического воздействия.

Когда б писать ты начал сдуру,
Тогда б наверно *ты пролез*
Сквозь нашу *тесную* (в рукописи «узкую») цензуру,
Как внидешь в царствие небес.

(1820)

Ср. в письме к А. И. Тургеневу (от 14 июля 1824 г.): «Не знаю пустят ли этого бедного Онегина в небесное царствие печати» (Переписка, I, 124).

Варьяцией этих приемов является типичная для литературно-бытового стиля арзамасцев пародическая маскировка событий символикой библейского текста или церковного послания. [1] Таковы опрокинутые «церковнобиблеизмы» писем к А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 г.: «*В руце твои предаюся, отче!* вы, который сближены с жителями Каменного острова, не можете ли вы меня вытребовать... с моего острова *Пафмоса?* Я привезу вам зато сочинение во вкусе *Апокалипсиса* и посвящу вам, *христолюбивому пастырю* поэтического нашего *стада»* (Пушкин, Письма, I, 18—19).

Тот же церковно-библейский маскарад, сочетающийся с формами пародического летописания, можно видеть в другом Пушкинском письме того же года к тому же А. И. Тургеневу: «В лето 5 от Липецкого потопа (превосходительный Рейн и превосходительный) жалобный сверчок (сидя) на лужице (луже) города Кишинева (ской) именуемой Быком сидели и плакали, вспоминая тебя (о) Арзамас (Иерусалим ума и вкуса)...» (Ib., 33—34). Ср. обращение Пушкина к Жуковскому в письме от 17 августа 1825 г.: «Отче, в руце твои предаю дух мой» (Письма, I, 155) и ответ В. А. Жуковского: «Ты, как я вижу, предал в руце мои только дух свой, любезнейший сын. А мне, право, до духа твоего нет дела: он жив и будет жив, ибо весьма живущ» (Переписка, I, 291—292).

[1] Ср. пародическое употребление церковнославянского языка в письме А. Ф. Войекова к А. И. Тургеневу (между 1815—1820 гг.): «О муж пасый Израиля!» (ср. проф. П. Бицилли, «Из заметок о Пушкине», Slavia, 1931, Ročn. X, Seš, 3, стр. 575. Ср. кое-какие примеры в статье Н. Степанова «Дружеское письмо начала XIX века», «Русская проза» («Вопросы поэтики», VIII, 95, 100 и др).

Примеры такого употребления церковнославянизмов представляют антитезу славянофильского принципа «счастливого смешения» церковнославянских выражений с русскими.

В направлении, противоположном славянофильскому, двигаются и приемы переносного употребления библеизмов, формы метафоризации церковнославянизмов. В стихотворении «Пирующие студенты» (1814):

Апостол неги и прохлад

Ср. в стихотворении «К Каверину» (1817):

Прослыть *апостолом Зенонова ученья.*

В стихотворении: «И я слыхал» (1818):

Коль язвы тяжкой и глубокой
Елей надежды не живит.

Ср. у М. Милонова в стихотворении «Нина» (Отрывок из Сен-Викторовой поэмы «Надежда»):

Надежда...
На язвы тяжкие целебный льет бальзам.[1]

Ср. в позднейших произведениях Пушкина сближение слова *елей* с церковно-книжной лексикой:

И ранам совести моей
Твоих речей *благоуханных*
Отраден чистый был елей.
(«В часы забав иль праздной скуки», 1830)

В «Полтаве»:

И на коварные седины
Елей таинственный течет.

Ср. также: *В оны дни.*

Как хлебом, солью и елеем,
Делились чувствами они.

В стихотворении «В стране, где Юлией венчанный» (1821) слово *молебен* управляет на французский лад родительным падежом существительного, определяющего внутреннее содержание образа («молебен лести»):

Октавию — в слепой надежде
Молебнов лести не пою[2]

В «Гавриилиаде»:

И ты пылал, о боже, как и мы!
Создателю постыло все творенье,
Наскучило небесное моленье,
Он сочинял *любовные псалмы.*

---

[1] «Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения Михаила Милонова», Спб. 1819, 1.

[2] Ср. в стихотворении «К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада» (1817):

И нежно станет петь молебны
Твоей небесной красоте.

Ср. в письме к кн. Вяземскому: «Вся трагедия написана по всем правилам парнасского *православия*» (Переписка, I, 67).

Вместе с тем уже в «Гавриилиаде», помимо пародического контекста осмысления церковнославянизмов:

«И дух святой сойдет на сердце девы»...
Он положил в премудрости глубокой
Благословить достойный вертоград...
Жених грядет, грядет к своей рабыне

и др. под.;

(Ср. также пародическое применение форм церковной проповеди:

Приди ко мне, прелестный ангел мой,
И мирное прими благословенье...
Но, братия, с небес *во время оно*
Всевышний бог склонил приветный взор...
Аминь, аминь. Чем кончу я рассказ) [1] —

церковнославянские образы и выражения выставляются как приметы «восточного, пестрого слога»:

И громко пел: «Люблю, люблю Марию,
В унынии бессмертие влачу...
Где крылия?... К Марии полечу
И на груди красавицы *почию...*»
И прочее... все, что придумать мог, —
Творец любил восточный, пестрый слог.

Если отвлечься от форм сюжетно-языковой пародизации, то пред нами — новый путь литературного применения церковнославянизмов, как художественно-этнографических признаков восточного слога.

Ср. еще в «Гавриилиаде» (1821):

Бесчисленны летают серафимы
Струнами арф брящают херувимы,
Архангелы в безмолвии сидят,
Главы закрыв лазурными крылами, —
И, яркими одеян облаками,
Предвечного стоит пред ними трон.

Но это низведение церковно-библейских образов на роль художественно-этнографических аксессуаров явно враждебно славянофильскому пониманию функций церковнославянизмов. А Пушкин к тому же вносил «европейские» ограничения в самую структуру «восточного слога». «Слог восточный был для меня образцом, сколько возможно нам, благоразумным, холодным европейцам», писал поэт кн. Вяземскому о стиле «Бахчисарайского фонтана»; «кстати еще — знаешь, почему не люблю я Мура? Потому что он чересчур уж восточен. Он подражает ребячески и уродливо — ребячеству и уродливости Саади, Гафиза

[1] Ср. заметки Б. В. Томашевского о языке «Гавриилиады» — «А. С. Пушкин, «Гавриилиада», редакция, примечания и комментарии Б. В. Томашевского», Спб. 1922, 76—80.

и Магомета. *Европеец и в упоении восточной роскоши должен сохранить вкус и взор европейца*». (Переписка, I, 206—207).

Но еще более отчетливо и глубоко подчеркивается связь Пушкина с западническими стилями карамзинистов противоположным славянофильскому принципом переосмысления церковнославянизмов на основе русских соответствий, принципом подстановки под церковнославянские лексемы русских эквивалентов или замены церковнославянизмов их русскими дублетами.

Любопытен пример из черновой рукописи «Руслана и Людмилы»:

Берет под *мышцу* колдуна
(II, 230)

Здесь церковнославянская лексема *мышца* в своем наиболее архаичном значении — рука (ср. в «Словаре Акад. Росс.», 1814, III, 925: «В славенском языке иногда берется за всю руку. *Сня водонос на мышца своя и напои его*») — не только вмещается в неподходящий стилистический контекст, но явно сближается с своим просторечным «двойником» *мышка* (ср.: под мышку, под мышки или под мышкой, под мышками). Ср. в стихотворении из А. Шенье (1835): «Под мышцей палица» (в последний период у Пушкина наблюдается нарочитая «архаизация» лексики). Но ср. другое употребление того же слова:

Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил.[1]
(«Моя родословная», 1830)

Если считать Пушкинскою эпиграмму «На Фотия», то в ней слово *полублагих*, несомненно, каламбурно сливает церковнославянскую лексему *благой* (в значении: добрый, честный, хороший) и простонародный омоним *благой* (в значении: глупый, дурной, юродивый, блажной).[2]

Пошли нам, господи, греховным,
Поменьше пастырей таких,
Полу-благих, полу-святых
(«На Фотия»)

---

[1] Ср. у Жуковского в стихотворении «Три песни» (1816):

И скальд выступает на царскую речь
Под мышкою арфа, на поясе меч.

Ср. у А. С. Шишкова анализ значения слова мышца (в просторечии мышка или чужеязычное мускул — «Рассуждение о старом и новом слоге», 258—259).

[2] В «Словаре Акад. Росс.» 1806, I, «простонародное» слово «благой» определяется так: «упрямый, своенравный, неугомонный» (211). Ср. у А. П. Сумарокова: «Слово *благой* знаменует у черни и у невеж *дурный*» (Полн. собр. соч. Сумарокова, X, 23). Семантическую историю слова *благой* см. у Д. К. Зеленина, «Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии», II, 155.

Игра смешением и каламбурным сближением русских и церковнославянских омонимов укрепляется в Пушкинском стиле 20-х годов. Ср.:

В глуши, *измучась жизнью* постной,
Изнемогая животом,
Я не парю — сижу орлом
И болен *праздностью поносной*

(Переписка, I, 300)

Вся эта сложная система семантического расслоения церковнославянизмов, примыкающая к принципам западничества, расширяющая пределы экспрессивных оттенков в светском применении и осмыслении церковно-библейского языка, разрушала нормы славянофильских трех стилей и создавала свободу экспрессивно-стилистических перемещений церковно-книжных слов и фраз из одного контекста в другой.

В языке Пушкина церковно-книжная фраза, свободно передвигаясь из одного стиля в другой, в зависимости от контекста меняла свои значения и свою экспрессию. При смешении торжественных церковно-книжных выражений с лексикой просторечия обычно происходила подстановка «низких» тем и предметов под фразеологию высокого стиля. Но формы комического, создаваемые этим разрывом выражения и значения, не закреплялись за той или иной церковнославянской фразой, и она, попадая в свою прежнюю стилистическую среду, облекалась привычной экспрессией. Эта свобода передвижения осложняла стилистические и экспрессивные формы церковнославянской фразеологии. Например, церковнославянское выражение: «Гром небесный грянет» служит для создания эффекта комической патетикив стихотворении о Кишиневе (в письме к Вигелю 1823):

Проклятый город Кишинев,
Тебя бранить — язык устанет!
Когда-нибудь на грешный кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет...

ср. далее — опять смешение церковнославянской и просторечной лексики:

Падут, погибнут пламенея
И лавки грязные жидов,
И пестрый дом Варфоломея...

И та же фраза выступает в кругу церковно-книжной символики в третьем «Подражании Корану»:

Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит
И сын от матери отпрянет.[1]

---

[1] Ср. Влад. Ходасевич, «Поэтическое хозяйство Пушкина», М. 1924, I, 9—10.

Интересно, что церковно-библейские образы в послании Ф. Ф. Вигелю каламбурно и контрастно связаны с «содомским грехом» самого адресата. Образы библейской легенды о гибели Содома и Гоморры по инерции вдвигаются и в прозаический стиль письма: «Я пью, как Лот содомский, и жалею, что не имею с собой ни одной дочки» (Переписка, I, 82).

Таким образом церковная письменность, главным образом Библия, представляется Пушкину своеобразной сферой литературного выражения, специфической системой сюжетов, образов, слов и выражений, к которым символически притягивается окружающая поэта действительность и при посредстве которых она находит свое литературно-полемическое или пародическое воплощение.

Источники этой стилистической системы у Пушкина ясны: она восходит к французской литературной традиции XVIII века, к атеистически-материалистическому мировоззрению русского вольтерьянца.

В соответствии с художественной мифологией, символикой и идеологией молодого Пушкина, в соответствии с экспрессивными формами его языка и тем «образом поэта», который создавался творчеством Пушкина и его литературной биографией, церковнославянизмы до начала 20-х годов в поэзии Пушкина почти не получают прямого применения, не осуществляют своего «высокого» торжественного назначения. По большей части они вставляются в чуждые им по лексическому строю и семантической атмосфере, далекие от них по экспрессии контексты. Например, в «Гавриилиаде»:

Приди ко мне, прелестный ангел мой,
И мирное прими благословенье.

Прелестный ангел мой — выражение, утратившее под влиянием французского языка церковнославянские значения своих элементов, облеченное и семантикой и экспрессией «светской» эротики или галантной ласки, — это выражение разрушает тон церковного призыва, колорит церковного учительства, которым обвеяны окружающие фразы.

Пример из прозаического языка: «Еще беда: мы все прокляты и рассеяны по лицу земли — между нами сношения затруднительны» (Переписка, I, 116, в письме к кн. Вяземскому).

Ср. в посвящении «Гавриилиады» (1821):

Вот муза резвая болтунья...
Прости ей прежние грехи.
Ее *всевышний осенил*
Своей небесной благодатью,
Она духовному з а н я т ь ю
О п а с н о й ж е р т в у е т и г р о й.

В стихотворении «Недавно я в часы свободы» (1822):

Я думал: ветреный певец,
Не сотвори себе кумира,
Перебесилась, наконец,
Твоя проказливая лира.

Ср. в письме к А. А. Бестужеву: «Мужайся, дай ответ скорей, как говорит бог Иова или Ломоносова» (от 29 июня 1821 г.).

Синтаксических своеобразий церковно-книжной речи Пушкин непосредственно не касается. Он их отрицает, развивая синтаксические формы Карамзинского стиля. Можно лишь отметить довольно частые в ранних произведениях Пушкина следы переходного состояния в конструкции, в расстановке слов. Здесь встречаются без стилистических ограничений конструкции предложения с порядком слов, напоминающим «органическую фразу» Ломоносовско-державинского стиля.[1]

---

[1] Ср.:

Газеты собирает
Со всех она сторон.
(„Городок“ 1814)

Он новую в мечтах Европе цепь ковал...
(„Наполеон на Эльбе“, 1815)

и др.

Почто небесных Аонид,
Как наших дней певец, славянской бард дружины
Мой дух восторгом не горит?
(„Воспоминания в Царском селе“)

Веселья барды песнь воспели.
(„Кольна“, 1814)

и др.

Как он втолкнул монаха грешных в стадо...
(„Монах“, 1814)

И вдруг, бела, как вновь напавший снег
Москвы реки на каменистый брег...
(Ib.)

Панкратия под черной рясой скрылся...
(Ib.)

И славы под крылом на утре не почил?
(„На возвращение государя императора“, 1815)

И блеск очей небесный,
Лиющих огонь в сердца...
(„Городок“, 1814)

Белой груди колебанье,
Снег затмившей белизной...
(„Послание к Наталье“, 1814)

Ср. у Жуковского:

Ее лучами освещает
Полсвета Павел с высоты.
(„Благоденствие России“, 1797

И в ночь, задумчивый, потока на брегу
(„Гимн“ 1808

Древес под зыбкой сенью
(„К Блудову“, 1810)

Из высказываний Пушкина, как будто касающихся структуры церковнославянского синтаксиса, можно привести одно, направленное против В. К. Кюхельбекера: «Стихи к Грибоедову достойны поэта, некогда написавшего «Страх при звоне меди заставляет народ устрашенный толпами стремиться в храм священный. Зри, боже! Число, великий, унылых, тебя просящих сохранить им цель труд, многим людям — принадлежащий — и проч.» (Переписка, I, 51).

Таким образом в сфере синтаксиса Пушкин принимает Карамзинскую реформу и исходит из нее в своих стиховых и прозаических исканиях, освобождая французский стиль карамзинистов от излишнего груза качественных слов, активизируя его усилением глагольности и осложняя новыми типами конструкций.[1]

§ 4. Стилистические принципы отбора и употребления церковнославянизмов у молодого Пушкина очень близки к западничеству. Но они не умещаются целиком в нормы Карамзинской системы. Язык Пушкина свободнее, разнообразнее и противоречивее в своих колебаниях. Он, наконец, «демократичнее», развязнее салонного языкового этикета (ср. замечания Пушкина о влиянии на него стиля Д. В. Давыдова). А ведь значение и употребление церковнославянизмов зависело в значительной степени от самой апперцепирующей их и «окружающей» их языковой среды, от смысловой атмосферы того классового, социально-группового стиля, к идеологической, лексической и экспрессивной структуре которого церковнославянизмы приспособлялись. Самые формы понимания и отбора церковнославянизмов у европейцев являлись продуктом семантического взаимодействия между нейтральным, обобществленным фондом выразительных средств салонного языка и потенциальной экспрессивно-смысловой «направленностью» церковнославянских слов и фраз. «Демократическое» расширение форм Пушкинского языка, которое, конечно, отнюдь нельзя объяснять простым уклоном Пушкина в сторону «славянофильской» литературы, меняло состав и соотношение языковых пластов в стиле Пушкина. Этот выход за пределы норм салонного стиля, увлечение поэта «народностью» на рубеже

И уж луна почти небес
Дошла до половины.
(„Вадим")

И тускло падает луны
На мглу вершин сиянье.
(„Вадим")

Ср. у Грибоедова:

И не терзай мне жалобами слуха
Безвременем кому твой вопль и стон, и рев.
(„Грузинская ночь")

У Катенина:

Сам плачешь ты, своих на дело рук взирая.
„Софокл")

[1] О синтаксисе Пушкина см. в моей книге «Стиль Пушкина».

10—20-х годов начали уже очень заметно обозначаться.[1] Жуковский в своей статье «О басне и баснях Крылова» (1808) так писал о национально-бытовом просторечии: «Все языки имеют между собою некоторое сходство в высоком и совершенно отличны один от другого в простом, или, лучше сказать, в простонародии» (Соч. в прозе, 1826, изд. 2, 82). Понятно, что и для Пушкина проблема «олитературиванья» национально-бытового просторечия, которое неслось в литературу потоком «романтизма», практически вела к пересмотру вопроса о «церковнославянизмах». Это, конечно, вовсе не связано было с реставрацией «высокого слога» и церковнославянских архаизмов. В своих замечаниях о русском театре (1819) Пушкин называет «славянские» стихи Катенина «полными силы и огня, но отверженными вкусом и гармонией» (IX, 4).[2] В сущности, непосредственное движение стиля Пушкина по направлению к церковнославянизмам могло бы свидетельствовать скорее о некотором (объяснимом общественно-политическими причинами) перемещении карамзинизма на путь националистической языковой культуры. Ведь уже «История государства Российского», как было указано выше, дала повод многим говорить об отходе Карамзина от стилистической позиции «западничества». В. Плаксин в «Руководстве к познанию истории литературы» (Спб. 1833) писал об «Истории» Карамзина: «Карамзин, частью убежденный некоторыми дельными замечаниями противной партии в ошибках своих относительно языка, частью начитавшись старинных летописей и вникнув в характер русского языка и в сродство оного с славенским, умел выбрать средину между формами иноязычными и между славянизмом; а сим сродством он примирился с враждующею партиею» (327—328).

Но Пушкин, увлекаемый демократическим течением в литературе, двигался в другую сторону, в сторону «просторечия». В связи с этим усиливаются отрицательные суждения поэта о французской литературе и французском влиянии на язык. В связи с этим принимают резко враждебную, полемическую окраску отзывы Пушкина о Дмитриеве, который был наиболее устойчивым хранителем канона салонной речи и в 1821 г. 26 июня писал А. С. Шишкову: «Весьма справедливо ваше негодование на новизны, вводимые новейшими нашими поэтами. Я и сам не могу спокойно встречать в их (исключая одного Батюш-

---

[1] См. главу IX: «Стили национально-бытового просторечия и язык Пушкина».

[2] В статье «Сына отеч.» по поводу первого представления трагедии Лонж-Пьера «Медея» (1819) какой-то «единомышленник Дельвига» писал о языке Катенинского перевода четвертого действия этой трагедии, что оно «написано каким-то славяно-сербским диалектом. Там *чада* говорят матери: о *родная*! там находишь милые слова: *паче*, *отрынуть* и т. п.» («Звезда» 1933, № 7, статья Б. В. Томашевского: «Дельвиг»).

кова) даже высокой поэзии такие слова, которые мы в детстве слыхали от старух или сказывальщиков. *Вот, чу, приют, теплится, юркнул* и пр. стали любимыми словами наших словесников. Поэты-гении заразили даже смиренных прозаистов: даже и самый «Вестник Европы» без предлога *вот* не может дать ни живости, ни силы, ни приятности своему слогу» («Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова», II, 350). Это замечание Дмитриева полно глубокого исторического интереса. Оно направлено в первую очередь против Жуковского. Это в его стихах часто встречаются те формы просторечия, которые шокируют Дмитриева. Например, слово *приют* с своими производными становится излюбленным в языке Жуковского десятых годов:

Рощица, бывало,
В зной приют давала нам...
Что с приютом стало?
Ветр осенний бушевал,
И приютный лист опал.

(«Песня», 1814)

Было мне лучше; сидеть бы в приютном тепле под землею...

(«Овсяный кисель», 1816)

В тени олив твоих приютных

(«Путешественник и поселянка», 1819)

Ср.

Тех приюти между ветвей,
А тех на гнездышке согрей,

(«Летний вечер», 1818)

Прими, приюти нас на темную ночь...
Принять, приютить вас готова, друзья

(«Три путника», 1820)

Ср. у Пушкина:

... и Дмитрев нежный
Твой вымысел любя
Нашел приют надежный

(«Городок», 1814)

И снова я философ скромный
Укрылся в милый мне приют...

(«Послание к Юдину», 1815)

Прости, приют младых отрад...

(«К Галичу», 1815) [1]

Тебя зову, мудрец ленивой,
В приют поэзии счастливой

(Ib.)

---

[1] Ср. у Милонова в стихотворении «На женитьбу в большом свете»:

В семействе лишь приют сердечного покоя...

Ужель приют поэта
Теперь средь вихря света...
(«Послание к Галичу», 1815)

Оно сокрыло их во мрачный свой приют
(«К Жуковскому», 1816)

Уныние, губительная скука
Пустынника приют не посетят
(«Разлука», 1816)

Мой голос тих, и звучными струнами
Не оглашу безмолвия приют...
(«Сон», 1816)

Слово *вот* — у Жуковского:

Но вот шумит, журчит ручей
(«Гаральд», 1816)

Вот он лежит в борозде и малютке тепло под землею;
Вот тихомолком проснулся, взглянул и сосет, как младенец
(«Овсяный кисель», 1816)

Вот он жил опять и себя от веселья не помнит
(Ib.)

Вот стебелек показался...
(Ib.)

Вот проглянул, налился и качается в воздухе колос...
(Ib.)

Вот уж и цветом нежный, зыбучий колосик осыпан
(Ib.)

Вот налилось и зерно и тихохонько зреет.
(Ib.)

Вот уж и Троицын день миновался, и сено скосили
(Ib.)

Вот уж пожали и рожь, ячмень, и пшеницу, и просо
(Ib.)

Вот с серпами пришли и Иван, и Лука, и Дуняша
(Ib.)

Вот и снопы уж сушили в овине
(Ib.)

Вот и гнедко потащился на мельницу с возом тяжелым
(Ib.)

Ср. также очень частое употребление *вот* в сказке (из Гебеля) «Красный карбункул» (1816).

Ср. *вот* у Пушкина:

Вот с милым остряком
Наш песельник тащится
По лестнице с гудком
(«Послание к Галичу», 1815)

И вот она с томленьем на устах
К любезному в объятия упала
("Рассудок и любовь", 1815).

И вот, жезлом невидимым своим
Морфей на все неверный мрак наводит
("Сон", 1816)

и т. п.

Ср. в отрывке: «Свод неба мраком обложился» (1822).

Славян вот очи голубые,
Вот их и волосы златые

Ср. частое *вот* в поэме «Руслан и Людмила».[1]

Чу — у Жуковского:

Но чу!... там пруд шумит
(«Деревенский сторож», 1816)

Да чу! и к завтрене звонят
(«Утренняя звезда», 1818)

Ср. у Пушкина:

Но чу! идут — так, это друг надежной
(«Эвлега», 1814)

Чу! бьет полночь... Что же Зоинька?
(«Бова», 1815)

Ср. у Дельвига в балладе «Поляк»:

Но злодей! Чу! Треск булата...

Юркнуть у Жуковского:

Кольцо юркнуло в воду:
Искал... но где сыскать!..
(«Песня», 1816)

Теплиться у Жуковского:

В своей спокойной высоте;
Затеплился на церкви крест
(«Утренняя звезда», 1818)

Ср., впрочем, у Державина:

Но лишь солнце появилось,
И затеплились кресты
(II, 376, ст. 18)

Ср. у Милонова:

Подобно тем огням, вкруг гроба вознесенным,
Которы, тепляся, свой тихий свет лиют...
(«Нина»)

---

[1] Ср. резкое замечание «Санкт-Петербургских ученых ведомостей» (1777) об употреблении слова *вот* в надписи Прокоповичу Федора Козельского: «Слово *вот* неприлично... Славные стихотворцы наши употребляют вместо оного *се*».

И теплится заря на западе багряном...
("Уныние")

Ср. у Пушкина в стихотворении «Мечтатель» (1815):

И бледный теплится ночник
Пред глиняным пенатом.

Ср. потом в языке «Пиковой дамы»: «Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада».

Таким образом на рубеже 10-х и 20-х годов происходит внутренний распад карамзинизма. Отдельные его ветви подчиняются процессу растущей демократизации и национализации литературного языка. «Просторечие» и старинная письменность разбивают оковы салонного стиля.

Пушкин сначала избирает то же направление, что Жуковский. Но движется более быстро, противоречиво, сразу по разным дорогам, и в то же время скоро врезается глубже в толщу национально-бытового просторечия и простонародного языка. Разные стили просторечия вступают во взаимодействие с «книжным», «славенским» языком. На книжном фоне они острее и ярче выделяются. Самый процесс «олитературиванья» просторечия предполагал наличие такой стилистической среды, которая могла бы впитать и растворить в себе формы разговорно-бытовой речи. Средой, исторически выполнявшей эту миссию, была система церковно-книжного языка. Ведь «просторечие» в дворянских и развивавшихся под их влиянием буржуазных стилях не должно было беднить, бесцветить литературную мысль. Напротив, оно несло новые стилистические краски, новые предметные и идеологические формы в систему литературного языка. Так Пушкин приходит к проблеме смешения просторечия с книжным «славенским» языком. Он отвергает правило западников: «совершенная одинаковость или единообразие в словах и течении оных, без всяких скачков и неравностей».[1] Напротив, Пушкин идет по пути стилистического сочетания «неравностей».[2] Это — основной принцип построения новой «общей» системы литературной речи. Уже

---

[1] «Сокращенный курс российского слога», 44. Я. Грот, «Карамзин в истории русского литературного языка», 84.

[2] Ср. в стихотворении «Русалка» (1819):

Уже лопаткою смиренной
Себе могилу старец рыл
И лишь о смерти в о ж д е л е н н о й
Святых угодников молил.

В стихотворении генералу Пущину (1821):

И скоро, скоро, смолкнет *брань*
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмешь *во длань*
И *воззовешь:* свобода!

в «Руслане и Людмиле» критика 20—30-х годов заметила некоторое движение в эту сторону, в сторону уравнения «славенского» языка с просторечием.

Оторванные от своей идейной, мифологической и предметной почвы, церковнославянизмы в языке Пушкина вступают в связи с словами других стилей, других социально-групповых типов речи. В критике раздаются протесты против такого смешения. «От ужаса *зажмуря очи*» («Руслан и Людмила»). Славянское слово *очи* высоко для простонародного русского глагола «*жмуриться*» («Сын отеч.» 1820, ч. 65, № 37).[1]

«Галатея» (1839, ч. 3, № 19—20) писала о «Руслане и Людмиле»: «Неприятно встречать... некоторые усечения, которые в легкой поэзии отзываются жестокостью в слухе; еще неприят-

---

Хвалю тебя, о верный брат,
О каменьщик почтенный.

Друзьям (1822):

Так, музы вас *благословили*,
Венками *свыше осеня*,
Когда вы, други, отличили
Почетной чашею меня.

Ср. распад на три лексических цепи стихотворения «Боратынскому из Бессарабии» (1822): торжественно — «славенский» зачин, русско-французскую середину и почти разговорное последнее четверостишие:

Сия пустынная страна
Священна для души поэта,
Она Державиным воспета
И славой русскою полна.
Еще доныне тень Назона
Дунайских ищет берегов,
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого:
Но, друг, обнять милее мне
В тебе Овидия живого.

Ср. смешение церковнославянизмов с руссизмами и семантическими галлицизмами в стихотворении «Люблю ваш сумрак неизвестной» (1822):

Быть может, там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый *пламень пожирает*
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя...

Еще сильнее взаимопроникновение «славянизмов» и семантических галлицизмов в стихотворениях: «Гречанке» (1822), «Демон» (1823), кн. А. М. Голицыной (1823) и др.

[1] Ср. в контр-рецензии П. К—ва («Сын отеч.» 1820, ч. 65, стр. 42): «В простонародном русском языке слово *очи* также употребительно, как слово *глаза*, следовательно, и шутка не у места и привязка совершенно пустая».

нее видеть вместе со словами чисто русскими, взятыми из обыкновенного общественного быта, слова церковнославянские, так, например, в следующих стихах:

Объемлет старца — колдуна...
Погибни, трус! умри! *вещает.*
Блистая *в ризе парчевой...*
Щекотит ноздри копием...
Как ястреб богатырь летит
С подъятой грозною *десницей,*
И в щеку тяжкой рукавицей
С размаха в голову *разит».*

Для полной картины тех нарушений Карамзинского канона, которые Пушкин допустил в языке «Руслана и Людмилы», необходимо указать другие случаи смешения «славенских», книжно-торжественных слов с формами разговорного просторечия.

Например:

Кругом курильницы златые
Подъемлют ароматный пар;
Довольно... благо мне не надо
Описывать волшебный дом...

(II, 223—225)

И шум *на стогнах восстает;*
В волненьи радостном народ
Валит за всадником, теснится

(VI, 70—72)

В рассказе головы:

«Ты вразумил меня, герой»,
Со вздохом голова сказала:
«Твоя *десница* показала,
«Что я виновен пред тобой»

(III, 360—362)

В кровавых битвах *супостата*
Себе я равного *не зрел;*
Счастлив, когда бы не имел,
Соперником *меньшого* брата!

(III, 367—370)

Мне бороду мою отрубит,
Тебе главу, суди же сам,
Сколь важно нам приобретенье
Сего созданья злых духов!

(III, 401—404)

Еще более характерна для понимания новых тенденций Пушкинского стиля полемика вокруг языка «Братьев разбойников».

О стиле «Братьев разбойников» Пушкин писал кн. Вяземскому: «Как слог я ничего лучше не писал» (Переписка, I, 78). В этой оценке скрыто указание на новизну, непривычность стилистического синтеза разных типов речи. Письма Пушкина к Бестужеву открывают, что сам поэт больше всего дорожил

свободным употреблением форм просторечия в этой поэме. Он предлагал Бестужеву напечатать отрывок поэмы в «Полярной звезде», «если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог не испугают нежных ушей читательниц» (Ib., 71, письмо от 13 июля 1823 г.). Он отказывается дать согласие на печатание, если не пропустят *грез* и *харчевни* («скоты! скоты! скоты! а *попа* к чорту его!») (Ib., 122; письмо от 29 июня 1824 г.).

В черновых рукописях поэмы просторечие и простонародность выступали непринужденнее (В тетради Ленинской библ., б. Румянцевского музея, № 2365):

Нам редко *выдавалась* радость...
Наскуча барскою сохой...
В жилье (зеленую) дубраву...
Кистень *пришол нам* по руке...

В тетради № 2366:

Кто смело на *грабеж* летит.

Но современная критика отмечала в языке «Братьев разбойников» непривычное сочетание просторечия с элементами высокого книжного стиля. «Сын отеч.» (1825, ч. 101, № 10, «Четвертое письмо на Кавказ») так подводил итоги литературным нападкам на поэму: «Главнейшее из обвинений есть то, что рассказывающий разбойник не везде говорит свойственным ему языком, часто сбивается на возвышенную поэзию, употребляет слова, разрушающие очарование правдоподобия и так сказать показывающие своего суфлера». Рецензент соглашается с справедливостью этого замечания, но находит, что «несколько несвойственных простоте рассказа выражений нимало не ослабляют достоинства пьесы. Чувствования, положения, зверские забавы и ужасы списаны с натуры. Какая пестрота действия и рассказа, какие ужасные местности!»

Конструктивной основой поэмы является процесс речевого становления рассказчика из «простонародия», процесс литературной разработки новой области открывающихся здесь стилистических и экспрессивных форм. И. В. Киреевский так отзывался об экспрессии разбойничьего рассказа: «Подробное описание страданий пойманных разбойников поселяет в душе одно отвращение, — чувство подобное тому, какое произвел бы вид мучения преступника, осужденного к заслуженной казни» (Соч. И. В. Киреевского, I, 12). В этом суждении звучит отрицание метода сближения и смешения точки зрения героя с точкой зрения автора, метода пересечения и соединения разных субъективно-экспрессивных сфер речи, разных стилей, метода, при посредстве которого Пушкин (с начала 20-х годов) начал строить новые типы стилистических конструкций, ища выхода из узкого, однообразного круга карамзинизма. Позднее Белинский, отрицательно оценивая поэму «Братья разбойники» с точки зрения

норм литературного языка 30—40-х годов, отмечал в ней как недостаток стилистические противоречия, структурную несогласованность: «Язык рассказывающего повесть своей жизни разбойника слишком высок для мужика, а понятия слишком низки для человека из образованного сословия; отсюда и выходит декламация, проговоренная звучными и сильными стихами». Иллюстрацией могут служить такие книжно-«славенские» фразы из рассказа разбойника:

Уже мы знали нужды *глас.*
Он умирал, твердя *всечасно.*
И ночью там, *могущ* и страшен
Убийству первый научил.
Без чувств, *исполненный боязни,*
Брат упадал ко мне на грудь.
Душа рвалась к лесам и воле.
Алкала воздуха полей.
Потом на прежнюю *ловитву*[1]
Пошел один...

и др. под.

§ 5. Итак, Пушкину открываются истинные источники поэтического языка. Он становится продолжателем исторического дела Ломоносова. Но в Пушкинском понимании центр тяжести Ломоносовской реформы перемещается с церковнославянского языка на национально-бытовую основу. Возникающие отсюда следствия отделяют поэта от «славянофилов».[2] Пушкин стремится не к воссозданию русского литературного языка на структурных формах церковнославянского, а напротив, к пересозданию, к семантическому преобразованию «славенской» стихии в литературном языке на основе стилей национально-бытового просторечия. Поэтому стилистические расслоения самого «славенского» языка Пушкина мало занимают, а «высокий слог», как особая структура речевых форм, им в этот период категорически отрицается.

Например, в самом начале 20-х годов пред Пушкиным встает проблема лиро-эпического стиля. И в этой связи вопрос о церковнославянизмах получает особенную остроту. Л. И. Поливанов

---

[1] Ср. в отрывке «Свод неба мраком обложился» (1822):

И пламя яркое костров
И трубный звук, и лай *ловитвы.*

[2] Правда, для самих славянофилов перед войной 12-го года и после этой войны проблема «народного» языка приобрела особенную остроту. А. С. Шишков писал в 1811 году от 12 февраля: «Сперва бранили меня за то, что защищаю славенский язык, а теперь станут бранить, что прославляю народный. Пускай бранят. Кто-нибудь скажет спасибо; а спасибо одного доброго человека утешает меня больше, нежели досаждает брань ста худых» («Записки, мнения и переписка адм. А. С. Шишкова», 1870, I, 310). Ср. простонародный язык «Растопчинских афишек» и сочинений, связанных с образом Силы Андреевича Богатырева (см. Соч. Растопчина, Спб. 1853). Однако это не была «изящная словесность».

очень тонко определил общую тенденцию Пушкинского антологического стиля — к отбору церковнославянизмов, лишенных непосредственного церковно-библейского колорита, и к сочетанию их с формами разговорного языка. Характеризуя язык и стиль Пушкинского стихотворения «Приметы», Л. И. Поливанов писал: «В лучших сочинениях Батюшкова Пушкин учуял элементы художественной антологии и нашел надлежащий для нее язык, пользуясь и сокращенными прилагательными, но весьма осторожно, и со свойственным ему вкусом избирая из церковнославянского языка такие слова, которые не лишали бы картину античного колорита и не вытесняли бы его колоритом библейским (таковы, например, слова: *земледел*, а не *оратай, мраз, хлад, лоно, дева, селянин, злак*)[1] и искусно сплавляя их с чисто-русскими словами (как: пастух, окличут, яркое, ревучий, ленивую дремоту)».[2]

---

[1] Впрочем, в языке Батюшкова можно отметить и слово *оратай* и слово *земледел:*

> С толпою чад своих, оратай престарелый,
> Опресноки ему священны принесет...
> Хвала, хвала тебе, оратай домовитый...
>
> („Тибуллова элегия", XI, из I кн.)

> Оратай из лесу там едет на волах
>
> (Ib.)

В стихотворении «На развалинах замка в Швеции»:

> Оратай ближних сел, склонясь на посох свой,
> Гласит ему...

Но в «Переходе через Рейн» (1814):

> Давно ли земледел, вдоль красных берегов,
> Средь виноградников заветных и священных
> Полки встречал иноплеменных?..

[2] Соч. Пушкина, М. 1887, I, стр. 104.

Ср., например, те же формы употребления церковнославянизмов в Пушкинском стихотворении «Наперсница волшебной старины» (1821).

Зависимость языка Пушкина этой поры в сфере церковнославянской лексики от языка Батюшкова несомненна. Характерны соответствия не только в синтаксической структуре стихотворений, но и в лексикофразеологическом построении: книжно-славянские выражения у Батюшкова и Пушкина носят отпечаток одной и той же экспрессии, одного стиля; например, у Батюшкова в «Подражании Ариосту»:

> Но ветер сладостный, но рощи благовонны,
> Земля и небеса прекрасной благосклонны...

у Пушкина в стихотворении «К Овидию» (1821):

> Но чуждые холмы, поля и рощи сонны
> И музы мирные мне были благосклонны;

у Батюшкова в «Песни Гаральда Смелого»:

> И море и суша покорствуют нам...

Поэтому Пушкин на рубеже 10-х и 20-х годов в церковнославянской традиции ищет иного и учится не тому, чему поклонялись Шишков и славянофилы. Вернее, одно ценимое и славянофилами свойство церковнославянского языка — его простота, краткость и первобытная свобода от жеманства — особенно привлекает Пушкина. Пушкин пишет кн. Вяземскому (в 1823 г.): «...Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и фр[анцузской] утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе» (Переписка, I, 85). Самый стиль этой характеристики, просторечно-вульгарная формулировка функций библейского языка (библейская *похабность*) в системе русского, указывает на точку зрения, существенно отличную от славянофильской. Дело, конечно, не только в том, что поэт, подчеркивая литературное значение церковно-библейского языка, в то же время «берет уроки чистого афеизма», а в том, что для Пушкина рядом стояли в аспекте *литературного* сознания — Библия и Шекспир. «Читая Шекспира и Библию», писал поэт в своем русско-французском письме (являясь по стилю карамзинистом с синтаксическими галлицизмами), «святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гете и Шекспира» (Переписка, I, 103). Гораздо точнее и глубже свое романтическое, проникнутое историзмом и этнографическим демократизмом отношение к Библии поэт формулирует в письме к сестре и брату в том же 1824 году: «Библия для христианина — то же, что история для народа» (Ib., 155).

у Пушкина в «Песни о вещем Олеге» (1822):

И волны и суша покорны тебе...

Ср. соответствия и совпадения в стихотворении Пушкина «Война» (1821) и стихотворении Батюшкова «Веселый час» и т. п.

Ср. общность и тех русско-французских фраз, с которыми смешиваются церковнославянизмы в стиле обоих писателей —

у Батюшкова:

Ах! небо чуждое не лечит сердца ран!

(„Разлука")

у Пушкина:

Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...

(„Погасло дневное светило", 1820)

И не единый дар возлюбленной моей
Святой залог любви, утеха грусти нежной,
Не лечит ран любви безумной, безнадежной.

(„Пускай увенчанный любовью красоты", 1824)

Ср. в «Dictionnaire de l'Académie française» 1800, т. I, стр. 157: blessure.

Под влиянием этой стилистической эволюции меняется отношение Пушкина к А. С. Шишкову как лингвистическому вождю славянофилов: Пушкин ожидает от него (министра народного просвещения) «добра для литературы вообще и посылает ему лобзание, не яко Иуда-Арзамасец, но яко разбойник-романтик» (Письмо к Л. С. Пушкину, I, 117).

Ср. в письме Дельвига В. К. Кюхельбекеру: «Целую тебя не как Иуда Искариотский, но как бы поцеловал разбойник, если бы мог он на кресте целоваться» (Соч. барона А. А. Дельвига, Спб. 1893, 153).

Прославляя А. С. Шишкова в письме к кн. Вяземскому, Пушкин констатирует резкое изменение литературно-языковой точки зрения: «Так Арзамасец говорит ныне о деде Шишкове. Tempora altri» (Ib., 170).

Но все это нисколько не мешает поэту иронизировать над деятельностью Шишкова по «славянизации» заимствованных слов: «На каком основании начал свои действия Шишков? Не запретил ли он «Бахчисарайский фонтан» из уважения к святыне академического словаря и *неблазно составленному слову водомет?*» (Переписка, I, 117). Однако и в этой сфере обнаруживается некоторое смещение точки зрения поэта.

Но даже тогда, когда романтическая идея исторической народности, заставившая поэта с точки зрения дворянина-историка русской нации еще раз пересмотреть, изменить и дополнить свою литературную теорию и практику в области «славенского» языка, признать за церковно-книжной стихией более широкие права и функции в предносившейся поэту системе русской литературной речи, — и тогда отрицательное отношение Пушкина к теории трех стилей, к высокому «славенскому слогу», к мысли о «согласовании» системы русского литературного языка со структурой церковнославянского остается неизменным.

Шишковскую школу поэт остроумно сопоставлял с французской школой Ронсара, Жоделя и Дюбелле: «Люди, одаренные талантом, будучи поражены ничтожностью и, должно сказать, подлостью французского стихотворства, выдумали, что скудость языка была тому виною, и стали стараться пересоздать его по образцу древнего греческого. Образовалась новая школа, коей мнения, цель и усилия напоминают школу наших славяноруссов, между коими также были люди с дарованиями. Но труды Ронсара, Жоделя и Дюбелле остались тщетными. Язык отказался от направления, ему чуждого, и пошел опять своей дорогою» (IX, 222).

Глубокий интерес к национальным формам выражения побуждает Пушкина искать русских соответствий иностранным словам и выражениям. Поэт не разделяет крайностей славянофильского отвращения к «варваризмам». Ирония по отноше-

нию к Шишковским «шарОтыкам» и «топталищам» неизменно сохраняется у Пушкина. Но характерно Пушкинское новообразование «вольнолюбивый»[1] по типу лексемы *отечестволюбивый*, предложенной Шишковым для замены варваризма «патриотический» (ср. у кн. Вяземского ироническое употребление этого слова: «восклицания патриотических или — извините! — отечественнолюбивых филологов» — Полн. собр. соч., I, 274). В стихотворении Чаадаеву (1821):

Вольнолюбивые надежды оживим...

Ср. в «Евгении Онегине»: Вольнолюбивые мечты (2, VI, характеристика Ленского).

Еще более любопытны комментарии Пушкина в письме к Н. И. Гречу (от 21 сентября 1821 г.): «Вчера я видел в С. О. мое послание к Ч—ву, уж эта мне цензура! Жаль мне, что слово *вольнолюбивый* ей не нравится, оно так хорошо выражает нынешнее liberal, оно прямо русское, и верно почтенный А. С. Шишков даст ему право гражданства в своем словаре, вместе с шаротыком и топталищем»[2] (Переписка, I, 35).

Итак, Пушкин отменил гонения карамзинистов на церковную фразу и славянизм. Он отнесся к церковнославянскому языку с тонким тактом и острым чутьем историка, понявшего

---

[1] Ср. в «Российском музеуме» 1815, ч. III, стр. 310: «Известно, какому злоупотреблению подвергалось во время и после революции слово liberal — свободно мыслящий».

[2] Здесь намечается путь литературной национализации того либерального лицейско-дворянского арготического стиля, о котором Ф. Булгарин писал в своих записках правительству: «Молодой вертопрах должен... порицать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском языке, а на французском знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений. Сверх того, он должен толковать о конституции, палатах, выборах, парламентах; казаться неверующим христианским догматам, и более всего представляться филантропом и русским патриотом. К тону принадлежит также обязанность насмехаться над выправкою и обучением войск, и в сей цели выдумано ими слово *шагистика... Верноподданный* значит укоризну на их языке, *европеец* и *либерал* — почетные названия. Какая-то насмешливая угрюмость вечно затемняет чело сих юношей, и оно проясняется только в часы буйной веселости... У лицейских воспитанников, их друзей и приверженцев этот характер называется в свете: *лицейский дух.* Для возмужалых людей прибрано другое название: Mépris souverain pour le genre humain, а в сокращении mépris, для третьего разряда, т. е. сильных крикунов — просто *либерал.* Например, каков тебе кажется такой-то? хорош, но с *лицейским душком,* или хорош, но mépris или прямо: *либерал*» (Б. М. Модзалевский, «Пушкин под тайным надзором»; 1922, 20).

Ср. в тайной записке об Арзамасе: «Все, что не ими выдумано, — *дрянь*; каждый человек, который не пристает безусловно к их мнению, — *скотина*; каждая мера правительства, в которой они не принимают участия, — *мерзкая*; каждый человек, осмеливающийся спорить с ними, — *дурак* и *смешон*» (Ib., 28).

современность как момент синтеза распавшихся звеньев прошлого. Но, вопреки Ломоносову, Шишкову, Катенину и другим славянофилам, Пушкин видел, что церковнославянский язык утратил значение национально-объединяющей силы в истории русского литературного языка. Поэтому Пушкин решительно отказывается от попытки создать поэтический язык, повествовательный стиль литературы или философский язык рассуждений на основе церковнославянского языка. Но к Пушкину только с точки зрения семинариста-разночинца применимы упреки Надеждина: «Богатые сокровища нашего языка, теряющегося своими корнями в неистощимом руднике языка славянского, предаются спокойно в добычу ржe и тлению. Ухо наших витязей ломберного стола и вертячей мазурки приучилось слышать звуки русского языка из одних эпиграмм, мадригалов и поэм нового фасона... Что из этого должно выйти? Совершенное обнищание языка русского, которое и теперь уже для многих слишком ощутительно, несмотря на хвастовство, с коим мы везде и всегда рассказываем о нашем богатстве».

Напротив, с другой стороны, со стороны литераторов, приспособлявших Карамзинскую систему к потребностям буржуазно-перерождавшегося общества, по адресу Пушкина и в 30-х и 40-х годах раздавались упреки в том, что он утвердил в своем стиле церковнославянизмы и производил над ними опыты разнообразного смешения. Так, «Библиотека для чтения» (1841, XLIX, «Литературная летопись») сожалела: «Более очищенный, более строгий вкус следующих поколений одно только поставит ему (Пушкину) в упрек, именно употребление в русском языке форм другого языка, так называемого славянского...»

Точно так же «Галатея» (1839, III, № 19—20), ставившая в вину Пушкину, что поэт, уклонившись от школы пюризма (т. е. карамзинизма), «впоследствии времени увлекался чуждым направлением и, вопреки своему призванию, выступал за черту искусства», писала: «Жаль только, что Пушкин, принадлежавший прежде к школе пюризма, позволял иногда себе небрежности в слоге, оттого во многих местах нет единства тона, колорита». И далее приводятся примеры употребления церковнославянских слов в соседстве со словами «чисто русскими».

Не менее показательно и то, что в 30-х годах, когда О. И. Сенковский, стремившийся к буржуазной перестройке Карамзинского стиля на новых европейских основах, стал отстаивать «разговорность» литературного языка, необходимость устранения границ между книжным языком и разговорной речью «светского общества», Пушкин осудил эту попытку и склонился к той позиции, которую некогда защищали в этом вопросе славянофилы.

Само стилистическое многообразие литературы, по Пушкину, зависит от смешения в ней форм письменного и разговорного

языков. «Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка» (XI, 448, «Письмо к издателю»). «Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет, так же как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. Не одни местоимения *сей и оный*, но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: карета, скачущая по мосту, слуга, метущий комнату; мы говорим: которая скачет, который метет и пр., — заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. Из этого еще не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено» (IX, 447—448). Пушкин отмечает взаимодействие письменной и разговорной речи как фактор исторического развития их и утверждает конструктивные различия систем литературно-книжного и устно-бытового языков.

Итак, Пушкин признавал «славенскую» стихию живым структурным элементом русского литературного языка, но не хотел ставить разнообразие стилей в зависимость от нее, не хотел приспособлять к ее системе, к ее мифологии и ее семантике все другие стили литературы. Пушкин утверждал многообразие литературных стилей и сложность строения каждого из них, обосновывая эти различия социологически и исторически. По Пушкину, церковнославянская мифология и фразеология не должны доминировать над другими стилями литературной речи, а должны сочетаться с иными формами литературного выражения в новые конструктивные единства или же стать образно-идеологической базой особых профессиональных и социально-характеристических стилей. Пушкин — вслед за Фонвизиным и одновременно с Гоголем — укрепляет за церковным языком функции социально-характеристические. Пред Пушкиным встает проблема о социальных характерах, о типических образах субъектов, исторически сформировавшихся и отпечатлевшихся в системе церковного языка. Но анализ этих функций церковнославянского языка в стиле Пушкина целесообразнее производить независимо от вопроса о позиции Пушкина в борьбе западников и славянофилов. В половине 20-х годов конфликт между западниками и славянофилами по вопросу о языке теряет значение основного литературного факта.[1] Намечаются

---

[1] Ср. замечание П. В. Анненкова: «В 1825 году следы борьбы Арзамаса со старой партией защитников прежних форм искусства пропадают совсем или принимают другой вид» («Материалы для биографии А. С. Пушкина», Спб. 1855, 53).

более сложные и многообразные формы социально-языковых и стилистических расслоений.

Позицию же Пушкина в борьбе западников и славянофилов коротко можно определить так: Пушкин по вопросу о церковнославянизмах до конца десятых годов вращается в сфере литературно-языковой системы карамзинистов, западников, но занимает среди них совершенно особое положение — противоречивое и для старшего поколения западников «неприятное». Движение Пушкина в границах карамзинизма на пути к просторечию предуказывается Жуковским. Но Пушкин к началу 20-х годов выходит из круга карамзинизма, утверждая синтез «русско-французской» литературной речи с национально-бытовым просторечием, «славенским» книжным языком и с семантическими формами других западноевропейских литератур и создавая на основе этого «смешения» многообразие форм лирического и повествовательного стилей. Поэт становится несколько ближе к славянофилам. Но его отделяют от них отрицание теории трех стилей, борьба с высоким «славенским» слогом и ограничительное понимание функций церковно-библейского языка в системе «общей» литературной речи. Церковно-книжная речь не лишается Пушкиным прав литературного гражданства и даже не отвергается как система особых стилей. Она только теряет для поэта силу образно-идеологического центра и значение мифологического «ключа». Церковнославянские формы рассматриваются как одно из слагаемых национального русского языка. Поэтому они должны подвергнуться национализации на основе бытового просторечия.[1]

---

[1] Несомненно, что с внешней стороны намечались в 20-х годах некоторые точки соприкосновения между стилистической системой Пушкина и языковыми идеалами разночинно-демократической интеллигенции. Ср. суждения «Моск. телеграфа» (1833, № 8, стр. 563—567) о борьбе между карамзинистами и славянофилами: «Основная мысль Карамзина — брать хорошее у чужеземцев и благоразумно усвоивать его себе — была справедлива, прекрасна, необходима для образованного народа...». С другой стороны, «Моск. телеграф» всецело признает «мысль славянофилов, оправданную опытом», что «главные улучшения для языка, для словесности должны быть заимствованы из родного мира, из уцелевших памятников русского духа, из стихий русского быта, ибо таково было основание их мысли», хотя и порицает славянофилов за то, что они «для прошедшего, мертвого оставили настоящее, живое, утвержденное употреблением и дарованиями».

V

Церковнославянская стихия в языке Пушкина. Приемы ее стилистического применения и ее литературной ассимиляции

1

Вопрос о церковнославянской стихии в языке Пушкина сплетается с клубком вопросов о жанрах Пушкинского творчества, об образах лирических героев, об эволюции поэтического стиля Пушкина, о формах Пушкинской прозы и ее персонажей. Он, наконец, неотделим от общей проблемы синтеза разных социально-языковых категорий, синтеза, который выдвигается Пушкиным как основной принцип построения новых форм и норм русской литературной речи.

Для отношения Пушкина к слову характерны поиски новых приемов взаимодействия между предметно-смысловыми формами слова, фразы и их субъективно-экспрессивными «позами», применениями. Многообразие структурных вариаций в пределах одной и той же социально-языковой или стилистической сферы — эта особенность Пушкинского языка нашла яркое воплощение и в области церковнославянизмов.

По необходимости приходится ограничить изложение указанием наиболее ярких типов стилистического употребления «церковнославянизмов» в языке Пушкина.

§ 1. Общие тенденции западнического отношения к церковнославянизмам у Пушкина, в ранний период его творчества (до середины 20-х годов), осложнялись образом воинствующего атеиста-революционера. В связи с этим — на фоне разных приемов каламбурного, иронического, пародического переосмысления церковнославянизмов, на фоне их «ассимиляции» со средним стилем литературного языка, на фоне их «смешения» с бытовым просторечием — выступают своеобразные формы Пушкинской риторики, посредством которых ореол религиозной святости, торжественного величия совлекался с образов церковно-библейского языка или же выступал в ином идеологическом свете. Церковнославянская фразеология и символика, перенесенная и как бы опрокинутая в систему либерально-атеистиче-

ского мировоззрения, превращается здесь в острое орудие политического воздействия. Пушкину, как «ритору», вообще было свойственно разыгрывать роль библейского «пророка» и учителя, хотя он часто и независимо от субъектного маскарада прибегал к церковно-книжным символам как очень эффектным и эффективным, в силу своей риторической «обратимости», средствам выражения. Так, при известии о смерти Александра I поэт писал Плетневу: «Душа, я пророк, ей богу, пророк. Я Андрея Шенье велю напечатать церковными буквами во имя отца и сына» («Письма», I, 172).

В этом аспекте проблема ликов субъекта, образов лирического героя приобретает особенную значительность, так как их колебаниями, их экспрессивной структурой определялась степень «отклонения» церковнославянизмов от прямых предметных значений, степень и характер смысловой «перелицовки» библейского языка. Идеология и патетика лирического «я», полемически притягивая церковные и библейские символы, ломает их значения, обращая их в кощунственные антитезы. Так, например, в наброске: «Вот евхаристия другая» (1821) революционно-атеистический пафос лирического *я* — бунтаря и эпикурействующего материалиста — риторически спаивает цепь бытовых образов и политических намеков с иносказательностью церковно-библейских символов — *евхаристия, спасенья чаша, воскреснет.* Эта двойственность лексических рядов, своим символическим переплетением усиливающая пафос революционности, риторически тяготеет как к смысловой вершине к «перевернутым» церковно-библейским символам, которые и нагнетаются в конце стихотворения:

Но, нет!— мы счастьем насладимся,
Кровавой *чашей причастимся* —
И *я скажу: «Христос воскрес!»*

Здесь, кроме общего контекста стихотворения, кроме заданной им направленности смыслового разрешения, только слово *«кровавый»* выдает риторическую «опрокинутость» церковнославянизмов.

Для изучения более «чистых» форм контрастно-риторического переосмысления церковно-библейской речи, обусловленных метаморфозами и переодеваниями «лирического я» в стиле Пушкина, интересно стихотворение: «Свободы сеятель пустынный» (ноябрь 1823). Евангельский эпиграф: «Изыде сеятель сеяти семена своя» внушает символическую двупланность понимания: стихотворение противопоставлено евангельской притче. Пушкин в письме к А. И. Тургеневу иронически называет это стихотворение подражанием «басне умеренного демократа Исуса Христа» (Переписка, I, 91). Таким образом пародическая заостренность очевидна. И заключается она, как показывает вся семантика стихотворения, в том, что басня о сеятеле из области религиозно-

этической переносится в социально-политическую. В связи с этим образ «живительного семени» получает совсем иное значение. Он делается символом революционного учения. Ни на чем не основано и явно неправильно толкование Валентином Рожициным (в брошюре «Атеизм Пушкина») «лирического *я*» Пушкинской притчи: «Первое лицо в этом стихотворении относится *не к поэту, а к Иисусу. «Я» говорится от лица евангельского сеятеля.* Умеренный демократ Иисус в «порабощенные бразды» бросал живительное семя. Его проповедь не дала никаких результатов. «Но потерял я только время». Отсюда разочарование «умеренного демократа». Иначе говоря, Пушкин хочет выразить, что Иисусова проповедь потерпела неудачу» (50). Если вдуматься в лексику и символику Пушкинского стихотворения, нетрудно убедиться в полной ошибочности этого объяснения. В эпиграфе задан евангельский образ сеятеля. И с этим образом приходит в столкновение другой образ сеятеля, внутреннее содержание которого сразу же раскрывается в его определениях: с одной стороны, это сеятель свободы, с другой — сеятель пустынный, т. е. в пустыне (ср. библейское выражение: глас вопиющего в пустыне), иначе: одинокий. И этот образ сливается с лирическим «я», которое тем самым притягивает к себе символические формы евангельского сеятеля, обусловливается его аллегорическими намеками, но разрешает их в совсем другом политическом смысле. Новый сеятель противостоит евангельскому сеятелю как трагический образ революционера-проповедника свободы, пришедшего слишком рано, до звезды. В самом деле, церковно-книжная лексика первой части этого стихотворения, облеченная в форму противительного периода, распадается на два ряда символов. Один — чисто «славенский» — связан с метафорическим развитием и разъяснением образа «свободы», которую сеет сеятель. Это — символы: *живительное семя,* бросаемое в *порабощенные бразды* (т. е. в гущу народов), *благие мысли.*

Ср. у Жуковского в стихотворении «Императору Александру» (1814):

> ... ангел разрушенья
> Взрывает, как бразды, земные племена,
> В них жизни свежие бросает семена —
> И, обновленные, пышнее расцветают.[1]

Другой — смешанный ряд символов, состоящий из литературно-книжных русских слов и переводных с французского фраз (*потерять время* — perdre le temps), образует характеристику

---

[1] Ср. иную семантическую направленность образа в «Евгении Онегине»:

> Увы! На жизненных браздах,
> Мгновенной жатвой, поколенья,
> По тайной воле провиденья,
> Восходят, зреют и падут.
>
> (2 гл., XXXVIII)

сеятеля — идеальной личности: «рукою *чистой и безвинной*»; «потерял я только время... *мысли и труды*». До сих пор стихотворение понимается как аллегорическая повесть о бесплодной проповеди свободы. Но с самого начала второй части экспрессия и синтаксис резко ломаются. Лирическое *я* принимает позу гневного оратора. Звучит патетическое обращение к «мирным народам», т. е. к самим «порабощенным браздам». Открывается «адресат» стихотворения. Лирический монолог превращается в ораторскую речь. Интонация горестного лирического раздумья сменяется тоном едкого упрека. Атмосфера сарказма, жгучей иронии сгущается оттого, что в лексической слой притчи (теперь как бы отделяющейся от церковного языка) вовлекается новый евангельский символ — пасущихся стад, в образе которых евангелие представляет народы, человечество (например, Матф. 25, 32—34). Притча о сеятеле сменяется обличением мирно пасущихся стад. Евангельские овцы не называются. Но все признаки рабочего скота налицо, хотя они и выражены не библейскими, а бытовыми словами: *стада* (множественное число), «их должно *резать* или *стричь;* для них — «ярмо с гремушками да бич». И все эти приметы вводятся в стихотворение риторически, т. е. с оттенком уничтожающего презрения, направленного грамматически не столько на народы, сколько на стада. С экспрессией презрения сочетается ирония, особенно ярко проявляющаяся в риторическом вопросе: «К чему стадам дары свободы?» и к концу стихотворения — в утверждении обреченности этих стад из рода в роды передавать одно наследство — знаки рабства («ярмо с гремушками») и угнетения («да бич»).

Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Таким образом евангельские образы риторически перевернуты. В них звучит не только и не столько разочарование «умеренного демократа», сколько едкая ирония революционера,[1] не сумевшего поднять рабов на борьбу за свободу и теперь саркастически рисующего «мирным народам» перспективы их жизни на положении рабочего скота.[2]

§ 2. Этой прямолинейной риторике церковнославянизмов в раннем Пушкинском стиле противостоят сложные приемы символического преобразования их в лирике Пушкина конца 20-х и первой половины 30-х годов. Здесь риторические формы

---

[1] Любопытно, что именно так понималось это стихотворение в жандармских кругах. См. донесение полковника Бибикова в книге Б. М. Модзалевского «Пушкин под тайным надзором», 9—10.

[2] Едва ли целесообразно для семантического анализа церковнославянских форм этого стихотворения останавливаться на истории текста его и связанных с ним набросков (ср. Изд. соч. Пушкина Академии наук, III, примеч., 338—340, а также 104—105).

завуалированы символизмом изображения. Они или облекают символическую структуру целого или же только постулируются как затаенный план авторской семантики, вытекающий из подразумеваемого предметного фона стихотворения, из его конкретного применения. Самые принципы «смешения» стилей здесь резко меняются. Иллюстрировать эти новые формы риторико-символического применения церковнославянизмов можно стилистическим анализом стихотворения «Мирская власть» (1836).[1]

В этом стихотворении эффектная антитеза между мирской властью, взявшей под свою охрану крест и распятие, т. е. христианскую церковь, и чистым христианством с необыкновенной силой и остротой углубляется внутренней антиномией христианской мифологии, тем контрастом трагических противоречий, примирение которых должно, по мысли поэта, составлять религиозную и социально-политическую сущность христианства.

Стихотворение начинается резким, синтаксически и семантически подчеркнутым повествовательным противопоставлением двух рядов образов.

В одном ряду находятся церковно-библейские выражения, насыщенные символикой и экспрессией религиозного благоговения:	В другом располагаются образы, низведенные в область казенного официально-канцелярского языка.
Тогда по сторонам животворяща древа...	Но у *подножия* теперь креста *честного*.
	Перевод церковнославянского слова ч е с т н ы й в русские грамматические формы *честнóй* изменил его экспрессию и значение, придав слову оттенок фамильярности. Этим подготовлено ироническое приравнение: «*Как будто у крыльца правителя градского*».
	Мы зрим — *поставлено* на место жен святых
Стояли две жены *В неизмеримую печаль погружены*	*С ружьем и в кивере два грозных часовых*

Контраст смиренной печали стоящих жен и грозного вида часовых в полной амуниции, сторожащих распятие, далее иронически осмысляется в военно-интендантском плане посредством разрыва повествования патетическим воззванием к властям:

К чему, скажите мне, хранительная стража? —
Или распятие к а з е н н а я п о к л а ж а,
И вы б о и т е с ь в о р о в и л и м ы ш е й?

После этого обращения к представителям мирской власти, обращения, в котором соединились, пересекшись, оба ряда образов, — противопоставление религиозных и официально-казенных символов замыкается внутри каждого отдельного синтаксиче-

[1] Известно событие, по поводу которого было написано это стихотворение: на выставке картины К. П. Брюлова «Распятие», привлекшей многочисленную публику, были поставлены часовые.

ского единства. Каждый член вопросительного периода, начинающийся с разделительного союза *иль*, образует смысловую антитезу, первая часть которой звучит как официальное объяснение вопроса: «к чему хранительная стража?» а вторая — как религиозно-символическое его опровержение:

Иль мните важности придать | царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим | Владыку...?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила того, | чья казнь весь род Адамов искупила

И с еще более жгучей трагической иронией это обращение к мирской власти разрывается как бы грозным окриком часовых, который одновременно является и ответом на все патетические вопросы.

И чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ![1]

Необходимо подробно остановиться на синтаксическом анализе последних строк, чтобы понять формы внутренней связи между синтагмами.

Патетические вопросы, заключавшие в себе ироническую двойственность выражений, неожиданно обрываются. Где? Логически, конечно, на словах: «Того, чья казнь весь род Адамов искупила». Но эта грань — чисто внешняя. И она усматривается только потом, когда запутавшееся с разбегу понимание ищет себе указаний в формальных преградах.

На самом деле, после вопросительного предложения: «Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила...» присоединение второго *«чтоб»* (*и чтоб*) — кажется естественным развитием речи, опирающейся на синтагму: *«иль опасаетесь»*, т. е. кажется, что вводится другое предложение, раскрывающее новые причины и новое содержание опасений. Но оказывается, что союз *и* здесь не только присоединяет мысль, находящуюся в полном синтаксическом отрыве от предшествующего изложения, но и предполагает какой-то провал, обрыв речи, напряженную эмоциональную паузу. Ведь союз *и*, с логической точки зрения, надо относить не к предложению *цели* (*«чтоб не потеснить гуляющих господ»*), а к следующему за ним главному предложению

[1] Такое понимание последних двух строк стихотворения подсказывается восклицательным знаком (восклицательной интонацией; ср. текст в издании под редакцией Б. В. Томашевского и К. Халабаева). В тех изданиях, в которых стихотворение заканчивается вопросительным знаком (вопросительной интонацией), смысл последних стихов несколько меняется. Эти стихи тогда завершают цепь патетических вопросов, доводя до предела экспрессию негодования, возмущения, обостренного иронией. Но экспрессивно-синтаксический надлом остается и при таком истолковании. Он проходит по той же линии слов:

И чтоб не потеснить гуляющих господ...

(«Пускать не велено сюда простой народ»), которым заключается стихотворение. Однако стоит только произвести перестановку, опустив союз *и*:

> Пускать не велено сюда простой народ,
> Чтобы не потеснить гулящих господ,

чтобы убедиться не только в ритмической, но и в логической абсурдности присоединения последних строк, которые не умещаются в одной субъективно-экспрессивной плоскости с предшествующими стихами.

Таким образом последние два стиха — это грозный окрик часовых, неожиданно, с нарушением логической связи присоединенный к обличениям власти и трагически их прерывающий, их заглушающий.

Риторический эффект заключительного аккорда усиливается от того, что он является не как голос извне, не как распоряжение власти, выкликнутое часовыми, а как возмущенный крик самого обличителя, как им самим подсказываемый саркастический ответ на все его вопросы.[1] Присоединительный союз *и* выражает эту монологическую слитность речи — при глубоком драматическом разрыве частей.

Но этот семантический контраст двух систем речи и образов углубляется тем, что в религиозно-символическом аспекте все образы власти имеют не грозное, а мученическое выражение. Внешней силе и насилию мирской власти противостоят контрастные символы духовного владычества. Они построены как оксюморон, как смысловая антитеза. Вообще, видимое противоречие духовной власти и мученического самоотвержения, находящее синтез в торжестве искупления, определяет структуру всей церковно-библейской символики этого стихотворения. Так уже начальные строки вводят читателя (или слушателя) в эту атмосферу противоречий:

> ...*великое* свершилось *торжество*
> И в муках *на кресте кончалось божество*
> «Мария грешница, и пресвятая дева»

(далее обе называются «женами святыми»)

Но еще глубже этот контраст в семантике образов «царя царей»:

> ...Владыку, тернием венчанного колючим,
> Христа, предавшего послушно плоть свою
> Бичам мучителей, гвоздям и копию...
> Того, чья казнь весь род Адамов искупила.

---

[1] Если заключить стихотворение вопросительной интонацией, то последние стихи, сохраняя значение выраженного в вопросительной форме саркастического объяснения причин присутствия «хранительной стражи», «грозных часовых» у подножия распятия, могут быть поняты как ироническая транспозиция официальных, правительственных формул в плоскость авторской речи. Эта экспрессивная двойственность заключительных строк создает необычайное патетическое напряжение финала.

Так «оксюморно» приемом символических антитез в религиозно-мифологическом аспекте рисуется образ духовной власти.

И в этом стройном и сложном движении внутренне противоречивых форм, то как бы разделенных по разным плоскостям, то неожиданно сталкивающихся и сплетающихся, в этом потоке контрастов и антитез церковно-библейская символика и мифология выступают как организующая стихия речи и как система смысловых разрешений.

§ 3. В 30-х годах и в критико-публицистическом стиле Пушкина, по своей лексико-фразеологической и синтаксической структуре более архаичном, чем стиль повествовательной прозы, наблюдается некоторый уклон в сторону церковнославянской риторики. Эти годы в творчестве Пушкина — период окончательной канонизации церковнославянского языка как одного из структурных элементов русской литературной речи. Понятно, что большое значение церковнославянизмам отводится и в сфере «метафизического», книжно-отвлеченного языка. Правда, в языке критико-публицистической прозы Пушкина более ранней поры — при ярких отражениях и проявлениях «смешанной» русско-французской семантики, при тяготении к фразеологическим формам «французского стиля» — был силен архаистический налет на синтаксисе и лексике. А этот архаистический колорит по большей части указывал на связь с церковно-книжной (или официально-письменной) традицией. Например в синтаксисе: частое употребление союза *дабы*: «дабы познакомить Европу с литературою севера» (IX, 21); ср. в ранних стихотворениях: «дабы спокойнее заснуть» («К Галичу», 1815); ср. употребление этого союза в «Гробовщике», «Станционном смотрителе», «Барышне-крестьянке», «Капитанской дочке», но отсутствие его в «Метели», а также в «Пиковой даме», где определяются нормы языка «светской повести»; [1] однако в «Евгении Онегине»:

Иль помириться их заставить,
Дабы позавтракать втроем...

(6, VIII)

Не... — но токмо; «не невежество г. Полевого... но токмо непростительную опрометчивость» и др. (IX, 74); ср. употребление *токмо* в «Станционном смотрителе»; обилие относительных конструкций, начинающихся местоимением *кой*: «до таких предметов, о коих мнения его должны быть весьма любопытны»

[1] Ср. замечание кн. Шаликова: «Кто пишет *дабы*, может ли переманить меня на свою сторону?» Союзы *ибо* и *прежде нежели* являются для прозаического языка Пушкина «нейтральными», общими (ср. употребление *ибо* в «Пиковой даме», *прежде нежели* в «Капитанской дочке» и др.); в критической прозе — *ибо*: «ибо из них невозможно вывести никакого положительного заключения» (IX, 68, 73), «ибо сих обмолвок можно было избежать...» (IX, 73) и т. д.; *прежде нежели*: «Прежде нежели приступим к описанию преоборота» (IX, 71) и мн. др.

(IX, 17); «на языке чужом, коего механические формы давно готовы» (IX, 20); ср. отсутствие *кой* и употребление *который* в «Пиковой даме», но наличие местоимения *кой* в «Выстреле» и широкое распространение этого местоимения в «Капитанской дочке», а особенно в языке «Дубровского»; господство причастных оборотов, против которых с конца 20-х годов боролись защитники сближения книжной речи с разговорною; своеобразия значений предлогов, например употребление предлога *чрез* с винительным падежом в значении вследствие, по причине: «русский язык чрез то должен был непременно сохранить драгоценную свежесть» (IX, 19—20; 20—и др.); архаические формы глагольного управления, например *радоваться* с творительным падежом: «радоваться тем, что...» (IX, 26), и другие подобные; ср. *скучать* с творительным падежом в «Истории Пугачевского бунта»; в лексике — свобода прозаического употребления церковнославянизмов типа: *«сокровищница* гармонии» (IX, 17), *«заемлет»* (IX, 17, 18 и др.), *«приемлет»* и т. п.; *проникнуть* с винительным падежом: «все проник» (IX, 18); *оный* (IX, 19, 23, 24, 25, 28, 39, 50, 61, 70 и др.); *токмо* (IX, 72, 74); *охуждать* (IX, 85); *возроптать* (IX, 73); *неприятствовать* (IX, 127); *отторгать* (IX, 189); *истощать* (что-нибудь чужое), например: «первый раненый производит болезненное впечатление и истощает сострадание наше» (IX, 22); *сей* не только в значении прилагательного, но и существительного: «щастливые обстоятельства благоприятствовали Друзу, но сей оказал и много благоразумия» (IX, 425) и много других подобных; [1] в области фразеологии — множество церковно-книжных выражений: *«поприще жизни»* (IX, 38); *«круг учения»* (IX, 28); *«восстав от сна»* (IX, 36); *«огненными языками небес, глаголющих земле»* (IX, 41); *«наскуча звуками кимвала звенящего»* (IX, 52); *«писателей, подвизающихся во мраке»* (IX, 52); «поэзия не есть *благоговейное служение»* (IX, 83); «стать *в притчу и посмеяние»* (IX, 108); «поэзия... *кольми паче* не должна унижаться до того, чтобы силою слова потрясать вечные истины...» или превращать свой божественный нектар» *в любострастный воспалительный состав»* и другие подобные. [2]

Таким образом критико-публицистический стиль Пушкина представляет очень интересную для историка русского языка смесь церковно-книжной стихии с семантическими, фразеологическими отслоениями французского языка и с очень редко прорывающимися формами бытового просторечия. На этом фоне представляется симптоматичным усиление церковносла-

---

[1] Ср. типы словообразования: *взяткобратель* (82); *себяотвержение* (100); *надеянность* на беспамятство читателей (105) и др. под.

[2] Ср. в повествовательной прозе, например в «Барышне-крестьянке»: «Сие да будет сказано не в суд, и не в осуждение, однако ж Nota nostra manet, как пишет один старинный комментатор».

вянской риторики в языке Пушкина 30-х годов. Особенно рельефно эти напряженные функции славянизмов выступают в патетической прозе Пушкина, например в заметке «Об обязанностях человека. Соч. Сильвио Пеллико», посвященной характеристике евангелия и состоящей из евангельских или церковнославянских выражений. Например: «есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, *проповедано во всех концах земли...»*, *«погружаемся духом в ее божественное красноречие...»*, «мало было *избранных...»*, «приближались *младенческою простотою сердца к проповеди небесного учителя...»*, «...принадлежат к *сим избранным*, которых *ангел господний* приветствовал именем *человеков благоволения»* и т. п. (IX, 371—372).

Ср. в статье о Радищеве (1836): «нет убедительности *в поношениях, и нет истины, где нет любви»*.[1]

§ 4. Если в прозаическом стиле автора церковнославянская риторика выступает как система норм экспрессивно-стилистического варьирования, «раскрашиванья» речи, как прием литературно-языковой патетики, то перенесенные в сферу речи персонажей церковнославянизмы принимают на себя характеристические функции.

Так, в «Пиковой даме» Пушкин воспользовался риторическими формами церковного проповедничества и, по требованию сюжета, обнаружил их несоответствие действительности, их высокопарную беспочвенность. Ведь «надгробное слово» «славного проповедника», произнесенное им на отпевании старухи-графини, составлено из таких выражений («простых и трогательных», по отзыву автора), из которых каждое — в понимании читателя — пропитано иронией и получает противоположный или едко-комический смысл на фоне предшествующего изложения.

«В простых и трогательных выражениях представил он мирное *успение праведницы*, которой долгие годы были *тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине»*. *«Ангел смерти обрел ее»*, сказал оратор, *«бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного»*.

Комическое применение, на которое рассчитаны эти образы, легко воссоздать, если сопоставить, например, с «помышлениями благими» описание предсмертного облика старухи: «В мутных

[1] Прав был Н. Н. Страхов, когда писал в своих «Заметках о Пушкине»: «Если сравнить язык Пушкина с языком Карамзина, то можно подумать, что язык Пушкина гораздо старее, так как в нем встречается множество форм, уже изгнанных Карамзиным. Славянизмы, старые слова также мало пугали Пушкина, как и формы простонародные. До конца жизни он писал (особенно в прозе): *сей, оный, токмо, потребный, являет* и т. п. Теперь, благодаря ему же, нам это не странно; но прежде было не то, как свидетельствует хотя бы война против *сих* и *оных»* (Сборник «Складчина», Спб. 1874, 565). Архаистичность языка Пушкинской прозы ярко выступает на фоне сопоставления стиля Пушкинских повестей с прозой Лермонтова.

глазах ее изображалось совершенное отсутствие мыслей»; с «мирным успением праведницы» — трагическую смерть графини; если вспомнить, что в роли «жениха полунощного» евангельской притчи в повести выступает Герман, и если воспроизвести в сознании изображенные во второй главе повести картины «тихого, умилительного приготовления» капризной и сумасбродной старухи «к христианской кончине».[1]

2

В период увлечений романтической «народностью» (в половине 20-х годов) церковно-библейский язык стал рассматриваться Пушкиным как характеристическая форма библейской поэзии, а также восточной поэзии, связанной с образами Библии. Таким образом церковнославянский язык и библейская мифология становятся литературными приметами «восточного» слога. Любопытно установить те стилистические формы, в которых выражался этот этнографический библейский дух. В Пушкинских «Подражаниях Корану» можно отметить шесть категорий языковых признаков этого рода.

§ 1. Прежде всего внедряются грамматические формы архаического типа. В эту эпоху они были свойственны и книжному (преимущественно стихотворному) языку, но как отличительная особенность его высокого стиля, слагавшегося под непосредственным влиянием системы церковной торжественно риторической речи — и притом в разной мере у разных писателей. Сюда относятся: частое употребление частицы — союза *да* в императивно-целевой конструкции:

Храните верные сердца
Для нег законных и стыдливых,
Да взор лукавый нечестивых
Не узрит вашего лица (II),

Бежит, *да* не дерзнет порок
Ему являть недоуменье (III)

Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой (V)

Зажег ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле (V)

Он милосерд: он Магомету
Открыл сияющий коран,
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман (V)

---

[1] Риторические формы церковнославянского языка нашли ироническое и характеристическое применение, в стиле Феофилакта Косичкина, например: «объявить *во услышание* всей Европы» (IX, 158); «готовы *воздать сторицею*» и др. Ср. в речи отца Герасима из «Капитанской дочки»: «Несть спасения во многом глаголании» и др. под.

Ср. в подражаниях «Песни песней»:

И да почию безмятежный»;[1]

вопросительное наречие *почто* в значении для чего? почему?[2]

Почто ж кичится человек? (V);

предлог *за* с винительным падежом местоимения *то*, образующий союзное речение *зато, что* (ср. значения союзов: *зане, занеже*) с архаизированным значением: *потому что*.

Почто ж кичится человек?
За то ль, что бог и умертвит
И воскресит его по воле?
За то ль, что дал ему плоды
И хлеб, и финик, и оливу... (III)

---

[1] Любопытно, что самый текст соответствующего места из «Песни песней» в Пушкинской рукописи (б. Румянцевский музей, № 2365, л. 53), предпосланный черновику стихотворения, начинается так:

Ср.:

«Да лобзает меня лобзанием уст своих».
Да снова стройный глас герою в честь прольется...
(„Воспоминания в Царском селе", 1814)

Да вновь увижу я ковры густых лугов...
(„Царское село", 1817)

Да будет проклят дерзновенный,
Кто первый грешною рукой
Нечестьем буйным ослепленный
О страх... смесил вино с водой!
(„Вода и вино")

Да будь проклят род злодея!
Да Бейрона он узрит кущу,
И *да* блюдут твой мирный сон
Нептун, Плутон, Зевс, Питерея!
(„Ода его сият. гр. Д. И. Хвостову")

Но ср.:

И пусть умрем мы оба
При стуке полных чаш!
(„К Пущину", 1815)

Пускай веселье прибежит,
Махая резвою гремушкой
(„Мое завещание", 1815)

и др.

[2] Любопытно, что в «Словаре Акад. Росс.» 1822 г. (V) слово *почто* не имеет никакой стилистической пометы, а в словаре 1847 г. оно уже обозначено как «церковное». Ср. частое употребление *почто* в ранних стихотворениях Пушкина:

Почто, минуты, вы летели
Тогда столь быстрой чередой?
(„Месяц", 1816

предлог *пред* с винительным падежом:

И все пред бога притекут (III)

Ср. у Милонова:

О гряди, при фимиаме,
С женихом перед творца.

Ср. у Н. М. Языкова:

Так с торжища сует возведена
Пред клиросы молебного чертога
(«Каролине К-е Яниш», 1829)

именительный падеж нечленного прилагательного в функции составного члена сказуемого при глаголе, сохраняющем всю знаменательность, полновесность своего значения:

Взгляни: *лег ты молод*, а старцем восстал (IX)
За то ль, что наг на свет родился? (III)

и вообще свободное употребление нечленных форм имени прилагательного, несколько ограниченное в конце 10-х — начале 20-х годов, но с половины 20-х годов реставрируемое Пушкиным (ср. приписку поэта на «Опытах» Батюшкова: «Мы

Почто небесных Аонид..
Мой дух восторгом не горит?
(„Воспоминания в Царском селе", 1814)

Почто на арфе златострунной
Умолкнул радости певец?
(„К Батюшкову", 1814)

Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
(„На возвращение государя императора", 1815)

Счастливцы! мыслит он, почто не можно мне...
(„Безверие", 1817)

и др.

Но с конца десятых годов до второй половины 20-х *почто* неупотребительно в языке Пушкина.

Ср. в стихотворении П. И. Эгельстрему (1828):

Скажи, почто, певец смиренный,
От света ты скрываешь их?

Ср. у К. Н. Батюшкова в «Умирающем Тассе»:

Почто с хоругвией течет в молитвы дом
Под митрою апостолов наместник?

и мн. др.

Ср. у Дельвига в «Сонете» (1823):

...Почто ж в душе моей
Несчастия, унынья было боле?

Ср. также частое употребление *почто* в стихотворном языке кн. П. А. Вяземского.

слишком остерегаемся усечений, придающих много живости стихам»).[1]

И нечестивые падут
Покрыты пламенем и страхом (III)
Дает земле древесну сень (V)

Кажется, в эту серию грамматических «сигналов» церковнославянского стиля надо отнести также формы творительного падежа единственного числа существительных с отвлеченным значением при слове *обильный:*

Безумной гордостью обильный (IV)

Но ср. привычную конструкцию:

В подвал могильный
Костями праздными обильный...
(«Череп», 1827)

«Органическая» расстановка слов со свободным, более «беспорядочным» течением также служила характеристической формой церковнославянского языка, но она бледно отражается в «Подражаниях Корану», например:

Настал *пробужденья* для путника час...

§ 2. Совсем особую категорию составляют грамматические (преимущественно синтаксические) формы, посредством которых стилизуется повествовательно-риторический тон библейского сказания или воспроизводится язык восточной лирики. Сюда относится употребление в развернутой цепи синтагм союза *и* со своеобразными значениями (присоединительно-повествовательным и усилительно-эмоциональным), придающими речи эпическую величавость и торжественную напряженность, например:

И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.
И все пред бога притекут
Обезображенные страхом;
И нечестивые падут
Покрыты пламенем и прахом. (III)
И путник усталый на бога роптал:
. . . .
И кладязь под пальмою видит он вдруг.
И к пальме пустынной он бег устремил,
И жадно холодной струей освежил
Горевшие тяжко язык и зеницы,
И лег, и заснул он близ верной ослицы:
И многие годы над ним протекли...
. . . .
И он отвечает:...
. . . .

[1] Ср. однако Е. Ф. Будде, «Опыт грамматики языка А. С. Пушкина», 1904, вып. II, 50—55.

И горем объятый мгновенный старик,
Рыдая, дрожащей главою поник...
И чудо в пустыне тогда совершилось...
. . . .
И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают
И чувствует путник и силу и радость
И с богом он дале пускается в путь (IX)

Любопытно, что эти синтаксические формы союза *и* обычно сочетаются с употреблением того же союза *и* в перечислительном значении. И от этого еще больше сгущается «библейский», восточный колорит. Так, в тех же стихотворениях:

За то ль, что дал ему плоды
И хлеб, *и* финик, *и* оливу?
Благословив его труды
И ветроград, *и* холм, *и* ниву (III)

В пустыне блуждая три дня и три ночи,
И зноем *и* пылью тягчимые очи
С тоской безнадежной водил он вокруг...
И чувствует путник и силу и радость... (IX) [1]

Насколько тесно в стиле Пушкина с торжественно-эпическими и эмоционально-присоединительными формами употребления союза *и* был связан колорит «восточного слога», показывает появление тех же конструкций в «Анчаре»:

И тот послушно в путь потек,
И к утру возвратился с ядом.
Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному лицу
Струился хладными ручьями;
Принес — *и* ослабел, *и* лег
Под сводом шалаша на лыки
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Из других конструкций, связанных с «цветами» восточного стиля, следует отметить обилие риторических вопросов, выстраивающихся в линию анафор:

Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами? (I)

Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился...
За *то ль*, что бог и умертвит
И воскресит его по воле?
За то ль, что дал ему плоды?.. (III) [2]

---

[1] Ср. ниже анализ функций союза *и* в стихотворении «Пророк».

[2] Ср. у К. Н. Батюшкова цепь риторических вопросов в религиозной лирике, напр., в стихотворении «Надежда»:

Не он ли к лучшему концу
Меня провел сквозь бранный пламень?

Характерно также для стиля восточных (в том числе и библейских) подражаний у Пушкина ограничение придаточных конструкций. Преобладают формы бессоюзной связи и соединительно-противительных сочетаний при посредстве союзов *и*, *а*, *но* (если оставить в стороне цикл императивных предложений как главных, так и придаточных с союзом *да*). Из придаточных же предложений допускаются лишь формы временной и условной связи (конструкции деепричастного распространения главного предложения — возможны)

Но если, пожалев трудов земных стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань;
Знай... (VIII)

Ср. в подражаниях «Песни песней»:

И да почию безмятежной,
Пока дохнет веселый день,
И двигнется ночная тень.

Лишь повеет Аквилон
И закаплют ароматы

Таким образом к синтаксису подражаний Библии и Корану применима характеристика, отнесенная В. С. Соловьевым к грамматическому строю Пушкинского «Пророка»: «Отсутствие придаточных предложений, относительных местоимений и логических союзов при нераздельном господстве союза *и* (в 30 стихах он повторяется 20 раз) настолько приближают здесь Пушкинский язык к библейскому, что для какого-нибудь талантливого гебраиста ничего бы не стоило дать точный древнееврейский перевод...» («Значение поэзии Пушкина»—«Вестн. Европы» 1899, декабрь, стр. 680).

§ 3. Более резки и наглядны лексические средства, которыми создается «восточный» или библейский колорит. Это — церковно-библеизмы или литературные архаизмы, ассоциированные в начале XIX века с представлением о системе «высокого» книжно-«славенского» слога.

Стекаясь к *вечери* его,
Брегитесь суетами света
Смутить пророка моего (II)

Да взор *лукавый нечестивых*
Не узрит вашего лица (II)

На поле смерти чья рука
Меня таинственно спасала...?
Кто, кто мне силу дал сносить
Труды *и* глад *и* непогоду?...
Кто вел меня, от юных дней
К добру, стезею потаенной?..

и т. п.

В пареньи дум благочестивых
Не любит он *велеречивых* (II)
И целомудренным склоненьем... (II)
С *небесной книги* список дан
Тебе, пророк, не для *строптивых;*
Спокойно *возвещай* коран,
Не понуждая нечестивых (III)
Благословив его труды
И *вертоград* и холм и ниву (III)
Но *дважды ангел вострубит* (III)
С тобою *древле, о всесильный,*
Могучий *состязаться мнил* (IV)
Ты *рек...*
Я смертью землю *наказую,*
На все *подъята длань моя* (IV)
Они на *бранное призванье*
Не шли... (VI)
Щедрота полная *угодна небесам.* (VIII).
Сторицею воздаст она твоим *трудам* (VIII)
.... пожалев трудов земных *стяжанья,*
Вручая нищему скупое *подаянье,*
Сжимаешь ты свою завистливую *длань...* (VIII)
Господом отверженная дань (VIII)
Он *жаждой томился* и тени *алкал...* (IX)
И *кладязь* под пальмою видит он вдруг (IX)
Взгляни: лег ты молод, а старцем *восстал* (IX)
... *кладязь* холодный
Иссяк и засохнул в пустыне безводной (IX)
И жадно холодной струей освежил
Горевшие тяжко язык и *зеницы* (IX)

Ср. в подражаниях «Песни песней»:

И да почию безмятежной.
И двигнется ночная тень.[1]
Вертоград моей сестры,
Вертоград уединенный.

§ 4. Четвертую категорию стилистических примет «восточно-библейской» речи образуют формы фразового соединения слов. Они определяются, с одной стороны, некоторым типическим запасом, традиционным «арсеналом» готовой церковной книжно-«славенской» фразеологии; с другой стороны — своеобразными приемами семантического раскрытия и фразеологического рас-

---

[1] Ср. в раннем стихотворении:
Полнощи царь младой: ты *двигнул* ополченья
(„Наполеон на Эльбе", 1815)

Ср. в «Моей родословной» (1830):
Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша *двигнулась* земля.

пространения символов, приближенных к «духу», к мифологии и идеологии церковно-библейского языка. Таковы фразы:

Кого же *в сень успокоенья*
Я ввел, главу его любя?.. (I) [1]
В *день жажды* (I)

Мужайся, *презирай* обман,
Стезею правды... следуй (I)

Дрожащей твари проповедуй (I)

Безбрачной девы покрывало (II)

Храните верные сердца (II)

Брегитесь *суетами света*
Смутить пророка... (II)

...да *не дерзнет порок*
Ему *являть недоуменье* (III)

С небесной книги список дан (III)

Что с *неба дни его хранит* (III)

Но *дважды ангел вострубит;*
На землю *гром небесный грянет.*
И брат от брата побежит
И сын от матери отпрянет
И все *пред бога притекут*...
И нечестивые *падут,*
Покрыты пламенем и прахом (III)

На все *подъята длань* моя (IV)

От слова гнева твоего (IV)

Подъемлю солнце я с востока (IV)

... неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой...
Как *лен, елеем напоенный,*
... светит... (V)

Да *притечем и мы ко свету,*
И да падет с очей туман (V)

О дети пламенных пустынь (VI)

В пещере твоей
Святая лампада
До утра горит. (VII)
До утра *молитву*
Смиренно твори! (VII)
Небесную книгу
До утра читай (VII).

В день грозного суда, подобно *ниве тучной,*
О сеятель,
Сторицею воздаст она твоим трудам... (VIII)
Трудов земных стяжанья... (VIII)

---

[1] Ср. частые в Пушкинском стиховом языке фразы: *«кров уединенья, сень уединенья;* например:

И темный кров уединенья»...
(„Разговор книгопродавца с поэтом")

Сокроем жизнь под сень уединенья...
(„19 октября 1825")

Господом отверженная дань (VIII)
Он *жаждой томился* и тени *алкал* (IX)
И зноем и пылью *тягчимые очи*
С тоской безнадежной *водил он вокруг* (IX)
По воле *владыки небес и земли* (IX)
Слышит *неведомый глас* (IX)

Ср. в подражаниях «Песни песней»:

Благовонием богаты

и др. под.

§ 5. Восточно-библейский колорит создается также применением церковно-религиозной символики, имеющей условно-мистический или мифологический смысл. Некоторые символы образуют как бы центры семантических сфер, в которые включены «восточные» мифы.

Например, символ *света*:

Да притечем и мы ко *свету*,
И да *падет с очей туман* (V)

символ *сеятеля благополучного* (VIII) — ср. стихотворение «Свободы сеятель пустынный»; символ *путника* — ср. стихотворение «Странник» (1835, «Из Буньяна»).

Но ср. в стихотворении «Желание славы» (1825):

Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося...

символ — *восстания костей*:

И ветхие кости ослицы встают
И телом оделись и рев издают (IX)

и т. п.

§ 6. Последний разряд стилистических примет восточной пестрой речи составляют слова и образы экзотические, создающие колорит Востока, его быта, его природы, его поэтики и идеологии.

Клянусь *четой и нечетой*
Клянусь *мечом и правой битвой*,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой (I)
Дрожащей твари проповедуй (I)
О, жены чистые пророка (II)
Почтите пир его смиреньем
И целомудренным склоненьем
Его любовниц молодых (II)
Спокойно возвещай коран,
Не понуждая нечестивых (III)
За то ль, что дал ему плоды
И хлеб, *и финик*, и оливу... (III)
Как *лен, елеем напоенный*,
В лампадном светит хрустале (V)
... он *Магомету*
Открыл сияющий коран... (V)
О дети пламенных пустынь (VI)

Теперь они вошли в Эдем
И потонули в наслажденьи
Неотравляемом ничем (VI)

И *кладязь под пальмою видит* он вдруг (IX)

Уж *пальма* истлела, а кладезь холодной
Иссяк и засохнул в пустыне безводной,
Давно занесенной песками степей (IX)

Ср. в подражаниях «Песни песней», где вся эротическая символика пропитана духом Востока, стилизацией и воспроизведением «Песни песней»:

Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.

(Ср. в переводе «Песни песней», который в Пушкинском черновике стихотворения предпослан наброску стихов: «Да лобзает меня лобзанием уст своих. Перси твои приятнее вина. Запах мурра твоего лучше всех аромат»);

Нард, алой и киннамон
Благовонием богаты.

(Ср. в переводе «Песни песней»: «Нард и шафран, трость и кïннамон со всеми древами ливанскими, смирна, алой со всеми первыми муррами»). И в этом же стихотворении сохраняются все ветхозаветные аксессуары эротической символики — *вертограда*, запечатленного *ключа, плодов, живых вод* и *каплющих ароматов* (ср. главу 4-ю «Песни песней»).

Но любопытно указать, что в этой насыщенной и экспрессивно-внушительной атмосфере церковно-библейских и восточно-поэтических символов растворяются слова, образы и конструкции, которые противоречат ей, которые заимствуются из арсенала готовых шаблонов «европейского» стихового языка.

Например, в стихотворении «Вертоград моей сестры»:

Лишь повеет *Аквилон*;[1]

В черновой редакции «Лобзай меня»:

Душа тобой упоена.

Ср. в «Кавказском пленнике» ту же фразу:

Люблю тебя, невольник милой,
Душа тобой упоена...

Французская семантика широкой струей вливается в восточно-библейский слог.

Страшна для вас и *тень* порока (II)

Ср. значения французского *ombre*:

И снова вокруг меня угрюмой скуки тень.
(«Итак я счастлив был», 1815)

[1] Аквилон (лат. aquilo), буквально — влажный, от лат. aqua — вода.

С прелестницей ловить веселья тень.
(«Сон», 1816)

Брегитесь вы, о дети мудрой лени,
Обманчивой успокоенья тени
(«Сон», 1816)

И счастья тень, забывшись, обнимать
(«Послание к А. М. Горчакову», 1817)

и др. под.

Ср., например, в оде Жильбера «Le poète malheureux»:

Et l'ombre de l'oubli va tous deux nous couvrir.

Еще один пример:

И потонули в наслажденьи,
Неотравляемом ничем... (VI)

Ср. в стихотворении «Добрый совет» (1817):

Пусть наша ветреная младость
Потонет в неге и в вине.

В «Бахчисарайском фонтане»:

...все вокруг
В безумной неге утопает.

В стихотворении «Прозерпина»:

В сладострастной неге тонет
И молчит и только стонет.

Ср. французское:

Se noyer dans les plaisirs.

Ср. у Плетнева в стихотворении «Пир»:

Все утопает в наслажденьи...
Сияет роскошь средь огней...
(III, 259)

и др. под. [1]

---

[1] В VIII «Подражании Корану» галлицизм *что* вместо *который*: «все твои дары подобно горсти пыльной, *что* с камня моет дождь обильной, исчезнут, господом отверженная дань». Впрочем, *что* в этом значении к эпохе Пушкина уже утвердилось в высоком стиле. Ср., с одной стороны, суждение А. П. Сумарокова о Ломоносовском языке: «Вместо *который, которая, которое* употребляется *что* или от неведения или от нерассмотрения, или от привычки худого и простонародного употребления, или от подражания авторским погрешностям; ибо *что за которое* писано быть не может; а *за который* и *которая* и совсем оно скаредно... Иные говорят, что речение *который* во всех родах доляе; так ради того *что* употребляется; да и во французском языке так; но того языка свойство инакое и инакое и употребление, а мы и нужды такой во краткости речения не имеем» (Полн. собр. соч. Сумарокова, 1787, X, 22—23). С другой стороны, ср. замечание А. С. Шишкова: «Ломоносов избегая многосложных слов: *который, которая, которое* и может быть не довольно смелый, чтоб ввести старинное *иже*, начал первый вместо оных писать *что*:

О ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь человек!

3

В. С. Соловьев очень тонко заметил, что в Пушкинском стиле церковно-библейская композиция характеризуется «отсутствием придаточных предложений, относительных местоимений и логических союзов, при нераздельном господстве союза *и*» («Значение поэзии Пушкина», «Вестн. Европы» 1899, декабрь, стр. 680). Это значит, что Пушкин, усваивая формы церковнославянского синтаксиса, пошел не по пути славянофилов, стремившихся утвердить разные вариации «органической фразы», а взял из библейской поэзии лишь то, что углубляло, восполняло и обостряло его «европейский» синтаксис, его ранее определившуюся систему художественной композиции, основанную на принципах «прерывистых», присоединительных конструкций.

Самой яркой иллюстрацией является стихотворение «Пророк». Как известно,[1] в своей сюжетной композиции оно представляет динамический контрастный параллелизм двух частей (первая — до стиха: «Как труп в пустыне я лежал»; вторая — отсюда до конца), из которых одна повествует о явлении серафима и о преображении пророческих чувств (зрения, слуха, языка, сердца), а другая изображает воскрешение пророка божьим гласом, оживление новых его способностей и призыв на проповедь.

Синтаксическая структура стихотворения отражает и поддерживает этот параллелизм, хотя вторая часть лаконичнее и динамичнее, глагольнее, так сказать, первой, в которой — много качественных определений и предметных аксессуаров (в первой части: «*горний* ангелов полет», «*дольней* лозы прозябанье», «*грешный* мой язык и *празднословный и лукавый*», «жало *мудрыя* змеи», «уста *замершие* мои», «перстами *легкими как сон*», «*вещие* зеницы», «как у *испуганной* орлицы», «десницею *кровавой*», «сердце *трепетное*» и др., между тем во второй части — одни глаголы и предметы без всяких качественных определений).

Формы синтаксического параллелизма обнаруживаются в однородности конструкций:

(Духовной) жаждою томим | Как труп.

Слово *духовный*, как качественное определение, не находит соответствия во второй части. В остальном наблюдается полное синтаксическое единообразие: и та и другая синтагмы являются обособленным, «предикативным» определением.

Далее оба параллельных ряда воспроизводят в одинаковой синтаксической форме фон действия:

Если бы он не употребил сего средства, отнюдь ни разуму, ни слуху не противного, то, может быть, многие бы прекрасные выражения и мысли принужден был переменить или оставить за тем, что они в стихе не вмещаются» («Рассуждение о старом и новом слоге», 268—269).

[1] См. хотя бы у В. Я. Брюсова, «Мой Пушкин», Гиз. 1929, анализ «Пророка».

В пустыне (мрачной) я влачился	в пустыне я лежал.

После этого к обоим членам параллелизма посредством союза *и*, совмещающего в себе присоединительное (в смысле *«и вдруг»* *«и вот»*) и эпически-торжественное, библейски-повествовательное значения, присоединяются новые параллельные предложения. Они противопоставляются одно другому, будучи почти однородны по своему синтаксическому строю,— и в то же время второе из них (т. е. относящееся ко второй части стихотворения) является сюжетным следствием первого.

И (шестикрылый) серафим На перепутьи мне явился	И бога глас ко мне воззвал.

Явление серафима подготовило пророка к восприятию божественного «гласа» (или «глагола»). Ведь преображение пророческих ушей от прикосновения серафима описано как основной, центральный акт духовного обновления. В то время как все другие действия серафима изображаются лишь с точки зрения тех движений, из которых они слагаются («моих зениц *коснулся* он», «к устам моим *приник*», «*вырвал* язык» и жало... змеи *вложил*»... «грудь *рассек* мечом»... «сердце *вынул*... и угль... во грудь... *водвинул*»), и тех предметов, аксессуаров, которые с ними связаны, тех внешних объективных последствий, которые сразу же обнаруживаются («*отверзлись* вещие *зеницы*»... «и *жало*... в *уста* замершие мои вложил десницею кровавой»),— картина изменения пророческого слуха более полна, более глубока. Параллелизм с описанием преображения очей —

Моих зениц коснулся он: Отверзлись вещие зеницы	Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон.

обрывается. Перспектива, раздвигаясь вглубь, открывает новые сферы бытия. Только одна картина преображения слуха включает в себя рассказ о просветлении и расширении восприятия, о тех новых областях познания — на небе, на земле, на море, под водою, — которые открылись лирическому «я», герою этого стихотворения.

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Необходимо помнить, что глагол *внимать — внять* (что-нибудь или кому-, чему-нибудь) в литературно-книжном языке XVIII века означал не только «прилежно слышать», но и «разбирать, рассматривать умом» (см. «Словарь Акад. Росс.», I, 560; «Общий церковно-славяно-российский лексикон» П. Соколова, I, 260; ср. определение внимания: «углубление мыслей, устремление ума во что-нибудь») или «устремлять мысли к познанию чего-нибудь»,

как определяет академический словарь 1847 г. (лишь в словаре Я. К. Грота *внимать* приравнено к «слышать» и «слушать». «Словарь русского языка, составленный 2 отд. имп. Акад. наук», I, 449).

Характерно, что лирическое «я» в «Пророке» только трижды является субъектом действия: «Я влачился...» — «и внял я неба содроганье...» — «я лежал». Это, повидимому, указывает на то, что действующей личностью, активной силой пророк становится лишь после того, как его коснулся божественный глагол, после того, как к нему «воззвал бога глас». Однако высшее познание, способность восприятия и понимания того, что происходит в мире горнем, подводном и дольнем, — внедряется в пророка уже серафимом, утолившим его духовную жажду. И в сфере познания пророк становится действующим лицом ранее своего возрождения, еще до «божественного глагола».[1]

В соответствии с этим основным своим значением, глагол *внимать* — *внять* — и в той повелительной форме, которая исходит от гласа бога, — сопровождается, как следствием, внутренним «наполнением» пророка волей божией:

Исполнись волею моей

Ср.

И их наполнил шум и звон.

Таким образом во второй части стихотворения действие, развертываясь в форме лексической и синтаксической параллели с первыми строфами, обращено к пророку, который уже подвергся коренному внутреннему изменению, испытал перерождение отдельных органов, но еще не одушевлен волей и глаголом, лишен активной энергии.

Эта энергия и вливается в лирического героя вереницей божественных императивов, которые своей последовательностью воспроизводят порядок преображения пророческих чувств, раздельно обозначая зрение и слух («и виждь и внемли») и объединяя функции языка и сердца (т. е. «*угль, пылающий* огнем») в едином целостном акте: «*глаголом жги* сердца людей» (ср. библейский образ: «от избытка *сердца* уста *глаголют*»). В первых словах повеления: «Восстань, пророк» выражен не только призыв к воскресению, но и дано лирическому «я» имя *пророка*, которое составляет внутреннюю форму стихотворения. Любопытно, что все следующие императивы объединяются посредством перечислительных союзов *и*: «И виждь *и* внемли... *и*... глаголом жги сердца людей»...

Этим приемом перечислительной концентрации достигается слияние в едином велении божественного глагола всех тех про-

[1] Сходные наблюдения с иной точки зрения сделал В. В. Вересаев. См. анализ стихотворения «Пророк» в статье: «Пушкин и польза искусства», сборн. «В двух планах», 1929.

цессов, которые были даны обособленно, отъединенно, в их последовательной смене при изображении действий серафима (в первой части стихотворения). Формой, создающей этот яркий синтаксический контраст, является союз *и*. Взятый из библейского синтаксиса, он подвергается тонкой семантической деформации в композиции Пушкинского стихотворения. Именно он, этот союз, в строгую симметрию образов «Пророка», в библейски размеренную последовательность его семантического и синтаксического течения вносит эмоциональную напряженность, многообразие лирического волнения. При изображении действий серафима в начале вся смысловая сила сосредоточена не на движении, а на его аксессуарах и его следствиях. Синтаксически это выражено обратным порядком слов по сравнению с первыми стихами, помещением глаголов, обозначающих действия серафима, на слабо акцентированные места («моих зениц *коснулся* он», «моих ушей *коснулся* он») и, наоборот, постановкой на первый план глаголов физического преображения:

Отверзлись вещие зеницы...
И их *наполнил* шум и звон.

Но союз *и*, врываясь в этот параллелизм, разрушает его. Дело в том, что союз *и* — в особом «прерывисто-присоединительном» значении, которое осложнено в «Пророке» реминисценциями эпически-величавого библейского повествования, опирающегося тоже на этот союз — не замыкает речь, а открывает перспективу смыслов ее в бесконечность. Иными словами, присоединительный союз *и* создает открытость смысловой структуры, вызывает иллюзию логической прерывистости речи, делая ее в то же время экспрессивно насыщенной.

Так уже союз *и*, обозначающий как бы мгновенность следствия или — вернее — неразрывную связь между прикосновением серафима и актом наполнения ушей шумом и звоном («и их наполнил шум и звон»), направляет строфу в потенциальную бесконечность присоединений. Но новое *и* (в значении *и тогда*) — «И внял я неба содроганье» — почти лишено присоединительного значения. В нем явно преобладает повествовательная функция библейски величавого изложения. Лирический разбег, созданный этой анафорической постановкой *и* в двух соседних предложениях, заставляет в том же плане воспринимать и последующие формы союза *и*. Присоединительность, прерывистость их значения как будто подчеркивается и тем смысловым контрастом небесного-горнего и подводного-дольнего, который разрезает эти четыре стиха на две части. На самом же деле, формы союза *и* имеют здесь перечислительное значение, объединяя все сферы познания, раскрывшиеся перед лирическим «*я*», в синтаксически-неразрывное целое, очерченное крайними пределами перечня:

... неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Эта сложная игра разными значениями союза *и*, своеобразная стихотворная *омонимия* союзов *и* не только вносит лирическое напряжение в композицию стихов, но и создает непрестанные перелеты смысла, изломы синтаксических отношений. Так эпически повествовательное и — одновременно — присоединительное *и*, вводящее новую синтаксическую строфу («И он к устам моим приник»), связывается не с непосредственно предшествующими союзами и синтагмами, а как бы поверх их тянется к стиху: «*Моих ушей коснулся он*». Тем самым все промежуточные звенья сливаются в синтаксическое и семантическое единство. Возникает новая синтаксическая антитеза: смысловой упор перемещается с аксессуаров действия на движения субъекта, т. е. серафима. Это выражается новой перестановкой слов («коснулся он...» — «и он... приник»).

А в пределах самой строфы намечается иного типа контраст: совключительные союзы *и*, замыкающие в синтаксическое единство характеристику грешного языка с его качественными определениями («грешный мой язык *и* празднословный *и* лукавый»), врезаются в эпическое движение присоединительных союзов *и*, при посредстве которых примыкают один к другому глаголы, образуя открытый, незамкнутый ряд: «...приник и вырвал грешный мой язык... и жало мудрыя змеи вложил...». Вместе с тем это движение постепенно присоединяющихся друг к другу действий прерывается новым строфическим *и* («И он мне грудь рассек мечом»), которое связывается с союзом *и* предшествующей строфы «И он к устам моим приник»— и имеет эпически-повествовательное значение.

Создаваемый этой анафорой параллелизм строф поддерживается однородностью их синтаксического строя, которая, в свою очередь, также достигается посредством симметричного повторения присоединительных *и* (при различиях в составе частей и в порядке слов):

И вырвал грешный мой язык И жало... Вложил десницею кровавой	И сердце трепетное вынул И уголь... Во грудь отверстую водвинул

Наконец последний и самый сильный эффект, увенчивающий все антитезы, заключается в композиционном противопоставлении эпически-*присоединительных* союзов *и*, с помощью которых в первой части нарастали, громоздились одно на другое действия серафима, — *перечислительному объединению* императивов в гласе бога. Божественный глагол как бы сливает в единый акт посланничества пророка все те подготовительные действия

серафима, которые были внутренно разобщены формами присоединения и внешней логической последовательности.

Так оригинально Пушкин воспользовался в стихотворении «Пророк» приемами церковно-библейского синтаксиса.[1]

Конечно, библейский синтаксис не механически усвоен и перенесен Пушкиным в сферу стиха. Он послужил лишь опорой для расширения области «прерывистых», «присоединительных» конструкций, которые составляют характерное свойство Пушкинского стиля: при посредстве их поэт ломал прежние логические и синтаксические формы речи.[2] Так, для изучения функций союза *и*, близким к синтаксису «Пророка», любопытны «Подражания Корану», «Анчар», «Странник» и др.

4

Принцип «романтической народности» выразился не только в стилистических исканьях «экзотического», восточного колорита. У Пушкина он обернулся также «народностью исторической». Под его влиянием в поэтике Пушкина сложилась своеобразная теория словесно-исторических контекстов, социально-языковых структур, художественно отражающих ту или иную эпоху национальной культуры. В связи с этим церковнославянская стихия предстала Пушкину в новых функциях. На ряду со стилями древнерусского письменного языка и в смешении с ними церковно-славянская речь стала мыслиться как одна из структурных форм эпического повествования, придающая ему летописную величавость и «иноческую простоту». Вместе с тем в системе церковного языка, в его экспрессивных формах открывалось многообразие исторических характеров. Так церковнославянский язык с середины 20-х годов все глубже и глубже осознается Пушкиным как живой элемент истории русского литературного языка и, следовательно, как источник национально-языковых красок в стиле исторического повествования и изображения.[3]

§ 1. В языке «Полтавы» семантические формы церковнославянизмов ярко свидетельствуют об этих новых стилистических тенденциях.

---

[1] Анализ «Пророка» с других точек зрения см. у Н. Ф. Сумцова — «А. С. Пушкин», Харьков 1900; у Н. И. Черняева — «Пророк Пушкина в связи с его же Подражаниями Корану», М. 1898; у В. В. Вересаева — «Пушкин в двух планах», статья «Пушкин и польза искусству»; у В. Я. Брюсова в книге «Мой Пушкин», у Н. О. Лернера, Б. И. Коплана и др.

[2] О прерывистых конструкциях в стиле Пушкина см. главу: «Логика синтаксических форм» в моей книге «Стиль Пушкина».

[3] Характерны Пушкинские образы в оценке «Истории» Карамзина: «Нравственные его размышления, *с всею иноческою простотой*, дают его повествованию всю *неизъяснимую прелесть древней летописи. Он их употреблял как краски*, но не полагал в них никакой существенной важности» (IX, 67, статья об «Истории русского народа Н. Полевого»).

Архаизируется состав церковнославянской стихии. Церковнославянизмы не проецируются на предметно-смысловой фон современного поэту литературного языка, а, напротив, несут с собою устарелые, «древне-русские», проникнутые религиозным духом значения. Церковнославянская стихия служит поэту сокровищницею красок для воссоздания колорита эпохи, для придания повествованию тона «исторической народности». Поэтому церковнославянские элементы постигаются и используются поэтом в их «специфических», «дифференциальных» формах, уводящих исторический стиль от семантики современных поэту средств выражения. К церковнославянизмам применен принцип имманентно-исторического созерцания. Отсюда вытекает, прежде всего, прием смешения церковнославянского языка с «простонародным» языком, который романтику казался древне-русской, коренной основой национальной речи.

Например:

в оны дни
Как солью, хлебом и елеем,
Делились чувствами они.

Надеждин («Вестн. Европы» 1829, № 8) так иронически комментировал это «смешение»: «У нас на Руси *хлеб* точно не разлучен с солью; но о елее упоминается только вместе с вином — да и то в одних святцах».

Он шел путем, где след оставил
В дни наши новый, сильный враг,
Когда падением ославил
Муж *рока* свой *попятный шаг*.

Здесь характерно не только оксюморное сочетание церковнославянского «высокого» выражения «*муж рока*» (ср. «муж земных судеб») с бытовым глаголом — *ославить* в своеобразном, индивидуализированном значении, но и семантическое новообразование — *попятный шаг*. В этом фразеологическом неологизме значения церковнославянского *вспять* сцепляются с этимологическими корнями простонародной идиомы: «*на попятный*» или «*на попятный двор*». В «Словаре Акад. Росс.» (ч. IV, 1822) о слове «попятной» было сказано, что оно в современном Пушкину языке «употреблялось только в следующем выражении: «*На попятный двор* в обр[азе] нар[ечия], т. е. отпираясь от своего прежнего мнения или обещания, так же отступая назад по трусости или слабости» (стр. 1533). [1]

Ср.

Готов он лечь во гроб кровавый.
Дрема долит. [2] Но, боже правый!..

[1] Ср., например, у Гоголя в «Шинели»: «Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато». Однако ср. у Белинского: «попятное движение».

[2] О простонародном слове — *долить* (в значении одолевать) см. в «Дополнениях и заметках к словарю Даля» П. Шейка (Спб. 1873) — ссылку

Еще Мария сладко дышит,
Дремой объятая...

Ср. в «Капитанской дочке» речь Пугачова: «Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж *дрема клонит*».

Сюда же примыкают сложные формы смешения церковнославянского языка с разными стилями разговорной, официальной и светско-литературной речи.

Например:

Но кто ж, усердьем пламенея,
Ревнуя к общему добру,
Донос на *мощного злодея*
Предубежденному Петру
К ногам положит не робея?

В этих стихах бросается в глаза не только пересечение разных стилистических кругов лексики, приспособленных к высокому строю «славенской» речи, но и выбор такой конструкции глагола *ревновать* (в его «славенском» значении: «со рвением что-нибудь делать, желать, искать стараться о приобретении чего». «Словарь Акад. Росс.», V, 1822, стр. 1030), которая до сих пор употреблялась в литературно-бытовом языке при совершенно ином значении этого слова (испытывать ревность).[1]

Уже готов
Он скоро *бренный мир* о с т а в и т ь;
Святой *обряд он хочет править,*
Он архипастыря зовет
К одру сомнительной *кончины.*

Церковнославянизмы тут образуют фразеологический фон, на котором ярко выделяются и семантически смещенный эпитет *сомнительный* (в значении: мнимый; ср. выше: «на ложе мнимого мученья») и официально-бытовое выражение *править обряд* (править поминки, именины — «Словарь Акад. Росс.», ч., V, стр. 127).[2]

на архангельское употребление этого слова, отмеченное С. Максимовым («Отчего ты такой бледный, хозяин?» — «А все не могу — икота долит». «Год на севере», I, стр. 16) и примечание: «Впрочем, и в других местностях слово *долит* употребляется в этом значении; им даже воспользовался и пскович Пушкин в Полтаве» (Ib., 14). Ср. у Салтыкова-Щедрина в «Благонамеренных речах»: «Ах, как мы просты! И немец нас одолел. Долит немец, да и шабаш!» — вопиют в один голос все кабатчики».

[1] Ср. конструктивные возможности «славенского» употребления глагола «ревновать» в «Словаре Акад. Росс.», V, стр. 1030, и в «Церковном словаре» П. Алексеева, 1794, III, стр. 15.

[2] Эпитет «бренный» в стихах у Пушкина раньше не встречается. Он нередок у Батюшкова, однако в ином контексте.

В «Умирающем Тассе»:

Но там все вечное, как вечен сам Творец,
Податель нам венца небренной славы.

В стихотворении: «На развалинах замка в Швеции»:

Роальда спутники, на бренных челноках
Протекши дальные пучины...

И день настал. Встает *с одра*
Мазепа, *сей страдалец хилой*,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой.
Теперь он мощный враг Петра.

В этом отрывке церковнославянизмы применяются для усиления антитез и оксюморонов, создаваемых игрой разных субъективно-экспрессивных плоскостей речи. Ведь выражения «*сей страдалец хилой*», «*сей труп живой*» являются не столько повествовательными обозначениями или характеристическими определениями Мазепы, сколько ироническими отражениями «чужой точки зрения», транспонированными в плоскость авторского изображения.

Ср. в «Герое» (1830):

Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменый мощною чумою,
Царицею болезней...

В стихотворении «Как с древа сорвался...»:

И бросил труп живой в гортань геенны гладной...

Еще один пример такого стилистического и экспрессивного смешения, создающего эффектную антитезу:

Ты *им в безумном упоеньи*,
Как *целомудрием* горда.

Ср. также:

И на *коварные седины*
Елей таинственный течет.

Прием «архаического» расширения семантической сферы слова, прием реставрации таких «славенских» значений, которые выходили за пределы предшествующей языковой практики поэта, усиливает и поддерживает эту струю эпического «историзма», например:

Свою *омыть* он может славу.;[1]
Он может возмутить Полтаву
Внезапно средь его дворца
Он может мщением отца
Постигнуть гордого злодея...[2]

[1] Ср. в «Словаре Акад. Росс.»: «*Омыти* от беззакония, от грехов или грехи». Выражен. слав. значит то же, что очистить» (ч. IV, 312). Ср. в «Выстреле»: «Честь его была замарана и не омыта...».

[2] Постигнуть — догонять, преследовать кого-нибудь. «Пожените скоро в след их, еще постигнете их, Навин, 2, 6» («Словарь Акад. Росс.», ч. V, 52). Ср. в стихотворении «Желание славы» (1825):

Как путник, молнией постигнутый в пустыне.

В стихотворении «Домовому» (1819):

«Постигни робостью полунощного вора».

Таким образом глагол — *постигнуть* в этом значении не является стилистическим «архаизмом» для Пушкина. Ср. другие значения этого слова и примеры его употребления в языке Пушкина у В. Ф. Саводника, «К вопросу о Пушкинском словаре» («Изв. русск. яз. и слов. имп. Акад. наук», 1904, IX, кн. 1, стр. 169).

В связи с этим находится и общее лексическое раздвижение пределов повествования в сторону высокого «славенского» слога. В ткань авторского языка вовлекаются церковнославянизмы архаической окраски, вовсе не употреблявшиеся прежде в Пушкинском повествовательном стиле или очень рано, до 20-х годов, исчезнувшие из него.[1] Например:

Кто *снидет* в глубину морскую,
Покрытую недвижно льдом?
Кто *испытующим умом*
Проникнет бездну роковую
Души коварной?..

Ср.:

Пред Кочубеем Гетман скрытной
Души мятежной, ненасытной
Отчасти *бездну открывал*...
И *бога браней* благодатью
Наш каждый шаг запечатлен...[2]
Потухший зрак
Еще грозил врагу России.

Ср. в стихотворении «Воспоминания в Царском селе» (1814)

Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен.

В стихотворении «К Дельвигу» (1817):

Так рано встретил я и зрак кровавый
И низкой клеветы сокрытый яд.

Приемами смешения, архаизации и исторической стилизации функции церковнославянизмов не исчерпываются.

В «Полтаве» церковнославянский язык служит той семантической плоскостью, в которой структура авторского стиля сближается с речью действующих лиц. Глубокое внедрение церковнославянской лексики и символики в общую ткань поэмы не только содействует впечатлению эпической погруженности автора в культурно-бытовой и идеологический контекст изображаемой эпохи, иллюзии слияния авторской личности с миром героев, но и является одним из средств субъектно-экспрессивного расслоения повествовательной речи, служит стилистической фор-

---

[1] Ср., впрочем, в одическом эпилоге «Кавказского пленника»:

Ты *днесь* покинул саблю мести.
Но *се* — восток подъемлет вой.

[2] Ср. у М. Н. Муравьева в стихотворении «Храм Марсов» (Полн. собр. соч. 1819, I, стр. 45):

Густой обымет очи мрак,
Когда их дерзко устремите
На бога браней грозный зрак.

У М. Милонова в стихотворении «К патриотам»:

Сам браней бог, вождем воздушным,
Летит святым сим знаменам.

мой композиционно перемежающихся сближений и разрывов между субъектным планом автора и субъектными сферами героев, особенно Кочубея и Мазепы.[1]

Церковнославянская лексика и символика в авторском изложении не только создают величавый фон эпико-драматической повести в «летописно-русском» духе, но и устанавливают идеологический критерий, риторические нормы оценки и освещения лиц и событий, с одной стороны, в аспекте религиозного «исповедничества», с другой стороны — в аспекте не столько одического, сколько «летописного» патриотизма (ср. описание полтавской битвы).[2] Например:

Кто *снидет в глубину* морскую,
Покрытую недвижно льдом?
Кто *испытующим* умом
Проникнет бездну роковую
Души коварной?..
Грозы не чуя между тем,
Неужасаемый ничем
Мазепа *козни* продолжает.
С ним *полномощный* Езуит
Мятеж народный учреждает...
Мазепа в горести притворной
К царю возносит глас покорной...
Соблазном постланное ложе
Ты отчей *сени* предпочла.
И с сокрушением сердечным
Готов несчастный Кочубей
Перед всесильным, бесконечным
Излить тоску мольбы своей.
Сидел безвинный Кочубей,
С ним Искра тихий, равнодушный,
Как агнец жребию послушный.
Телега стала. Раздалось
Моленье ликов громогласных,
С кадил куренье поднялось.
За упокой души несчастных
Безмолвно молится народ.
Святой невинности губитель,
Узнал ли ты *сию обитель...*
Лишь в *торжествующей святыне*
Раз в год анафемой доныне
Грозя, гремит о нем Собор.

И та же система церковно-библейских образов, слов, фраз, выражающая мировоззрение и этические оценки «старо-русского» человека, прорывается в репликах действующих лиц.

Например, у жены Кочубея:

---

[1] Ср. случайное замечание об этом в книге В. Н. Волошинова: «Марксизм и философия языка», 1929, стр. 184.

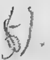
Вопросу о языковой структуре субъекта в стиле Пушкина посвящена глава в моей книге «Стиль Пушкина».

[2] Ср. статью Б. И. Коплана: «Полтавский бой» Пушкина и оды Ломоносова — «Пушкин и его современники», XXXVIII—XXXIX, 113—121.

Бесстыдный! *Старец нечестивый...*
Возможно ль?.. Нет, пока мы живы,
Нет, он греха не совершит...
Когда его *не осенит*
Десница вышняя господня,
Он должен быть казнен сегодня...

В думах и речах Кочубея:

Но он и дочери прощает:
Пусть *богу даст ответ* она,
Покрыв семью свою *позором*,
Забыв и небо и закон...
Вот на пути моем кровавом
Мой *вождь под знаменем креста,*
Грехов могущий разрешитель,
Духовной скорби враг, служитель
За нас распятаго Христа,
Его святую кровь и тело
Принесший мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смело,
И жизни вечной приобщусь!



Характерно, что в речах Мазепы церковнославянская патетика риторически окружает образы царя, власти, трона. Церковнославянизмы здесь выступают на гражданском параде. Они перенесены в язык официально-дипломатических изъявлений, торжественных правительственных манифестов:

Его *щедротою безмерной*
Осыпан, дивно вознесен...
Ему ль теперь у двери гроба
Начать *учение измен*
И потемнять *благую славу?*
Благое время нам приспело;
Борьбы великой близок час...
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра...
И скоро, в смутах, *в бранных спорах*
Быть может, *трон воздвигну я...*

и т. п.



Лишь речи Орлика (со свойственным им смешеньем бытового просторечия и приказно-официального, канцелярского языка) и речи Марии (с их лирическим эротизмом и — в последней сцене — с их безумным бредом) далеки от мифологии и идеологии «славенского» языка.

Современная поэту критика заметила этот прибой образно-идеологической волны «славенизмов» в стиле «Полтавы», но не сумела истолковать их как форму исторической стилизации, как литературный прием исторического воссоздания «народности». [1]

[1] Ср. в «Атенее» (1829, № 2) примитивную дидактическую интерпретацию церковнославянской стихии в «Полтаве»: «Чувства веры в бога и самоотвержения христианского с не меньшею силою представлены в поэме; они умиляют сердца читателей, растерзанных состраданием о судьбе несчастных, и жертвы злобы в самом унижении возвышаются над злодеями и притеснителями невинности» (187—188).

Однако И. В. Киреевский очень тонко описал борьбу в стиле «Полтавы» двух манер изображения, двух форм поэтического воспроизведения действительности — «имманентно-исторической» и лирически-модернизирующей, субъективно-романтической: «Кроме голой существенности и «дополнительной» думы поэта (которая также существенность), мы еще находим в «Полтаве» иногда думу, *противоречащую* действительности, иногда порыв чувства, несогласный с тем «шекспировским» состоянием духа, в котором должен находиться творец, чтобы смотреть на внешний мир как на полное отражение внутреннего. В доказательство укажем на два места «Полтавы»: на софизм о любви стариков и на романтическую чувствительность Мазепы, когда он узнает хутор Кочубея. И то и другое противоречит истине; но и то и другое делает минутный эффект. Это сцена из Корнеля, вплетенная в трагедию Шекспира». [1]

Это столкновение разных типов субъектной интерпретации «действительности» выражается, конечно, и в различных приемах авторского отношения к «церковно-славенской» стихии пове-

[1] «Обозрение русской словесности за 1829 г.». — Полн. собр. соч. И. В. Киреевского, М. 1861, I, 29.

Вот эти лирические арии, разрушающие, по мнению И. В. Киреевского, целостность эпического воспроизведения и модернизирующие стиль повествования:

Узнал ли ты, приют укромный,
Где мирный ангел обитал,
И сад, откуда ночью темной
Ты вывел в степь... узнал, узнал!

и «софизм о любви стариков»:

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика,
Окаменелое годами.
Упорно медленно оно
В огне страстей раскалено.
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет.

Интересно, что лексика в обоих отрывках ближе к русско-французскому стилю, чем к «славенскому». Отпечаток светско-французской семантики лежит и на любовном значении выражения — *мирный ангел* и на всей символике страсти — огня (feu, âme de feu: «сердце... гаснет...», «страстями пылает сердце», «в огне страстей раскалено... но... жар уж не остынет...»)

Ср. также замечание Н. А. Полевого: «Идея народности проявляется наконец Пушкиным в Полтаве... Мазепа, Кочубей, Мария, Петр — создания русские, местные; еще не везде виден верный очерк, еще прежняя тень поэзии Пушкина ложится и на сии лица; еще не верен и отчет в главной идее поэмы. Но вы видите уже как самобытность поэта, так и национальность его созданий». («Очерки русской литературы», I, 166).

ствования. Но анализ «славенских» форм речи с этой точки зрения удобнее соединить с разъяснением вопроса о структуре образа субъекта в Пушкинском стиле (см. мою следующую книгу «Стиль Пушкина»).

§ 2. В «Борисе Годунове» функции церковнославянского языка еще сложнее и разнообразнее.[1] Романтическая драма в духе Шекспира обязывала к многообразию форм речи и к их социально-характеристической дифференциации. Здесь резче сопоставлены и гуще смешаны разные стихии речи. И эта интенсивность и сложность смешения разных речевых категорий, присущая языку драмы, естественно должна была отразиться и на приемах употребления и переосмысления церковнославянизмов. Кроме того, необходимо отличать нейтральную систему стихового языка «Бориса Годунова», являющуюся как бы фоном для характерологического расслоения стилей драматической речи, от индивидуальных особенностей говорения, присвоенных отдельным персонажам драмы. Эта «нейтральная» система драматического языка в «Борисе Годунове» определяет авторскую манеру воспроизведения исторической действительности, вводит слушателя и зрителя в стиль изображаемой эпохи.[2] В этой плоскости церковнославянский язык, подвергаясь «архаизации» и стилизации под формы летописного рассказа, естественно сталкивается с элементами древне-русского языка, с формами просторечия и «простонародного», иногда «народно-поэтического» языка. Но этот конгломерат разнородных лексических, фразеологических и синтаксических форм в стиховом языке «Бориса Годунова» скрепляется, цементируется структурными нормами современной Пушкину поэтической речи, которые вводят в измеренные границы многообразие стилистических колебаний всей этой изменчивой и пестрой словесной массы, придают характер системы «отступлениям», стилизующим речевой быт древности.[3] А в системе отступлений, архаизующих стиль, центральное место принадлежит церковнославянизмам. Однако в драматической речи роль современного Пушкину литературного языка ограничена давней традицией исторического повествования (правда, несколько нарушенной ритори-

---

[1] Анализ языка «Бориса Годунова» должен был бы предшествовать обзору «Полтавы», если руководиться «творческой историей» произведений.

[2] Е. А. Боратынский писал Киреевскому в ответ на его мнение, что слог «Иоанны» Жуковского служил образцом для слога «Бориса»: «В слоге «Бориса» видно верное чувство старины, чувство, составляющее поэзию трагедии Пушкина, между тем как в «Иоанне» слог прекрасен без всякого отношения» («Татевский сборник», Спб. 1899, стр. 13).

[3] То обстоятельство, что Пушкин использовал для «Бориса Годунова» многие памятники русской средневековой литературы только в объеме цитат из них в примечаниях к «Истории государства Российского» Карамзина, не меняет сути дела. Важно, что языковой материал древне-русской письменности из «Примечаний» переносится в текст самой драмы.

ческими стилями Ломоносовской, Эминско-элагинской и, главным образом, Карамзинской школы, но зато оживленной и поддержанной романтическим течением, особенно влиянием Вальтер-Скотта) — широко пользоваться цитатами из источников и таким образом приближать манеру изложения к языку самой изображаемой эпохи. Современный литературный язык в исторической драме мог стать лишь фоном понимания и средством стилистического усиления отклонений, речевых «скачков» в прошлое. Поэтому в «Борисе Годунове» разительнее переходы от церковнославянского языка к другим стилям речи и резче столкновение их. С этими приемами, прежде всего, связано разнообразие экспрессивных форм разговорной речи, «устного» диалога.

Например:

Знать, сам Борис *сей дух в нее вселил...*

(Воротынский)

Когда же он *преставился,* палаты
Исполнились святым благоуханьем
И *лик* его, как *солнце* просиял —
Уж *не видать такого нам* царя.

(Пимен)

О х, п о м н ю!
П р и в е л меня бог видеть злое дело,
Кровавый грех. Тогда я в дальний Углич
На некое был услан послушанье

(Он же)

Да, да — вот что! теперь я понимаю.
Но кто же он, мой *грозный супостат?*

(Царь)

Возвысить глас измена не дерзала.
Но ты *младой,* неопытный *властитель,*
Как *управлять ты* будешь *под грозой,*
Тушить мятеж, опутывать измену?

(Он же)

Но я и так Феодором высоко
Уж *вознесен,* начальствую над войском...

(Басманов)

Вы ль станете упрямиться безумно
И милостей *кичливо убегать?*
Но он идет на царственный *престол*
Своих отцов — в сопровожденьи грозном.

(Пушкин)

Послушай до конца:
Кто б ни был он, спасенный ли царевич
Иль *некий дух во образе его.*
Иль смелый плут...

(Пушкин)

Особенно резок и странен показался критике 30-х годов переход от церковно-книжного строя речи к просторечию в конце монолога Бориса Годунова. После таких церковных фраз, как «*мирские* печали», «*едина разве совесть* — так, *здравая,* она *восторжествует над злобою,* над темной клеветой» и т. д., — «неприятно смешно», по отзыву В. Плаксина, звучали «последние пять стихов»:

Как молотком стучит в ушах упреком,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... Ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть не чиста!

Весь конец монолога, по словам рецензента, «выражен языком каким-то неприятно смешным; особливо последние пять стихов, безобразие которых я не считаю нужным и показывать». Уместно вспомнить стилистические комментарии к этому месту в «Разговоре помещика, проезжающего из Москвы через уездный городок, и вольнопрактикующего в оном учителя российской словесности» (М. 1831):

Помещик... что ты скажешь об этом *тошнит*?
Учитель... Не хорошо... весьма отвратительно.
Помещик. Это значит, что автор подслушал голос природы; это национальность, народность — требование нашего века. [1]

Церковнославянизмы в «Борисе Годунове», сталкиваясь с просторечием и простонародным языком, все же организуют диалог «архаистического» типа. Поэтому архаические формы церковнославянизмов не только отделены от лексической системы современного автору литературного языка, но явно противопоставлены ей как формы языка иной среды, иной исторической действительности. Автор снимает с себя (если можно так выразиться) субъектную ответственность за церковно-книжные архаизмы, приписав их персонажам другого культурно-исторического круга.

Церковнославянизмы, на ряду с словами, фразами древне-русского летописного языка, служат формами проецированья лиц и событий в бытовой контекст воспроизводимой эпохи.

Таковы, например:

Заутра вновь святейший патриарх...
Воздвижется.
(Щелкалов)

Молитеся — *да взыдет к небесам*
Усердная молитва православных
(Он же)

---

[1] Ср. там же слова учителя: «Такие выражения: *чорт* с ними, а особенно *мочи нет,* при всей романтической национальности — никуда не годятся»... «*Борисова щенка!* Какой изящный вкус! — И это национальность?»

Ср. в «Утопленнике», в речи мужика:

Вы, щенки! За мной ступайте!

Кто выше их? *Единый бог.* Кто смеет
Противу их? Никто. А что же? Часто
Златый венец тяжел им становился.

(Пимен)

Прииду к вам преступник окаянный.

(Он же)

Он воздыхал о мирном житии
Молчальника. Он царские чертоги
Преобратил в молитвенную келью.

(Он же)

Зане святый владыка пред царем
Во *храмине* тогда не находился.

(Он же)

Все *под руку* достанутся твою

(Царь)

И *мощь бесов исчезнет яко прах.*

(Патриарх)

Великий ум! *муж битвы и совета.*

(Самозванец)

Хвала и честь тебе, *свободы чадо.*

(Он же)

и т. д.

Характерно, что и в «Борисе Годунове» степень «архаизации» церковнославянизмов и их стилистической выдержанности как бы подчинена риторическим нормам языка изображаемой эпохи. Поэтому торжественные монологи царя (например, при вступлении на престол), думного дьяка, патриарха, кн. Шуйского в царской думе, Пимена в повествовании о прошлом страны (не говоря уже о молитве мальчика) слагаются почти целиком из возвышенно-официальных церковнославянизмов. Напротив, в бытовых репликах разных персонажей церковнославянизмы архаического типа внедряются в просторечие, иногда даже сливаются с ним, подвергаются морфологической контаминации с ним и переосмыслению по его нормам. Это один из приемов, направленных к созданию иллюзии «объективности» исторического воспроизведения. Вот — несколько примеров сочетания «славенских» выражений книжно-архаической или церковно-риторической окраски с лексикой бытового языка.

Они пред ним напрасно *пали ниц* [1]

(Один из народа)

Ср.:

Ниц повергся перед ним
(«На Испанию родную», 1835).

Теперь пойдем, поклонимся гробам
Почиющих властителей России.

(Царь)

---

[1] О слове *напрасно* (в значении: тщетно, безрезультатно, зря), как просторечно-бытовом «искажении», писал еще А. П. Сумароков: «древние невежи речение *напрасно*, знаменующее *нечаянно*, навеки учинили *тщетно*» (Полн. собр. соч., 1787, X, 29).

Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Успел бы я, как ты, на старость лет,
От суеты, от мира отложиться.

(Григорий)

и мн. др.

Но еще более остры и показательны формы фразеологической ассимиляции церковнославянизмов с разговорно-бытовым языком. Этот прием особенно рельефно подчеркивает глубокую погруженность церковнославянизмов в разговорно-бытовую речь средневековья, как исторического фона драматического действия.

Мысль важная в уме его родилась.
Не надобно ей дать остыть. Какое
Мне поприще откроется, когда
Он *сломит рог* боярству родовому![1]

(Басманов)

Ты знаешь *ход* державного правленья;
Не изменяй *теченья дел.*[2]

(Царь)

Со временем и понемногу снова
Затягивай державные бразды.[3]

В семье своей будь *завсегда главой.*

(Царь)

А нынче ль?... нет, Басманов, поздно спорить
И раздувать холодный пепел брани

(Пушкин)

---

[1] Ср. у Державина:

Неверных сокрушил ты гордый рог...

(„Побед.“, 233, 6)

И высило чрез них твой рог...

(„На коварство...“, 317, 4)

[2] Ср. рассуждение А. С. Шишкова (в статье «О сословах»), доказывавшего невозможность замены слова «теченье» словом «ход» (под влиянием франц. la marche) в таких фразах книжного типа, как ход государственных дел, ход правленья и т. п.

[3] Ср. в стихах Андрея Шенье (1825):

Мне ль было управлять строптивыми конями
И круто напрягать бессильные бразды.

В «Полтаве»:

Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь рубятся с плеча.

Ср. в «Борисе Годунове»:

Всегда народ к смятенью тайно склонен;
Так гордый конь грызет свои бразды.

Ср. у Державина:

О вы, венчанные возницы,
Бразды держащие в руках.

(„Колесница“)

А мой покой *бесовское мечтанье*
Тревожило и *враг меня мутил...*
(Григорий)

и др.

«Стиль эпохи» выражается и в том, что на основе церковнославянского языка построены формулы общественно-бытового этикета, образы и приемы обиходных речевых взаимоотношений. Например, обращение царя к дочери:

Что, Ксения? что, милая моя?
В невестах уж *печальная вдовица!...*
Прости, мой друг. *Утешь* тебя господь

Рапорт Карелы самозванцу:

...К тебе я с Дона послан
От вольных войск, от храбрых атаманов
Узреть твои царевы ясны очи
И кланяться тебе их головами.

С другой стороны, морфологические церковнославянизмы присутствуют и в речи таких персонажей, которые автором сознательно оторваны от образно-идеологического контекста церковнославянского языка, например в речи поляков, особенно Марины:

Уж новизна сменяет новизну;
А Годунов свои *приемлет* меры...

(Ср. франц. prendre les mesures).
Ср. в речи царя:

Послушай, князь! в з я т ь меры сей же час!

Приемы и типы связи церковнославянизмов с другими стилями речи дифференцированы соответственно характерам персонажей. Вернее: церковнославянизмы служат одним из средств социально-характерологического различения персонажей. Так, в речах Пимена славянизмы густо окрашены религиозно-церковной, иногда даже профессионально-монашеской окраской, например:

Недаром *многих лет*
Свидетелем господь меня поставил
И книжному искусству вразумил...

Благослови, господь,
Тебя и днесь и присно и во веки.
... мало искушений
Послал тебе всевышний...

В ней жил тогда Кирилл *многострадальный,*
Муж праведный. Тогда уж и *меня*
Сподобил бог уразуметь ничтожность
Мирских сует.

А сын его Феодор. На престоле
Он воздыхал о мирном житии
Молчальника. Он царские чертоги

Преобратил в молитвенную келью...
Бог возлюбил смирение царя...

Тогда я в дальний Углич
На некое был услан послушанье
... с тех пор я мало
Вникал в дела мирские;

и т. п.

Вместе с тем они перемешаны с летописно-эпическими, народно-поэтическими и литературно-лирическими формулами и образами, например:

Давно ль оно неслось событий полно,
Волнуяся, как *море - окиян?*

Младая кровь играет.
Мне чудятся то *шумные пиры,*
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет!
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь.

Точно так же в реплике Pater'а церковнославянизмы приобретают яркую проповеднически-церковную экспрессию.

... небесной благодати
Таи в душе, царевич, *семена,*
Притворствовать пред *оглашенным светом*
Нам иногда *духовный долг* велит.

В речи дьяка Щелкалова церковнославянизмы сочетаются с формулами приказного языка:

Собором положили
В последний раз *отведать* силу просьбы
Над скорбною правителя душой.

Но особенно остро и художественно показан посредством изменений в церковнославянской окраске речи слом в образе Григория, превращение Григория Отрепьева в Димитрия Самозванца. В репликах Григория славянизмы обвеяны экспрессией монастырско-разговорного или профессионально-церковного диалекта, например:

А мой покой *бесовское мечтанье*
Тревожило, и *враг меня мутил.*
... а я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!..
Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться.
Каких был лет *царевич убиенный?*

Напротив, в корчме прозаическая речь Григория, переодетого мирянином, приспособлена к мещанскому просторечию. А в языке Дмитрия Самозванца церковнославянизмы уже освобождены от религиозно-церковного колорита: они усиливают гражданскую торжественность или любовную патетику его речей и носят светски-риторический, восходящий нередко к приемам древне-

русской письменности, или лирический отпечаток. Например, в обращении к сыну Курбского — отзыв об его отце:

Великий ум! *муж битвы и совета...*[1]
Несчастный вождь! как ярко *просиял*
Восход его шумящей, бурной жизни.

Еще ярче риторические функции церковнославянизмов, смешанных с поэтическими образами классицизма, в приветствии поэту:

Стократ священ союз меча и лиры,
Единый лавр их дружно обвивает.
Родился я под небом *полунощным*,
Но мне знаком латинской музы голос,
И я люблю парнасские цветы.[2]
Я верую в пророчества пиитов.
Нет, не *вотще в их пламенной* груди
Кипит восторг: *благословится подвиг*,
Его ж они прославили заране!

В сцене любовного объяснения церковнославянизмы являются в речи самозванца только в наиболее патетических местах:

Виновен я: *гордыней обуянный*,
Обманывал я бога и царей...
Ты мне была *единственной святыней*,
Пред ней же я притворствовать не смел.

Ср. в стихотворении «Красавица» (1834):

Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

Таким представляется в беглом очерке круг употребления церковнославянизмов в стиховом языке «Бориса Годунова».

Более подчеркнуты профессионально-характеристические оттенки церковнославянского языка в прозаическом диалоге.

Особенно ярко сочетание форм просторечия со стилем старых грамот («и был он весьма грамотен») и с церковнославянским языком («он еще млад и неразумен», «старцу кроткому и смиренному») в речи игумена. Прозаический же стиль патриарха с романтической нарочитостью (по контрасту с социальным обликом персонажа) погружен в фамильярно-бытовое просторечие («пострел, окаянный!», «Уж эти мне грамотеи!», «*эдака* ересь!» и т. п.), и экспрессия этого просторечия кладет отпечаток и на слитые с ним церковнославянизмы, ассимилируя их себе (например: «ах, он *сосуд диавольский!*»; «эдака *ересь!*»; «поймать, поймать *врагоугодника!*» и др.). Любопытно, что и корчемные

---

[1] Ср. у Н. М. Карамзина характеристику кн. Курбского: «Юный, бодрый воевода, в нежном цвете лет ознаменованный славными ранами, *муж битвы и совета...*» — «История государства Росс.», 1834, IX, стр. 55. Ср. в стихотворении Н. М. Коншина «К нашим»:

И Дельвиг, председатель муз
И вождь, и муж совета!

[2] Ср. в стих. «К Батюшкову» (1814):

Цветов парнасских вновь не рвешь...

бродяги-чернецы, разговаривавшие по-скоморошьи, когда пришла нужда разжалобить приставов, начали пользоваться выражениями церковного языка («Прииде грех велий на языцы земнии...», «думают о мирском богатстве, не о спасении души»; Мисаил: «Не умудрил господь»).

Так в творчество Пушкина, по мере того как ширится и углубляется в нем национально-историческая стихия языка, разнообразнее и свободнее врывается пестрая, социологически и функционально разнородная масса церковнославянизмов. [1]

---

[1] Сколько было «аристократического» консерватизма в «революционном» синкретизме языка «Бориса Годунова» и в приемах стилистического объединения в нем церковнославянизмов и древнерусизмов с нормами литературного выражения 20-х годов, может лучше всего показать сравнение языка «Бориса Годунова» с драмами М. П. Погодина: «Марфа посадница новгородская» (1830) и особенно с «Историей в лицах о Дмитрии Самозванце» (1835). В этой последней пьесе резко разграничены фамильярно-бытовые стили речи и официально-торжественные. Бытовое просторечие носит яркий отпечаток «мещанской» современности даже у бояр и самозванца. Ср., например, в речах самозванца: «Стоило труда! Можно было не поспать ночку-другую, поголодать! каков, брат, я? — Захотел — и царь!...» 2) — «... Надо мазать пока по губам... Поскорее кончить эту комедию, а потом уж...» (4—5) — «А! молодцы! Вы потрудились, теперь пируй, гарцуй в мою голову!» (14) и т. п. В речах бояр: «Да ты совсем вздурился. Мы в горе шли к тебе как шальные, а ты нас на такой смех поднимаешь» (30). Ср. реплики Василия Шуйского: «Ах! батюшки мои! вы в самом деле носы повесили. А я сначала признаться не разглядел путем...» (31) — «Ни в зуб толкнуть, братцы. Хоть зарежь».

Ср. разговор между кн. Василием Шуйским и князем Сицким:

Кн. Сицкий (*хватая за ворот Шуйского*). Скажи, сват, задушу. Верно, у тебя есть что-нибудь на уме. Не морочь. Не станешь веселиться ты так без толку. Я знаю тебя, ну — говори.

Кн. Василий Шуйский. Ах, батюшки мои, задушил, отстань, окаянный, что ты в самом деле. Ну что мне говорить! Мальчик что ли я думать за вас, да говорить!

Кн. Сицкий. Полно пустяки околачивать. Говори, задушу (*трясет его*).

Кн. Василий Шуйский. Да отстанешь ли от меня, провал тебя возьми. Пусти душу на покаяние!

Напротив, официальные стили речи бояр резко отделены от системы литературного языка XIX века. Они натуралистически построены на материале летописей, актов и церковной письменности.

Например, речь кн. Трубецкого: «И молим, чтобы господь осенил тебя *крылу своею, отженул* от тебя всякого врага и супостата и злаго обстояния и чтоб ты царствовал над нами, рабами своими, в долготу дней» (6).

Кн. Мстиславского: «О погибни память его, злодея, с шумом и поруганием» (7).

Кн. Вас. Шуйского: «Благодарим, благодарим тебя стократы за твое о нас печалование, за наше благодатное освобождение» (7) и т. п.

Таким образом, стихия простонародного языка и «мещанского» просторечия является в пьесе М. П. Погодина (полемически посвященной А. С. Пушкину) основой речи «народа», купцов и бояр в быту. И на ее фоне выделяются, с одной стороны, церковно-летописные речи бояр в официально-торжественной обстановке, — и литературная декламация поляков и иезуитов, с другой стороны.

Подробнее о языке «Бориса Годунова» на фоне разных стилей исторической драмы первой трети XIX века думаю говорить в особой статье.

§ 3. Обращение к церковнославянскому языку за красками для создания колорита бытовой «характерности» и «исторической народности» намечается в прозаическом стиле Пушкина еще раньше работы над «Борисом Годуновым». Арзамасские опыты пародирования церковнославянского языка были для Пушкина экспериментальной школой изучения социально-характеристических функций церковнославянизмов. Так, в письме к кн. Вяземскому от 25 января 1825 г. Пушкин, сообщая эпиграмму на Глинку — Кутейкина в эполетах, пародически рисует его образ церковнославянским языком: «Фита бо друг сердца моего, муж благ, незлобив, удаляйся от всякия скверны» (Переписка, I, 170—171).

Эти упражнения в стилизации церковнославянского языка и древне-русского письменного повествования и диалога ложатся в основу художественного построения характеров по образу Фонвизинского Кутейкина. [1]

Так, в «Истории села Горюхина» субъектом церковнославянской речи является дьячок, памятником церковнославянского языка — его летопись, «отличающаяся глубокомыслием и велеречием необыкновенным». В соответствии с социальным обликом персонажа и стиль его представляет смесь выражений бытового просторечия с устарелыми церковнославянскими словами, рассчитанную на комические эффекты. (Например: «*свернув трубкою* (просторечие) *воскрания одежд, безумцы* (церковнославянизм) глумились над еврейским возницею: и *восклицали смехотворно* (церковнославянизм): «жид! жид, ешь свиное ухо...» (просторечие). Повидимому, к творчеству горюхинского дьячка должно быть отнесено и другое NB, где еще ярче выступает комически-торжественный стиль летописного повествования, пересыпанный морфологическими и лексическими осколками церковнославянской письменности: «Грамоту грозновещую сию списах я у Трифона старосты, у него же хранилася она в кивоте, вместе с другими памятниками владычества его над Горюхиным». Надо помнить, что эти отрывки должны еще острее и чужестраннее (если можно так выразиться) пониматься на фоне исторического слога Белкина — слога, представляющего причудливый узор пародических имитаций письмовника Курганова, историй Полевого и Карамзина и отражающего (хотя и в комической окраске) принципы Пушкинской интерпретации мещанско-дворянских стилей литературного языка.

5

Итак, церковно-книжному языку в творчестве Пушкина чужда монолитность образно-идеологического содержания, чуждо

[1] Ср., например, церковнославянизмы в речи отца Герасима из «Капитанской дочки»: «Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании» и т. п.

единство мифологического строя. Церковно-книжный язык дробится на множество стилистических осколков, на множество образов, выражений с разной экспрессией, с разными задатками развития. Оторванные от церковно-библейской почвы, вынесенные за пределы религиозно-мифологической действительности, они становятся очень подвижными, плавкими и, входя в сочетания с другими формами стиля, с другим миром символов и выражений, составляют многообразие стилистических композиций и идейных концепций. Впрочем, легко заметить, что принципы, пределы и приемы пользования церковнославянизмами у Пушкина в прозе и стихе различны. Если в прозе на церковнославянской основе строятся преимущественно социальные характеры персонажей и риторика публицистического рассуждения, а в повествовательных стилях подмесь церковно-книжности ведет к усложнению субъектно-экспрессивных форм речи, к архаизации языка или к созданию иллюзии историко-бытового колорита, то в стихотворном языке церковно-библейские образы служат для углубления и смещения смысловой перспективы: они поддерживают символическую многозначность и многопланность Пушкинского стиха.

Показательно, что церковно-библейские образы в Пушкинской лирике не только количественно возрастают к концу 20-х годов, но нередко и приобретают здесь, особенно в цикле религиозных стихотворений, композиционно-организующую роль. Так романтическая концепция исторического процесса, предполагаемый его синтез коренных основ национальной речи привели Пушкина к утверждению церковнославянского языка как живой национальной струи в предносившейся Пушкину системе «общего» (буржуазно-дворянского) литературного языка.

Необходимо указать несколько наиболее характерных примеров из Пушкинской лирики и Пушкинских поэм в качестве иллюстраций к этому процессу растворения церковно-библейских образов и мифов в стихии поэтической речи.

§ 1. Церковно-библейская символика в период «романтической народности» служила Пушкину средством для создания экспрессии величавости и простоты, для придания народно-эпического колорита повествованию. Она выступает как лиро-эпическая форма литературной изобразительности. Таков взятый из «Апокалипсиса» (I, 15) образ: «и голос его как шум вод многих». В «Апокалипсисе» он относится к божеству в подобии «сына человеческого» («Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи его, как пламень огненный»). Пушкин, вкладывая этот символ в уста старика-цыгана, тем самым придает его речи библейский эпический тон и вносит тонкий штрих в художественную характеристику этого цыганского патриарха (ср. также в этом монологе старика эпически-торжественное, «библейское» употребление союза *и*:

И полюбили все его.
И жил он на брегах Дуная,
Не обижая никого...
Людей рассказами пленяя
Не разумел он ничего,
И слаб и робок был как дети.

Но, с другой стороны, библейский образ применен здесь стариком к Овидию, вставлен им в цыганское народное «предание» об Овидии:

Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной:
Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный.

Так легендарно-эпическими красками, отчасти заимствованными из Библии, рисуется и образ поэта-изгнанника.

§ 2. Церковнославянский язык, понимаемый как живая и изменчивая категория национально-исторического процесса речевой эволюции, предстает Пушкину в своих исторических напластованиях, в тех «народно-поэтических» (по суждению того времени) варьяциях, которые возникали в процессе его эволюции, его сближения с разными литературными жанрами и стилями речи. Так Пушкин в «Акафисте Екатерине Николаевне Карамзиной» (1827) пользуется церковнославянской метафорой пловца, достигшего земли,[1] той метафорой, которая встречалась в приписках летописцев (ср. «радуется... кормчий в отишье пристав»),

Земли достигнув, наконец,
От бурь спасенный провиденьем,
Святой владычице пловец
Свой дар несет с благоговеньем.

Эта метафора, образуя сравнение, теряет свой церковно-книжный колорит в контексте светских образов: «простой увядший мой венец», «высокое светило в эфирной тишине небес». А заключительное двустишие как бы демонстрирует процесс смешения церковнославянского языка с формами литературно-салонной фразеологии, процесс семантической транспозиции славянизмов в сферу любовной лирики...

Тебе сияющей так мило
Для наших *набожных очес*

---

[1] Ср. образ плывущего странника в поэзии Батюшкова:

Скитаяся, как бедный странник,
Каких не испытал превратностей судеб?
Где мой челнок волнами не носился?
(„Умирающий Тасс")

Как странник, брошенный на брег из ярых волн,
Встает и с ужасом разбитый видит челн.
(„Воспоминания")

§ 3. Церковно-библейские образы, вовлекаясь в разные контексты, получают разное применение и развитие — в зависимости от жанра, стиля, художественной темы. Тут намечается и некоторая общая тенденция Пушкинского лирического языка, движение его от пародического и каламбурно-иронического осмысления церковнославянизмов к глубоко-торжественному, патетическому символизму в их употреблении. Интересно проследить эволюцию одного библейского символа — «Ноева ковчега на высотах» в творчестве Пушкина. Стихотворение «Напрасно ахнула Европа» (1824) очень показательно для характеристики приемов пародического «переодевания» церковно-библейских образов. Здесь библейские образы потопа, ковчега, высот, брега, на который был вынесен ковчег, и спасшихся от потопа людей и животных не только попадают в стилистическую атмосферу фамильярного просторечия, но и получают каламбурное применение, облекая своими символическими формами Бестужевскую «Полярную звезду». Тон фамильярно-иронического увещания звучит особенно резко в начальных стихах:

Напрасно *ахнула* Европа:
Не унывайте, не беда!

Далее лексика выходит за пределы просторечия. Но синтаксические формы (переход от повествования к воззванию, смещение «временной перспективы») усиливают ироническую экспрессию, которая создается внедрением библейских образов в круг слов, предметов, связанных с «Полярной звездой». Сначала библейский образ потопа проникает в такую лексическую среду, которая его нейтрализует, низводить на роль бытовой метафоры:

От петербургского потопа[1]
Спаслась «Полярная звезда».

---

[1] Ср. в письме А. С. Пушкина к Л. С. Пушкину от конца ноября 1824 г. образы потопа - в связи с комическим использованием библейской истории Ноя: «Что это у вас? Потоп! Ничто проклятому Петербургу!.. не найдется ли между вами Ноя для насаждения винограда? На святой Руси не шутка — ходить нагишом, а хамы смеются...». «Что делают полярные господа? Что Кюхля? Прощай, душа моя, будь здоров и не напейся пьян, как тот после своего потопа. NB. Я очень рад этому потопу, потому что зол» (Переписка, I, 148 – 149). Также в письме к сестре и брату (от 4 XII. 1824 г.): «этот потоп с ума мне нейдет: он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется» (Ib., 155). Ср. «Дневник» И. М. Снегирева, стр. 107, 110. Ср. в «Медном всаднике»:

И место, где потоп играл

В качестве параллели к приему пародически-бытового осмысления церковно-библейских образов можно привести эпиграмму (того же 1824 г.):

Певец Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Который был и генерал
И, положусь, не проще графа.

Так начинается каламбурная цепь «Полярной звездой». А вслед за этим выступает новый адресат стихотворения — Бестужев (ср. раньше: «не унывайте»), и при обращении к Бестужеву образ потопа обрастает всеми мифологическими аксессуарами библейской легенды:

Бестужев, твой ковчег на бреге!

Изменение «собеседника» влечет за собою общее смещение субъектной перспективы речи. Автор становится в позу непосредственного наблюдателя открывающихся пред ним картин. И в описании «брега» метафорическая цельность символики иронически разрушается сближением библейских высот с Парнасом:

Парнаса блещут высоты.

(Ср., например, в наброске «Мне жаль великие жены» (1824) каламбурно-ироническое соединение фраз: «любила и ради славы дым войны и *дым парнасского кадила*»). Заключительные строки типичны для Пушкинского стиля, особенно в эпиграмматическом жанре. Синтаксические формы присоединения (с союзом *и*), ломая установившуюся субъектную перспективу речи, осуществляя повествовательный скачок, возвращают изложение к теме спасения «Полярной звезды» (ср. «спаслась» — «спаслись») и облекают эту тему как будто в чистые, без посторонней лексической подмеси, библейское символы.

И в благодетельном ковчеге
Спаслись и люди...

Однако и эта мнимая «чистота» библейской символики, направленной на иной предметный мир, только подготовляет напряжение иронической экспрессии. Ирония достигает предела в неожиданной и в то же время символически оправданной прицепке — «*и скоты*» (ср. в Библии: «...и сотвори бог... скоты по роду их», Быт. I, 15, и др. под.).

Значение этого союза *и* — перечислительно-присоединительное — подчеркивает каламбурную двойственность словоупотребления. Форма множественного числа — *скоты*, переводя лексему в сферу просторечия, притягивает ее значение к людям (применительно к «полярным господам») и как бы прерывает ее отношение к библейскому скоту. Так мишень авторской иронии раскрывается теперь целиком со всеми ее «библейскими» атрибутами.

Совсем иной экспрессивной и иной символической атмосферой окружен тот же образ *ковчега* в стихотворении «Монастырь на Казбеке» (1829). Здесь этот образ взят вне фона земного потопа. Он перенесен за облака и служит для символического освещения образа монастыря на Казбеке. Этот монастырь рисуется как спасительное убежище от тревог земли,

от жизни «ущелий». Отрицаемый мир подразумевается по контрасту.

Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться *к вольной вышине*!
Туда б, в заоблачную келью
В соседство бога скрыться мне!..

Поэтому и образ ковчега выводится за пределы земли (ср. «монастырь за облаками», «заоблачная келья») и предстает как символ вольной и вожделенной жизни в вышине и «сиянии вечных лучей», в соседстве бога.

Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Вместе с символом ковчега является и его церковнославянская рифма — «брег» с соответствующими объектно-пространственным и субъектно-экспрессивными определениями:

Далекий, вожделенный брег.

Таким образом церковно-библейские образы «ковчега над горами» и «вожделенного брега» здесь служат формами символической интерпретации образа монастыря в вольной вышине. Глубокий и торжественный лиризм обнаруживается в подборе слов. К церковнославянским символам и их экспрессии («царственный шатер Сияет вечными лучами...», «монастырь за облаками. Как в небе... ковчег... Далекий, вожделенный брег...», «в заоблачную келью») притягивается, приспособляется вся лексика стихотворения. И на этом фоне заключительный стих —

В соседство бога скрыться мне!..

несколько фамильярный, оксюморный, как бы несколько диссонирующий с религиозной патетикой предшествующих стихов, только еще сильнее, резче напрягает страстное желание полета в вышину. Он звучит как непосредственный крик души, тоскующей в ущелье.

§ 4. Можно глубже вникнут в Пушкинские приемы символического усложнения церковно-библейских образов и мифов, если раскрыть многообразие смыслов, облекающих то или иное церковное выражение в языке Пушкина. Интересной иллюстрацией является образ *багряницы* в таких строках «Медного Всадника»:

Утра луч
Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей
И не нашел уже следов
Беды вчерашней; *багряницей*
Уже *прикрыто было зло.*
В порядок прежний все вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,

Покинув своей ночной приют,
На службу шел...

Как понимать эту фразу: *багряницей уже прикрыто было зло*? Церковнославянское слово *багряница*, согласно «Словарю Академии Российской» (1806, I), имело два значения, из которых одно — пряжа, багряною краскою окрашенная — явно неподходит сюда.[1] Остается другое значение, к которому ведет и глагол *прикрыть* (багряницей): «Торжественная пурпурового или червленного цвета верхняя одежда владетельных особ, которая обыкновеннее называется греческим словом порфира» (79). Примером употребления этого слова могут быть такие стихи Ломоносова (из оды «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны», 1748):

Гряди краснейшая денницы,
Гряди и светлостью лица
И блеском чистой багряницы
Утешь печальные сердца.

У Пушкина слово *багряница* встречается еще дважды — оба раза в значении: «пурпурная одежда».

В стихотворении «Лицинию» (1815):

Венчанный лаврами, в блестящей багрянице,
Спесиво развалясь, Ветулий молодой
В толпу народную летит по мостовой...

В набросках о Клеопатре (1824):

И снова гордый глас возвысила царица:
Теперь забыты мной венец и багряница;
Простой наемницей на ложе восхожу.[2]

---

[1] Ср. Общий церковно-славяно-российский лексикон П. Соколова 1834, I, 35 и «Словарь Акад. Наук» 1847.

[2] Ср. у Милонова:

Царь державною десницей
Мир царям всем подает,
И под светлой багряницей,
Меч в ножнах его уснет.

Ср. употребление этого слова у Жуковского в балладе «Ахилл» (1814):

Стирает багряницей
Слезы бедный царь с ланит.

В стихотворении «Императору Александру»:

... верным быть царем клянясь Творцу и нам,
Ты клал на страшный крест державную десницу
И плечи юные склонял под багряницу...

Особенно интересно здесь же переносное значение слова — *багряница*:

О, Русская земля! спасителем грядет
Твой царь к низринувшим царей твоих столицу!
Он распростер на них пощады багряницу.

Общий смысл Пушкинского символа («багряницей уже прикрыто былое зло») более или менее ясен. Он как будто сводится к тому, что парадным, пышным одеяньем было прикрыто зло, разрушенье наводненья. Но где искать ключа к уяснению этого образа багряницы? В одном направлении смысловые нити связывают этот образ с лучом утра, блеснувшим из-за усталых, бледных туч. Кажется, что багряница — это пурпур, багряная одежда утренней зари, приведшей город в прежний порядок.[1] Понятно, что далее следуют картины привычной утренней жизни большого города. Такое понимание может опираться на параллель в стихотворении Н. М. Языкова «Тригорское»:

Бывало, в царственном покое
Великое светило дня,
За миловидною денницей,
Шаром восходит огневым
И небеса как багряницей
Окинет заревом своим.

Ср. у барона Розена в стихотворении «Песнь слепца» («Альциона» на 1831 г., стр. 37):

Утром развевается ль заря.
Багряница горнего царя?

Ср. у Капниста в «Оде на всерадостное обручение Ал. Павл. и Ел. Алекс.» (1793):

Воздев блестящу багряницу,
Уже стыдливая заря
Ведет янтарну колесницу
Дней светоносного царя.

Правда, багряница тут облекает небеса, а не землю, как у Пушкина. Ущербность, односторонность этого «пейзажного» осмысления очевидна, хотя его возможность дана в олицетворе-

---

В стихотворении «Царский сын и поселянка»:

Царь был чудо красотою
Под короной золотою,
С багряницей на плечах
Был он светел, как в лучах.

В стихотворении «На кончину... королевы Виртембергской» (1819):

Отторгнута от скипетра десница;
Развенчано величие чела;
На страшный гроб упала багряница.

У Батюшкова в «Умирающем Тассе»:

К чему раскинуты средь лавров и цветов
Бесценные ковры и багряницы?

[1] Ср., например, такое понимание в статье Н. М. Колобовой, «Природа в поэзии А. С. Пушкина» — «Пушкинист», под ред. С. А. Венгерова, I, 124 Ср. также Пушкинские стихи: «Зари багряный луч»; «Зари багряной полоса объемлет ярко небеса». Другие примеры употребления слова «багряный» см. в «Материалах для словаря Пушкинского прозаического языка» В. Водарского — «Филол. записки» 1903, IV—V.

нии утреннего луча, не нашедшего уже следов беды вчерашней. Ведь багряница — символ величия, блеска, царской власти. Пышность этого символа несколько противоречит образу *усталых, бледных* туч (даже если осмыслять их связь как метафорическую антитезу), тем более, что блеснувший из-за них луч утра уже нашел зло прикрытым багряницей. И самый образ — *прикрыть* багряницей — не уясняется таким толкованьем.

Другой путь понимания ведет к представлению о багрянице как о символе власти, прикрывшей зло водворением прежнего порядка:

Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд
. . . .
На службу шел.

Ср. у В. К. Кюхельбекера в стихотворении «Тень Рылеева»:

В ужасных тех стенах, где Иоанн,
В младенчестве лишенный багряницы,
Во мраке заточенья был заклан
Булатом ослепленного убийцы.[1]

Но и в том и в другом случае образ багряницы, которой было прикрыто зло, проходя через церковно-библейскую символику, сталкивался с евангельским образом Христа, осужденного на распятие, когда воины претории, раздевши его, надели на него багряницу и издевались над ним (Матф. XXVII, 27—31). Только в этой связи можно вполне понять смысл фразы *прикрыть зло багряницей*. И тогда носителем этой багряницы становится Петербург, который еще ранее назван «новою царицей».

«И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.

Повидимому, за образом Петербурга символически стоит в «петербургской повести» Россия.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Нет необходимости продолжать анализ символики самого «Медного всадника». Ясно и без того, что церковно-библейские образы и мифы у Пушкина получали разнообразное стилистическое применение. К религиозно-символическим ветвям их прививались побеги новых смыслов, новых значений. Семантическая структура церковнославянизмов становилась

[1] Полн. собр. соч. В. К. Кюхельбекера, М. 1908, 69.

многопланной, и экспрессия их окрашивалась в разные тона — в зависимости от той субъектной сферы, в которую вовлекался библейский символ.

§ 5. В тех случаях, когда церковнославянские образы, выпадая из своего библейского контекста, подвергаются литературно-символической транспозиции и облекают иной мир предметов и идей, особенно существенное значение в их смысловой структуре имеют степень, пределы их отклонения от первоначальной семантической среды. Острота и значительность таких символов определяются их «внутренними формами», смысловой перспективой «переноса», образного «сдвига». Семантический анализ этих передвижений и сближений далеких словесных рядов — задача специальной работы по идеологии и мифологии Пушкинского стиля. Здесь же уместно ограничиться указанием еще нескольких, наиболее ярких примеров лирической символизации церковно-библейских образов.

1) В стихотворении «Герой» (1830) — с церковнославянским эпиграфом: «что есть истина?» — *слава* символически представляется в образе огненного языка, сходящего на людей. Как известно, в христианской мифологии огненный язык — образ «святого духа».

Да, слава в прихотях вольна.
Как огненный язык, она
По избранным главам летает,
С одной сегодня исчезает
И на другой уже видна.
За новизной бежать смиренно
Народ бессмысленный привык;
Но нам уж то чело священно,
Над коим вспыхнул сей язык...

Интересно сопоставить с этими стихами Пушкина его замечание о сильной и необыкновенной передаче мысли, о «высшей смелости» изобретения: «Калдерон называет молнии огненными языками небес глаголющих земле» (IX, 44).

2) Библейский образ «скрижалей» стал в Пушкинском стиле с 20-х годов символом заветов и определений судеб или истории, а иногда также символом внутренней сущности культуры. Например, в наброске «Вещали книжники, тревожились цари» (1824):

Упали в прах и в кровь
Разбились ветхие скрижали,
Явился муж земных судеб.

В стихотворении: «Клеветникам России» (1831):

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали...

В стихотворении: «Бородинская годовщина» (1831):

Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых.

И этот образ «скрижалей», притянув к себе библейский контекст, дает Пушкину символические краски для изображения в лице пророка Моисея идеального поэта в стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один» (1830):

И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали? [1]

3) Для Пушкинского языка характерны приемы экспрессивной ассимиляции церковнославянских образов с тем словесным контекстом, который их в себя вбирает. Такова, например, субъектно-лирическая вариация, в сентиментальном духе, на тему евангельского блудного сына в стихотворении «Воспоминания в Царском селе» (1829). Здесь все евангельские краски живописно изменены, и церковно-библейский колорит закрыт лирической и риторической фразеологией, тоже выросшей на церковнославянской почве. [2]

Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой,
Так отрок библии [безумный] расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.

Или другой пример из стихотворения «Чем чаще празднует лицей» (1831):

Рок судил
И нам житейски испытанья
И смерти дух средь нас ходил,
И назначал свои закланья. [3]

---

[1] См. об этом стихотворении заметки Н. Ф. Бельчикова, Н. П. Кашина, мнение Ю. Н. Тынянова и др.

[2] Ср. в «Записках С. Н. Глинки» рассказ о том, как он, в бытность свою сержантом, был посажен в тюрьму за оскорбление офицера и, считая себя правым, написал графу Ангальту следующее письмо по-французски «в духе христианства»: «Блудный сын в порыве своеволия оставил родительский дом и на чужбине растратил все имущество свое. Но, веря нежности сердца отцовского, он возвратился к нему... И вы, ваше сиятельство, и вы, нежный отец кадет, прострите ко мне объятия отца евангельского; а я — устремлюсь в них с умилением евангельского сына» («Записки С. Н. Глинки», Спб. 1895, 105).

[3] Ср. также церковно-библейские образы в стихотворениях: «В часы забав иль праздной скуки» (1830), «Мадонна» (1830), «Отрок» (1830) и др.

Ср. у Д. В. Веневитинова:

И с пламенным мечом в руках
Промчится ангел истребленья.[1]

Таковы в общих чертах принципы стилистической обработки церковно-библейских образов в языке Пушкина.

6

Церковнославянская символика получает широкое распространение и торжественное, патетическое применение в лирике Пушкина с конца 20-х годов. Но особенно сложны, напряженны и разнообразны принципы ее семантической реорганизации в Пушкинской поэзии 30-х годов. Церковнославянская стихия двигается тогда по трем основным стилистическим руслам. Она образует главный фонд религиозной лирики. Она служит арсеналом форм гражданской риторики и лирической патетики. Из сферы церковнославянского языка берется лексический материал для «высоких» эпических картин и для стилизации «народной» поэзии. Необходимы иллюстрации.

В стиле религиозной лирики церковнославянская стихия получает прямое назначение. Характерными особенностями Пушкинского языка поздней поры являются, с одной стороны, свобода и открытость употребления церковнославянизмов, с другой — широта колебаний, большой размах семантических отклонений от средней нормы «литературности», стилистическая разнородность лексических масс, слитых в единство художественной композиции. Пушкин в аспекте современного ему литературного сознания стремится сочетать стилистические сферы, далеко отстоящие от средней нормы литературного выражения. Поэта привлекает преодоление стилистических трудностей в литературном утверждении и объединении разнородного языкового материала. Пользуясь «архаистическим» и церковно-культовыми выражениями и образами, Пушкин обогащает инвентарь средств общелитературного выражения и, сломив сопротивление материалов, ищет на путях старой письменности и церковного обихода новых структурных принципов для создания многообразия стиховых стилей.

Таковы, например, почти чистые, не «смешанные» формы церковнославянского языка, лишь синтаксически приспособленные к системе общелитературного выражения и фразеологически примиренные с нею в стихотворении «Отцы пустынники и жены непорочны» (1836). В сущности, вся лексика и фразеология этого стихотворения может быть признана церковнославянской и даже с яркой молитвенной окраской (например: «отцы пустынники и жены непорочны», «сердцем возлетать

[1] Два отрывка из неоконченной поэмы (1824). Собр. соч. Д. В. Веневитинова, Спб. 1913, 285.

во области заочны»,[1] «падшего крепит неведомою силой», «владыко дней моих», «дух праздности... любоначалия... и празднословия...», «Но, дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденья, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия...»). Если отделить церковнославянизмы, останется только семантический «клей» таких общелитературных слов и фраз, искусно слитых с церковнославянизмами: «чтоб укреплять его средь дольных *бурь и битв*», «*всех чаще мне она приходит на уста*», «дух праздности *унылой*», «*в сердце оживи*».[2]

Напротив, в таких стихотворениях, как «Странник» (1835) или «Как с древа сорвался предатель-ученик» (1836), все стилистические эффекты покоятся на семантическом столкновении и кружении слов и фраз, то относящихся к кругу церковнославянизмов, то идущих из области просторечия. Таковы, например, в стихотворении «Как с древа сорвался предатель ученик», перемешанные с церковнославянизмами («древо», «предатель-ученик», «диявол... к лицу его приник», «гортань геенны гладной», «прияли всемирного врага», «*лобзанием... прожег уста*, в предательскую ночь лобзавшие Христа» и др.; ср. «архаистические» формы: «*дхнул* жизнь в него»,[3] «с веселием на лике», «плéща») разговорно-бытовые выражения: «с древа *сорвался*» (ср. примеры в «Академическом словаре»: «сорвался багор с шеста; сорвалась собака с цепи»), «и *бросил* труп живой в гортань...», «Там бесы... *на рога* прияли *с хохотом* всемирного врага и *шумно понесли*...», «*насквозь прожег* уста».

В этом направлении предельную ступень по столкновению и совмещению стилистических крайностей занимает «Подражание Данту» (1832). «И дале мы пошли» (см. главу «О стилях национально-бытового просторечия»).[4]

Так Пушкин в последний период своего творчества стремится сочетать эти языковые крайности в сложное экспрессивно-стилистическое единство лирической композиции.

7

В поисках приемов лиро-эпического стиля Пушкин с середины 20-х годов вступает на путь национально-исторической стилиза-

---

[1] Ср. у кн. П. А. Вяземского в стихотворении «Молитвенные думы» (1821):

Чтоб духом возлетать в мир лучший, в мир надежд...

[2] Ср. также язык переложения в стихи книги «Юдифь»: «Когда владыка ассирийский» (1835).

[3] Ср. в «Анджело»:

И милость нежная твоими дхнет устами;

Ср. у П. А. Катенина в стихотворении «Ахилл и Омир»:

Но ты, божественный, дхнул гневом из могилы...

(Соч. и перев., I, 72)

[4] Мысль Ю. Н. Тынянова о «пародическом» умысле в совмещении этих крайностей ошибочна. См. «Архаисты и новаторы», 160.

ции, т. е. реставрации форм «исторической народности» и литературной канонизации форм народности «этнографической». К поэзии Пушкин идет через историю. Структура «национального языка» нуждается, согласно романтической концепции исторического процесса, в «историческом» и «народно-поэтическом» оправдании. В отличие от Карамзина Пушкин не столько современность переносил в прошлое, сколько через прошлое шире понимал и принимал современность. Само раздвижение пределов литературного языка в поэтической практике Пушкина было им оправдано социологически и осознано как историческая задача, стоящая перед «мещанами во дворянстве». Отсюда же для Пушкина, как следствие, вытекало и расширение сферы церковнославянского языка в системе современной литературной речи. На этой же почве развивалось своеобразное семантическое осложнение приемов применения церковнославянизмов в лиро-эпическом цикле стихотворений. Здесь намечаются три основных принципа употребления церковнославянизмов.

§ 1. При стилизации народно-поэтической речи церковнославянизмы, даже архаического типа, оказываются в непосредственном соседстве с символами устной поэзии, с формами просторечия и «простонародного» языка. Церковнославянизмы «демократизируются», получают народно-эпический отпечаток. Обнажается зависимость народно-поэтического творчества от церковной письменности. Например, в «Песнях западных славян» (1832):

Жид на жабу проливает воду.
Нарекает жабу Иваном
(Грех велик христианское имя
Нарещи такой поганой твари!)
Они жабу всю потом искололи,
И ее — ее ж кровью напоили

(Феодор и Елена)

Поднял он голову Елены,
Стал ее целовать *умиленно*,
И мертвые *уста* отворились,
Голова Елены *провещала:*
«Я невинна. Жид и старый Стамати
Черной жабой меня окормили...»

(Феодор и Елена)

Сыновья плакать при нем не смели;
Они только *очи* отирали.

(«Гайдук Хризич»)

Догоняет вновь его Георгий
И хватает за сивую косу.
«Воротись, *ради господа бога:*
Не введи ты меня в искушение».
Отпихнул старик его сердито...

(«Песня о Георгии Черном»)

Люто *стражцет* молода Павлиха
("Сестра и братья") [1]

§ 2. В лирике «гражданского», общественно-политического характера или в лирике памфлетного содержания (преимущественно связанной с историческим самоопределением авторского образа) Пушкин в 30-е годы сочетает церковнославянизмы с формами древне-русского письменного языка, — приказного или летописного.

Например, в стихотворении «Олегов щит» (1829) — древнерусcизмы:

Пришла славянская *дружина*
И развила *победы стяг*,
Тогда во славу *Руси ратной*,
Строптиву греку в стыд и страх
Ты пригвоздил свой *щит булатный*
На цареградских воротах

сливаются с церковнославянизмами:

Но *днесь*, когда мы вновь со славой
К Стамбулу грозно *притекли*...

и т. д. [2]

Еще сложнее смешение в стихотворении: «Моя родословная» (1830):

Мой предок Рача *мышцей бранной*
Святому Невскому служил...

---

[1] Ср. в балладе «Жених» (1825):

Что ж твой сон *гласит?*

Ср. в «Сказке о царе Салтане»:

И царевича венчают
Княжей шапкой, и *главой*
Возглашают над собой.
В тот же день стал княжить он
И *нарекся:* князь Гвидон.
Князь Гвидон тогда вскочил,
Громогласно возопил.

В «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях»:

Тяжелешенько вздохнула,
Восхищенья не снесла
И к обедне умерла.
...но она
Не *восстала ото* сна.
Сотворив обряд печальный,
Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой
Положили...
Дух твой примут небеса.

В «Сказке о золотом петушке»:

Возглашает воевода,
Вся столица
Содрогнулась...

(и т. п.)

[2] Ср. в эпилоге «Кавказского пленника»:

Ты днесь покинул саблю мести.

Смирив крамолы и коварство
И *ярость бранных* непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руки приложили,
Нас жаловал страдальца сын.

Здесь стилизация эпического языка в духе «Слова о полку Игореве» на церковнославянской основе смешивается с древнерусскими канцеляризмами, официальными формулами.

Ср. в «Родословной моего героя» (1833):

Мой Езерский
Происходил от тех вождей,
Чей в *древни веки* парус дерзкий
Поработил *брега морей.*
Одульф, его начальник рода,
Вельми *бе грозен воевода.*
При Ольге сын его Варлаф
(Гласит софийский хронограф)
Приял крещенье в Цареграде;

В стихотворении «Бородинская годовщина» (1831):

И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает *стяг кровавый...*
Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии...

§ 3. Архаизируется в 30-е годы и антологический стиль Пушкина. Между стихотворениями этого жанра начала 20-х и конца 20—30-х годов в языке — резкое различие. Оно определяется нарочитой архаизацией стиля, отвечавшей новым принципам Пушкинской стилистики, которая, проникнув в область национально-исторических корней русского литературного языка, отвергла ограничения условной «светской» литературности. Средством «архаизации» антологического стиля является широкое применение церковнославянизмов. Например, в стихотворении «Рифма» (1830):

Нимфа, *плод понесла* восторгов влюбленного бога...
... ее *приял*а сама Мнемозина.

В «Подражаниях древним» (1833):

Должно творить возлиянья, вещать благовещие речи,
Должно бессмертных молить, *да сподобят нас чистой душою*
Правду блюсти...

Из А. Шенье (1835):

Се — ярый мученик, в ночи скитаясь, воет...
Гнет, ломит *древеса, исторженные* пни
Высоко громоздит.[1]

---

[1] Ср. в эпилоге «Кавказского пленника»:

Но се — восток подъемлет вой!..

В «Полтаве»:

И се — равнину оглашая
Далече грянуло ура.

8

Реставрации церковнославянизмов в лиро-эпическом стиле Пушкина соответствует общая торжественная приподнятость, патетическая величавость Пушкинского лирического языка с конца 20-х годов.[1] Церковнославянизмы гуще замешаны в строй лирического изложения. Они более «высоки», более архаичны. Колебания стиля резче. Смешение разных форм речи — сложнее. Например:

В «Аквилоне» (1830):

Зачем ты, грозый аквилон,
Тростник болотный *долу* клонишь?[2]

В «Элегии» (1830):

Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море —
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья.

В «Ответе Анониму» (1830):

Иль пола кроткого стыдливый *херувим*...
Но счастие поэта
Меж ними не найдет сердечного привета,
Когда *боязненно безмолвствует* оно.

В стихотворении «В начале жизни» (1830):

И полные святыни *словеса*...
И *праздномыслить* было мне отрада

Ср. у Н. М. Языкова в стихотворении «Кудесник» (1827):

Он сладко, хитро *празднословит* и лжет.

Ср. у Вяземского в «Коляске»:

Как быть? дорожные грехи
Праздношатающейся музы.

В стихотворении «Перед гробницею святой» (1831):

... веры *глас*
Воззвал к святой твоей седине...

---

[1] Ср. в отрывке: «Сто лет минуло» (1828):

Крест веры, в небо возносящий
Свои объятия грозящи...
Ток Немена гостеприимной...
Стал прагом вечности для них;

и т. п.

[2] Ср.:

А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу (1828).

Тогда нас буря долу гнула.
(„Стамбул гяуры нынче славят“, 1830)

Но ср. также в набросках «Клеопатра» (1824):

Она задумалась — и долу
Поникла дивною главой.

Внемли ж и днесь наш верный *глас.*
Явись и *дланию* своей
Нам укажи в толпе вождей...

В стихотворении «И дале мы пошли» (1832):

А я: поведай мне: *в сей казни что* сокрыто?
Тут грешник жареный протяжно *возопил;*

и мн. др.[1]

В стихотворении «Красавица» (1834):

Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты

В стихотворении «Я памятник воздвиг себе» (1836):

И назовет меня всяк сущий в ней язык.

В наброске «Ты просвещением свой разум осветил» (1834):

Поникнул ты и *горько возрыдал,*
Как жид о Иерусалиме.

В стихотворении «Странник»:

Сказал мне юноша, *даль указуя перстом*
Я оком стал глядеть *болезненно отверстом.*
Держись сего ты света.
Пусть будет он тебе (единственная) мета,
Пока ты тесных *врат спасенья* не достиг.
Дабы скорей *узреть* — оставя те места
Спасенья верный путь и тесные врата...

Ср. в наброске «Когда владыка ассирийский» (1835):

Стеной, как поясом узорным,
Перепоясалась высота.
Израиль *выи не склонил;*

и др.

---

[1] Ср. также архаизацию драматического языка, например в «Моцарте и Сальери», проявляющуюся в резких колебаниях стилей (от церковнославянизмов и архаизмов — к просторечию):

Нет! Никогда я зависти не знал,
О никогда! — *ниже,* когда Пиччини
Пленить умел слух диких парижан,
Ниже, когда услышал в первый раз
Я Ифигении начальны звуки...

(Сальери)

Как *некий херувим,*
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, *возмутив* бескрылое желанье
В нас, *чадах праха,* после улететь

(Сальери)

Ср. в «Борисе Годунове»:

Хвала и честь тебе, свободы чадо!..

(Самозванец)

и т. п.

Ср. также «архаический» налет на повествовательном языке «Анджело» (1833).

9

Количественный рост церковнославянских элементов в языке Пушкина, архаистическое расширение их сферы, оживление умирающих категорий их и усложнение стилистических приемов их употребления существенно изменяют, но не ломают, не разрушают основную тенденцию Пушкинского языка, определившуюся в самом начале 20-х годов — тенденцию к взаимодействию и смешению «славянизмов» и форм «среднего» литературного стиля, форм разговорно-бытового просторечия. Именно в этом процессе взаимного приспособления, встречной ассимиляции церковнославянизмов и разговорных выражений устанавливаются нормы общей, «нейтральной» системы литературно-общественного выражения. Основной апперцепирующей массой в явлениях «смешения», взаимопроникновения русских и церковнославянских форм для этого литературно-бытового стиля — повествовательного и «метафизического», т. е. «умозрительного», отвлеченного и публицистического — была стихия национального просторечия. Когда Пушкин в своем творчестве открыл пред этой стихией шлюзы «литературности», то резко обнаружились экспрессивно-стилистические различия между двумя основными потоками речи — книжным и разговорно-бытовым — в их разных жанрах и стилях. Ища принципов их сочетания в сложную систему разных стилистических категорий, Пушкин отверг узко-классовые идеологические и экспрессивные нормы салонно-светской речи карамзинистов, а выдвинул принцип раздвижения социальных пределов языка «хорошего общества» и, следовательно, принцип его «демократизации» и вместе с тем «генерализации». Отсюда — резкое изменение самих приемов связи и объединения книжно-славянских элементов с русскими, несмотря на сохранение основного Карамзинского правила — ориентироваться в семантических перегруппировках на структуру разговорных стилей. Отсюда же — социально-диалектическое расширение самой лексической среды, внутри которой происходило это смешение, распространение и размножение самих лексических и фразеологических рядов (просторечных, «простонародных» и книжно-славянских), которые подвергались структурным соединениям. Современная Пушкину критика подметила этот принцип Пушкинского словоупотребления, не пытаясь индивидуализировать его.

«Атеней» в рецензии на четвертую и пятую главы «Евгения Онегина» (1828, I, № 4) осуждает «смешение» слов языка книжного с простонародным, без всякого внимания к их значению, составление фигур «без соображения с духом языка и с свойствами самих предметов». В качестве яркой иллюстрации указывалась *«дева в избушке»* («лучинка, друг ночей *зимних*, *трещит* перед девою, *прядущей в избушке*!..»): «скажи это кто-

нибудь другой, а не Пушкин, досталось бы ему от наших должностных аристархов». А в стихах:

Зима!.. крестьянин *торжествуя*
На *дровнях* обновляет путь,

«в первый раз, я думаю, — пишет «Атеней», — дровни в завидном соседстве с торжеством».

Ср.:

Упала в снег, медведь проворно
Ее п о д ъ е м л е т и несет.

«Галатея» (1830, XIII, № 14), рецензируя седьмую главу «Онегина», к числу недостатков стихотворного языка Пушкина относит то, что он «неудачно соединяет слова простонародные с славянскими; часто употребляет неточные выражения, неправильные метафоры». Надеждин («Вестн. Европы» 1830, № 7) указывает конкретные примеры такого соединения церковнославянских и просторечных выражений; демонстрирует неожиданные переходы от одного строя речи к другому в седьмой главе «Евгения Онегина», например, это описание зимы:

Вот север, тучи нагоняя;

и т. п.

«Кажется, право читаешь оду Державина... И посмотрите-ка, на что, наконец, сведено это пышное описание:

Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы!

Вот и запел своим натуральным голосом».

Можно в этом процессе слияния русского и церковнославянского языков у Пушкина наметить несколько явлений.

1. *Принцип композиционного уравнения фраз разной стилистической среды.* Церковнославянские выражения, примыкая к литературно-«нейтральным» разговорным или просторечным фразам и идиомам, сочетаются с ними в единство среднего стиля. Образуется своеобразная стилистическая «равнодействующая» двух величин. Например:

Исчез *властитель осужденный,*
Могучий *баловень побед.*
(«Наполеон», 1821)

Опасною прельщенный суетой,
Терял я жизнь и чувства и покой;
Но *угорел в чаду большого света*
И отдохнуть убрался я домой.[1]
(«Кн. А. М. Горчакову», 1819)

---

[1] Ср. «Слов. Акад. Росс.», VI, 849: «Убираться... в просторечии — поспешно уходить, отходить во избежание чего-нибудь неприятного».

Давно ее воображенье
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой [1]
(«Евгений Онегин», 3, VII)

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя *накличет*,
(просторечие!)

Он из его *державных прав*
Одну лишь *милость ограничит*.
(книжно-славянизмы)
(Стансы, 1828)

2. *Принцип фразового объединения, совмещения, «совключения» церковнославянских и литературно-светских или разговорно-бытовых слов.* Возникает своеобразная стилистическая волнистость смысловой поверхности. Полной ассимиляции и нейтрализаций разнородных языковых элементов не происходит. Создается новая синтетическая структура художественной фразеологии. С этим явлением связана экспрессивная многоцветность речи, однако не нарушающая резко норм «нейтральной» (т. е. претендующей на общность) системы литературного выражения. Нередко на этой почве образуется «оксюморность» смыслового сочетания. [2]

Вотще ли был он средь пиров
Неосторожен и здоров?
(«Евгений Онегин», 1, XXXI)

Ср.:

Хоть толку мало вообще
Он в письмах видел не *вотще*...
(Ib., 8, XXXII)

В том совести, в том смысла нет,
На всех различные *вериги*
(Ib., 1, XLIV)

Ср.:

Страна героев и богов
Расторгла рабские вериги
(«Восстань, о Греция...», 1830).

Условий света *свергнув бремя*,
Как он, отстав *от суеты*,
С ним подружился я в то время.
(«Евгений Онегин», 1, XLV)

---

[1] Ср. в «Братьях разбойниках»:

Душа рвалась к лесам и к воле,
Алкала воздуха полей.

В «Евгении Онегине»:

Мы алчем жизнь узнать заране
И узнаем ее в романе...

и мн. др.

[2] Более дробный семантический анализ сюда относящихся форм — задача, связанная с исследованием стилистической структуры Пушкинского слова, См. об этом во второй части моей работы: «Стиль Пушкина».

Ср. у Вяземского в «Коляске»:

Люблю, готов сознаться в том,
Ярмо привычек свергнув с выи,
Кидаться в новые стихии.
Для призраков закрыл я *вежды*
(«Евгений Онегин», 2, XXXIX)

Последний бедный *лепт* бывало,
Давал я, помните ль, друзья?
(Ib., 4, LV)

Ср. в стихотворении «Н. С. Мордвинову» (1825):

Вдовицы бедный *лепт* и дань сибирских руд
Равно священны пред тобою. [1]

Из «Евгения Онегина»:

Стократ блажен, кто предан вере,
Кто *хладный ум* угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на постеле
(4, LI)

И странным с Ольгой поведеньем
До глубины души своей
Она проникнута...
(6, III)

Ср. своеобразную реализацию церковнославянского выражения:

И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши.
(4, XXX)

Старинной глупости мы *праведно* стыдимся
(«Послание цензору», 1822)

Мной овладев, *мне разум омрачив*,
Уверена в любви моей несчастной,

---

[1] Ср. у Державина:

Последний лепт отдаст вдовице...
(II, 226, 20)

... лепт чувствий бренный...
(II, 383)

Два лепта покрывают очи...
(„Водопад", 473, 41)

Но ср. у кн. П. А. Вяземского в стихотворении «Негодование»:

Ответствуйте, где *дань* отчаянной вдовы?
Где подать сироты голодной?

В стихотворении Е. А. Кологривовой:

... Берет с невесты в юном цвете,
И лепту бедную с вдовы.

Не видишь ты, когда в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой...

(«Простишь ли мне ревнивые мечты», 1828)

Вниманье дружное *преклоним*
Ко звону рюмок и стихов,
И скуку зимних вечеров
Вином и песнями прогоним.

(«К Языкову», 1824)

И муз возвышенный пророк,
Наш Дельвиг все для нас оставит.

(Ib.)

Ср. у кн. П. А. Вяземского в стихотворении «К Е. С. Огаревой»:

Почувствовавши муз святую благодать...

Из VII главы «Евгения Онегина»:

Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без драки
Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню *под свой покров.*

(XVI)

Старушка очень полюбила
Совет *разумной и благой* [1]

(XXVII)

Улыбка, взор ее очей
Дороже *злата и честей.*
Дороже славы *разногласной*

(«А. Г. Родзянке», 1825) [2]

Исполнится завет моих мечтаний

(«19 октября», 1825)

Вдруг *лоно* волн
Измял с налету вихорь шумный... [3]

(«Арион», 1827)

---

[1] Ср. у П. А. Вяземского в стихотворении «Д. В. Давыдову»:

И окаянного Парни...
Уж не заставит в оны дни
Ожить под русским переводом...

[2] Ср. в наброске 1832 г.:

Я ехал в дальние края,
Искал не злата, не честей.

Ср. у Батюшкова в «Моих пенатах».

[3] Ср. в «Евгении Онегине»:

На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед (4, XLII)

и мн. др.

Их (альбомов) ослепительная смесь
Аспазий наших благородных
Провозглашает только спесь
(«И. В. Сленину», 1828) [1]

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою *обитель*,
Чтоб *суеверно* им дивился посетитель
(«Мадонна», 1830).

3. *Принцип иронического сцепления резких семантических «неравностей»*. Образуется экспрессивно-смысловой скачок, вызывающий впечатление нарочитости, фигурности (если можно так выразиться) сочетания. Церковнославянизмы отрываются от своих предметных корней и перебрасываются в низменную, бытовую обстановку. Нередко это — прием риторического напряжения речи. Например:

О, вы, которые, *восчувствовав* отвагу,
Хватаете перо, мараете бумагу.
(«Французских рифмачей суровый судия», 1833)

А розги ум твой *возбуждали?*
(«Сцена из Фауста», 1825)

Во *градах* ваших с улиц пыльных
Сметают сор — полезный труд. —
Но, позабыв свое *служенье*,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
(«Чернь», 1828)

И заварив пиры да балы,
Восславим царствие чумы
(«Пир во время чумы»)

Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник Дмитрий *Ларин*
Господний раб и бригадир
Под камнем сим вкушает мир.
(«Евгений Онегин», 2, XXXVI)

И вот сосед *велеречивый*
Привез торжественно ответ
(Ib., 6, XII)

с явным намеком на Буянова:

«Ни с места» — продолжал сосед велеречивый...
(В. Л. Пушкин, «Опасный сосед»)

---

[1] Ср. в «Евгении Онегине»:

Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь.
(5, V)

Ср. случай иронического «переноса» церковных слов:

Энциклопедии скептический причет[1]
(«К вельможе», 1830)

Ср.:

Он с нами сетовал, когда святой отец,
Омара да Гали *прияв за образец,*
В угодность господу, себе во утешение
Усердно задушить старался просвещение.
(«Второе послание к цензору», 1824)

Со всею *братией гонимый совокупно,*
Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно;
Потешил дерзости бранчивую свербежь,
Но извини меня: мне было невтерпеж.
(Там же)

4. Ироническое обобщение *церковного или библейского символа и перифрастическое применение его к бытовым явлениям,* обычно сопровождающееся стилистической деформацией приемов синтаксического или фразового выражения.

Например:

О люди, все похожи вы
На прародительницу Эву...
Вас непрестанной *змий* зовет
К себе, *к таинственному древу:*
Запретный плод вам подавай,
А без того вам рай не рай.
(«Евгений Онегин», 8, XXVII)

...И жаль зимы старухи
И проводив ее блинами и вином,
Поминки ей *творим* мороженым и льдом
(«Осень», 1833)

Ср. у Н. М. Языкова в стихотворении «К Пельцеру» (1826):

Последний грош ребром поставлю,
Упьюсь во имя прошлых дней
И поэтически отправлю
Поминки юности моей.

---

[1] В «Словаре Акад. Росс.», V, 475, под словом *причет* читается: «Церковно-служители вообще, как то: дьячки, пономари и пр.». Ср. у Д. В. Давыдова в стихотворении «Бурцеву»:

Собирайся в круговую
Православный весь причёт!
Подавай лахань златую,
Где веселие живет.

У кн. П. А. Вяземского:

И Вакх под вечерок
С токаем престарелым
И причетом веселым...
(„Батюшкову", 1815)

5. *Переносное употребление церковнославянских слов, совлекающее с них церковно-бытовой или религиозный колорит.* Формы образно-литературного «обмирщения» церковнославянизмов многообразны, но традиционны. Для Пушкинского языка характерны свобода и смелость выбора церковнославянских выражений, подвергающихся трансформации. Например:

На берег выброшен грозою
Я гимны прежние пою
И *ризу* влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

(«Арион», 1827)

Под ризой бурь, с волнами споря...
Когда ж начну я вольный бег?

(«Евгений Онегин», 1, IV)

Ср.:

Быть может, с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне будет мир земной

(«Люблю ваш сумрак», 1822)

Ср. у Батюшкова:

Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье...

(«Надежда»)

Ногой надежною ступаю
И, с ризы странника свергая
прах и тлен,
В мир лучший духом возлетаю.

(«К другу»)[1]

Но ср. иные, оригинальные, формы словоупотребления:

Где древних городов под пеплом *дремлют мощи*

(«Поедем, я готов», 1829)

Ср. у Вяземского в стихотворении «Волнение»:

Ковчег нетленный лучших дней.

Ср. также:

Как *утеснительного сана*
Приемы скоро приняла

(«Евгений Онегин», 8, XXVIII)

---

[1] Ср. у кн. П. А. Вяземского в стихотворении «Вечер на Волге»:

Здесь темный ряд лесов под ризою туманов...

В стихотворении «Утро на Волге»:

Ночною ризою земля еще одета.

В стихотворении «Метель»:

На землю облака сошли,
На день насунув ночи ризу.

Ср.:

Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.
(«Красавица», 1833)[1]

6. Своеобразные *приемы метафорического развития и сцепления фраз, в основе которых лежит один церковно-книжный образ.* Предметное содержание церковнославянизма реализуется и оправдывается единством и целостностью развернутого образа.

Например:

Увы! на жизненных браздах,
Мгновенной жатвой, поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут
(«Евгений Онегин», 2, XXXVIII)

... *живей горят* во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты *кипят;* в уме, *подавленном тоской,*
Теснится тяжких дум избыток.
(«Воспоминание», 1828)

Ср.:

В *тоске сердечных угрызений,*
Рукою *стиснув* пистолет,
Глядит на Ленского Евгений.
(«Евгений Онегин», 6, XXXV)

и др. под.

7. *Принцип разрушения церковнославянской фразеологии, раздробления ее на составные лексемы и употребление лексических осколков в новых, индивидуализированных,* значениях. Оторвавшаяся часть, вбирая в себя новые значения, отражает в то же время некоторые семантические свойства целого:

Душе противны вы, как *гробы*
(«Поэт и чернь»)

Ср. евангельское выражение: «Подобитеся гробом повапленным» (Матф., 23, 27).

Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
(«Евгений Онегин», 3, XXII,
письмо Татьяны)

Ср.:

Кто ты: мой ангел ли хранитель
Или коварный искуситель?..

---

[1] Ср.: «Он грязь елеем царским напоит» («Скупой рыцарь»).

К тому же эффекту приводит процесс контаминации церковно-книжной и русско-французской фразеологии; например:

Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно?
(«Евгений Онегин», 6, XXVIII)

8. *Принцип употребления церковнославянизмов в просторечном или простонародном значении.*

Например:

Расчет и дерзкий и плохой,
И в нем не будет *благодати.*
Пропала, видно, цель моя.
Что делать? дал я промах важный
(Речь Мазепы в «Полтаве»)

Ср.:

Нет ни в чем вам благодати;
С счастием у вас разлад...
(1822)

Не предаю себя проклятью,
Когда я знаю, почему
Вас окрестили благодатью!..
Все это чрезвычайно мило,
Но пагуба не благодать...
(«К имениннице», 1825)

Вмиг аминь лихой забаве
(«Делибаш», 1830)

Ср.:

Когда бывало в старину
Являлся дух иль привиденье,
То прогоняло сатану
Простое это изреченье:
Аминь, аминь, рассыпься!
И сердцу полному мечтою,
«Аминь, аминь, рассыпься!» говорю
(«Е. Н. Ушаковой», 1828)

Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих *добровольный крест*).
(«Евгений Онегин», 8, XIII)

9. *Принцип каламбурно-иронического переосмысления церковнославянских слов и фраз посредством «народной этимологии».* Подвергаясь этимологизации или каламбурной интерпретации на основе значений соответствующих морфем и слов бытовой речи, церковнославянизмы наполняются новым конкретным содержанием.

В избе холодной
Высокопарный, но голодный

Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит апетит
(«Евгений Онегин», 7, XXXIV)[1]

Но в наши *беспокойны* годы
Покойникам покой нет
(«Череп», 1827)

Ср.:

И Николев, поэт покойный,
И беспокойный граф Хвостов
(«Христос воскрес, питомец Феба», 1816)

И Страсбурга пирог *нетленный*
(«Евгений Онегин», 1, XVI)

И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника
(«Евгений Онегин» 2, VIII)[2]

10. Одним из характерных для Пушкинского стиля принципов переосмысления церковнославянизмов был *прием отожествления, слияния их, с соответствующими русскими «омонимами»*. Процесс национализации церковнославянизмов осуществлялся посредством морфологической и семантической ассимиляции их с «двойниками» из сферы общелитературной лексики. В сущности, эта форма освоения церковнославянизмов национально-литературной стихией больше всего противоречила заветам и принципам «славянофилов», которые, напротив, просторечие приспособляли к мифологии и идеологии церковнославянского языка.

Для освещения этой особенности Пушкинского языка интересен такой пример из «Евгения Онегина» (7, LII):

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве,
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.[3]

Выражение: «прелестная звезда» в церковнославянском языке означало планету или метеор. А. С. Шишков писал в «Рассу-

---

[1] Ср. в «Путешествии Онегина»:

Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья;

и др. под.

[2] Может быть к этой же категории следует отнести такие выражения как *«разыскательный* лорнет» и т. п. Но здесь сказывалось и французское влияние.

[3] Принято видеть в этих стихах отражание таких стихов из «Тавриды" Боброва:

Все звезды в севере блестящи,
Все дщери севера прекрасны;
Но ты одна сред них луна —

И даже будто бы такого места из «Натальи, боярской дочери» Карамзина: «Много было красавиц в Москве белокаменной... но никакая красавица не могла сравняться с Натальею — Наталья была всех прелестней».

ждении о старом и новом слоге»: «*Прелестными звездами* называются те воздушные огни, которые, доколе сияние их продолжается, кажутся нам быть ниспадающими звездами, кои потом исчезают...». Ср. «Послание Иуды», гл. 1, где нечестивые люди сравниваются с «звездами прелестными, которыми блюдется мрак тьмы на веки» (13). «В противомыслие сему под именем непрелестных звезд разумеются настоящие, не обманчивые звезды». Так в «Патерике» «преподобные отцы» приравниваются к звездам непрелестным» («Рассуждение», 278). В «Словаре Акад. Росс.» (1809, II) сказано: «Звезда прелестная. То же, что звезда блудящая», планета (829).

Пушкин, пользуясь этим термином, каламбурно играет двойственностью его возможных осмыслений, связью эпитета «прелестный» со словом «красавица» и, следовательно, возникающим пониманием выражения «прелестная звезда» в значении: «прекрасная звезда» (между тем как первоначально *прелестный* здесь значило: «обманчивый, коварный, не настоящий»). Ср. то же объяснение термина «звезда прелестная» в «Общем церковно-славяно-российском словаре» П. Соколова (1834, I, 940)— при таком определении значения слова *прелестный*: «пленительный, привлекательный красотой, пригожеством» (II, 780). Ср. более примитивный пример слияния омонимов в «Руслане и Людмиле»:

Там русский дух... там Русью пахнет.

11. Очень остро и тонко применяется Пушкиным «Шишковский» *принцип включения в русские лексемы церковнославянских значений.* Обычно этот процесс также предполагает общность живых этимологических связей и отношений между руссизмами и церковнославянизмами. Но здесь церковнославянская семантика вливается в русскую лексику. Например, просторечный глагол *зевать* находится в живом взаимодействии с церковно-книжным словом *зев*. Ср. употребление слова *зев* у Ломоносова:

Там мрак божественному гневу
Подвергнул грады и полки
На жертву алчной смерти зеву
(«Ода на прибытие Елизаветы Петровны»)

У Державина:

Бездны разверзают зевы,
Бог преступников казнит
(«Целен. Саула», 223)

У Жуковского:

И смерть отвсюду им открыт
Пред ними зев пучины жадной...
(«Уллин и его дочь»)

Но ср. у Пушкина в «Осени» (1833) сближение слов «зев» и «зеванье»:

> На смерть осуждена
> Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
> Улыбка на устах увянувших видна;
> Могильной пропасти она *не слышит зева.*

Поэтому Пушкин семантически сливает глагол *зевать* с церковнославянским *зиять*.

В «Фаусте»:

> И всяк зевает да живет,
> И всех вас гроб, зевая, ждет.
> Зевай и ты.

В стихотворении: «Когда за городом, задумчив, я брожу»:

> Могилы склизкие, которы также тут,
> Зеваючи жильцов к себе на утро ждут.

Ср. у епископа Порфирия в «Книге бытия моего»: «Может быть, он просто зевал на нас, как зевает гроб, ожидая своего жильца». [1]

Ср. также совмещение церковно-славянских и русских значений в слове *«обольстительный»*:

> И тем ее вернее губим
> Средь обольстительных сетей...
> («Евгений Онегин», 4, VII)

и др.

12. С принципом лексического скрещения связан *прием морфологического уравнения русских и церковнославянских лексем*, вернее — прием приспособления церковнославянизмов к просторечным формам словообразования.

Например, церковнославянское слово *обуянный* отожествляется с «простонародным» *обуялый*.

> Как *обуянный* силой черной...
> («Медный всадник»)
>
> Спасать и страхом *обуялый* [2]
> И дома тонущий народ.
> (Там же)

---

[1] Ср. «Словарь русского языка», сост. 2 отд. имп. Акад. наук, II, 2947.

[2] Ср. две конструкции при глаголе *обуять* в языке Державина:

> Коль самолюбья лесть
> Не обуяла б ум надменный...
> („Вельможа", 628, 8)
>
> Европа, злобой обуянна...
> („Флот", 691, 3)
>
> Как бы волшебством обуяв
> („Кол.", 528, 3)
>
> Гордыней обуян...
> (Про Наполеона II, 157, 3)

и др.

Ср. напротив, образования на церковнославянской основе, например:

Что благосклонствуешь ты музам в тишине
(«К вельможе», 1830)

Ср. у М. Н. Муравьева:

И любовничьим обманам
Благосклонствует сама.
(«Богиня Невы», 1, 36)

Самостоянье человека (1831)

13. Особенно значительна и разнообразна была роль французского языка в переосмыслении и литературной ассимиляции церковнославянизмов. Морфологические категории церковнославянского языка определяли структуру неологизмов, возникавших для перевода французских понятий.[1] Церковнославянские лексемы приспособлялись к выражению значений французских слов.[2] Церковнославянизмы — под влиянием французского языка группировались в новые фразеологические серии. Наконец, сочетаясь с французскими фразами, церковнославянизмы составляли новые формы композиционных объединений, свободных от церковно-книжной экспрессии (см. подробнее об этом в главе VII).

14. Но едва ли не самым острым и не самым действенным средством структурного объединения церковнославянизмов с другими стилями речи был *принцип субъектно-экспрессивного варьирования повествовательной системы.* Повествование не двигалось по предначертанным путям средней литературности, а включало в себя разные формы социально-стилистического выражения, которые воспринимались как «цитаты», как «чужие» оценки и идиомы, применяемые автором для воспроизведения действительности в ее разноречивых отражениях и отголосках. Авторский тон скреплял эти характеристические фразы и слова,

---

[1] Ср., например, гражданственность — civilisation:

Пружины смелые гражданственности новой...
(„К вельможе“, 1830)

[2] Ср. например «*пронзительные* лобзанья» (временная замена «язвительных лобзаний») в «Кавказском пленнике»; ср. в наброске: «Как счастлив я, когда могу покинуть» (1826):

... но сколь
Пронзительно сих влажных синих уст
Прохладное лобзанье без дыханья.

Ср. в «Евгении Онегине»:

Ее пронзительные взоры,
Улыбка, голос, разговоры,
Все было в ней отравлено,
Изменой злой напоено.

сдвинутые из разных стилей, и облекал их пестрым покровом разных экспрессивных оценок повествователя. Например:

Когда не видишь в них *безумного разврата,*
Престолов, алтарей и нравов супостата,
То, славы автору желая от души,
Махни, мой друг, рукой и смело подпиши.
(«Второе послание к цензору», 1824)

Народ
Зрит *божий гнев и казни ждет.*
Увы! все гибнет: кров и пища...
(«Медный Всадник»)

Поминутно мертвых носят,
И стенания живых
Боязливо бога просят
Упокоить души их
(«Пир во время чумы», Песня Мери)

И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он *приял венец*
(«Евгений Онегин», 2, XXXVI)

После вдовушка моя
Подумала, что два, три дня — не доле
Жить можно без кухарки; что нельзя
Предать свою трапезу божьей воле.
(«Домик в Коломне»)

и др.

Эта система приемов смешения, синтетически сочетающая разные социально-языковые категории в структурное единство литературной речи, указывает на сложные отношения Пушкинского творчества к «славянофильской» и европейской традициям. Отслоения Карамзинской практики, изменившей свои формы в языке Батюшкова и Жуковского, здесь органически сочетались, правда, подвергшись стилистической дифференциации, с элементами славянофильской церковнокнижности и археологической народности. В языке Пушкина можно найти отголоски и той торжественно-декламационной или возвышенно-размашистой, богатой экспрессивными нюансами и контрастами манеры смешения, которую культивировал Н. М. Языков. [1]

[1] Ср., с одной стороны, язык таких стихотворений, как «Муза» (1823 особенно последнее четверостишие), «Гений» и др. под. (ср. статью Гоголя «О лиризме наших поэтов»), с другой стороны — такие слова и фразообразования, а также фразосочетания:

Быть может, эти небеса
Не целый день *проторжествуют...*
(„Катенька Мойер")

На ваши строки посмотрю
И молвлю: *«господи помилуй!»*
И тихо книгу затворю
(„Прощание с элегиями")

Но в целом Пушкинская система синтеза индивидуальна и оригинальна многообразием и противоречивой полнотой средств выражения.

10

В языке прозаического повествования у Пушкина наблюдается большая часть тех же приемов смешения и стилистического преобразования церковнославянизмов, что и в стихах. Достаточно ограничиться несколькими иллюстрациями: «беседа состояла большею частью в икоте и *воздыханиях*» («Выстрел»); «хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его *сделалось* общею» («Выстрел»); [1] «память его казалась *священною* для Маши» («Метель»); «с любопытством ожидали героя, *долженствовавшего*, наконец, *восторжествовать* над печальной верностью этой девственной Артемизы» («Метель»); «*положить* между ними *непреодолимую преграду*» (слова Бурмина, «Метель»); «кто не почитает их *извергами человеческого* рода?» («Станционный смотритель»). Характерен каламбур: «Что такое станционный смотритель»? «Сущий *мученик четырнадцатого* класса, *огра-*

Она улыбкой награждала
Благовоспитанный мой бред.
(„Воспоминание")

О вспомни вольного собрата
И важной *дланью* дипломата
Моих стихов не изорви...
(„Н. Д. Киселеву")

Десницы высокой
И ловок и меток размах...
(„Олег")

Сама и водку нам и *брашна* подавала
(„К няне А. С. Пушкина")

Мы кистями винограда
Разукрашаем *жизни крест*...
(„К. В. Ю.")

Возвеселюся, как *Сион*,
И обниму тебя, как брата
(„К Вульфу")

Что слава? *Суета сует*,
(„Графу Д. И. Хвостову")

Иль кошелек хитросплетенный
(Ib.)

и мн. др. под.

[1] Повидимому, глагол *соделаться* был принят Карамзинской традицией. Ср., например, в романе «Любовники, сосланные в Сибирь на заточение...» (М. 1809, I): «все сие соделывало страну сию удобною для чистосердечного раскаяния», и т. п. Но ср. в «Благонамеренном» (1826, ч. XXXIII): «Встречаются также... слова, употребительные только в сочинениях возвышенного рода или в канцелярском слоге, напр., *соделать* несчастною...» (177).

жденный своим чином *токмо* от побоев» (там же). Ср. еще примеры из «Станционного смотрителя»: «сердце наше *исполнится* искренним *состраданием*». При описании картинок о блудном сыне фразеологическое смешение, мотивированное самим характером живописного изображения, особенно ярко; оно отражает легкую иронию повествователя: «Промотавшийся юноша, в рубище и в трехугольной шляпе, пасет свиней и *разделяет с ними трапезу*...»; «В перспективе повар убивает *упитанного тельца*, и старший сын *вопрошает* слуг о причине таковой радости».

Ср. также: «Я надеялся, что пунш *разрешит* язык моего старого знакомца»; в речи смотрителя: «приведу я домой *заблудшую овечку* мою»; «шел он по Литейной, *отслужив молебен у всех скорбящих*».

В «Барышне крестьянке»: «мысль о *неразрывных узах* довольно часто мелькала в их уме»; «сие да будет сказано не в суд и не в осуждение» и мн. др. под.

Но запрет перифрастических оборотов, бедность метафор, непосредственная предметно-смысловая оправданность словоупотребления, прямолинейность «вещественного отношения» лексем и фраз, [1] отличия в самом строе прозаической фразеологии и символики ограничивают Пушкинскую систему «смешения» церковнославянизмов и литературно-бытовых «руссизмов» в области повествовательной прозы. Особенную роль начинают играть в 30-х годах принцип субъектно-экспрессивного варьированья повествовательной ткани и принцип культурно-бытового «соответствия» лексических рядов.

Для Пушкина литературный язык был не только сферой творческого раскрытия социальной действительности, социальной мифологии и социального жизнепонимания, но и сферой творческого выражения социальных суъбектов в их оценках, в их индивидуально-характеристических различиях. И к этой области Пушкин применяет те же принципы историко-бытового соответствия и символического многообразия, что и к области предметных форм. Ведь субъектные лики, социальные характеры — это мир «предметов» sui generis. И этот мир был почти не исследован до Пушкина в дворянской литературе, не воспроизведен всесторонне в формах литературного слова. Напротив, его социально-языковое разнообразие было скрыто под неподвижной маской чувствительного автора Карамзинской фабрикации. Для характеристики глубины и силы разрыва между Пушкинским языком и Карамзинской традицией в этом отношении следует присмотреться хотя бы к стилю «Дубровского».

---

[1] Ср. в «Современнике» 1836, № 2: «Роскошь красок, фигур, сравнений, прилагательных — все это легче дается, нежели положительная мысль, простое чувство, голые существительные, которые должно одеть и украсить верностью и свежестью выражения» (279).

В «Дубровском» стиль повествования вбирает в себя социально-характеристические формы языка эпохи, языка официальных документов, бытовых писем. Ткань авторского повествования делается стилистически пестрой, разнородной. В противовес Карамзинскому стилю, нивеллировавшему социально-исторические различия языка и растворявшему в формах литературного сентиментализма «дух» далеких эпох, Пушкинское историческое повествование движется в сфере тех норм речи, мысли и того социального уклада, которые были свойственны изображаемой среде и эпохе. Речь автора сразу по своему лексическому и синтаксическому строю как бы придвигается к той социальной действительности, которая выбрана объектом воспроизведения. Принцип имманентного понимания действительности, опирающийся на созерцание социально-бытового уклада изображаемой среды, ее вкусов, оценок и обозначений, ее социально-языковых расслоений, ведет к усложнению повествовательного стиля, к исторической стилизации авторского рассказа. Так происходит постепенное разрушение предписанных автору Карамзинской традицией норм исторического повествования. Для Пушкина вопрос не сводится только к лексическим «заимствованиям», к археологической и этнографической терминологии, которою уснащали повествование русские продолжатели Вальтер-скоттовской традиции, нередко присоединявшие к своим романам словарь старинных и областных слов (ср., например, «Иван Мазепа», исторический роман, взятый из народных преданий, Соч. Петра Голоты, М. 1832). Стиль «Дубровского», погружаясь в смысловой контекст изображаемой действительности, проникается ее характеристическими формами и тем самым становится более свободным от стеснений Карамзинской литературной манеры. Пушкин в авторском комментарии к письму мелкопоместного дворянина подчеркивает отличия письменного светского языка своих героев (хотя действие повести происходило только «несколько лет тому назад») от «нынешних понятий об этикете»: «По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирила Петровича не странным слогом и расположением, но только своею сущностью». Следуя «стилю эпохи», структура повествования сближается с мемуарными записями дворянина-современника: авторская речь переполняется лексикой, фразеологией и синтаксическими навыками непритязательного и точного летописца. Она обильна и церковнославянизмами, и канцеляризмами, и формами простонародного языка.

Но еще важнее в структуре исторического стиля роль «непрямой» речи. В плоскость авторского повествования транспонируются (без нарушения социально-бытовой характерности) мысли и слова персонажей. Автор не стоит неподвижно над миром своих героев, а представляет их имманентно, в контексте их

собственного культурно-бытового уклада жизни, пользуясь их же формами самоопределения и отношения к действительности. Так, излагая содержание ответа Дубровского на судебный запрос о правах владения поместьем, автор в непрямую речь свою вмещает как бы цитаты из «отношения» Дубровского. Сначала идет объективный рассказ о событии: «Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что *сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства...*». Уже в последних строках явственно звучат ноты официальной бумаги, выражения которой внедряются в авторскую передачу ее текста. Далее авторский стиль еще ближе подходит к фразеологии «отношения», оправдывая примененный к ней эпитет — «довольно грубый»: «что Троекурову до *него дела никакого нет, и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество...*».

Тот же прием, например, применяется и в рассказе о решении суда. В авторский стиль вливаются формулы секретарской речи: «Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, *если паче чаяния чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законами время просить по аппеляции куда следует*».

Так врываются в повествовательный стиль церковнославянизмы с характеристической канцелярской окраской. Приемы и формы этого субъектно-экспрессивного расцвечиванья повествовательной речи и функции церковнославянской стихии в этом кругу явлений подробно будут рассмотрены мною в работе о стиле Пушкина (в главе об образе повествователя).

11

Из беглого обзора церковнославянских элементов в творчестве Пушкина вытекают следующие выводы:

1) Пушкин признал церковнославянский язык одной из живых стихий русского литературного языка.

2) Для Пушкина церковнославянский язык не имел значения идеологического и мифологического центра литературной речи, но был источником образов, символов, тем, приемов выражения как в стихах, так и в прозе.

3) Идеология и символика церковнославянского языка, по Пушкину, была составной частью «европейского мышления» и, следовательно, приближала русское общество и русскую культуру к нормам «европейской общежительности».

4) Период идеологической борьбы с церковно-библейской символикой, период каламбурно-пародического употребления церковнославянизмов оканчивается в творчестве Пушкина

к середине 20-х годов. Наступает эпоха утверждения национально-бытовых прав церковнославянизмов на литературность.

5) Церковнославянский язык с середины 20-х годов представлялся Пушкину культурно-бытовой основой «исторической народности».

6) В повествовательной прозе и литературно-исторических жанрах церковнославянский язык для Пушкина (как раньше — для Фонвизина) стал сферою социально-языковой характерологии, откуда черпался особенно обильно материал при создании социальных типов, причастных церковной культуре.

7) В публицистической и критической прозе Пушкин ориентировался преимущественно на риторические формы церковнославянского языка.

8) В лирической поэзии Пушкин пользовался «славянизмами» и церковно-библейскими образами не только для стилизации «восточного слога», но с конца 20-х годов все шире и разнообразнее для напряжения религиозной и гражданской патетики, для усиления эпической торжественности и глубины, для острых метафорических применений и антитез, для создания семантически осложненных, многозначных символов.

9) Общая, «нейтральная» система литературного и общественно-бытового выражения, составляющая «читательский» фон понимания речи, соответствующая среднему типу человека из хорошего общества («мещанину во дворянстве» или лучше «дворянину в мещанстве»), по Пушкину, должна итти все дальше по пути ассимиляции церковнославянских и русских элементов, по пути их структурного сочетания.

12

На почве литературной практики, подчиненной этим стилистическим принципам, должен был произойти неминуемый отрыв языка Пушкина от основной массы литературных стилей, переживавших процесс буржуазного перерождения. Здесь была объявлена война церковнославянскому языку прежней литературно-дворянской традиции. Формы разговорных светских стилей, осложненных и упорядоченных западноевропейской семантикой, поднятых до высоты буржуазно-европейского мышления, — основа той системы литературной речи, которая предносилась, например, «школе Смирдина», т. е. «Библиотеке для чтения», с ее вождем и руководителем О. И. Сенковским. «Расторгнуть дружбу русского слова с славянским, утвердить самостоятельность русского языка и положить между двумя языками предел, так чтобы вперед они не смешивались, но шли каждый своим путем» [1] — лозунг этой социальной группы.

[1] «Письмо трех тверских помещиков барону Брамбеусу», Собр. соч. Сенковского, VIII, стр. 222.

«Это расторжение должно быть подвинуто еще далее, до словарей и грамматики, которых сочинители странным образом перемешали слова и формы двух языков, совершенно различных. Грамматики, которые мы имеем, занимались все этой смесью, языком условным, воображаемым, несуществующим в природе, чисто-книжным; из чего следует, что мы не имеем грамматики... Какое славное поприще предстоит у нас еще тому, кто бы взял живой русский язык, как он теперь есть, подслушал его настоящие формы и написал первую *чисто-русскую* грамматику!».[1] Ведь церковнославянский язык перестал быть живой силой национально-языкового развития. «У всех европейских народов есть или был особый язык церковный, который произвел уже свое действие на языки книг и беседы, введением множества слов и оборотов, и уже перестал действовать».[2] «Славянский язык должен оставаться, как предание, в нашей православной церкви и служить исключительно для потребностей веры... ему нет никакого дела до русской словесности».[3]

В этой концепции церковнославянский язык не только не рассматривается как богатый источник символов, образов, разнообразных приемов выражения, но понимается как морфологически чуждая «изящному разговорному языку» система устарелых форм. В сфере синтаксиса здесь царят: конструкция фразы «на книжный лад, по трехсаженным причастиям с причитающимися к ним местоимениями в творительных падежах»; «спайка» предложений «союзами, которых нет в живом языке»; господство «оборотов, не свойственных русской логике»;[4] перегрузка предложений «бесконечными причастиями, местоимениями, наречиями, прилагательными, отчетистости ради».[5] Этому «длинноумию», этой растянутой фразе противопоставляется принцип: «изъясняться быстрыми, короткими предложениями и связывать их строгою логическою последовательностью мыслей, а не разнообразными союзами», «разделять... предложения, но разделять так, чтобы они и двигались свободно и тесно были связаны между собою логическими узами...», «не держась между собою многочисленными союзами».[6]

В сфере лексики и фразеологии, церковнославянский язык, противореча законам и нормам «изящного разговорного языка», далек от идеологии общества, от его умственных интересов, и поэтому дает лишь «готовые блестки», «старые звуки для усиления шума», «между тем смысл и внутреннее достоинство

---

[1] Ib., 232.
[2] «Резолюция по делу «сего оного» и пр.» (VIII, 240).
[3] «Письмо трех тверских помещиков» (222).
[4] Ib., 211.
[5] Ib., 212.
[6] Ib., 212, 215 и 221.

мысли ничего не выигрывают».[1] «Пересыпать русский рассказ словами другого языка и совершенно другой формы: это чистый макаронизм, верх безвкусия, совершенное отсутствие чувства изящности своего родного языка. Многие и по сю пору думают, что они возвысили свою мысль и сами стали удивительнее, когда, вместо обыкновенных чистых форм русских, придали своим словам формы необычайные, славянские, противные и гармонии и строению слов нашего языка; когда, вместо *борода, корова, волосы, золото, молодой,* написали: *брада, крава, власы, злато, младый* и т. д. Пустая надутость! Жалкая игра в звуки!».[2] «Мертвым словам» и мертвым формам славянского языка Сенковский противополагает «изящный разговорный язык», который должен быть продуктом взаимодействия литературы и общества. «Словесность берет элементы простого разговорного языка, обделывает их со вкусом, сообщает им красивейшие формы, укладывает из них звучные и ловкие фразы; эти фразы, восхитив, надушив собою ум читателя поутру в его кабинете, ввечеру возвращаются с ним в гостиную и вливаются в умную беседу, которая согревает их своим жаром, разнообразит применениями, нередко придает им смысл новый, яркий, блестящий».[3] Этот «изящный», разговорный язык буржуазно-дворянского общества, по Сенковскому, является структурной основой общенационального языка. «Для поэта и писателя, в особенности, этот чистый однородный элемент есть живой язык народа, к которому они принадлежат, живой язык в том виде, как он существует в природе, в устах всей нации».[4] Понятно, что с точки зрения этой языковой теории и практики Пушкинская реформа литературного языка кажется «анахронизмом». «Пушкин, сам Пушкин тоже скоро устареет, хотя ему суждено долее других быть свежим».[5] Причина — та, что «язык Пушкина не отделился от славянщины совершенно». По мнению Сенковского, Пушкин «свободнее и смелее, ближе к «подлинному русскому языку» обработал стили стихотворного языка. В прозе, «как не в своей части, он сохранял предрассудки своих учителей; и то, что нынче происходит в языке, есть только следствие и неизбежное дополнение Пушкинской реформы в поэзии».[6] Но и в области поэтической речи Пушкина славянизмы должны быть признаны «недостатком», «погрешностями» стиля, «противными началам чистого вкуса». «Будучи в Петербурге, — говорит тверской помещик, — я посетил одного литератора и застал у него Пушкина. Поэт читал ему свою балладу «Будрыс и его сыновья».

---

[1] Ib., 230.
[2] Ib., 222—223.
[3] «Резолюция по делу *сего, оного* и пр.» (241).
[4] «Письмо трех тверских помещиков» (230).
[5] Ib., 225.
[6] Ib., 232 и 233.

Хозяин чрезвычайно хвалил этот прекрасный перевод. — «Я принимаю похвалу вашу», сказал Пушкин, «за простой комплимент. Я недоволен этими стихами. Тут есть многие недостатки». — «Например?» — «Например, полячка *младая*». — «Так что ж?» — «Это небрежность, надобно было сказать: *молодая*, но я поленился переделать три стиха для одного слова». Но хозяин утверждал, что это прекрасно. Пушкин никак с ним не соглашался и ушел, уверяя, что все подобные отступления от настоящего русского языка «лежат у него на совести».[1] Из всего предшествующего изложения ясно, что Пушкин говорит здесь не свои слова, а слова О. И. Сенковского. Ведь для Сенковского славянизмы были «запоздалым остатком прежних ложных понятий об изящном в языке», остатком, который «весь народ отверг единодушно» (ср. отношение к церковнославянскому языку А. А. Марлинского, Н. А. Полевого, В. И. Даля и др.).

Так принципу национально-исторического синтеза разных социально-языковых категорий, выдвинутому Пушкиным, принципу, посредством которого поэт надеялся создать на основе дворянской культуры речи литературную систему общенационального выражения, в языковой политике буржуазно-дворянского общества 30-х годов противостоит идея разрыва с церковно-книжной традицией, идея классового ограничения литературной речи формами и нормами «изящного разговорного языка» светского буржуазно-дворянского общества, или же идея преобразования литературного языка на «простонародной» мещанской и мещанско-крестьянской основе, а также на основе синтеза разных сословных и профессиональных диалектов города. Главный аргумент в пользу этой реформы — необходимость укрепления и развития живых национально-общественных начал в структуре русской литературной речи, враждебных византийско-болгарской культуре церковнославянского языка.

---

[1] «Письмо трех тверских помещиков» (233).

VI

Русско-французский язык дворянского салона и борьба Пушкина с литературными нормами «языка светской дамы»

§ 1. История дворянской культуры противопоставила церковнославянскому языку язык французский. Проблема французского языка как поставщика европейской мысли и европейского «костюма» встала и пред Пушкиным. Он к ее решению подошел исторически.

Процесс европеизации русского дворянства привел во второй половине XVIII века не только к распространению французского языка в «лучших обществах» (как тогда выражались), но и к образованию разговорных стилей «светского» дворянского языка на русско-французской основе. Сатирическая и комедийная традиция XVIII века очень ярко, хотя и криво, отражает это «смешение» языков. Она рисует искаженные профили салонно-дворянских стилей и жаргонов. Диалект «щеголей» и «щеголих» обеднен в литературных пародиях, [1] и Новиковский «Опыт модного словаря щегольского наречия» [2] демонстрирует лишь комические осколки «щегольской» экспрессии, «щегольской» манеры выражения. Но стоит только глубже всмотреться в разные формы этого русско-французского салонного языка, — и откроется тесное взаимодействие их со стилями литературной речи. Изучение «наречия» «щеголей» и «щеголих» конца XVIII века нельзя отделять от вопроса о светском языке русской дворянской интеллигенции (столичной и находившейся под влиянием столиц — провинциальной), которая, разрывая связи с традициями церковной книжности, питалась французской «культурой». Манерная экспрессия, жеманная светская любезность на французский лад и салонное витийство тоже на французский лад — вот те новые тенденции, которые, ворвавшись в бытовое просторечие и в стили литературно-книжной речи, ломают

[1] См. книги В. Покровского: «Щеголи в сатирической литературе XVIII века», М. 1903, и «Щеголихи в сатирической литературе XVIII века», М. 1903.
[2] «Живопись» 1772, л. 10.

их структуру, создают новые типы социально-языковых выражений. Стилистические традиции переводной словесности и творчество на их основе «национальных» форм литературного выражения — те языковые силы, которые приходят на помощь быту и с ним вступают во взаимодействие. Ведь история русского литературного языка в значительной степени определяется историей перевода с иностранных языков.[1] Не будет парадоксальным утверждение, что диалект «щеголей» и «щеголих» XVIII века стал одной из социально-бытовых опор литературной речи русского дворянства конца XVIII — начала XIX веков. Эту мысль можно пояснить анализом бытовой речи Н. М. Карамзина в аспекте «щегольского» жаргона. Гавр. Петр. Каменев в одном из своих писем (1799) передает друзьям разговор Карамзина с Тургеневым о «переписке Юнга с Фонтенеллем из философии природы» и точно воспроизводит речь Карамзина. Вот слова Карамзина: «Этот автор может только нравиться тому, кто имеет *темную* любовь к литературе. Опровергая мнение других, сам не говорит ничего сносного; ожидаешь много, приготовишься, и выйдет вздор. Нет *плавкости* в штиле, нет *зернистых* мыслей; многое слабо, иное *плоско*, а он ничем не брильирует». В этом монологе ряд слов имеет такие значения, которые сатирической литературой засвидетельствованы как «щегольские», связанные с семантикой французского языка. — Например, с выражением «*темная*[2] (курсив Каменева) любовь к литературе» надо сопоставлять щегольские фразы: «Он до того *темен в свете,* что и спать со мною хочет

[1] Некоторый материал для изучения творчества форм литературного выражения в переводах XVIII века можно найти у акад. М. И. Сухомлинова в «Истории Академии Российской» (особенно т. IV—V) и в статье И. В. Шаль «К вопросу о языковых средствах переводчиков XVIII столетия» («Труды Кубанского пед. института», 1929, II—III).

[2] Ср. Вяземский, «Фонвизин», 2 стр.; ср. в письме Карамзина к И. И. Дмитриеву: «В стихах его нахожу хорошее и очень хорошее, но иное темно, иное холодно» (258); у Пушкина в письме к брату от 24 января 1822 г.: «О прочих дошли до меня темные известия» (Переписка I, 39).

Мне страшен свет, проходит век мой *темный*
В безвестности, заглохшею тропой

(„Сон“, 1816)

И вяну я на темном утре дней...

(„Элегия“, 1816)

В ней сердце полное мучений
Хранит надежды темный сон

(„Евгений Онегин“, 3, XXXIX)

Ср.:

В сем сердце билось вдохновенье...
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно

(„Евгений Онегин“, 6, XXXII)

вместе» («Живописец» 1772, стр. 53); слово *плоский* получает значение «банальный», лишенный остроты, «без приятностей», в соответствии с франц. plat (ср. в «Лексиконе» И. Татищева, 1798: «cette pensée là est plate — сия мысль низка; elle a la physionomie plate — она имеет подлый вид», II, 346).[1]

Это те «утонченности взыскательного общества», европеизмы, которые в литературе начала XIX века прикреплялись к именам Карамзина и Дмитриева.

Карамзин поразил Каменева не только этими «европеизмами» в своем разговоре, но и обилием французских слов. «Карамзин», писал он, «употребляет французских слов очень много; в десяти русских, верно, есть одно французское. *Имажинация*, сентименты, tourment, énergie, épithète, экспрессия, экселировать и пр. повторяет очень часто».[2]

Процесс формирования светской дворянской речи на основе смешения стилей письменно-книжного языка и бытового просторечия с французским языком и с языком переводной литературы был симптомом угасания церковно-книжной культуры. Кн. Вяземский находил даже гораздо позднее, что ум в России «как-то редко заглядывает в книги. У нас более устного ума, нежели печатного». Таким образом язык дворянского салона, развиваясь, вступает в борьбу с церковно-книжной традицией.

В «Рассуждении о старом и новом слоге» А. С. Шишков очень четко отмечает социально-бытовые причины упадка книжного языка в среде европеизованного дворянства: «Какое знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим, и даже... до того заражаются к ним пристрастием, что в языке своем никогда не упражняются... Будучи таким образом воспитываемы, едва силою необходимой наслышки научаются они объясняться тем всенародным языком, который

Тебе, но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
(„Полтава", Посвящение)

Кончину ль темную судил мне жребий боев?
(„Война", 1821)

И, жертва темная, умрет мой слабый гений,
(„К Овидию", 1821)

и мн. др.

[1] Ср. в письме Е. А. Карамзиной к Дмитриеву: «от страха, чтоб не сказать какой-нибудь *плоскости*» («Письма Карамзина к Дмитриеву», 181). Ср. в «Выстреле» у Пушкина: «Я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость», и др. под.

[2] «Вчера и сегодня» 1845, I—«Г. П. Каменев, статья Второва», 49—50.

в общих разговорах употребителен; но каким образом могут они почерпнуть искусство или сведение в книжном или ученом языке, толь далеко отстоящем от сего простого мыслей своих сообщения? Для познания богатства, изобилия, силы и красоты языка своего нужно читать изданные на оном книги..., из них научаемся мы знаменованию и производству всех частей речи; пристойному употреблению оных в высоком, среднем и простом слоге; различию сих слогов... свойственным языку нашему изгибам и оборотам речей; складному или не складному расположению их; краткости выражений; ясности и важности смысла; плавности, быстроте и силе словотечения» (5—6). Вызванное социально-политическими причинами отпадение дворянства от церковной культуры и от примыкавшей к ней национально-научной и литературной традиции приводило к борьбе с нормами старого книжного «слога». По свидетельству Шишкова, дворяне европейской формации, «может быть, из превеликого множества нынешних худым складом писанных книг для вящшего в языке своем развращения прочитали пять или шесть, а в церковные и старинные славенские и славено-российские книги, отколе почерпается истинное знание языка и красота слога, вовсе не заглядывали» (Ib., 7). Напротив, европеец П. Макаров, осуждая Шишкова за его пристрастие к книжному языку, писал: «Кажется, что он полагает необходимым особливой язык книжной, которому надобно учиться как чужестранному, и различает его только от низкого, простонародного. Но есть средний, тот, который стараются образовать нынешние писатели равно для книг и для общества, чтобы писать, как говорят, и говорить, как пишут; одним словом, чтобы совершенно уничтожить язык книжный. И на что сей последний? Ныне уже нельзя блистать одним набором громких слов, гиперболами или периодами, циркулем размеренными. Ныне более требуют силы и остроумия... Сверх того, есть важная причина не хотеть книжного языка. Везде напоследок он сделался некоторым родом священного таинства, и везде там, где он был, словесность досталась в руки малого числа людей... Если язык книжный отделится; если он не последует за переменами в обычаях, в нравах, понятиях, то весьма скоро сделается темным» (Соч. и перев., II, 41).

В статье «Отчего в России мало авторских талантов» (1803) Карамзин объявлял книги «бездушным собранием» «только материального или словесного богатства языка». Писатели «не успели обогатить слов тонкими идеями; не показали, как надобно выражать приятно некоторые, даже обыкновенные мысли». Поэтому «светские женщины не имеют терпения слушать или читать русскую литературу, находя, что так не говорят люди со вкусом». Стараясь быть на высоте салонного вкуса, русский «кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут

новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски. Что ж остается делать автору?..» По рецепту Карамзина, автор должен, полагаясь на свой вкус, культуру и знание европейских языков, преимущественно французского, сам создавать нормы литературного языка — и при том такого, который мог бы влиться в разговорную речь салона. «Французы пишут как говорят, а русские о многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом...»; «Авторы помогают согражданам лучше мыслить и говорить». «Мудрено ли, что сочинители некоторых русских комедий и романов не победили сей великой трудности, и что светские женщины не имеют терпения слушать или читать их, находя, что так не говорят люди с талантом».

Напротив, Шишков считал нелепостью «писать, как говорим, то есть не знать различия между красноречивым и простонародным, между возвышающим душу и употребляемым для объяснения ежедневных надобностей языком» (Собр. соч. и перев., III, 6—7). Протестуя против перемещения границ книжной и разговорной речи, простого и высокого слога в произведениях карамзинистов, Шишков спрашивает: «Прежде писатели крайне наблюдали различие между высоким, средним и простым слогом... Для какой малой и бесполезной причины хотите вы иногда простое слово произвесть в высокое, иногда высокое разжаловать в простое?» (Ib., 7).

К. Н. Батюшков в речи «О влиянии легкой поэзии на язык» (1816) так характеризовал эту связь литературных стилей с языком дворянского салона: «Большая часть писателей... провели жизнь свою посреди общества Екатеринина века, столь благоприятного наукам и словесности; там заимствовали они эту людкость и вежливость, это благородство, которого отпечаток мы видим в их творениях: в лучшем обществе научились они угадывать тайную игру страстей, наблюдать нравы; сохранять все условия и отношения светские и говорить ясно, легко и приятно» (Соч. Батюшкова, I, 45).

Естественно, что эти усилия создать систему литературного языка нации на фундаменте «светских», «салонных» стилей влияли на разговорную речь дворянского общества. Они вызывали оживленную литературную деятельность самих салонов. Особенное значение получала речевая практика аристократии, «высшего общества». Дворянин-европеец, констатируя, что по-русски говорят только «на площади, на бирже, по деревням — и кто?..», видел путь для создания общенационального языка в речевой практике двора и великосветского салона, искал «верные средства усовершенствования языка» в сближении русской речи с «европейским мышлением» аристократии. «Для чего не заниматься... нашим языком в посольствах, сношениях политических, для чего не употреблять его при дворе? Там, где стече-

ние утонченных мыслей, там, где вежливость, искусство обращения доведены до такой высокой степени? Там-то надобно образовать первоначальный вкус к своему наречию, там начать воспитывать русский язык: тогда разольется он нечувствительно в обществе, заставит гораздо с большею охотою всякого письменного человека заниматься его красотою; тогда будут, по крайней мере, писать с надеждою, что книги русские и читать и понимать станут» (цитирую по А. С. Шишкову — «Рассуждение», 135).[1]

Подражание *«легкости и щеголеватости речений изрядной компании»,* как отмечает Пушкин, было лозунгом еще Тредьяковского (IX, 19, Примеч.). А кн. Вяземский прямо выражает сочувствие этой мысли Тредьяковского, считая ее предвестием Карамзина: «Его мысль, что наш язык должен образоваться употреблением, что *научат нас им говорить благоразумные министры* и проч. и проч., очень справедлива. Он чувствовал, что один письменный язык есть язык мертвый. Здесь он как будто предчувствует и предугадывает Карамзина».[2]

Система литературной речи, ориентирующейся на язык светского дворянского общества, должна была содействовать укоренению норм «европейской общежительности» на русской почве. Карамзин в своей торжественной академической речи (5 декабря 1818 г.) заявил: «Петр Великий, могущей рукою своею преобразив отечество, сделал нас подобными другим европейцам. Жалобы бесполезны. Связь между умами древних и новейших россиян прервалась навеки. Мы не хотим подражать иноземцам, но пишем, как они пишут, ибо живем, как они живут... Красоты особенные, составляющие характер словесности *народной,* уступают красотам общим; первые изменяются, вторые вечны. Хорошо писать для россиян; еще лучше писать для всех людей».[3] Карамзину вторили западники в роде П. Макарова: «В отношении к обычаям и понятиям, мы теперь совсем не тот народ, который составляли наши предки; следственно, хотим сочинять фразы и производить слова по своим понятиям, умствуя, как французы, как немцы, как все нынешние просвещенные народы».[4]

Идеалом речевой культуры русского дворянского общества был французский салон предреволюционной эпохи.[5] Там в XVII и XVIII веках «не выходило книги, написанной не для

---

[1] Евстафий Станевич в «Рассуждении о русском языке» (Спб. 1808) указывал на «знатное и среднее дворянство» как социальную среду, где господствует французский или русско-французский язык.

[2] «Старая записная книжка» (83).

[3] Соч. Карамзина, изд. Смирдина, III, 649.

[4] Соч. и перев. П. Макарова, М. 1817, I, ч. 2, стр. 29.

[5] В статье «Предпочтение природного языка» М. Н. Муравьев так характеризовал «сияние» французского языка «в столетие Людовика XIV». «Не было придворного человека, благородной женщины, которые не

светских людей, даже не для светских женщин... Сочинения исходили из салона и, прежде чем публике, сообщались ему... Характер общества делал записных философов светскими людьми... Публика обязывала такого человека быть писателем еще более, чем философом, заботиться о способе выражения столько же, сколько о мысли... Ему нельзя было быть человеком кабинетным... В вопросах стиля (en fait de parole) — все знатоки, даже записные. Математик Деламбер обнародывает трактат о красноречии; натуралист Бюффон произносит речь о слоге; законовед Монтескье составляет сочинение о вкусе; психолог Кондильяк пишет книгу об искусстве писать». Литературный язык преобразуется под влиянием «светского употребления слов и хорошего вкуса». Словарь облегчается от излишней тяжести. Из него исключается большинство слов, которые хоть краем соприкасаются со сферой какой-нибудь специальности. Из него выбрасываются «чересчур латинские и чересчур греческие» выражения, термины школы, науки, ремесла и хозяйства, все, что отзывается слишком сильно каким-либо особенным занятием, что не может считаться у места в обыкновенном светском разговоре. Из него выкидываются слова местного, провинциального происхождения, домашние или простонародные, словом, все то, что могло бы шокировать «светскую даму».[1] Конечно, в живом историческом процессе эволюции французского языка картина соотношения, борьбы и взаимодействия разных стилей была сложнее и противоречивее.[2] Но именно эти пуристские заветы блюстителей благородства и чистоты салонного стиля привлекали русских дворян-европейцев.[3] И. И. Дмитриев в статье «О русских комедиях» («Вестн. Европы» 1802, № 7) писал:

умели бы изъясняться с приятностию и не полагали в числе отличий своих преимущество хорошо говорить и писать на природном языке. Многие дамы, украшение пола своего, влияли природные и неподражаемые приятности своего разума в сочинения, повидимому легкие и нетщательные, но к которым не может подделаться никакое искусство: госпожа Севинье, Лафает и другие. Уединенной ученой не может перенять сих нежных оборотов языка, введеных употреблением общества. Прилежание и рассеяние попеременно способствовали к обогащению языка толь многими приятностями, что он внесен почти в число классических языков Европы, не перестав быть, как древние, живым языком, народным» (Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, 1820, III, 165).

[1] Ср.: Поль Лафарг, «Язык и революция» (37—54); Taine, «Les origines de la France contemporaine. L'ancien regime, II, 231—234; Vaugelas, «Remarques sur la langue française». Ed. Chassang, Paris, 1880; А. А. Потебня, «Из записок по теории словесности», глава «Серединность языкознания» (633—634).

[2] См. напр.: T. Gohin, «Les transformations de la langue française dans la seconde moitié du XVIII s.», P. 1903; Max Frey, «Les transformations du vocabulaire français à l'epoque de la Révolution», P. 1925.

[3] Ср. ссылку Карамзина на французских писателей («От чего в России мало авторских талантов?»): «Все французские писатели, служащие образцом тонкости и приятности в слоге, переправляли, так сказать, школьную свою риторику в свете, наблюдая, что ему нравится и почему?»

«Какое же удовольствие найдет благовоспитанная девица, слушая ссору однодворца с его женою, брань дурака с дурою, которых каждое слово несносно для нежного слуха?.. Какая вообще нужда знатнейшей части публики: боярыне, боярину, первостатейному откупщику или заводчику, — какая польза им знать, что происходит в трактирах, на сельских ярмарках и в хижине однодворцев, которые известны только их старостам и управителям? У них свои обыкновения, свои предрассудки и свои пороки...». [1]

Организующими формами литературно-салонного стиля становились новая система фразеологии, создаваемой по нормам европейской, преимущественно французской семантики, и новый синтаксический строй. Просторечие вовлекалось в сферу этого изысканного языка со строгим отбором. Нормы стилистической оценки определялись бытовым и идейным назначением предмета, его положением в системе других предметов, «высотой» или «низостью» идеи. «То, что не сообщает нам дурной идеи, не есть низко». «Один мужик говорит *пичужечка и парень*: первое приятно, второе отвратительно. При первом слове воображаю красной летний день, зеленое дерево на цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку, и покойного селянина, который с тихим удовольствием смотрит на природу и говорит: «вот гнездо! вот пичужечка!». При втором слове является моим мыслям дебелый мужик, который чешется неблагопристойным образом или утирает рукавом мокрые усы свои, говоря: «ай, парень! Что за квас!». Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души нашей». Понятно, что таких слов, «неинтересных для души», карамзинисты старались не допускать даже в диалог персонажей из крестьянской и мещанской среды.

Но ср. у Пушкина уже в «Женихе» (1825):

Наутро сваха к ним на двор
Нежданая приходит.
Наташу хвалит, разговор
С отцом ее заводит:
У вас товар, у нас купец;
Собою *парень* молодец,
И статной, и проворной,
Не вздорной, не зазорной.

«Имя *пичужечка*, — продолжает Карамзин, — для меня отменно приятно потому, что я слыхал его в чистом поле от добрых поселян. Оно возбуждает в душе нашей две любезные идеи:

[1] М. Н. Муравьев в статье «Забавы воображения» писал: «Только тогда язык достигает совершенства, когда изящные умы рождают в обществе пристрастие к творениям своим, и когда размышление и чувствование, предлагаемые в разных пленяющих видах, могут удовольствовать ум и вкус просвещенных людей» (Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, 1820, III, 121).

о *свободе* и *сельской простоте*» (Письма Н. М. Карамзина к Дмитриеву, Спб. 1866, стр. 39, письмо от 22 июня 1793 г.).

Таким образом, оценка литературного достоинства выражения, степень светской доброкачественности слова обусловлены всем бытовым контекстом употребления, картиной ассоциированных со словом предметов. В сюжетную структуру слова входили не только «значения», но и социально-бытовое содержание слова, его обстановка и широкий круг его соседства, его предметных и идейных связей. В зависимости от этого была экспрессия слова, его «тон», как говорил Карамзин. Впрочем, была задана литературному языку, как норма его экспрессивных возможностей, строго определенная плоскость «тональностей» (если можно так выразиться), связанная с идеальным образом чувствительного, галантного и просвещенного «жантильома». В статье «Мысли об уединении» Карамзин так пишет об экспрессивных и предметных формах литературного языка: «Некоторые слова имеют особенную красоту для чувствительного сердца, представляя ему идеи меланхолические и нежные. Имя *уединения* принадлежит к сим магическим словам. Назовите его — и чувствительный воображает любезную пустыню, густые сени дерев, томное журчание светлого ручья, на берегу которого сидит глубокая задумчивость с своими горестными и сладкими воспоминаниями».[1] Ср. в письме к И. И. Дмитриеву: «Меланхолические слова твои: *старость*, *одиночество*, все *бледно* и *скучно* тронули меня до глубины сердца» (Письма, 189). В этом мире предметов и чувств, который был задан литературному языку, между отдельными его элементами устанавливались рационалистически измеренные, строгие соотношения. Карамзин писал Дмитриеву: «Ты сблизил... *мечтание с пороками*; но одно от другого очень далеко по существу своему. Мечта есть не что иное, как заблуждение, и всегда достойна сожаления; порок есть развращение сердца, и должен быть предметом омерзения. Человек, окруженный пороками, гнушается ими, или сам делается порочным, но не мечтателем» (Ib., 43).

Понятно, что все слова и фразы, которые относились к слогу «грубому, сухому и надутому», т. е. выражения «простонародные», низкие, приказные (канцелярские), специальные, профессиональные, церковнославянские, в этом салонном стиле были запрещены. Язык салона и возникавшие на почве его стили литературы отрывались от многообразия бытовых варьяций

---

[1] М. Н. Муравьев писал в статье «Совокупление идей»: «Кроме сего тесного совокупления двух идей, которым производим рассуждения наши, есть еще некоторой порядок последования. Одна идея возбуждает другую соседственную. Наступление весны приводит с собою оживление природы, сходственное с юностию человека, надежды земледельца, сельские игры, предпочитаемые шуму городов» (Полн. собр. соч. М. Н Муравьева, 1820, ч. III, 109—110).

речи. Рецензии и статьи о слоге в журналах начала XIX века ярко рисуют стилистические нормы этого салонного «дамского» языка. «Господин переводчик весьма старался примениться к этому языку, употребительному в обыкновенном разговоре. Только *надлежало бы ему подражать людям, которые говорят хорошо*, а не тем, которые говорят дурно. Выражения *простонародные не должны писателям служить правилом*» («Моск. Меркурий» 1803, II). «Иногда г. сочинитель употребляет *низкие слова и выражения, которые нельзя даже употреблять в хорошем разговоре*, например, он сравнивает сердце несчастного с раскаленной сковородой. Сковорода — вещь очень нужная и необходимая на поварне, но в словесности, особливо в сравнениях и уподоблениях, можно и без нее обойтись» («Цветник» 1810).

С такой же настойчивостью и резкостью изгоняются из этого литературного стиля церковнославянизмы, книжные слова, которые «часто затмевают стиль и более изобличают педанта, или школьника», и канцеляризмы. Карамзин прославлял И. И. Дмитриева за то, что тот и приказный слог реформировал по принципам салонного стиля: «Витовтов сказывал мне, что ты, наш Д'Ачессо, и приказный слог знакомишь с ясной краткостью, чистотою, приятностью» (Письма, 97).[1] А все, напоминающее приказной слог, из салонной речи устранялось. «*Кажется, чувствую как бы новую сладость жизни*, говорит Изведа; но говорят ли так молодые женщины? *Как бы* здесь очень противно».[2] «*Учинить* вместо «сделать» нельзя сказать в разговоре, а особливо молодой девице».[3] «*Вследствие чего, дабы* и проч. — это слишком по-приказному, и очень противно в устах такой женщины, которая была прекраснее Венеры».[4]

Понеже, в силу, поелику,
Творят довольно в свете зла

(«Вестн. Европы, № 3, 22)

---

[1] О реформе «языка делового и дипломатического» в первой трети XIX века и о «функциях» этого языка в общей системе литературной речи см. у Н. Греча, «Чтения о русском языке», Спб. 1840, I, 150—154.

[2] Приложения к статье Я. К. Грота «Карамзин в истории русского литературного языка»: «Замечания Карамзина о языке из разборов его, помещенных в «Московском журнале» (1791 и 1792, 119).

[3] Ib., 120.

[4] Ib., 122. Но ср. у Пушкина даже в повествовательном стиле — в «Гробовщике»: «Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, *дабы* сей противоположностию сильнее поразить наше воображение»; в «Станционном смотрителе»: «Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, *дабы* вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность?..». «*Вследствие сего* смотрители со мной не церемонились...», и т. п.; в «Барышне-крестьянке»: «Он употребил все свое красноречие, *дабы* отвратить Акулину от ее намерения», и др.

«*Колико для тебя чувствительно* и проч. Девушка, имеющая вкус, не может ни сказать, ни написать в письме *колико*».

Указания на тесную связь и взаимодействие между салонно-литературными стилями и языком «светской» дамы-дворянки обычны в сатирических журналах второй половины XVIII века. Например, в «Трутне» (1769, лист XIV) в пародическом письме женщины-писательницы к издателю содержатся упреки на редакционную правку «женского слога», и «женское слово» противополагается «подьяческому» (ср. также у А. П. Сумарокова в посвящении эклог «Прекрасному российского народа женскому полу»): «А ином уж я и не говорю: што из женскава слога сделал ты подьяческой, наставил ни к чему: *обаче, иначе, дондеже, паче.* Мы едаких речей ничуть не пишем, у мущин они в употреблении, а у женщин нет». «Живописец» называет язык европеизованных «щеголей» и «щеголих» «нынешним щегольским женским наречием»: «Необходимо также должен я уметь портить русской язык и говорить нынешним щегольским женским наречием: ибо в наше время почитается это за одно не из последних достоинств в любовном упражнении» («Живописец» 1772, I, 30, 157). Эту традицию светского слога европейски просвещенной женщины культивируют Карамзин и карамзинисты в первой трети XIX века, утверждая нормы буржуазно-дворянских литературных стилей (ср. язык «Дамского журнала»).

Для суждения о принципах отбора слов и выражений в этом салонном языке дают интересный материал сделанные проф. В. В. Сиповским сопоставления разных редакций «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина. Из текста писем постепенно устраняются «низкие», грубые просторечные слова,

например:	и заменяются более светскими
шатающимися актерами	*странствующими* актерами
Солдат *взвалил себе* на плечи *мой скарб*	Солдат *взял мои пожитки*
бранилась *с краснорожим* мужем	бранилась *с пьяным* мужем
так *отбило мне бока,* что у меня и теперь болят ребра	так растрясло меня, что и теперь чувствую боль в груди
налягаем уже на кофе	*пьем в день* чашек по десяти кофе;
«Вон, *собаки!*» закричал	«Вон!» закричал
Ревущее браво	Шумящее браво, и т. п.

Точно так же выбрасываются книжно-официальные, канцелярские слова и обороты речи и замещаются более нейтральными выражениями:

без *понуждения*	без *принуждения*
очень *понуждали*	*принуждали*
положась на мое слово	*веря моему слову*
почитать	*считать*
что *принадлежит* до меня	по крайней мере, я
и при всем том, когда	*но, когда*

любезного и собственно по особе своей почтенного человека	любезного человека
с наибольшим вниманием	с большим вниманием
надлежало дописать	надобно было, и т. д.

Характерно также исключение явных церковнославянизмов с заменой их общелитературными эквивалентами:

он довольно *пристрастен*	он *велик*
тщетно	*напрасно*
восклицали мы	*твердили* мы
расстилалась *тучная* зелень, цветами *испещренная*	расстилались *зеленые ковры*
живоцветные, зеленые	зеленые

Очень интересен пример такого фразеологического изменения в трех изданиях «Писем»:

изд. 1791—1794 г.	изд. 1797 г.	изд. 1803 г.
Города, *воздыхая от всего сердца,* взывают	Города, *воздыхая из глубины сердца,* взывают	Города в глубоком унынии взывают[1]

Так выравнивается светский стиль, освобождаясь от низких выражений просторечия, от канцеляризмов, славянизмов, устарелой книжной фразеологии и застывая в формах салонной манерности.

Структурную основу этого светского стиля составляла русско-французская фразеология, т. е. система выражений, фразеологических клише, перифраз и метафорических оборотов, созданных по типу европейской, преимущественно французской, семантики и соответствовавших по своей экспрессии типическому облику чувствительного и галантного светского человека, «благородно» мыслящего и патриотически настроенного дворянина.

Карамзин выдвинул принцип фразеологического творчества как основную проблему нового стиля. «Что ж остается делать автору? выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтоб обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения». Карамзинисты вторили своему учителю. «Светский писатель, обязанный выражать отвлеченные понятия наук и выяснять тонкости политики государственной и частной, показывать в живописных картинах общество и людей, наконец, украшать все подробности блеском остроумия, цветами чувства, огнем воображения, может иметь надобность в словах и фразах, которых за сто лет не было» (П. Макаров, Соч. и перев., I, ч. 2, 35). Скреплявшая эту фразеологию система идеологии была очень бедна. Она была рассчитана на «общее» — не только дворянское, но и буржуазное — понимание, была общедоступна. К 30-м годам

[1] В. В. Сиповский, «Н. М. Карамзин — автор «Писем русского путешественника», Спб. 1899, 170—240.

XIX века признание идейной скудости литературно-салонного стиля, главным образом под влиянием «Моск. телеграфа», стало общим местом (особенно в кругах разночинной интеллигенции). Оно входило в «руководства к познанию истории литературы». Так, В. Плаксин, заявив, что Карамзин, «знав хорошо европейские литературы, начал употреблять обороты, известные в других языках, но не принятые в русском»,[1] все же отказывается признать Карамзина «преобразователем» русской прозы из-за бедности идей в его произведениях. «Тот может быть назван преобразователем прозы, кто дает новое направление понятиям, изменяет общий способ воззрения на предметы, подлежащие знаниям, кто вместе с тем изменяет и способ выражения положительных знаний... Карамзин... не был выше своего века; он нашел в душе своей все совершенства и недостатки оного, действовал в литературе по тем же самым идеям, и даже применялся к его слабостям. А ежели бы он действовал иначе, ежели бы решился изменить направление, то, не имея творческого гения, не мог бы произвести того, что ему удалось сделать — приучить общество к русскому чтению».[2]

Итак, язык высшего света в его литературных воспроизведениях не отражал всего многообразия дворянских стилей, всей стилистической пестроты их колебаний. Литературные нормы салонного стиля, представляемые как идеал социально-бытового общения, сначала оказывали влияние на язык великосветского и вообще дворянско-интеллигентского салона, но потом, застыв в своих формах, стали стилистическим руководством для провинциального дворянского захолустья, чиновничества и средней буржуазии. Русский переводчик «Чтений о новейшей изящной словесности» Вульфа (М. 1835) — в главе, им самим присоединенной к переводу: «О составных началах и направлении отечественной словесности в XVIII и XIX вв.») — так определяет социальную позицию карамзинистов в сфере языка: «В конце XVIII столетия, вследствие повсюдного распространения знаний, — с основанием многих учебных и ученых заведений, развился в России новый класс людей образованных. Этому классу, равно далекому от утонченностей и блеска придворной жизни, как и от схоластической, славяно-греко-латинской учености тогдашнего времени, нужны были: новый язык и новая словесность, соответствующая характеру его образования. Карамзин первый отозвался на эти потребности. В самом начале своего литературного поприща он резко отличается от всех предшествовавших ему писателей: видно, что язык его останется навсегда языком русской словесности, несмотря на

---

[1] «Руководство к познанию истории литературы», Спб. 1833, 266, 315—318.

[2] Ср. у В. Г. Белинского суждение о Карамзине в «Литературных мечтаниях», Соч., М. 1872, I, 65.

все изменения, каким она может подвергнуться в направлении своем. Но средний класс, для которого Карамзин создал язык, только что вступал еще на поприще духовной деятельности; ни вкус его, ни понятия еще не были развиты; и потому неудивительно, что Карамзин, столько превосходивший своих предшественников по языку, как бы отстал от них, в первых своих сочинениях, по возвышенности и силе мыслей» (463—464).[1]

Дворянство и усваивавшие его культуру слои буржуазии нашли в этом салонном языке русско-европейские формы выражения. В сущности, провинциально-дворянский и буржуазный трепет перед законами салона в их литературном отражении *лишал* эту манерную фразеологию «Карамзинского стиля» внутреннего движения и живого содержания.

Вот — несколько типичных примеров этой русско-французской лексики и фразеологии: «из политических стихов можно и должно *сделать другое употребление* (прости мне сей галлицизм)» («Письма Карамзина к Дмитриеву», 38); «сердце мое с разных сторон было *тронуто*» (Ib., 44) (ср. франц. toucher); «я *беру участие* в твоем горе» (48); «разве ты не знаешь, какое *участие беру* я в судьбе его» (49); «никто конечно *не берет живейшего участия* во всех твоих приятностях» (133) (ср. франц. prendre part à qch.); «я *веду* теперь самую *рассеянную жизнь*» (51) (ср. франц. mener une vie dissipée); «*бросить тень на что-нибудь*» (ср. в статье Карамзина «Quelques idées sur l'amour»: «L'opinion des hommes froids et pervers peut elle jetter quelques ombres sur vos âmes rayonnants») и мн. др. Характерны также перифразы и метафоры: «имя твое как светлый алмаз: *черные краски злословия* не могут на нем держаться» (65); «больше и больше *теряю охоту жить в свете и ходить под черными облаками, которых тень помрачает в глазах моих все цветы жизни*» (67); «б у р я с т р а с т и» (l'orage de la passion); «воспоминания — только блуждающие тени (les souvenirs ne sont que des ombres vacillantes) (85); «Мысли мои о любви *брошены на бумагу*, в одну минуту» (89) (ср. франц. jeter sur le papier la pensée de son ouvrage). Ср. у Пушкина:

Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать
(«К Маше», 1816);

Ср. в «Моцарте и Сальери»:

И в голову пришли мне две, три мысли,
Сегодня их я набросал...

---

[1] Ср. сходное определение исторического места Карамзина в сочинении Н. Стрекалова: «Очерк русской словесности XVIII столетия» (М. 1837): «В отношении к языку Карамзин является начинателем нового периода в нашей словесности. Этим он отвечал на требование новой формы, языка народного, для литературы народной. Но, по духу своих произведений, Карамзин решительно принадлежит предыдущему веку — и заключает собою нашу словесность XVIII столетия» (99).

(ср.: бумага все терпит — le papier souffre tout); «что скажу о себе?.. Сладкое и горькое все перемешано в моей чаше» (96) (ср. франц. переносное выражение: boire, avaler le calice); «на сцене большого света» (104); «цветы жизни более и более для меня увядают» (113) (ср. фразеологию франц. fleur: être dans la fleur, à la fleur de ses jours — быть в лучшей поре, в цветущих летах; être dans la fleur de la jeunesse — в цвете молодости и т. п.);[1] «суди теперь, на какую погоду указывает *барометр моего сердца*» (119) и др. под.

§ 2. Идеальной нормой этого салонно-дворянского стиля был «мнимый», фантазируемый язык «светской дамы». На него должен был ориентироваться писатель. Стремясь создать на основе «европейской», т. е. французской, системы выражения национальный стиль дворянской салонной речи, русский «кандидат авторства» риторически обращал свою речь к светской даме, как бы воплощая в своем творчестве ее язык, ее приемы выражения и направляя «милую читательницу» на путь национально-речевой культуры. Согласно Карамзину, «светские женщины» должны судить писателя и решать: так ли «говорят люди со вкусом». Писатель не может требовать от «дамы» творческих образцов национального стиля. «Ведь милые женщины, которых надлежало бы только подслушивать, чтобы украсить роман или комедию любезными, щастливыми выражениями, пленяют нас не русскими фразами».[2] Но писатель

---

[1] Ср. у Пушкина:

Кто лиру в дар от Феба
Во цвете дней возьмет?

(„Городок", 1814)

Во цвете нежных лет любил Оскар Мальвину...

(„Оскар", 1814)

С надеждами во цвете юных лет,
Мой милый друг, мы входим в новый свет.

(„Послание к кн. А. М. Горчакову", 1817)

Я вяну, гибну *в цвете лет*

(„И я слыхал", 1818)

В неволе скучной *увядает*
Едва развитый жизни цвет

(„Наслаждение", 1816)

Ср.

Как вешний цвет едва развитый...

(„Египетские ночи")

Я ей принес увядши розы
Отрадных юношеских дней

(„Стансы", 1817)

и очень мн. др.

[2] «Отчего в России мало авторских талантов», Соч., III, 528—529.

всецело зависит от оценки «светских женщин». «Если спросите у них: как же говорить должно? то всякая из них отвечает: «не знаю; но это грубо, несносно».[1] «Европейская образованность даровала первое место в обществе женщинам».[2] П. Макаров, представляя женщин «украшением собраний, оракулами разговоров»,[3] ставит творчество писателя в рабскую зависимость от «роскошных будуаров Аспазий».[4]

В связи с ориентацией литературного творчества на язык салона и на язык светской дамы усиленно дебатируется тема о положении писателя в обществе. Карамзин настаивает на том, что писатель должен быть светским человеком; должен «узнать свет — без чего трудно писателю образовать вкус свой, как бы он учен ни был». «Надобно заглядывать в общество — непременно, по крайней мере в некоторые лета — но жить в кабинете». В. А. Жуковский (статья «Писатель в обществе») присоединяется к мнению Карамзина: «Уединение делает писателя глубокомысленным, в обществе приучается он размышлять быстро и, наконец, заимствует в нем искусство украшать легкими и приятными выражениями самые глубокие свои мысли».[5]

«...Привыкнув мешать уединение с светскою жизнью, писатель удобнее других может сохранить особенность своей физиономии; конечно, он будет иметь с другими некоторое несходство, но в то же время не отделится от них резкою (следовательно, неприятною) с ними противоположностью» (Ib.).

Так образ писателя погружается в атмосферу речи и поведения «большого света», подчиняется его нормам, окружается экспрессивными формами языка «светской дамы». Но Пушкин отвергает эту концепцию «образа писателя». Пушкин с 20-х годов допускает в литературном языке гораздо большую свободу и широту экспрессии, стилистических различий, чем предписывалось писателями «большого света». «Многие негодуют на журнальную критику за дурной ее тон, незнание приличия и тому подобное: неудовольствие их несправедливо. Ученый человек, занятый своим делом, погруженный в свои размышления, не имеет времени являться в общество и приобретать навык к суетной образованности, подобно праздному жителю большого света. Мы должны быть снисходительны к его простодушной грубости, залогу добросовестности и любви к истине. Педантизм имеет свою хорошую сторону. Он только тогда смешон и отвратителен, когда мелкомыслие и невежество выражаются его языком» (IX, 403). Эта свобода литературной экспрессии,

---

[1] «Отчего в России много авторских талантов», Соч., III, 529.
[2] «Вестн. Европы» 1826, № 2 — «Мысли и замечания», ст. Нечаева, 136.
[3] Соч. и перев., т. I, ч. 2, 10.
[4] Ib., 35.
[5] Соч. в прозе В. Жуковского, Спб., 1826, 184—185.

это широкое признание за писателем права преступать в своем стиле нормы светского выражения были явно направлены на защиту языка буржуазно-дворянской интеллигенции, языка «хорошего общества», против тех ограничений, которые предъявлялись к писателю и писательству литераторами, защищавшими традиции так называемого «большого света».

§ 3. Пушкин, как только начала определяться его самостоятельная литературно-языковая позиция, т. е. с начала 20-х годов, выступает принципиальным противником «языка светской дамы» как нормативной системы салонных стилей. Вопрос о языке дамы был неизмеримо шире вопроса о том, как должна говорить и писать женщина в быту и в литературе. Так как «светская женщина», согласно Карамзинскому канону, была «душой» литературы, законодательницей литературного языка, то проблема «языка дамы» почти покрывала собою вопрос о границах и нормах литературного языка, предопределяла исключение форм «простонародной» речи, грубого просторечия и резких церковнославянизмов из пределов литературы. Ведь само понятие «литературности» с этой точки зрения было обусловлено идеальным представлением о нормах женского вкуса, женского понимания и светского приличия.

Пред Пушкиным прежде всего возникает историческая и художественно-стилистическая задача — очертить литературный и бытовой образ светской женщины, определить его содержание и назначение в искусстве. Задача сразу становится полемической. Пушкин разоблачает шаблоны того «идеального» облика «дамы приятной во всех отношениях», который управлял нормами и формами литературы карамзинского и послекарамзинского периодов. Современная литература представляется Пушкину плоскостью символических отражений этого фальшивого, ограниченного облика великосветской женщины, этих «будуарных или паркетных дам», к которым адресуют свое творчество литераторы. Литература и язык воплотили в себе все художественные пороки этого образа женщины. Прежде всего литература и ее язык бедны мыслями. «Даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола», пишет Пушкин, «не предполагают в женщинах ума, равного нашему (силы понятия, равной мужскому уму), и, приноравливаясь к слабости их понятия, издают ученые книжки для дам как будто для детей и т. п.».[1] Отвергая *просторечие*, буржуазная литература культивирует «*простомыслие*».[2]

Стилистическая ориентация литературы на формы «слабого» женского понимания — признак упадка литературы, ее бессилия

---

[1] Т. IX, 37.

[2] Ср. у Ф. Булгарина в предисловии к «Димитрию Самозванцу»: «Просторечие старался я изобразить *простомыслием* и низким тоном речи, а не грубыми поговорками».

овладеть своим «предметом», ее «незнания женщин». «В самом деле: не смешно ли почитать женщин, которые так часто поражают нас быстротою понятия и тонкостью чувства и разума, существами низшими в сравнении с нами? Это особенно странно в России, где царствовала Екатерина II, и где женщины вообще более просвещены, более читают, более следуют за европейским ходом вещей, нежели мы, гордые бог ведает почему» (IX, 403). Этому интеллектуальному убожеству «дамоподобной» литературы соответствовали смысловая ограниченность и экспрессивная бедность ее языка.

Речь дамы «лучшего тона», к которой была обращена литература и дворянских и буржуазных писателей, иронически характеризуется Пушкиным в таком пояснении: «Дама самого лучшего тона, т. е. та, которая всего реже изъясняется на своем языке» (IX, 86, Примеч.). Своего брата поэт стыдил: «Как тебе не стыдно, мой милый, писать полу-русское, полу-французское письмо, ты не московская кузина» (Письмо от 24 января 1822 г.).

Итак, русская литература и ее язык социально принижены. Они ограничены узким кругом слов и выражений, условно принятых за «салонные», «светские». Они сдавлены суровым режимом провинциальной чопорности, «чопорности уездной заседательницы» (IX, 329, Примеч.), приторного жеманства и «смешной стыдливости». Литературное служение образу нежной и разборчивой салонной дамы-читательницы связано с запретом «низких» стилей, с отрывом литературы от «свежести, простоты и, так сказать, чистосердечности выражений русского простонародного языка». «Кстати или не кстати некоторые критики, добровольные опекуны прекрасного пола, разбирая сочинения, замечают обыкновенно, что такие-то дамам читать будет неприлично, как слишком простонародные, низкие, как будто простонародное выражение, как будто описание шотландских кабаков в романах Вальтера Скотта должно непременно оскорблять тонкое чувство модной дамы и должно ужасаться простонародных прозаических подробностей жизни. Эта провинциальная чопорность доказывает малое знание света (и его обычаев) и того, что в нем принято или нет. Это-то, по нещастию, слишком у нас обыкновенно и приносит немалой вред нашей младенческой литературе» (IX, 86, Примеч.). «Дамоподобие» русской литературы — не только симптом ее социально-диалектологической узости и ее провинциализма, но и свидетельство ее стилистического однообразия, ее языковой мертвенности. И это — еще не все. Русская литература и ее язык в своем ложно-«буржуазном» преклонении перед будуарными читательницами и «паркетными» дамами оторваны от живой социальной действительности, от многообразия ее проявлений. Они фальшивы и идеологически и стилистически: воссоздавая в формах литературного искусства «выс-

ший свет» и подделываясь под тон высшего дворянского общества, литераторы, особенно из разночинцев, делают это, по словам Пушкина, «так же удачно, как горничные и камердинеры пересказывают разговоры своих господ».[1] «Пора, пора нам осмеять les précieuses ridicules нашей словесности, людей, толкующих вечно о прекрасных читательницах, которых у них не было, о высшем обществе, куда их не просят, и все это слогом камердинера профессора Тредьяковского». Иными словами: литературные фальсификации салонных стилей лишь выдают бессодержательность и социальную беспочвенность буржуазно-дворянских шаблонов литературного языка. Пушкин остро формулирует основной парадокс светской литературы своего времени: условный формализм ее «великосветского стиля», далекого от реальной жизни и обстановки «хорошего общества». Дамоподобная литература помешана на ложном уважении к законам «большого света» — и в то же время борется с писателями-аристократами. Она ориентируется на высшее общество и на «будуарную читательницу» и в своей буржуазной чопорности создает стиль «деревенской просвирни, дьячихи, запросто пришедшей в гости к петербургской барыне» (IX, 106, 115), или стиль «уездной заседательницы» (IX, 329, Примеч.). Она в своих художественных исканиях обращена к живым социальным категориям действительности — и в то же время отгораживается от них смешными буржуазными условностями литературных представлений о светском салоне.

Отвергая обвинения в аристократизме, направленные против сотрудников «Литературной газеты», Пушкин по контрасту характеризует господствующие тенденции литературы: «В чем же состоит их (т. е. сотрудников «Литературной газеты») аристократия?.. Может быть, в притязаниях на тон высшего общества? Нет, они стараются сохранить тон хорошего общества, проповедают сей тон и другим собратьям, но проповедают в пустыне. Не они поминутно находят одно выражение *бурлацким,* другое *мужицким*, третье *неприличным для дамских ушей* и т. п. Не они гнушаются просторечием и заменяют его простомыслием (niaiserie NB. не одно просторечие). Не они провозгласили себя опекунами высшего общества... Не они толкуют вечно *о будуарных читательницах, о паркетных дамах*» (IX, 106). Так в сфере языка и мысли создалась пропасть между литературой и бытом. Литература, отдавая себя на служение светской женщине, потеряла реальное ощущение своей героини. «Еслиб Недоросль, сей единственный памятник народной сатиры, еслиб Недоросль, которым некогда восхищались Екатерина и весь ее блестящий двор, явился в наше время, то в наших журналах, посмеясь над правописанием Фонвизина, с ужасом заметили бы, что

[1] «Лит. приб. к Русск. Инвалиду» 1831, № 79; Переписка, II, 309.

Простакова бранит Палашку *канальей* и *собачьей дочерью*, а себя сравнивает с сукою (!!). «Что скажут дамы? — воскликнул бы критик, — ведь эта комедия может попасться дамам!» — В самом деле страшно! Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами! Где бы, как бы послушать! А дамы наши (бог им судья!) их и не слушают и не читают, а читают этого грубого Вальтера Скотта, который никак не умеет заменять просторечие простомыслием...» (IX, 115). Этот мертвый и лживый формализм литературного канона был причиной того, что литература не только утратила влияние на читающую публику, всем своим содержанием доказывая свою внутреннюю неспособность «управлять общим мнением», но вступила на комический путь противоречий воспроизводимому ею быту, на путь смешных, мелких и «забавных промахов». «Не смешно ли им (т. е. литераторам) судить о том, что принято или непринято в свете, что могут, чего не могут читать наши дамы, какое выражение принадлежит гостиной (или будуару, как говорят эти господа)? Не забавно ли видеть их опекунами высшего общества, куда вероятно им и некогда и вовсе не нужно являться? — Не странно ли в ученых изданиях встречать важные рассуждения об отвратительной безнравственности такого-то выражения и ссылки на *паркетных дам?* Не совестно ли вчуже видеть почтенных профессоров, краснеющих от светской шутки? Почему им знать, что в мущине жеманство и напыщенность нестерпимы, еще более выказывают мелкое общество, чем простонародность (vulgarité), и что оно-то именно и обличает незнание света. Почему им знать, что откровенные оригинальные выражения простолюдинов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха, между тем как чопорные обиняки провинциальной вежливости возбудили бы только общую невольную улыбку... Эта охота выдавать себя за членов высшего общества вводила иногда наших журналистов в забавные промахи. Один из них думал, что невозможно говорить при дамах о *блохах* и дал за то строгий выговор — кому же — одному из молодых блестящих царедворцев» (IX, 116—117).

Несоответствие литературного воспроизведения светского языка формам его разговорно-бытовых стилей Пушкин объясняет социологически. В сторону русской литературы можно повернуть рассуждения Пушкина о неестественном языке трагедии. «Поэт чувствовал себя ниже своей публики... Он старался угадывать требования утонченного вкуса людей, чуждых ему по состоянию. Он боялся унизить такое-то высокое звание, оскорбить таких-то спесивых своих зрителей и — отселе робкая чопорность, смешная надутость, вошедшая в пословицу (un heros un roi de comedie), привычка смотреть на людей высшего состояния с каким-то подобострастием и придавать им странный, нечеловеческий образ изъяснения» (IX, 125). Тем же рабством мелкого дворянства

и буржуазии перед аристократическим салоном Пушкин объясняет стилистическую ограниченность, скованность русского литературного языка, отсутствие в нем живых национальных основ. Это неизбежное следствие интернационально-европейского однообразия речи высшего общества, аристократии. «Отселе вежливая, тонкая, словесность, блестящая, аристократическая — немного жеманная, но тем самым понятная для всех дворов Европы — ибо высшее общество, как справедливо заметил один из новейших писателей, составляет во всей Европе одно семейство» (IX, 225).

Но исследователь Пушкинского языка обнаружил бы близорукость, если бы увидел в этих обличительных тирадах Пушкина только борьбу с буржуазным вырождением стилистических традиций аристократической литературы во имя полного и широкого, многообразного отражения светских дворянских стилей в литературе. Пушкин стремится к разрушению узкоклассовых границ литературной речи, к раздвижению ее пределов в сторону просторечия и простонародных диалектов, к национально-историческому синтезу разнородных социально-языковых категорий. Новые, предносившиеся Пушкину нормы литературной речи объединялись поэтом в понятии языка «хорошего общества». Это была система национальных стилей, которая мыслилась как совокупность форм литературного выражения, общих дворянству и буржуазии, но выросших из основных, живых исторических корней дворянской культуры. А искусственный литературный стиль аристократического салона представлялся поэту антинациональным и культурно отжившим.

Процесс буржуазного вырождения и перерождения традиций салонно-дворянской литературы, по Пушкину, должен иметь своим неизбежным логическим завершением самоотрицание этой литературы. Она в своем историческом омертвении дошла до непримиримых противоречий не только с реальной действительностью, но и с теми литературными произведениями, которые дали этой светской литературе жизнь и которые легли в основу ее поэтики.

Приводя как пример стилистического жеманства литераторов их ужас перед выражением «сукин сын» в романе Загоскина, Пушкин замечает: «Газета дала заметить автору, что в его простонародных сценах находятся слова ужасные: *сукин сын.* Возможно ли — что скажут дамы, если паче чаяния взор их упадет на это неслыханное выражение. Что б они сказали Фонвизину, который императрице Екатерине читал своего Недоросля, где на каждой странице эта невежливая Простакова бранит Еремеевну *собачьей дочерью?* Что сказали бы новейшие блюстители нравственности и о чтении Душеньки и об успехе сего прелестного произведения? Что думают они о шутливых одах Державина, о прелестных сказках Дмитриева? — *Модная жена*

не столько же ли безнравственна как и граф Нулин?» (IX, 177).

Но Пушкин не довольствуется приемами исторического анализа комических несоответствий между нормами литературы и формами быта, между литературной современностью и ее генеалогическими корнями. Он идет дальше по пути исторических сопоставлений и ссылками на историю французской литературы и французского языка утверждает необходимость свободы литературы от феминизации, от «благосклонной улыбки прекрасного пола». «Кто отклонил французскую поэзию от образцов классической древности? Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже строгую музу старого Корнеля? Придворные Людовика XIV. Что навело холодный лоск вежливости и остроумия на все произведения писателей 18 столетия? Общество m-mes du Deffand, Boufflers, d'Epinay, очень милых и образованных женщин. Но *Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола*». [1] Таким образом следствием феминизации литературы и ее языка является отрыв литературы от национальных основ, от разговорной речи всех сословий и классов, где крепок национальный язык. Это следствие, по Пушкину, неизбежно вытекает из литературного культа женщины, из приноровления литературы к вкусу светских женщин, которые в своем единомыслии и единодушии «составляют один народ, одну секту» (IX, 398). [2]

Во всех этих замечаниях Пушкина звучало требование слить образ читательницы с образом читателя, изменить стиль и образ адресата литературного произведения.

§ 4. Пушкин уже в первой половине 20-х годов открыто осуждает манеру адресовать литературное произведение «пре-

---

[1] «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (IX, 20).

[2] «Дело в том, что женщины везде те же. Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью самой раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, недосягая души; они бесчувственны к ее гармонии, примечайте, как они поют модные романсы, как искажают стихи самые естественные, расстраивают меру, уничтожают рифму. Вслушивайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия. Исключения редки» (IX, 35—36). В черновых автографах статьи эта характеристика отношения женщины к искусству дополняется такими штрихами: «Они вообще смешно судят о высоких предметах политики и философии, нежные уши их неспособны к мужественному напряжению... Они холодно читают красноречивые трагедии Расина и плачут над посредственными романами Августа Лафонтена» (IX, 84, Примеч.). Интересны также отзывы Пушкина о «светской», «дамской» критике «Истории государства Российского» Карамзина: «... Признаюсь, ничего нельзя вообразить глупее светских суждений, которые удалось мне слышать: они были в состоянии отучить хоть кого от охоты к славе. Одна дама (впрочем, очень милая), при мне открыв вторую часть, прочла вслух: «Владимир усыновил Святополка, однако, не любил его...». «Однако! Зачем не *но? Однако?* Чувствуете ли вы всю ничтожность вашего Карамзина?»

красному полу», ту манеру, которая отражалась и на языке ранних Пушкинских сочинений (ср. посвящение «красавицам» «Руслана и Людмилы»). «Корнилович славный малой и много обещает, но зачем пишет он *для снисходительного внимания мил. госуд.* NN и ожидает *ободрительной улыбки прекрасного пола* для продолжения любопытных своих трудов?.. Все это старо, ненужно и слишком уже пахнет «Шаликовскою невинностью» (I, 99, Письмо А. А. Бестужеву от 8 февраля 1824 г.). В письме к Вяземскому Пушкин, развивая ту же тему, решительно противопоставляет себя «писателям 18 века: «я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть для улыбки прекрасного пола» (I, 102).

В поэме «Разбойники» Пушкин откровенно вступает в борьбу с нормами того литературного языка, который рассчитан на «нежные уши читательниц». Бестужеву поэт пишет: «Если отечественные звуки *харчевня, кнут, острог* — не испугают нежных ушей читательниц «Полярной звезды», то напечатай его. Впрочем, чего бояться читательниц? Их нет и не будет на руской земле, да и жалеть не о чем» (Переписка, I, 71). О «Борисе Годунове» Пушкин писал Плетневу: «Какого вам Бориса и на какие лекции? В моем Борисе бранятся по матушке на всех языках. Это — трагедия не для прекрасного полу» (Переписка, I, 334). Катенин, услышав об этом ответе поэта, пришел в восторг и писал Пушкину: «Меня недавно насмешил твой (якобы) ответ на желание одного известного человека прочесть твою трагедию «Годунов»: «Трагедия эта не для дам, и я ее не дам». Скажи, правда ли это? Меня оно покуда несказанно тешит... Но я право не дама, и нельзя ли мне как-нибудь «Годунова» показать» (Ib., 348).

В «Разговоре книгопродавца с поэтом» (1824) [1] отречение поэта от женщин-читательниц патетически завершается темой отвергнутой любви. Но, независимо от этой сюжетной роли, «отречение» сохраняет значение литературного манифеста. [2] Поэт в нем защищает свою свободу творчества, отказываясь от дамской литературы: [3]

---

[1] Ср. «Женщины», отрывок из «Евгения Онегина» («Моск. вестн.» 1827, ч. 5).

[2] Ср. Стихотворение К. Ш. (Шаликова) в «Дамск. журн.» (1825, X, № 8) «К Александру Сергеевичу Пушкину (на *его отречение петь женщин*)». Ср. письмо Пушкина кн. Вяземскому от 19 февраля 1825 г. (Переписка, I, 181; ср. также 218).

[3] Ср. обличения поэта и защиту дам по этому поводу в «Дамск. журн.» (1825, IX, № 6): «Дамы наши, переводя в разговорах французские фразы на русские слова, по крайней мере *чувствуют* свойственным их полу образом: и вообще скорее к мущинам, большей частью холодным, завистливым, педантам, нежели к женщинам, касательно литературы, вовсе не знающим сих пороков, можно и должно отнести сие поэтическое раскаяние пленительное в самой несправедливости своей... ибо что есть женский пол, как не *пиитическая* половина рода человеческого?»

Но полно, в жертву им свободы
Мечтатель уж не принесет;
Пускай их Шаликов поет,
Любезный баловень природы.
Что мне до них? Теперь в глуши
Безмолвно жизнь моя несется;
Стон лиры верной не коснется
Их легкой, ветреной, души;
Нечисто в них воображенье:
Не понимает нас оно,
И, призрак бога, вдохновенье
Для них и чуждо и смешно.

В связи с этим стилистическим поворотом Пушкинской поэзии «Московский вестник» (1828, VII, № 4) иронизировал: «Дамы вообще в ужасном негодовании на Пушкина за то презрение, которое он к ним при всяком случае обнаруживает в стихах своих, за злость, с которою придирается».

Литературное произведение должно быть направлено не к модной даме-читательнице и не к «высшему свету», а к «хорошему обществу», которое «может существовать... везде, где есть люди честные, умные и образованные» (IX, 116). С точки зрения идеальных представлений об языке этого «хорошего общества» Пушкин рассматривает построение речи действующих лиц в светских романах и повестях. Так, поэт возмущен той ролью, которая выпала на долю Мильтона в «облизанном» романе Альфреда де-Виньи «Сен Марс».

В подлинно художественном произведении «разговоры Мильтона с Дету, Корнелем и Декартом, не были б пошлым и изысканным пустословием; а в обществе играл бы он роль ему приличную, скромную роль благородного и хорошо воспитанного молодого человека» (IX, 389).

Само понятие «светскости» языка, Карамзинское представление о тоне высшего общества разрушается Пушкиным приемами просторечно-бытового воспроизведения. «Северная пчела» писала о седьмой главе «Евгения Онегина»: «Мы по крайней мере надеялись найти в Онегине тон большого света, о котором нам толкуют беспрерывно в альманачных обозрениях словесности, но что же мы видим? Московские барышни

Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы.

Потом:

Взбивают кудри ей по моде.

А на бале;

Друг другу тетушки мигнули.
И локтем Таню враз толкнули...»

(«Сев. Пчела» 1830, № 35 и 39)

Между тем Пушкин в «Евгении Онегине» воплощает свой идеал «гостиной истинно-дворянской», которая санкционирует «слог простонародный»: [1]

В гостиной истинно-дворянской
Смеялись щегольству речей
И щекотливости мещанской
Журнальных, чопорных статей.
Хозяйкой светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ее ушей
Живою странностью своей.

Эта «истинно-дворянская гостиная» — не столько воспроизведение быта, сколько художественный показ литературного идеала и утверждение «истинных» норм «языка хорошего общества» в атмосфере дворянской культуры.

Так Пушкин, стараясь вывести литературу и ее язык из узких рамок салона, выдвигает нормы языка и быта хорошего общества как социальный фундамент литературы, как идеальную сферу ее стилистической ориентации. «Нашим литераторам хочется нам доказать, что и они принадлежат к высшему обществу (high life, haute classe de la société), что и им известны его законы; не лучше ли было бы им постараться по своему тону и своему поведению принадлежать к хорошому обществу (bonne société)... Хорошие общества могут существовать и не в высшем кругу, а везде, где есть люди честные, умные и образованные». В понятие языка хорошего общества входил признак «мужественного напряжения», принцип борьбы с дамоподобием литературы и быта. «Что за аристократическая гордость позволять всякому уличному шалуну метать в тебя грязью! посмотрите на Английского лорда: он готов отвечать на учтивый вызов gentleman и стреляться на кухенрейтерских пистолетах, или снять с себя фрак и box'овать на перекрестке с извощиком. Это настоящая храбрость — но мы и в литературе и в общественном быту слишком чопорны, слишком дамоподобны» (IX,

---

[1] В другой редакции полемическая заостренность текста еще виднее:

Со всею вольностью дворянской
Чуждались щегольства речей
И щекотливости мещанской
Журнальных чопорных судей.
В гостиной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою странностью своей.
(Чему наверно удивится,
Готовя свой разборный лист,
Иной глубокий журналист;
Но в свете мало ль что творится,
О чем у нас не помышлял,
Быть может, ни один журнал).

98). И Пушкин иронически демонстрирует мужественную свободу от литературного жеманства в своем стихотворном языке и в языке своей прозы, критической и повествовательной. Озаглавив одну из своих заметок выражением: *«сам съешь»*, выражением, которым в «энергическом наречии нашего народа» заменяется более учтивое, но столь же затейливое выражение: *«обратите это на себя»*, Пушкин пародически заострил это заглавие «замечанием для будуарных или даже для паркетных дам, как журналисты называют дам им незнакомых». «Происхождение сего слова: остроумный человек показывает шиш и говорит язвительно: *съешь,* а догадливый противник отвечает: *сам съешь»* (IX, 104). Вместе с тем Пушкин с комическим прискорбием констатирует безвыходность своего литературного положения, свое неуменье угодить стилистическим вкусам и требованиям ревнителей дамского, нежного и разборчивого языка. «Слова *усы, визжать, вставай, Мазепа, ого, пора* — показались критикам *низкими,* бурлацкими выражениями. Как быть!» [1] — пишет поэт («Денница» на 1831 год, 128).

§ 5. Борьба Пушкина с литературными нормами «светского стиля» обязывала его дать в своем творчестве образцы теоретически утверждаемых им форм «языка светской дамы». Ведь Пушкин, борясь с дамоподобием литературы, не стремился подобно Шишкову подчинить все многообразие субъектов литературного языка и все стилистические различия форм литературного выражения образу ученого «церковнокнижника» с национально-демократическими замашками, как идеальной основе литературно-книжности. Пушкин стоял за свободу субъектно-характеристических вариаций в литературном языке. Тут ему был чужд ученый консерватизм Шишкова. А. С. Шишков, издеваясь над обращением Карамзина к «даме», как к высшей инстанции по делам литературного языка и вкуса, писал: «Милые *дамы* или по нашему грубому языку *женщины, барыни, барышни* редко бывают сочинительницами, и так пусть их говорят как хотят. А вот несносно, когда господа писатели *дерут уши* наши не русскими фразами». [2] И в другом месте он дает совет Карамзину и карамзинистам не считаться с оценками и вкусами читательниц: «Не спрашивайте ни у светских дам, ни у монахинь, и зачем у них спрашивать, когда оне говорят: не знаю?». [3] В «Речи при открытии Беседы любителей русского слова» А. С. Шишков более галантно развивает ту же точку зрения об обязанности, лежа-

---

[1] Ср. замечания Надеждина о стихе: «И с диким смехом завизжала» (Мария): «Так говорят только об обваренных собаках» — и о стихах: «Ого! пора! Вставай, Мазепа. Рассветает»: «Надобно же иметь богатый запас веселости, чтобы заставить Карла в стольроковые минуты так бурлацки покрикивать над ухом несчастного Гетмана».

[2] «Рассуждение о старом и новом слоге», 150—151.

[3] Ib., 159.

щей на учёных, трудолюбивых умах учить дам чистоте и правильности языка: «Трудолюбивые умы вымышляют, пишут, составляют выражения, определяют слова; женщины, читая их, научаются чистоте и правильности языка; но сей язык, проходя через уста их, становится яснее, глаже, приятней, слаще». [1]

Следует сопоставить с этими суждениями Шишкова такое рассуждение Карамзина: «Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что русской язык груб и неприятен; что charmant и séduisant, expansion и vapeurs не могут быть на нем выражены; и что, одним словом, не стоит труда знать его. Кто смеет доказывать дамам, что они ошибаются? Но мущины не имеют такого любезного права судить ложно. Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богатее гармониею, нежели французской, способнее для излияния души в тонах; представляет более *аналогических* слов, т. е. сообразных с выражаемым действием; выгода, которую имеют одни коренные языки! Беда наша, что мы все хотим говорить по-французски, и не думаем трудиться над обработыванием собственного языка; мудрено ли, что не умеем изъяснять им некоторых тонкостей в разговоре?» («О любви к отечеству и народной гордости»).

Для Пушкина были одинаково неприемлемы позиции славянофилов и европеистов. Разрушая нормы салонного стиля и отрицая вслед за Шишковым стилистическую ориентацию литературного творчества на «язык светской дамы», Пушкин представляет женскую речь как сферу субъектно-экспрессивных варьяций общего национально-литературного языка. В «Евгении Онегине» звучат отголоски литературно-языковых споров по этому вопросу. Принято всерьез, как искреннее признание, цитировать стихи Пушкина:

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.
Быть может, на беду мою
Красавиц новых поколенье,
Журналов вняв молящий глас,
К грамматике приучит нас;
Стихи введут в употребленье,
Но я... какое дело мне?
Я верен буду старине.

XXIX

Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
По прежнему сердечный трепет
Произведут в груди моей;

---

[1] Собр. соч. и перев., IV, 144.

Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича стихи.

В письме кн. Вяземскому поэт ссылался на эти стихи как на выражение своего отношения к галлицизмам (Переписка, I, 236). На этом фоне та же экспрессия литературного сочувствия готова разлиться и по характеристике русского языка дам.

Что делать! повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русски,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.

XXVII

Я знаю: дам хотят заставить,
Читать по-русски. Право, страх!
Могу ли их себе представить
С Благонамеренным в руках.
Я шлюсь на вас, мои поэты,
Не правда ль: милые предметы...
Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?

Но следует ли эти стихи понимать буквально? Нельзя совлекать с них иронию поэта.[1] Ведь язык письма Татьяны, вопреки предварительным извинениям автора, — русский, непереводный. Он не предполагает стоящего за ним французского текста. Поэт выступает здесь не столько в роли литературного бытописателя, сколько в роли реформатора: он создает нормы «идеального» языка русской женщины-дворянки, а не воспроизводит его. Так это и поняла критика пушкинской поры. «Где умел он (Пушкин), — спрашивала «Сев. пчела», — найти эти страстные выражения, которыми изобразил томление первой любви? Как постиг он простоту невинного девичьего сердца, рассказал нам признание Татьяны в ночном ее разговоре с нянею и в письме к Онегину! сии стихи, можно сказать, *жгут страницы*» («Сев. пчела» 1827, № 124). «Моск. телеграф» (1827, XVII, № 19) также отмечает контраст между авторскими предупреждениями и стилем письма Татьяны. А князь Шаликов («Дамск. журнал»

[1] Ср. «Сын отеч.» 1827, ч. 115, № 19: «Сказав, что письмо Татьяны к Онегину было написано по-французски, он (Пушкин) весьма остроумно подшучивает над тем, что прекрасный пол почти отучил нас от природного нашего языка... И это говорит он с такой правдоподобною важностью, что можно подумать, будто бы он хотел выдать за точные свои мнения сию едкую иронию: «неправильный небрежный лепет» и т. п. В новых главах Онегина... по странному, свойственному поэтам противоречию, нет галлицизмов».

1827, XX, № 21) тонко комментирует те языковые эффекты, которые создаются этим контрастом авторского предисловия и письма героини, этой игрой субъектов повествования. — Автор спрашивает:

Кто ей внушал и эту нежность
И слов небрежную любезность?..

И читатель говорит: «Я не могу понять, кто *ему* внушил все сии оттенки изображаемого предмета?» Автор внушает отношение к русскому тексту письма Татьяны, как к «неполному слабому переводу».

Это:

С живой картины список бледный,
Или разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц

«Но сия-то *бледность* списка и составляет истинную яркость картины; но сии-то персты *робких* учениц и дивят смелостью сравнения». «Моск. вестник», наконец, открыто заявляет (1828, VII, № 1): «Мы удивляемся, как наши дамы, прочитав письмо Татьяны и всю третью песнь Онегина, еще до сих пор не отказываются в обществе от языка французского, и как будто все еще не смеют или стыдятся говорить языком отечественным». Любопытно свидетельство кн. Вяземского: «Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну без нарушения женской личности и правдоподобия в слоге: от страха сбиться на академическую оду, думал он написать письмо прозой, думал даже написать его по-французски, но, наконец, счастливое вдохновение пришло кстати, и сердце женское запросто и свободно заговорило русским языком» (Полн. собр. соч., II, 23).

В самом деле, язык письма Татьяны свободен от перифраз и метафор дамского стиля карамзинистов. В нем мало даже таких выражений, которые могли бы «отечестволюбивым» пуристам того времени показаться продуктом сближения русской семантической системы с французскою. Большинство их непосредственно восходят к нормам русской литературной семантики. Достаточно вникнуть в «русский дух» таких фраз, которые славянофил мог бы заподозрить в «галлицизме»:

Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать)...

(ср. значение франц. apaiser: apaiser les flots; apaiser les agitations de l'âme inexpérimentée и ср. отсутствие этого значения у глагола *смирить* в «Словаре Акад. Росс.» 1822, VI, 262—263).

Однако ср.:

Но пылкого смирить не в силах я влеченья
(«К Жуковскому», 1816)

Смирите гордости жестокой исступленье
(«Безверие», 1817)

Смирив немирные желанья
(«Орлову», 1819)

И обновленного народа
Ты буйность юную смирил
(«Наполеон», 1821)

в «Романе в письмах»: «Чтобы смирить твое самолюбие, объявляю...», и мн. др.

Вся жизнь моя была *залогом*
Свиданья верного с тобой

(ср. значение франц. gage и отсутствие переносного значения слова *залог* в «Акад. словаре», II, 634).

Но ср.:

И ни единый дар возлюбленной моей,
Святой залог любви, утеха грусти нежной...
(«Пускай увенчанный любовью», 1824)

Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя...
(«П. А. Плетневу», 1827)

В залог прощенья мирный поцелуй
(Дон Жуан, «Каменный гость»)

Так, сердце, жертва заблуждений...
Хранит один святой залог
(«Бахчисарайский фонтан»)[1]

и мн. др.

Ср. у Карамзина в «Истории государства Российского»: «Первая удача была залогом новых»; у Пушкина в «Барышне-крестьянке»: «В залог примирения подарила ей баночку английских белил» и др. под. Ср. у Милонова в стихотворении «Мать-убийца»:

Ни залог любви — сей дар,
Львов и тигров радость.
Обман неопытной души

(ср. значение франц. illusion и определение слова *обман* в «Словаре Акад. Росс.» IV, 69).

Но ср.:

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман.
(«К Чаадаеву», 1818)

Желаний и надежд томительный обман...
(«Погасло дневное светило», 1820)

и др. под.

---

[1] Ср. также:

Залог поэзии священный
И дружбы сладостный залог
(Черн. набр., 1824

Ср. у кн. П. А. Вяземского в стихотворении «Уныние» (1820):

Надежд несбыточных испытанный обман.
И *в мыслях* молвила: вот он!

(но во франц.: en pensée);

Или молитвой *услаждала*
Тоску волнуемой души.

(ср. употребление французского adoucir и русского глагола *услаждать*: производить в ком-нибудь удовольствие. *Услаждать красноречием*) («Словарь Акад. Росс.», VI, 1023).[1] Однако можно видеть отражения французского языка в таких выражениях письма Татьяны:

Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я.

(ср. франц.: donner son coeur);

Слова *надежды* мне шепнул

(франц. les mots d'espérance).

Ср. также:

Единым взором
Надежды сердца оживи
Иль сон тяжелый перерви.
Увы! заслуженным укором.

Легко убедиться, что все эти формы словоупотребления, даже те, которые восходили к французской семантической системе, в начале XIX века уже вошли в состав лексических шаблонов литературной русской речи. Следовательно, это уже не были «галлицизмы» даже в Шишковском смысле. Другие слова и выражения письма Татьяны колеблются между стилями

---

[1] Стих «То *воля неба:* я твоя» тоже является двойственным. Он может быть отчасти отнесен к сфере французского влияния.

Ср. у Пушкина:

Чья кисть, *о небо*, означала
Сии *небесные* черты

(„Недоконченная картина", 1819)

В «Каменном госте»

Небо!
Что с нею? что с тобою, Дона Анна?

(Ср. франц.: o ciel! Grâce au ciel и т. п.).

Но, с другой стороны, опору такого словоупотребления можно найти и в славяно-русском языке. Например: «я согрешил против неба и пред тобою» (от Луки, XV, 18). Ср. у Пушкина в «Дубровском»: «Я не смею... благодарить небо за непонятную незаслуженную дружбу» и т. п. Ср. также французское происхождение выражения — иметь надежду:

Когда б *надежду я имела*
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас

разговорного просторечия (например: *нелюдим*,[1] «ничем мы не *блестим*» (ср. франц. briller), «как знать?», «вся обомлела, запылала» (ср. франц. brûler), «это все пустое» и др.) и литературно-книжного, «славянского» языка (например: «*то в вышнем суждено совете*», «незримый»; «тоску *волнуемой души*», «*ангел ли хранитель*», «*рассудок мой изнемогает*» и т. п.).

Но, конечно, основа языка Татьяны — не только в этом «смешении»: она — в новых формах экспрессии, в новых принципах выражения чувств.

Любопытно, что в письме Онегина, которое является символическим отражением письма Татьяны[2] (ср. соответствия):

в письме Татьяны:

Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.

— в письме Онегина:

Какое горькое презренье
Ваш гордый взор изобразит;

в письме Татьяны:

Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить.

— в письме Онегина:

Нет, поминутно видеть вас
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленным глазами,
Внимать вам долго...

в письме Татьяны:

Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья,
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать)

---

[1] Ср. о стиле письма Татьяны замечания Пушкина в письме кн. Вяземскому: «Отвечаю на твою критику: *нелюдим* не есть мизантроп, т. е. ненавидящий людей, а убегающий от людей. Онегин нелюдим для деревенских соседей; Таня полагает причиной тому то, что *в глуши, в деревне,* все ему скучно, и что *блеск* один может привлечь его. Если впрочем смысл и не совсем точен, то тем более истины в письме; письмо женщины, к тому же 17-летней, к тому же влюбленной» (Переписка I, 150—151).

Ср. также конструкции:

Твоей защиты умоляю.
Стыдом и страхом замираю.

Ср. в письме Юлии к Сен-Пре («Новая Элоиза» Руссо): «tu dois être mon unique defenseur contre toi».

[2] О приеме символических отражений в стиле Пушкина см. во второй части моей работы, посвященной анализу Пушкинского стиля.

— в письме Онегина:

Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви,
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови;

в письме Татьяны:

То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя...
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю.

— в письме Онегина:

Но так и быть! я сам себе
Противиться не в силах боле;
Все решено: я в вашей воле
И предаюсь моей судьбе;

и нек. др.

— в письме Онегина гораздо более ярко представлена французская стихия русского литературного языка. В той или иной степени к ней можно возвести такие формы Онегинского языка, как, например:

С какою целью
Открою душу вам свою?

(ср. франц.: ouvrir son coeur à quelqu'un; s'ouvrir'a quelqu'un);

Чужой для всех, *ничем не связан*
Я думал...

(ср. в «Словаре Акад. Росс.», V, 89—92 всю группу слов *связать*, *связь* и т. п. и ср. значения франц. фразеологии: lier amitié avec quelqu'un; être fort lié avec qn.; se lier avec qn.; se lier d'amitié; se lier par un contrat; ср. значения liaison и т. д.);

Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами

Ср. у Батюшкова:

Стоит и жадным ловит оком
Реки излучистой последние края
(«Переход через Рейн»)

Еще Шишков в «Рассуждении о старом и новом слоге» отмечал разрушение русской семантической структуры глагола *ловить* под влиянием французского языка (185).[1] Ср. употребление этого слова у Пушкина в ранних стихах:

---

[1] Ср. значение слова *ловить* в «Словаре Акад. Росс.», III, 588—589. Ср. у Вяземского:

Его ты душу в час прощанья
Ловил по трепетным устам...
(„К NN, на смерть его сына“)

Ср. у Дельвига в «Песне»:

Ночью — сплю ли я, не сплю,
Все устами вас ловлю,
Сердцу сладкие лобзанья!

Счастье резвое лови...
("Гроб Анакреона", 1815)

Их очи, полные безумством и томленьем,
Сказали: счастие лови
("Торжество Вакха", 1817)

Минуту юности лови.
("К Каверину", 1817)

С прелестницей ловить веселья тень
("Сон", 1816)

Еще полна
Душа желанья
И ловит сна
Воспоминанья
("Пробужденье", 1816)

В «Евгении Онегине»:

Ловить минуту умиленья (1, XI)
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит... (6, XXI)
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей (8, XV)
Летучей славы не ловлю (1, LV)
Поймал и славу между тем (1, LVIII);

и мн. др. под.

Но ср. бытовое оправдание переносных значений слова *ловить* посредством реализации метафоры:

Жестокая хандра
За ним гналася в шумном свете,
Поймала, за ворот взяла
И в темный угол заперла (8, XXXIV)

и др. под.

Свою постылую *свободу*
Я потерять не захотел.

(ср. франц. perdre la liberté).[1]

Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал

(ср. франц. il est si attaché à cette femme qu'on ne l'en peut arracher; arracher le coeur, l'âme: vous lui arracheriés ploutôt le coeur; ce seroit lui arracher l'âme. Татищев, I, 106).

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала
(«Для берегов отчизны дальной»)

---

[1] Ср., например, в стихотворении «Кн. Голицыной» (посылая ей оду «Вольность»):

И что же? Слабый человек!..
Свободу потеряв навек,
Неволю сердцем обожаю.
(1817)

Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и *гаснуть*... вот блаженство

Ср. раньше (4, XXIV) о Татьяне:

Увы, Татьяна увядает;
Бледнеет, гаснет и молчит.

Ср. франц. s'eteindre.[1]

А между тем притворным хладом
Вооружать и речь и взор

(ср. знач. франц. armer; ср. отвлеченную манерность образа, которой избегает Пушкин в авторском стиле) и др. под.[2]

Интересно, что в речи Онегина (4, XIII—XVI), а также в ее прозаических набросках гораздо больше отражений русско-французского стиля, чем в письме Татьяны и в его черновом плане. Например, в плане речи Онегина: «Мне ли соединить мою судьбу с вашей?.. Вероятно, я первая ваша passion...». Любопытно также, что уже современники, не возводя письма Тани к переписке Юлии из «Новой Элоизы», в письме Онегина склонны были видеть отголоски эпистолярного стиля St. Preux. Так, В. К. Кюхельбекер писал в «Дневнике»: «В письме Онегина к Тане есть место, напоминающее самые страстные письма St. Preux, от слов:

Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!

до стиха:

И я лишен того; etc. (43).

Характерно, наконец, что письмо Онегина не содержит ни церковнославянизмов, ни просторечных выражений (разве

---

[1] Ср. многочисленные примеры употребления в стихах Пушкина глагола *гаснуть* у М. О. Гершензона: «Статьи о Пушкине», 1926, и «Гольфстрем», 1922.

[2] Ср. франц. фразеологию, связанную с образом страсти — огня. Ср. фразы:

Вести спокойный *разговор*...
А я в напрасной скуке *трачу*
Судьбой отсчитанные дни.

Ср. у Милонова в стихотворении «К сестре моей»:

Без наслажденья трачу дни.

Другие примеры употребления этой фразы Пушкиным см. у Влад. Ходасевича — «Поэтическое хозяйство Пушкина».

Ср. у Вяземского в «Коляске»:

Все на толкучем рынке света
Судьбой отсчитанные лета
Торопимся прожить в народ.

Ср. также в черновых набросках отражения французской фразеологии:

Когда б хоть *тень* вы разумели
Того, что в сердце я ношу;

и т. п.

только: «Тащусь повсюду наудачу»; ср. в «Пиковой даме»: «Она... таскалась на балы, где сидела в углу...»).

Таким образом Пушкин изображает Татьяну, будущую светскую даму, по языку более народной, исконно-русской, чем Онегина.

И в других произведениях Пушкина светская женщина, если от ее имени ведется изложение, всегда окружена атмосферой «русского духа», русского языка. Мало того: она полемически исповедует те взгляды на русскую литературу, русский язык, на роль светской женщины в быту и искусстве, которые развивал сам поэт в своих журнальных статьях. Тем самым внушается самоочевидность, реальная непреложность этих мнений. В набросках «Романа в письмах» Лиза так пишет о женщинах провинциальных и столичных и об их отношениях к литературе: «Маша хорошо знает русскую литературу. Вообще здесь более занимаются словесностью, чем в Петербурге. Здесь получают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попеременно верят обеим сторонам, сердятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я понимаю, за что Вяземский и П(ушкин) так любят уездных барышень — они их истинная публика». И еще острее согласие Лизы с Пушкинской оценкой критики «Вестника Европы» (на «Графа Нулина»): «Я было заглянула в журналы и принялась за критики Вестника, но их плоскость и лакейство показались мне отвратительны. — Смешно видеть, как семинарист важно упрекает в безнравственности и неблагопристойности сочинения, которые прочли мы все, мы — санкт-петербургские недотроги!».

В набросках этого романа стиль светской девушки глубже погружен в атмосферу национально-бытового просторечия. Его характеризуют, например, такие слова и выражения: «*ты*, со мною *скрытничаешь*»; [1] «*скучно, мочи нет*»; [2] «мать *толстая, веселая баба,* большая охотница до виста»; «первые шесть частей *скучненьки*»; «она так *важничает,* что, вероятно, свадьба решена»; «мой рыцарь — внук *бородатого мильонщика*»; «мы — санкт-петербургские *недотроги*» и др.

Ср. в ответе Саши: «ты *напрашиваешься* на несчастье — берегись *накликать* его».

Показательно также разговорное употребление церковнославянизмов, например: «я *благословясь* начала с предисловия переводчика»; «я не вовсе отказалась от суеты мира»; «все это весной и летом должно казаться земным раем» и т. п.

Кроме того, приемы характеристики лиц, изображения быта по экспрессии и подбору слов решительно противоречат формам

---

[1] Этого слова нет в «Словаре Акад. Росс.».

[2] *Мочь* в значении силы душевной относится к просторечию («Словарь Акад. Росс.», III, 874).

светского стиля карамзинистов. Достаточно указать на такую манеру «портрета»: «Z. по своему обыкновению была одета уморительно... На платье ее были *нашиты* не *цветы*, а *какие-то сушеные грибы*». — «Отец хлебосол. Мать *толстая веселая баба, большая охотница до виста*. Дочка... воспитанная на романах и на чистом воздухе. Она целый день в саду или в поле с книгой в руках, окружена дворными собаками, говорит о погоде нараспев и с чувством подчует вареньем» и т. п.

Правда, в эту общую массу «просторечия», в строй «нейтральных» его форм иногда врываются такие разговорные выражения, которые составляли стилистическую особенность именно дворянского «светского» языка той эпохи, во всяком случае распространялись из его пределов. Например: «На твоем месте *я бы завела его далеко*» (ср. франц. mener loin); «какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек» (ср. свидетельство «Живописца», 1772, о возникновении этого значения слова — *ужасный, ужасно, ужесть* в жаргоне щеголих); «Z. по своему обыкновению была одета *уморительно*» (ср. примеры «Живописца» из арго щеголих: «Ты *уморил* меня...» *уморить ли*, радость?» и т. д.) и др. под.

Таким образом Пушкин, сохраняя в письмах девушек социально-бытовой колорит среды, пользуется отстоявшимися фразеологическими формами той разговорно-письменной дворянской речи, которая сложилась на основе смешения русского и французского языков. Но Пушкин освобождает женский эпистолярный стиль от карамзинистской фразеологической изысканности и манерности. Мотивируя отбор слов и выражений экспрессией фамильярно-дружеского письма, он производит коренную перестройку языка «светской дамы», придает ему простоту и непосредственность бытового выражения. Вот — примеры «русско-французского» словоупотребления в письмах Лизы и Саши: «Извиняю от всего сердца» (de tout mon coeur); «слезы ее меня *тронули* несказанно»; «твои жалобы о прежнем твоем положении меня тронули до слез»; «поступок твоего рыцаря меня тронул, кроме *шуток*» и т. п.;[1] «мне не с кем будет *разделить* моих невинных наблюдений, некому будет *передавать эпиграммы моего сердца*» (ср. хотя бы значение франц. partager); «все, касающееся до него, для меня *занимательно*»; «происшествие занимательно, положение хорошо *запутано*» (ср. замечание А. С. Шишкова о слове *занимательный*); «*роль женщин* не изменяется»; «...*способы нравиться* в мужчине зависят *от моды*, от минутного мнения, а в женщинах они *основаны на* чувстве и природе, которые вечны» (ср. франц. se fonder sur...); «на его

---

[1] Ср. слова Онегина:

> ... ваши слезы
> Не тронут сердца моего

речи *отвечает она видом невинного удивления...* Напрасно *вооружалась* [1] я холодностью, даже *видом пренебрежения»* (ср. франц. s'armer); «но все на свете имеет свою хорошую сторону (ср. франц. prendre quelque chose en bonne part); «здесь... *принимают живое участие* в их перебранке»; «их *плоскость* и лакейство показались мне отвратительны» (ср. франц. plat); «он был молчалив и *рассеян»* (ср. франц. dissipé, distrait); «в другое время меня бы очень *занимало* общее желание привлечь внимание приезжего гвардейца» (ср. франц. attirer l'attention; ср. отсутствие этого значения слова *привлекать* в «Словаре Акад. Росс.», V, 269—270); «ты имеешь дар *смотреть на вещи бог знает с какой стороны»* (ср. regarder une chose du meilleur côté; il regarde tout par le méchant côté и т. п.). [2]

Таким образом Пушкин, разрушая нормы салонно-манерного перифрастического стиля «светской» повести, создает новую систему литературно-бытового светского повествования посредством синтеза разных форм речи (преимущественно из сферы дворянского разговорного языка и разных стилей «просторечия»). Интересно сопоставить с языком светской переписки «Романа в письмах» буржуазный стиль письма Анны Гарлин к Марии Шонинг из незаконченной повести («Мария Шонинг»). При внимательном изучении хотя бы одного письма Анны Гарлин можно подметить в его языке резкие отличия экспрессии и социального обличья просторечных выражений (сравнительно с «языком светской дамы»). Характерен, например, социально-бытовой контекст речи «простонародья», создаваемый подбором и частым употреблением таких слов: «*кабы* не всегдашние хлопоты, я бы побывала у тебя в гостях...», «работа идет *по маленьку*. Но я все *не умею ни запрашивать, ни торговаться»*, «*кряхтит да охает...»*, «посылаю тебе в *гостинец косынку...»*, «12 миль—*не шутка...»*, «Уж он *бегает за девочками* — каков?» и др. под. Само обращенье «Милая *Марья!»* выводит персонаж за пределы «светского общества».

Но это сближение «дамской» литературной речи с разговорно-бытовым языком дворянства и буржуазии — сближение, которое удобнее всего было мотивировать многообразием форм эписто-

---

[1] Ср. в письме Онегина к Татьяне:

> А между тем притворным хладом
> Вооружать и речь и взор.

[2] В том, что Пушкин, стилизуя манеру женского светского письма, иронически употребляет в эпистолярном женском языке и такие формы выражения, которые для литературного языка он считал ненужными, убеждает хотя бы такой пример из письма Саши: «Все знают, что Ольгин отец был всем обязан твоему и что дружба их была столь же священна, как самое близкое родство» (ср. в следующей главе примеры издевательства Пушкина над этим выражением).

лярного стиля и разнообразием его экспрессии, фамильярной непосредственностью письма, — было лишь одним из путей, уводивших Пушкина от стеснительных норм салонно-литературных стилей.

Пушкина привлекала задача — противопоставить даме-читательнице тот образ светской женщины-*писательницы*, который предносился поэту и который мог бы своею художественной убедительностью и правдоподобием утвердить крепче и глубже новые формы литературного стиля.

В «Отрывке из неизданных записок дамы» (Рославлев) Пушкин создает этот новый литературный образ русской светской женщины-писательницы и читательницы. Форма дневника неизданных записок, которые противопоставлены роману Загоскина, т. е. литературному вымыслу, как исторически точное воспроизведение лично пережитых событий должна усилить впечатление подлинности, реальной достоверности самого облика повествовательницы. Русская светская женщина здесь сама характеризует себя как историческую личность не только своим стилем, манерой мыслить и писать, но и откровенными суждениями об отечественной словесности, об ее неспособности удовлетворить развитый художественный вкус читательниц. Автор записок решительно отвергает упреки, обращенные к читательницам, в том, что они «по-русски не читают и не умеют будто бы объясняться на русском языке». Бедность русской литературы — вот причина равнодушия светских дам к русскому языку и русской литературе. Русская литература «конечно, представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же от всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только «Историю Карамзина»; первые два или три романа появились два или три года назад... Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то, воля ваша, я всетаки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для наших литераторов. Мы принуждены все, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и *мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода)*. В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговок, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток». Так светская женщина в творчестве Пушкина как бы сама добивается своего раскрепощения, своего освобождения от оков французской словесности и французского языка.

«Светская дама» рисует парадоксальную литературную ситуацию. Отечественная словесность, адресованная «милым читательницам», не находит у них отклика и признания. Читатель-

ницы умственно переросли эту словесность, отмеченную печатью провинциального безвкусия и интеллектуального убожества. Рассказывая о мужской манере писать для женщин, светская дама дает ей убийственную оценку. «От брата получала я письма, в которых толку невозможно было добиться. Они были наполнены шутками умными и плохими, вопросами о Полине, пошлыми уверениями в любви и проч. Полина, читая их, досадовала и пожимала плечами. «Признайся, — говорила она, — что твой Алексей препустой человек. Даже в нынешних обстоятельствах, с полей сражения, находит он способ писать ничего не значущие письма, какова же будет мне его беседа в течение тихой семейственной жизни?». Писательница, оправдывая брата, обличает укоренившееся в быту и литературе ложное мнение о слабости женских понятий: «Пустота братниных писем происходила не от его собственного ничтожества, но от предрассудка, впрочем самого оскорбительного для нас. Он *полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются.* Таковое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо... Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем».

Указание на то, что «отрывок из неизданных записок дамы» является переводом с «французского», было риторическим приемом, который усиливал отпечаток яркой «национальности», народности, лежавший на романе. Это влияние «народности» сказывается тут не только в стиле исторического воспроизведения, но и в широте, яркости и своеобразии смешения национально-бытовых форм речи с отслоениями французского влияния — смешения, которое составляло характерную особенность самой изображаемой эпохи («Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх и гостиные наполнились патриотами. Все закаялись говорить по-французски»). [1]

Так в повествовательном стиле «Рославлева» можно найти отголоски грубоватого просторечия и простонародности: «Мужчины и дамы съезжались *поглазеть* на нее», «они видели в ней *пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам*»; «обед, на который *скликал* всех наших московских умников»; «каламбур, который они *поскакали развозить* по городу»; «возразила *востроносая* графиня»; «дамы *вструхнули*», «все *закаялись* говорить по-французски» и др. под.

Ср. стиль речей светских дам — востроносой графини Б.:

---

[1] Но ср. ироническую оценку «славянофилов» со стороны светской дамы: «К несчастию, заступники отечества были немного простоваты... Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого моста и тому подобным».

«Очень, очень может статься... Наполеон был такая *бестия*, а m-me de Staël *претонкая штука!*»

Рядом с этими отслоениями национально-бытового дворянского просторечия, записки дамы пересыпаны цитатами из французских писателей, [1] русско-французской фразеологией литературного языка, однако освобожденной от налета Карамзинской манерности. Например: «*завязка основана* на истинном происшествии»; «*разбудил чувства* негодования, усыпленные временем» — ср.: «он думы разбудил, уснувшие во мне» («Редеет облаков летучая гряда»); «читатель извинит *слабость пера моего»; «возмутил спокойствие могилы»*. [2] Ср. хотя бы у Millevoye в стихотворении «La chûte des feuilles»:

Et la pâtre de la vallée
Trouble seul du bruit de ses pas,
Le silence du mausolée, [3]

«Я *предавалась вихрю веселия* со всей *живостью моих лет*»; «брат был *идолом* всего *нашего семейства»;* «скука *придавала ей вид гордости и холодности*»; «это чрезвычайно *шло* к ее греческому лицу»; «она казалась не в *духе*»; «Полина *сидела как на иголках*»; «все, известия и *понятия, черпать* из книг иностранных»; «для которых *блестящее* замечание, *сильное движение сердца*, вдохновенное слово никогда не *потеряны*»; *«обезьяны просвещения»*; «она была без *памяти* от славной женщины»; «я знаю, какое *влияние женщина может* иметь на *мнение* общественное, или даже на сердце хоть одного человека»; «она впала в *глубокое уныние*»; «я знаю, какое *болезненное участие принимала* она в судьбе... отечества»; «ее красота *сделала на него сильное впечатление*»; «трогает ее *сердце* и *наконец получает* ее руку»; «ваше отечество *вышло из опасности*»; «*мы смешали слезы благородного восторга*» и мн. др.

---

[1] Ср. хотя бы статью Б. В. Томашевского: «Заметки о Пушкине» — «Пушкин и его современники», XXXVI.

[2] Ср. в «Евгении Онегине»:

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой.

[3] Ср. у М. Милонова в элегии «Падение листьев»:

Лишь пастырь, гость нагих полей,
Порой вечерния зарницы,
Гоня стада свои с лугов,
Глубокий мир его гробницы
Тревожит шорохом шагов.

Ср. у Батюшкова в стихотворении «Последняя весна»:

Лишь пастырь, в тихий час денницы,
Как в поле стадо выгонял,
Унылой песнью *возмущал*
Молчанье мертвое гробницы.

Так Пушкин, преобразуя язык светской дамы, национализируя его, обогащая его многообразием форм разговорно-бытовой экспрессии, сближая его с системой «просторечия» и освобождая от стеснительных ограничений карамзинизма, приходит к новым методам решения проблемы синтеза «европейского мышления» и системы русской национально-бытовой (дворянско-буржуазной) семантики.[1] Вопрос о роли и функциях французского языка в этом сложном процессе приобщения русской нации к европейской общежительности встает перед Пушкиным во всю ширь уже к началу 20-х годов.

Пушкин выступает против механического усвоения готового языкового содержания, против переноса «механических форм французского языка, в котором мы находим все готовым» (IX, 21, Примеч.).

Кн. Вяземский в своей «Записной книжке» рассказывает характерный в этом отношении анекдот: «Спросили Пушкина на одном вечере про барыню, с которой он долго разговаривал, как он ее находит, умна ли она? — «Не знаю, — отвечал Пушкин очень строго и без желания поострить (в чем он бывал грешен): — ведь я с ней говорил по-французски».[2]

Гладкий, лощеный, манерный, лишенный простоты и естественности стиль литературной речи, будто бы рассчитанный на вкус «светских дам», и уродливые отростки этого языка в тех сферах быта и литературы, которые подделывались под тон высшего общества, стали главной мишенью нападок Пушкина. Двигаясь этим путем борьбы с литературными подделками под салонный язык, Пушкин пришел к глубоко индивидуальному разрешению проблемы синтеза русской национальной и западноевропейской стихии в литературном языке. Участие французского языка в сложном процессе приобщения русского национального языка к «европейской общежительности» представилось Пушкину в ином виде, чем «европейцам» карамзинского типа.

---

[1] В сущности, Пушкин санкционирует необходимость выхода «светской» литературной речи за пределы «гостиной», хотя он широко использовал (в «Евгении Онегине») семантические возможности и той «светской азбуки», тех «условных слов», в которых, по словам кн. В. Ф. Одоевского, «человек высшего общества» выражал сложные движения души. В. Ф. Одоевский в предисловии к «Княжне Мими» писал: «Спросите нашего поэта, одного из немногих русских писателей, в самом деле знающих русский язык, почему он в стихах своих употребил целиком слово vulgar, vulgaire?». А выше Одоевский разъяснял трудности, связанные с работой по созданию «светской» литературной речи. «Где поймаешь такое слово (т. е. слово многозначительное, но с виду самое незначащее.—*В. В.*) в русской гостиной? Здесь все русские страсти, мысли, насмешки, досада, малейшее движение души выражаются готовыми словами, взятыми из богатого французского запаса, которыми так искусно пользуются французские романисты, и которым они (таланты в стороны) обязаны большею частью своих успехов» (Соч. кн. В. Одоевского, II, 330—331).

[2] «Русск. арх.», 1886, III, 432.

VII

Русская литературная речь и «европейское мышление». Отражение французского языка в языке Пушкина

Вопрос о национально-языковом творчестве для Пушкина уже в самом начале 20-х годов сплетается с вопросом о значении французского литературного языка в русской культуре. Проблема французского языка равнялась проблеме «европейского мышления». Кн. Вяземский в статье об И. И. Дмитриеве (1823) демонстративно подчеркивает этот знак равенства: «Сие раскрытие, сии применения к нему (русскому литературному языку) понятий новых, сии вводимые обороты называли галлицизмами, и, может быть, не без справедливости, если слово *галлицизм* принять в смысле европеизма, т. е. если принять язык французский за язык, который преимущественнее может быть представителем общей образованности европейской».

Но Пушкин, не отвергая необходимости «европейской цивилизации» в русском быту, пытается расширить понятие «европейского мышления», вывести его за пределы национально-французской культуры — и в то же время отрицательно оценивает отстоявшиеся формы французского влияния на русский язык и русскую словесность, исторически укоренившиеся его проявления.[1] «Английская словесность начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии робкой и жеманной», пишет Пушкин Гнедичу в 1822 г. (Переписка, I, 47). «Французская болезнь умертвила нашу отроческую словесность», настаивает он в письме к кн. Вяземскому от 6 февраля 1823 г. (Переписка, I, 67). Французскую сло-

[1] Ср. замечание В. К. Кюхельбекера: «Было время, когда у нас слепо припадали перед каждым французом, римлянином или греком, освященных (sic) приговором Ла-Гарпова Лицея. Ныне благоговеют перед всяким немцем или англичанином, как скоро он переведен на французский язык: ибо французы и по сю пору не перестают быть нашими законодавцами: мы осмелились заглядывать в творения соседей их единственно потому, что они стали читать их» («О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие» — «Мнемозина», II, 41—42).

весность Пушкин считает даже виновницей притупления вкуса читающей публики (Переписка, II, 21). В этих оценках влияния французского языка и французской словесности много общего с суждениями А. С. Шишкова, который писал о русской литературе той эпохи: «Мы взяли ее от чужих народов, но, заимствуя от них хорошее, может быть, слишком рабственно им подражали и, гонясь за образом мыслей и свойствами языков их, много отклонили себя от собственных своих понятий« (IV, 141). «От сего можно сказать безумного прилепления нашего к французскому языку, мы думая просвещаться, час от часу впадаем в большее невежество и, забывая природный язык свой или по крайней мере отвыкая от оного, приучаем понятие свое к их выражениям и слогу» («Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», 9). Для Пушкина также корень зла заключался в упадке национально-языкового творчества господствующего класса, в рабском копированьи дворянами внешних форм европейской мысли. Он видел в «общем употреблении французского языка и пренебрежении русского причину, замедлившую ход нашей словесности». «Исключая тех, которые занимаются стихами, русский язык ни для кого не может быть довольно привлекателен. У нас еще нет ни словесности, ни книг, — все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке (метафизического языка у нас вовсе не существует)» (IX, 11). Таким образом французский язык, снабжая русских дворян, русскую аристократию готовой системой слов и понятий, своими «механическими формами» парализует русское национально-языковое творчество. «Во французском языке мы находим все готовым» (IX, 21, Примеч.). И сам Пушкин не раз подчеркивал субъективное удобство пользоваться языком, в котором выработана стройная система форм выражения. «Пишу по-французски потому, что язык этот деловой и мне более по перу» (Переписка, I, 222) — признается опальный поэт, когда из Михайловского пришлось ему писать прошение царю.

Таким образом борьба против механического усвоения своеобразий французской семантики не влекла, как неизбежного следствия, отрицания структурных форм самой французской речи. Французский язык обладал строгими и стройными, размеренными, традиционными стилистическими формами. В нем были точно очерчены границы стилей. В нем были прочно установлены нормы стилей. И в этой стилистической организованности французского литературного языка крылись, по мнению Пушкина, причины его силы и слабости. Сила была в прозрачности и точности выражений, в разработанной системе отвлеченных понятий. Поэтому Пушкин не отрицает необходимости включения галлицизмов в ту систему русского литературного языка, которая созидалась им и его современниками и мысли-

лась ими как «выражение народа могущего и мужественного» (Вяземский). Стройность семантической системы французского языка, ясность и точность его прозаических стилей — могли быть образцом для будущей исторической, научно-публицистической, философской и даже повествовательной русской прозы. Пушкин об этом писал Вяземскому: «Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизической язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться на подобие французского... (ясного, точного языка прозы — т. е. языка мыслей)» (от июля 1825 г., Переписка, I, 236). Высказывая свое одобрение «метафизическому языку» сделанного Вяземским перевода «Адольфа» Бенжамена-Констана, Пушкин тем самым санкционирует принципы этого перевода, согласно которым «исключены галлицизмы слов, так сказать, синтаксические или вещественные», но «допущены галлицизмы понятий, умозрительные, потому что они уже европеизмы» (Бенжамен-Констан, «Адольф», Спб. 1831, Предисловие). Отсюда у самого Пушкина — предпочтение французского языка русскому в тех случаях, когда требовалась быстрая, беглая, но богатая смысловыми ассоциациями запись для себя, когда речь касалась отвлеченных вопросов, когда была нужда в утонченных формах официальных или светских изъявлений. Чаадаеву, в ответ на просьбу писать ему письма не на французском, а на русском языке — langue de votre vocation, поэт признавался: «Je vous parlerai la langue de l'Europe, elle m'est plus familière que la notre». В сущности, и у дворян, защищавших стилистический приоритет славяно-русского языка, — при всем различии их социально-политических и идеологических группировок — отношение к логическим формам французского языка, к системе понятий, заложенной в нем (в той мере, в какой французская семантика не противоречила религиозно-церковному мировоззрению и национально-общественному самоопределению), было скорее сочувственное. Даже А. С. Шишков признавал: «Весьма хорошо следовать по стопам великих писателей, но надлежит силу и дух их выражать своим языком, а не гоняться за их словами, кои у нас совсем не имеют той силы» («Рассуждение», 8). Указывая, что «французы прилежанием и трудолюбием своим умели бедный язык свой обработать, вычислить, обогатить и писаниями своими прославиться на оном; а мы богатый язык свой, не рача и не помышляя о нем, начинаем превращать в скудный», — Шишков продолжает: «Надлежало бы взять их за образец в том, чтоб подобно им трудиться в созидании собственного своего красноречия и словесности, а не в том, чтоб найденные ими в их языке, ни мало нам не сродные красоты перетаскивать в свой язык», — и сочувственно цитирует мысли Сумарокова о принципах перевода и усвоения идей чужого языка:

Имеет в слоге всяк различие народ:
Что очень хорошо на языке французском,
То может в точности был скаредно на русском.
Не мни, переводя, что склад в творце готов;
Творец дарует мысль, но не дарует слов.

Признавая силу французского литературного языка в сфере идей, в сфере отвлеченных понятий, Пушкин видит его слабость в консерватизме, в лощеной неподвижности его условных форм, в однообразной манерности его салонных стилей, в его националистической узости. Французский литературный язык представляется поэту окаменелым в своем строе, националистически-нетерпимым, «робким, скудным, недвижным» (IX, Примеч., 854). «Если уже русский язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах и средствах, столь переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам, неспособен к переводу подстрочному, к переложению слово в слово, то каким образом язык французский, столь осторожный в своих привычках, столь пристрастный к своим преданиям, столь неприязненный к языкам даже ему единоплеменным, выдержит такой опыт?» (IX, 390). Эти недостатки французского языка особенно ярко выступают на фоне того неупорядоченного, хаотического, но «живого, кипящего» многообразия форм выражения, стилей, которое Пушкин наблюдал в русском разговорно-бытовом языке. Романтическое увлечение «народностью», интерес к национально-историческим основам русского языка с необыкновенной остротой и силой обнаружили перед поэтом антитезу «прозаического» (IX, 20), ясного, холодного и отвлеченного французского языка — и поэтического, «первобытного» русского просторечия, «сохранившего драгоценную свежесть, простоту и, так сказать, чистосердечность выражений» (IX, 19—20).

Таким образом Пушкин противопоставляет французскому языку не систему «славянских» стилей, а «кипящее» многообразие еще литературно не отшлифованных и не вполне стилистически дифференцированных форм национально-бытового просторечия. И перед поэтом возникает задача структурного объединения в русском литературном языке отвлеченного логически-развитого строя французской языковой системы с красочной простотой и первобытной образностью национального просторечия и простонародного языка. Синтетическое отношение Пушкина к слову, основанное на методе семантического анализа живого употребления — с учетом морфологических, лексических и фразеологических связей слов в разных стилях литературы и быта, ориентация одновременно и на систему отвлеченных европейских понятий и на первобытную мифологию русского просторечия отделяют Пушкина пропастью от Шишковской школы. А. С. Шишков писал: «Многие из нас говорят: язык наш недостаточен, мы многих слов не можем

выразить, например, не имеем слова, соответствующего французскому intrigue и т. д. Такое мнение рождается оттого, что мы мало читаем книги, мало рассуждаем о коренном знаменовании слов и... только те из них приемлем, которые посредством уха, а не посредством ума сделались нам известны» (Собр. соч. и перев., V, 93). «Бедные те писатели, которые, не читая коренных книг своих, думают, что они узнают язык свой из простых разговоров и книг иностранных. Они, забывая старинные, из корня извлеченные слова, будут безобразить словесность новыми, с чужих языков переведенными и нам несвойственными словами и речениями» (Ib., V, 94). «С переменою слов переменяется и образ объяснения. Многие природные выражения вытесняются гораздо худшими их чужими; речи составляются и располагаются по складу чужих речей, отъемлющих гибкость, краткость и силу у слога» (Ib., V, 197). От заимствования слов и значений, по Шишкову, происходит «разрушение связи понятий, как, например, по немецкому образцу говорится у нас: *стоять лагерем*, т. е. по разуму слов: *стоять лежанием*, вместо русского *стоять станом*» (XI, 138). В письме к Калайдовичу от 9 января 1822 г. Шишков иллюстрирует примером распадение русской национальной системы связи понятий: «Прежде говаривали: река *образует* жизнь человеческую, т. е. течет, впадает в море и тем представляет образ или подобие человеческой жизни, а ныне, по переводу французского глагола former, или немецкого bilden, стали писать: воспитание *образует* нрав, река *образует* остров. Кто ж, привыкнув к сему новому смыслу, поймет русские слова: иже херувимы тайно *образующе*» («Записки, мнения и переписка адм. А. С. Шишкова», Berlin, I, 419). Таким образом славянофилы протестуют против всякой примеси французского или иного западноевропейского языка, которая производит муть в прозрачной системе понятий «русско-славенской» речи, разрывает нити этимологических связей. Правда, даже в собственной практике Шишков должен был отступить от теории: общие нормы литературного языка, меняясь и следуя словотворчеству европеизованного дворянства, оказывались сильнее личных пристрастий. Раичу в 1821 г., 23 декабря, А. С. Шишков писал: «Конечно, сила употребления и навыка может меня сделать неправым: некогда порочил я входящие в язык наш выражения, таковые как *влияние на* и тому подобные, но теперь они у всех на языке. Кто ж пощадит меня насмешкою? Но между тем я и ныне, уступая силе навыка, не перестаю думать, что чем больше станем мы русские мысли и обороты из языка своего выгонять, а чужеземные на место их вставлять, тем больше будет он на себя не похож» (Ib., 411). Славянофильские нормы литературных стилей были шире салонного языка западников. Но Пушкин выходит за пределы и тех и других. Шишков боролся против французской семантики во имя той перво-

бытной мифологии и поэзии, которая жила, по его мнению, в церковнославянском языке и которая являлась внутренней формой высоких торжественных стилей трагедии, эпопеи, оды и риторической прозы. На этом смысловом фоне Шишков пытался оценить и истолковать стилистические средства просторечия и простонародного языка, приспособив их в этимологическом плане к семантической структуре церковнославянского языка.

Невозможность подвергнуть этому режиму «средний стиль», т. е. европеизованный язык салона и обиходной литературы, была ясна. Поэтому отрицание «средних стилей» стихотворной и прозаической речи у Шишкова вытекало из лингвистического анализа их антинационального, французского строя, особенно в лексике, синтаксисе и фразеологии.[1] Для Пушкина сохранял силу Шишковский метод семантического сопоставления русского языка с французским, но не имел практического значения Шишковский прием оценки и переосмысления слов и фраз путем их применения, приспособления к церковнославянской мифологии и идеологии. Следовательно, вопрос о синтезе просторечия, простонародной речи и церковнославянского языка с французским языком в теории и литературном творчестве Пушкина должен был получить совсем иное разрешение, чем у славянофилов шишковского толка. Точно так же Пушкину могли быть близки только те славянофильские мотивы для отрицания среднего стиля, которые соответствовали принципам его борьбы против шаблонов литературно-салонной речи. Напротив, ориентация на устно-бытовые стили, на национально-языковое творчество побуждала Пушкина к реформе средних стилей, к реконструкции при их посредстве высоких, торжественных форм литературного языка и к литературной организации просторечия.

Однако средние стили литературного языка были для Пушкина лишь точкой отправления. Организуя сложную и стилистически многообразную структуру литературной речи, Пушкин постепенно сосредоточивает (особенно в области стиха) свое внимание на периферии литературных стилей и стремится слить в композиционные единства генетически разнородные языковые элементы. Поэтому и те ограничительные нормы, в которые вводил Пушкин французское влияние, имели совер-

---

[1] Любопытно преломление Шишковских мыслей в статье В. К. Кюхельбекера, «О направлении нашей поэзии, особенно лирической...» («Мнемозина» 1824, I, 38). «Из слова... русского богатого и мощного силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный *для немногих* язык, un petit jargon de coterie. Без пощады изгоняют из него все речения и обороты славянские и обогащают его *архитравами, колоннами, баронами, траурами*, германизмами, галлицизмами и барбаризмами. В самой прозе стараются заменить причастия и деепричастия бесконечными местоимениями и союзами».

шенно иное идеологическое обоснование, чем у славянофилов-консерваторов и у славянофилов-либералов («вольнолюбивых»). Литературно-лингвистическая философия реакционного славянофильства противопоставляла охранительные национальные начала вредному влиянию французского языка и связанной с ним буржуазно-либеральной, материалистической и даже революционной идеологии. «Европейцы» казались Шишкову близкими к тем «новым мудрецам, которые помышляли все состояния людей сделать равными» (Собр. соч. и перев., IV, 74). Любопытны в этом смысле выпады против русско-французской «романтической» фразеологии в «Записках» Гавр. Добрынина (примеры см. ниже). Отрицательное отношение к французскому «безбожию» и французскому языку проникало и в консервативные группы мелкой буржуазии. Характерны книги вроде: «Предмет французского просвещения ума и противоположные оному истины...» (М. 1816). В этом сочинении, во имя «противоположных истин» церковно-книжного просвещения, осуждается «французское просвещение ума» и обличается вредность «распространения французского языка на людей всякого состояния»: «Начали почитать за необходимость знать французский язык и тем, которых природа определила, сидя на донце, обращать внимание свое на гребень» (II стр.). Еще более остро вопрос о социально-политических и идеологических причинах борьбы против французского языка ставится в сочинении «Оставшееся после покойного N. N. рассуждение об опасности и вреде, о пользе и выгодах от французского языка» («Сравнение его с российским». М. 1817, 2 изд. 1825). Здесь говорится, что «модный щеголь французский язык...» «начиная с Вольтера по сию пору восстал на все; старое портит и губит, а нового хорошо не видно: стал горами качать... Он сделался безбожен и стал распространять безбожие; он стал первым действующим оружием повсюдного головокружения и необычайно злых замыслов, от века неслыханных. Одним словом, по якобинцам, он сделался совсем диаволическим адским языком. Он очаровал сперва повсюду знатность, потом и прочих в уме перепортил».

Конечно, мотивы отрицания французской «словесности» у дворян-либералов были иные. Это были: буржуазно-демократический национализм и вражда к западноевропейскому космополитизму аристократии и, вследствие этого, сознание исторической необходимости выхода за пределы le petit jargon de coterie. Правда, теоретическое порицание французской языковой культуры на практике не исключало полной зависимости от нее. Пушкину это было ясно. Он не мог отказаться от традиций дворянской культуры XVIII века. Примкнув к дворянскому культу золотого века французской литературы, века Людовика XIV, Пушкин не чуждается ни французских стилей XVIII века, ни новшеств романтизма (если не называть романтизмом только

«неологизм и ошибки грамматические», т. е. если не сводить романтизм только к внешним языковым нововведениям буржуазии). Он стремится лишь ограничить французское влияние, введя его в русло национально-русского буржуазно-дворянского литературно-языкового сознания.

Таким образом Пушкин меняет назначение и состав «среднего стиля». В его структуру он свободно вовлекает церковнославянизмы, просторечие и простонародный язык — и в то же время устраняет из него многие «механические формы» французского языка.[1] Для того чтобы глубже понять принципиальную новизну и вместе с тем серединность, синтетичность Пушкинской точки зрения на «европеизмы», на «галлицизмы», удобнее всего воспользоваться той системой классификации галлицизмов, которая была предложена А. С. Шишковым. Пушкин от нее отправлялся в своих суждениях, и ссылки — явные или затаенные — на работы Шишкова по смешению русского и французского языков в критических статьях Пушкина обычны. Объясняя распад «старых» норм литературного языка и создание нового «французско-русского» слога общественно-бытовыми условиями жизни и воспитания «знатнейших бояр и дворян», находившихся в плену французской культуры, Шишков наиболее подробно останавливается на сопоставлении семантических норм русского и французского языков. Он очень тонко и очень глубоко изображает те процессы русско-французского «смешения», те явления семантического и «синтагматического» (в области словообразования и фразообразования) «скрещения», которые в корне разрушили относительную стройность и логическую обоснованность прежней грамматической и семантической системы русского литературного языка, привели к новым формам синтаксиса и фразеологии, спутали и стерли границы и взаимоотношения между отдельными стилями, могли, как опасался А. С. Шишков, сломать всю структуру славяно-русского книжного языка.

---

[1] Необходимо помнить, что Пушкин славянофильское понятие слога как контекста расширяет до понятия стиля как структурной разновидности литературного языка, приспособленной к жанру и даже к композиции данной пьесы. Поэтому Пушкину чуждо деление языка на три слога — высокий, средний, низкий. Пушкин защищает многообразие стилей и возможность их композиционного комбинирования, выдвигая проблему социально-характеристических субъектов речи. Пушкин в этом направлении уходит вперед от славянофилов, точка зрения которых лучше всего выражена таким примечанием В. К. Кюхельбекера (или В. Ф. Одоевского): «Словами *низкими* можно лишь назвать те слова, которые выражают низкие понятия, высокими напротив; но таких слов весьма мало; большую часть слов нельзя отнести ни к тому, ни к другому разряду, ибо понятие каждого слова определяется понятиями слов окружающих, так, например, слово *уцелеть* в выражении: *ягодка уцелела на дереве* может быть названо *низким* и, напротив, *высоким* в выражении: *уцелеть от руки сильного*. Слово осталось то же, но переменилась мысль, коего одежда — слог» («Мнемозина», II, 175).

Внешний результат этого «смешения», этой ломки старого слога — образование «невразумительного сборища слов, нелепым образом сплетаемых» («Рассуждение», 13). Внутренняя основа — стремление слить круг значений и нормы русского словопроизводства с соответствующими формами французского языка. «Вместо изображения мыслей своих по принятым издревле правилам и понятиям, многие веки возраставшим и укоренившимся в умах наших, изображаем их по правилам и понятиям чужого народа» (Ib., 13). Шишков различает в этом сложном процессе русско-французского смешения несколько явлений. Они относятся к разным смысловым оболочкам речевой структуры и свидетельствуют об изменениях русского языка на различных ступенях глубины.

§ 1. С процессом заимствования европейской цивилизации прежде всего было связано усвоение иностранных слов для обозначения вещей и для выражения идей, не находивших соответствия и воплощения в русской лексической системе. Славянофилы протестовали против заимствования иноязычных лексем, порицая писателей, которые «безобразят язык свой введением в него иностранных слов, таковых, например, как моральный, эстетический, сцена, гармония, акция, энтузиазм, катастрофа» (А. С. Шишков, «Рассуждение», 22), талия (128—129), монотония (173), прокламация (174), публика (193), актер (247), фрунт (248), фасад (249), фрапировать (304), лакей, курьер — вм. гонец (309), интересный (342), «вместо действия — акт, вместо уныния или задумчивости — меланхолия, вместо веры — религия, вместо стихотворческих описаний — дескриптивная или описательная поэзия, вместо согласия частей — гармоническое целое, вместо осмотра — визитация, вместо досмотрщика — визитатор, вместо доблести — героизм» и пр. (343), сорт (426), галиматья (422), мина (424) и мн. др. Эта борьба против лексических варваризмов проходит красной нитью через всю историю русского литературного языка в XVIII и даже в XIX веке. В разные эпохи она имела различное обоснование и касалась различных сторон быта, науки и техники. Во второй половине XVIII и в начале XIX века колебания в количественных нормах употребления иностранных слов были очень значительны в дворянской среде. Они определялись не только культурной потребностью в новых словах, в символах новых вещей и понятий, но и модой, «двуязычием» высших слоев дворянства. Один из замечательных писателей конца XVIII — начала XIX века, Гавриил Добрынин в своих мемуарах очень картинно, тонко и ехидно рисует процесс европеизации дворянского быта, связанный с переименованием вещей. Рассказывая о Фаддее Петровиче Тютчеве, Добрынин так изображает европеизованный вид помещичьей усадьбы: «Вместо подсвечников — шандалы; вместо занавесок — гардины; вместо зеркал и паникадил — люстра;

вместо утвари — мебель; вместо приборов — куверты; вместо всего хорошего и превосходного — «тре биен и сюперб». Везде вместо размера — симметрия, вместо серебра — аплике, а слуг зовут ляке» («Русск. старина» 1871, I—VI, 413).

Своеобразие славянофильской позиции в этой борьбе состояло в литературно-языковом обосновании протеста против варваризмов. Заимствованные слова отвергаются, потому что они лишены «внутренней формы» и, следовательно, бедны содержанием. Таким образом отрицается в принципе семантический диссонанс, вносимый варваризмами в систему связи понятий славяно-русского языка.[1] Славянофилы иронически указывали на комическую «этимологизацию», которая могла связываться с некоторыми французскими словами в плоскости русской морфологической системы. «Например, чтоб вместо *гений*, не сказать *Евгений;* вместо моральный — маральный; вместо на сцене — такое слово, которое лучше предоставить угадывать читателю, нежели здесь его поставить» (Шишков, «Рассуждение», 160). С другой стороны, патриотический долг обязывал славянофила приискать национальный эквивалент иноязычной идее. Поэтому возникал вопрос: в каких областях заимствования возможны, потому что неизбежны? Славянофилы определяли более или менее точно сферу и назначение варваризмов: «Мы имеем еще нужду в некоторых технических названиях, без которых не можем обойтиться» («Рассуждение, 174). Однако и в сфере научно-технического языка замена иноязычного термина русским всегда целесообразна. «Во-первых, рождается оттого чистота слога, а во-вторых, и самая наука удобнеевпечатлевается в разум наш» (Ib., 175). Но технические термины-варваризмы «нужны нам, они обогащают язык наш и наполняют его новыми понятиями; но какая нужда вместо *склонность* говорить *инклинация;* вместо *отвращения — антипатия?..*» (Ib., 175). Интересны для понимания исторического смысла этих националистических тенденций попытки заменить варваризмы русскими словами (ср. «Сев. вестник» 1804, II, IV и VI). В самом подборе лексем, которые предлагались в замену «варваризмов», сказывалась ориентация на архаические стили церковно-книжного и канцелярского, официального языков (напр. вместо аудитория — слушалище; вместо автор — сочинитель, творец; вместо адъюнкт — приобщник; ассистент — присущник; актер — лицедей; акцизна — мытня или мытница; адресоваться — относиться; аккредитованный — доверенный и т. п.) или на простонародную лексику — с заметным налетом промышленно-торговой окраски (например, вместо

[1] Ср. замечание в «Дневнике» В. К. Кюхельбекера»: «Я узнал тут очень хорошее, мне незнакомое русское слово: *крушец* — металл; особенно прилагательное от него: *крушцовый* можно бы предпочесть длинному, вялому и противному свойству русского языка прилагательному — м е т а л л и ч е с к и й» (60).

акция — *доля*, [1] вместо акциденция — доход, *прибыток*; ср. «Словарь» 1847 г. и т. п.).

Славянофилы отрицали не только заимствованные слова, но и те формы словообразования и фразеологии, которые были связаны с ними. А. С. Шишков пишет в своем «Рассуждении»: «Некоторые имена принимают без перевода и делают из них глаголы, как, например, энтузиазм — энтузиаствовать; гармония— гармонировать; сцена — быть на сцене, выходить на сцену и пр.» (Примеч., 67). Тут же он осуждает новые формы русско-французской фразеологии вроде: «укротить энтузиазм фанатизма» (вместо «укротить злой дух суеверия», Ib., 68); «дошло до *акций*» (Ib., 189); «*предложить в параллели*» (вместо *сличить*, т. е. сопоставить, Ib., 188); «*привести в параллель*» и т. п.[2]

Пушкину была решительно чужда нетерпимость к иностранным словам. Шишковские новообразования взамен варваризмов вызывают у него ироническое отношение (см. Переписку, I, 35). В «Евгении Онегине» поэт подшучивает над славянофилами и утверждает употребление «иноплеменных слов»:

Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я (винюсь пред вами),
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо меньше б мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В академический словарь.

и в VIII главе:

Она казалась верный снимок
Du comme il faut... [Шишков] прости: [3]
Не знаю как перевести...
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar. Не могу...
Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести.
Оно у нас покамест ново...

---

[1] Об этом значении слова «доля» «Словарь Акад. Росс.» 1809, II, писал. «Итти или пустить, принять в долю. Речение известное у подрядчиков и промышленников, т. е. вступить в часть, снять с кем вместе подряд или допустить другого с собою к подряду, к промыслу» (165).

[2] Ср. в Собр. соч. и перев., XII, 164: «*И брачные свещи в светильники вонзенны*». Станем рассуждать так: *брак, свещи вонзенны*, в разговорах не говорится, так писали старинного века люди, а по нашему просвещенному вкусу должно писать так: «*и свадебные свечи воткнуты в шандалы*».

[3] Ср. в «Дневнике» В. К. Кюхельбекера замечание по поводу этих строк (43). Ср. в письме Карамзина к И. И. Дмитриеву, от 13 июня 1814 г.: «Знаю твою нежность (сказал бы деликатность, да боюсь Шишкова)» (Письма, 183).

Выражая свое согласие с кн. Вяземским по вопросу о галлицизмах в письмах и критических статьях, Пушкин утверждает в области лексических заимствований принципы карамзинизма.[1] Кн. Вяземский был наиболее ярким выразителем тенденций западничества в этом направлении. Он упорно и резко отстаивал словарные галлицизмы. Так, в рецензии на «Цыганы» Пушкина он писал: «На письме и на деле перескакиваем союзные частицы скучных подробностей и порываемся к результатам, которых... по настоящему, нет у нас и по неволе прибегаем к *галлицизму*, потому что последствия, *заключения, выводы,* все неверно и неполно выражает понятие, присвоенное этому слову» («Моск. телеграф» 1827, XV, № 10). Правда, для западников проблема варваризмов в конце XVIII и в начале XIX века изменила свое содержание. После французской революции крепнет среди западнически настроенной дворянской интеллегенции, особенно среди ее реакционных групп, убеждение в необходимости замены многих словарных галлицизмов литературного языка русскими или даже церковно-книжными соответствиями и подобиями.

Так центр тяжести от заимствований слов переместился к принципам отбора и перевода европейских понятий на формы национального русского языка. Лексические заимствования допускались или сохранялись, как это подчеркивает постоянно кн. Вяземский (и Пушкин в «Евгении Онегине»), лишь в случае невозможности перевода, в случае отсутствия в русском языке таких слов, фраз, которые можно было приспособить к выражению «европеизмов мысли».[2] Нет необходимости для доказательства того, что Пушкин двигается в русле дворянских западнических традиций, приводить все примеры употребления иностранных слов из сочинений Пушкина. Достаточно ограничиться лексическим материалом «Пиковой дамы».

Здесь в языке повествования и в диалоге встречаются не только такие «общепринятые» варваризмы, как: «ели с большим *аппетитом*»; «в большой *моде*»;[3] «выдавал себя... за изобретателя

---

[1] Отчетливое представление о количестве, качестве, о предметно-бытовом и научно-техническом разнообразии западноевропейских заимствованных слов в русском языке, о громадном культурном и политическом значении их можно составить по «Новому словотолкователю, расположенному по алфавиту» (1803, I—III) Яновского.

[2] Характерны в этом смысле замены иностранных слов русскими в позднейших редакциях «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина: вояж — заменяется словом путешествие; визитация — осмотр; визит — посещение; партия за партиею — толпа за толпою; публиковать — объявить; интересный — занимательный; рекомендовать — представлять; литтеральный — верный (перевод); мина — выражение; балансированье — прыганье; момент — мгновение; инсекты — насекомые; фрагмент — отрывок, энтузиазм — жар и др. под. В. В. Сиповский, «Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника», Спб. 1899, 174—176.

[3] «Следовала модам семидесятых годов», «принесла записочку из модной лавки»; «одетая по старинной моде» и др.

жизненного *эликсира*»; «погружена в холодный *эгоизм*»; «наблюдая строгий *этикет*»; «сальная свеча темно горела в медном *шандале*»; «не имея привычки *кокетничать* с прохожими офицерами...»; «*кокетничала* не с ним»; «улица была заставлена *экипажами*»; «очень занятый своей *интригою*»; «быстроглазая *мамзель*»; «перед той *сценой*»; «кресла и диваны... стояли в печальной *симметрии* около стен»; «Герман был свидетелем отвратительных таинств ее *туалета*»; «этот *эпизод* возмутил на несколько минут торжественность брачного обряда» и др., [1] но и заимствованные слова и выражения карточного диалекта: «не разу не поставил на *руте*»;

(ср. в вариантах «Евгения Онегина» (2, XVIII):

Уже не ставлю карты темной,
Заметя тайное *руте*

ср. у Лермонтова в «Казначейше»:

Любил налево и направо
Он в зимний вечер прометнуть
Рутеркой понтирнуть со славой

ср. у Гоголя в «Игроках»: «Руте, решительно руте! просто карта — фоска»); «играю мирандолем»; «отроду не загнул ни одного пароли»; «загнул пароли, пароли: пе» (ср. у Гоголя в заметках — под заглавием «Банчишки»); «понтировать; «выиграл соника»; «никто более двухсот семидесяти пяти *семпелем* здесь еще не ставил» (ср. у Лермонтова в «Маскараде» разговор понтеров:

Вам надо счастие поправить
— А *семпелями* плохо
— Надо *гнуть*) [2]

и т. д.

Характерно, что даже в 40-х годах курсы теории словесности (например М. Чистякова), осуждая употребление в художественной прозе профессионализмов и арготизмов, приводили в качестве иллюстраций картежные выражения из «Пиковой дамы» Пушкина и морские термины из повести Марлинского «Фрегат Надежда». Итак, Пушкин в области словарных варваризмов идет по пути европейцев. Однако он не заимствует новых слов, а только пользуется готовыми бытовыми варваризмами дворянской среды.

---

[1] Ср. французские эпиграфы ко 2-й, 3-й и 4-й главам повести; французские фразы в диалоге; в повествовании: «слезы были бы — une affectation».

[2] Ср. нередкие отражения карточного арго в письмах Пушкина, например, в письме к Вяземскому: «Ты говоришь: худая вышла нам очередь. Вот! Да разве не видишь ты, что мечут нам чистый баламут, а мы еще понтируем! Ни одной карты налево, а мы все-таки лезем. Поделом, если останемся голы, как бубны» (Переписка, II, 187). Ср. роман «Жизнь игрока, им самим описанная» (I, 32—35). Ср. статью М. И. Пыляева: «Азартные игры встарину» в книге: «Старое житье», Спб. 1892. Подробнее см. мою работу: «О Пушкинской манере повествования» (Стиль «Пиковой дамы»).

§ 2. Другой процесс лексического «скрещения» русского и французского языка состоял, по Шишкову, в том, что для передачи западноевропейских понятий не подыскивались «подобознаменательные» слова русского языка, а значения французских слов условно приспособлялись к русским лексемам — по внешней близости: «фаталист да будет *случайник*, механизм да будет *оснастка* и проч.» («Рассуждение», 68), — или же сфера значений русского слова расширялась до полного слияния с семантикой соответствующего французского: *блистательный* — brillant (например, блистательный слог); живой — vif (например, живое повествование,[1] живые чувствования, 124); *чистый* — pur (например, чистый слог);[2] *плоский* — plat (плоское выражение);[3] *легкий* — léger.[4] Ср. примеры А. С. Шишкова на «французскую» манеру русской речи: «Слог его блистателен, натурален, довольно чист; повествование живо; портреты цветны, сильны, но худо обдуманны» (Ib., 69).

Вот несколько примеров употребления тех же слов в языке Пушкина: *блистательный:*

И шалости, и заблужденья
Пристали наших дней *блистательной* весне
(«К Каверину», 1817)

Толпы безумное гоненье
Или *блистательный* позор
(«Цыганы»)

И Франция, добыча славы,
Плененный устремила взор,
Забыв надежды величавы,
На свой *блистательный* позор
(«Наполеон», 1821)

---

[1] Ср. живой ребенок (un enfant fort vif); с живыми глазами (il a les yeux vifs); живой ум, живое воображение (l'esprit vif, l'imagination vive); живой интерес (avec un vif interêt); живая вера (foi vive); живая изгородь (haie vive); быть задетым за живое (être piqué au vif, touché au vif), и т. п. Ср. ce centiment vif — живое чувствование. Ср. la vivacité des passions (у Шишкова: живость чувств) (125) Ср. la vivacité de l'esprit, de l'imagination.

[2] Ср. чистая правда (c'est la pure vérité); чистый слог (style pur); чистая девушка (vierge très pure); чистая жертва (victime pure) и т. п.; ср. чистокровный — pur sang.

Ср. у Пушкина в «Городке» (1814):

В сатире — знанье света
И *слога чистоту;*

и др. под

[3] Ср. плоское лицо (le visage plat); эта мысль плоска (cette pensée — là est plate) и т. п.

[4] Ср. пример, приводимый А. С. Шишковым: легкое благоволение («Рассуждение», 124). Ср.: легкая кавалерия (cavalerie légère); легкая рана (une légère blessure); légère idée (в словаре Татищева: понятие легкое); легкий отдых (prendre un léger repos); легкий сон (le sommeil léger); слог легкий и приятный (le style léger et facile) и т. п.

Среди *блистательных* побед
("Евгений Онегин", 1, XXXVI)

Когда *блистательная* дама
Мне свой in quarto подает
(4, XXX)

Среди блистательных глупцов...
На шум блистательных сует...

и мн. др. под.

Ср. у Батюшкова:

Фортуна! прочь с дарами
Блистательных сует
(«Мои пенаты»)

Ср.:

Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель.
(«Евгений Онегин», 1, II).

Их разговор благоразумной...
Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни остротою, ни умом
(2, XI)

живой — *живо*:

Но можно ль резвому поэту...
В картине быстрой и *живой*
Изобразить...
(«Послание к Юдину», 1815)

Где женщина — не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, *живой*?
(«Краев чужих неопытный любитель», 1817)

Калигулы последний час
Он видит *живо* пред очами
(«Вольность», 1817)

Что восхитительней, *живей*
Войны, сражений и пожаров
(«В. Л. Пушкину», 1817)

И черный ус, и взгляд *живой*
(«Юрьеву», 1818)

Пока сердца для чести *живы*
(«К Чаадаеву», 1818)

Разнообразной и живой
Она пленяет остротой
(«Всеволожскому», 1819)

Все скудно, дико все нестройно,
Но все так *живо* — непокойно
(«Цыганы»)

Живее творческие сны
(«Евгений Онегин», 1, LV)

Ср.:

Я ехал к вам: *живые* сны
За мной вились толпой игривой
(«Приметы»)

В бездействии ночном *живей* горят во мне
Змеи сердечной угрызенья
(«Воспоминание», 1828)

Лились его живые слезы
(«Евгений Онегин», 2, X)

Но, получив посланье Тани,
Онегин *живо* тронут был
(4, X)

и мн. др.

И по упрекам... столь неправым
И этой прелести *живой*
(«Ответ», 1830)

и мн. др.

Ср. каламбурное оправдание французского значения — *живой* смысловой антитезой:

Знакомых мертвецов живые разговоры
(«Чаадаеву», 1821)

Как тяжко мертвыми устами
Живым лобзаньям отвечать
(«Кавказский пленник»)

Ср. значения слова *живость*, например:

Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов
(«Гречанке», 1822)

в прозе:

«Пленяясь романической *живостью* истины»
(IX, 68)

и др. под.

А. С. Шишков приводит яркие примеры смешения русских «понятий» с французскими:

«*Укрепить характер* есть нелепость» («Рассуждение», 127). Ср. значения французского глагола affermir: affermir l'âme и т. п.; «Когда настанет решительная *точка времени*» (Ib., 177). Ср. французское point (point du jour, à point nommé и т. п.); «Слову *переворот* дано... знаменование французского слова révolution. Никогда в российском языке доселе не означало оно сего понятия» (Ib., 179). (Ср. сомнения Пушкина — не лучше ли *переоборот* или *преоборот* вместо *переворот*). Точно так же русская лексема *черта* вобрала в себя значения и фразовые формы французского trait. Отсюда возникает такое употребление этого слова: «*всякая черта жива, плодотворна*» (Ib., 186); «*о нравственном... и ученом состоянии протекшего года, сочинитель*

сего исторического изображения не хочет проводить ни одной черты». «Какие искусные и остроумные писатели, благодаря французам, становимся мы в российском языке. Вместо прежней простонародной речи: *я не хочу тебе об этом ни слова сказать*, говорим важно и замысловато: *я не хочу об этом проводить ни одной черты*». Ср. еще пример: «Однако сие радостное упоение вскоре прервано было чертою вероломства» (Ib., 189).

Ср. у Пушкина:

Надежды робкие *черты*
(«К живописцу», 1815)

... мараю
Небрежные *черты*,
Пишу карикатуры...
(«Мой друг, уже...», 1822)

И видит верного Руслана,
Его *черты*, походка, стан
(«Руслан и Людмила», I, 305–306)

Досада, изумленье, гнев,
В его *чертах* изобразились.
(Ib., 2, 77–78)

Ее чудесной красоты
Уже отгадывал мечтою
Еще неясные черты.
(Ленинская библ., б. Румянцевский музей, Тетрадь № 2364, л. 43 об.)

В первоначальном тексте связь с французско-русской фразеологией была еще явственнее:

Ловил я пламенной душою
Еще неясные *черты*.

Звучал мне долго голос нежный,
И снились милые черты
(«Я помню чудное мгновенье»)

И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты
(Ib.)

и мн. др.

Ср. другое значение слова *черта* в языке Пушкина, тоже взятое из французского языка: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая *черта* моей жизни» (Ср. французское trait в значении поступок). [1]

---

[1] Ср. другие значения этого слова:

И первую *черту* я быстро пролетел
(„К Дельвигу", 1817)

Но недоступная *черта* меж нами есть
(„Под голубым небом")

Ср. у Батюшкова:

Между протекшего есть вечная *черта*:
Нас сблизит с ним одно мечтанье.

Слово *вкус* изменило свою семантическую структуру применительно к французскому goût. «Французы по бедности языка своего везде употребляют слово *вкус;* у них оно ко всему пригодно: к пище, к платью, к стихотворству, к сапогам, к музыке, к наукам и к любви. Прилично ли нам с богатством языка своего гоняться за бедностью их языка? На что нам вместо: храм *велелепно украшенный* писать: *храм, украшенный с тонким вкусом...*» (ср. франц. un goût délicat, un goût fin...). «Какая нужда нам вместо *она его любит,* или *он ей нравится,* говорить: *она имеет к нему вкус,* для того только, что французы говорят: elle a du goût pour lui?» («Рассуждение», 200). Таким же образом изменились значения слова — *тонкий* (под влиянием французского fin. Ср. выражения: тонкий вкус (avoir le goût fin), тонкий ум (l'ésprit fin), тонкий слух (l'oreille fine); тонкая бестия (une fine bête) и т. п.

Я петь пустого не умею
Высоко, *тонко* и хитро...
(«Князю А. М. Горчакову», 1815)

Старик, по старому шутивший
Отменно *тонко* и умно.
(«Евгений Онегин», 8, XXIV);

и мн. др.

Слово *развитие* слилось с développement, развивать — с développer. «Французы глаголом своим développer изображают перемену состояния вещи, бывшей прежде enveloppé; когда они говорят: l'ésprit se développe, то воображают, что он прежде был enveloppé dans un certain chaos и потом мало-по-малу начал оказываться, или распускаться, наподобие цветка. Переводя слово сие *развитием* и говоря: *разум* его начинает *развиваться,* по смыслу слова сего должны мы воображать, что он прежде был *свит;* естественно ли представить себе *свитой* разум?.. Поистине разум и слух мой страдают, когда мне говорят: «*Ночные беседы, в которых развивались первые мои метафизические понятия*» («Рассуждение», 289—290).

Ср. у Пушкина:

В неволе скучной увядает
Едва *развитый* жизни цвет
(«Наслаждение», 1816)

Ср. в «Египетских ночах»:

Как вешний цвет едва *развитый.*
Леса, где я любил, где чувство *развивалось.*[1]
(«Царское село», 1817)

---

[1] Ср. у Милонова в стихотворении «К юности»:

Вкруг солнца истины святой
Туман сомнения *развился.*

«Нет ни единой эпохи, ни единого важного происшествия, которые не были бы удовлетворительно *развиты* Карамзиным» (IX, 67) и мн. др.

Шишков помещает в число лексем, изменивших значение под влиянием французского языка, также слово: *внимательный* («она бывает внимательна») («Рассуждение», 347); ср. французское attentif. [1]

Ср. у Пушкина:

И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.

(«Друзьям»)

Ср. в первоначальной редакции 1816 г.:

И на любовь устремлены
Огнем пылающие очи.
И скоро ль милого найдут
Ее внимательные взоры...

(«Всеволожскому», 1819; в рукописной редакции)

Но что же так волнует и манит
Ее к себе внимательные очи

(«Гавриилиада»)

Она внимательные взоры
Водила с ужасом кругом...

(«Романс»);

и др. под.

Ср. в «Евгении Онегине»:

Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет

(7, III)

Могильный (голос):

Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признанье

(«Руслан и Людмила»)

Ср.:

Вдруг слышит прямо над собой
Старухи голос гробовой

В стих. «К вельможе»:

Явился ты в Ферней, и циник поседелый
Могильным голосом приветствовал тебя.

---

[1] В самом деле, эта лексема получает новые значения в конце XVIII — начале XIX века. В «Словаре Акад. росс.» (1806) и в «Общем церковно-славяно-росс. лексиконе» П. Соколова (1834) это слово определяется так: «Примечательный (т. е. «имеющий способность, дар внимать, замечать»), понятный, со вниманием сопряженный». «В Словаре церковно-славянского и русского языка» (Спб. 1847, I) уже указывается иное смысловое содержание: «обращающий на что-нибудь внимание». Но, несомненно, значений и оттенков значений у этого слова было больше. И они развивались под влиянием семантической структуры французского attentif.

Ср. комментарии «Сына отеч.», 1820, ч. 65, № 42: «Могильный голос значит: голос, который кажется выходящим из могилы, по-немецки Grabesstimme, по-французски voix sépulcrale».

След — trace (ср. переносные значения: итти по следам кого-нибудь — marcher sur les traces; не оставить никаких следов — ne laisser point de traces; il n'en reste aucune trace dans... не остается никакого следа в чем (Татищев, II).

Ср. у Пушкина:

Где ж детства ранние следы?..
(«Послание к Юдину», 1815)

И след улыбки незабвенной
(«Счастлив, кто близ тебя», 1818)

Везде следы довольства и труда
(«Деревня», 1819)

Мой друг, забыты мной следы минувших лет
(1821)

Я... радость ненавижу:
Во мне застыл ее минутный след
(«Элегия», 1816)

Украдкой младость отлетает,
И след ее — печали след
(«Наслаждение», 1816)

И жизни горестной моей
Никто следов уж не приметит.
(«Элегия. Я видел смерть», 1816)

Позволь в листах воспоминанья
Оставить им минутный след.
(«В альбом А. Н. Зубову», 1817)

И розно наш оставим в жизни след.
(«Послание к кн. А. М. Горчакову», 1817)

Мечты невозвратимых лет...
Во глубине души остылой
Не тлеет ваш безумный *след*
(«Бахчисарайский фонтан»)

Ср.:

И *тает* с ними след врага;

и мн. др.

Ср. у Батюшкова:

Следы протекших лет и славы
(«На развалинах замка в Швеции»)

Где щастья нет следов
(«Воспоминания»);

и др. под.

Шишков отмечает, что для языкового сознания, далекого от «смешанных форм» речи, руководствующегося национальной

русской семантикой, такое словоупотребление непонятно. «Чтобы разуметь русское слово, должно мне приводить себе на память французский язык. Как можно положить себе в голову, что когда французы жен своих называют: ma moitié, то и мы своих можем называть: моя половина.[1] Где французы скажут: objet, goût, tableau, там и нам должно говорить: *предмет, вкус, картина,* нимало не рассуждая о том, хорошо ли и свойственно ли то нашему языку или нет?» («Рассуждение», 344; ср. Собр. соч. и перев., V, 93).

С вопросом о семантике Пушкинского слова органически слита проблема изучения образно-идеологических основ лексики Пушкина. Направленные в эту сторону работы М. О. Гершензона оказываются непригодными для истории русского литературного языка именно потому, что выводят индивидуально-художественную идеологию поэта из общелитературных норм выражения той эпохи. Например, фантазируя на тему о термодинамической психологии Пушкина, Гершензон ставит в связь «психологическую терминологию» Пушкина с лексикой Батюшкова: «Стоит на любой странице раскрыть стихотворения Батюшкова — пред нами та же термодинамическая психология во всех ее подробностях; все ее основные речения Пушкин нашел готовыми у Батюшкова». При этом перед Гершензоном не возникает вопроса о значениях соответствующих речений в общем литературном языке той эпохи. Этот вопрос для того, кто в произведениях поэта медленно читает самого себя, безразличен.[2] Большая часть лексических «параллелей» и «гнезд» Пушкинского стиля, указанных Гершензоном, относится к области общелитературной семантики дворянского языка (конца XVIII и начала XIX века), отзвуки которой очень сильны и в современной литературной речи. Таковы символика страстей, связанная с образами огня, жара, пламени, и изображение бесчувственности как остылости или холода (примеры см. в «Гольфстреме», стр. 27—30). Таковы идущее из библейской мифологии представление чувства как *жидкости* и переживания чувств в образе чаши, из которой или которую *пьет* человек:[3]

---

[1] Ср. у Грибоедова в «Горе от ума»: «С дражайшей половиной».

[2] «Атеней», Историко-литературный временник, I — II. «Вычеканил ли их Батюшков сам из материала народного языка или частью взял уже готовыми из предшествовавшей ему поэзии, это для нас здесь безразлично». Но на следующей странице уже объявляется: «В «Гольфстреме» показано, что термодинамическая психология присуща всему человечеству и воплощена во всех языках; между прочим, и в русском; очевидно, Батюшков нащупал ее в языке и оценил и частью вынул из языка и оформил ее материал для поэтического употребления».

[3] Впрочем одна из Гершензоновских параллелей заслуживает внимания как возможная цитация Пушкиным Батюшковского стиха.

У Батюшкова:

Все в неистовой прельщает,
В сердце льет огонь и яд.

(«Вакханка»)

У Батюшкова:

Мы *пили* чашу сладострастья
(«К другу»).

Пей из чаши полной радость.
(«Отрывок из элегии»)

У Пушкина:

Я хладно *пил* из чаши сладострастья
(«Позволь душе моей»)

И чашу *пьет* отрады безмятежной
(«Гавриилиада»)

и т. п.[1]

Все эти семантические группы жили напряженной литературной жизнью в конце XVIII — начале XIX века, потому что внутри их происходил процесс «нейтрализации» церковно-библейской мифологии и приспособления ее к mentalité européene, к идеологии буржуазно-дворянского европейского общества (преимущественно французского). Например символика чувства воды, шедшая из библейского языка (ср. излить душу: Псал. 41, 5; Иов 30, 16; излить сердце: Псал. 61, 9; яко любы божия, излияся в сердца наша: Римл. 5, 5; пролей гнев твой: Псал. 18, 6; пролей на ня гнев твой: Псал. 68, 25; ср. возмутиться духом: Иоанн 13, 21), сочеталась с французской фразеологией такого типа: épancher son coeur; épanchement de coeur; épanchement de joie (Татищев I, 606); s'épancher и т. п. Сюда же относятся образы чаши (пить чашу: I Кор. 10, 21; 11, 26; Матф. 20, 22; чашу, юже аз имам пити: Марк. 10, 38; чашу, юже аз пию: Марк 10, 39; Иоанн 18, 11 и т. п. Ср. испивый чашу ярости от руки господни: Исаия, 57, 17. Ср. Псал. 115, 4: чашу спасения прииму. Ср. образ чаши, как символ несчастной участи — Иеремия 25, 27—29; 48, 26; 49, 12; Псал. 21, 5; 60, 5 и мн. др. Ср. французское boire, avaler le calice).

У Пушкина:

Играть душой моей покорной,
В нее вливать огонь и яд.
(«Как наше сердце своенравно»)

Таково же уподобление речи (поэзии) жидкости.

[1] Ср. у Дельвига в «Сонете»:

Но я готов, я *выпью* чашу бед

В «Элегии»:

Когда еще я не *пил* слёз
Из чаши бытия.

Ср. у Пушкина:[1]

...душу *изливал*
Онегин в дни свои младые.
(«Евгений Онегин»)

Перед юной девой наконец
Он *излиял* свои страданья.
(«Кавказский пленник»).

Я в воплях *изливал* души пронзенной муки.
(«Странник»)

Излить мольбы, признанья, пени
(«Евгений Онегин»)

Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и дрожит и ищет как во сне
Излиться наконец свободным проявлением
(«Осень»)

и мн. др. под.

Но для Пушкинского языка, особенно в ранний период, характерно развитие этой словесной цепи в сторону французской семантической системы, смешение библейской символики с французской,[2] например:

В нем (сонете) *жар любви* Петрарка изливал
(»Сонет»)

Он *пил огонь отравы* сладкой
(«Галуб»)

дикий *пламень*
И *яд* отчаянной любви
Уже *текут в его* крови
(«Руслан и Людмила», I, 142—144)

Ср. у князя Вяземского:

Вливая *чувства жар* в перерожденный стих
(«Княжне ***», 1825)

Ср. у Morellet («Observations critiques sur le roman intitulé Atala»): «во что же превратится французский вкус, язык и литература, если разрешаются такие выражения, как *пить волшебство ее губ*».[3] И тут же можно вспомнить такие примеры из поэзии Пушкина:

В ее объятиях я негу *пил* душой
(«Дорида»)

---

[1] Ср. другие примеры у М. О. Гершензона. — «Гольфстрем», 91—94.

[2] О западноевропейских отражениях в символике русского поэтического языка (между прочим и в символике любви-огня и любви-раны) начала XVIII века очень интересна и содержательна работа академика В. Н. Перетца: «Очерки по истории поэтического стиля в России» 1905, I—IV; 1907, Спб.

[3] Цитирую по книге П. Лафарга «Язык и революция» (95).

К ее (чаши жизни) краям прильнув губами,
Мы *пьем* восторги и любовь
(«Давно ли...», 1819)[1]

И девы-розы *пьем* дыханье
(«Пир во время чумы»)

Ср. также в «Кавказском пленнике»: «Когда так медленно, так нежно ты *пьешь* лобзания мои»; в стихотворении «Как щастлив я, когда могу покинуть» (1826): «Хочу стонать и *пить* ее лобзанья»; в отрывке: «Покойны чувства, ясен ум» (1821): «*Пью* с воздухом любви томленье»; здесь же: «*Пью* (жадно) воздух сладострастья». В написанной и напечатанной несколькими месяцами раньше Пушкинского «Пира во время чумы» «Татарской песне» В. Теплякова[1] («Одесский альманах на 1831 год», изд. П. Морозовым и М. Розбергом, 406), читается:

О роза юная, зачем
Весны твоей дыханье
Пьет хана старого гарем,
Как гурии лобзанье?

У Д. Давыдова в стихотворении «Возьмите меч» (1814, напечатано в 1821 г.):

Но кто сей юноша блаженный,
Который будет *пить дыханье* воспаленно
На тающих устах?

У Жуковского — в «Громобое»:

К цветку прилипнул мотылек
И *пьет* его дыханье;

— в «Песне» (1808):

Я *пью* любовь в твоем дыханье

У Батюшкова:

Я Лилы *пью* дыханье
На пламенных устах,
Как роз благоуханье,
Как нектар на пирах
(«Мои пенаты»)

Ср. у Е. А. Боратынского:

В дыхании весны все жизнь младую *пьет*
(«Весна», 1826)

У Олина:

«Нет не советуй мне, тебя забывши, *пить*
С коральных уст другой кипящие лобзанья
(«К 30-летней Эрминии. Подражание Муру».
«Альбом Северных муз» 1828, 189)

---

[1] Написано, как значится под стихотворением, 16 августа 1830 г., а цензурное разрешение на «Одесском Альманахе» помечено 17 марта 1831 г.

Ср. франц. l'enivrement de l'amour et des passions — упоение любви и страстей; s'enivrer d'espérance — упиваться надеждой; enivré de sa fortune — упоен своим счастием; être ivre d'ambition, d'orgueil — быть упоенну честолюбием, гордостью[1] (se dit figurement de ceux qui ont l'ésprit troublé par les passions. Dictionnaire de l'Academie française, 1800, I, 437) и т. п.

Однако в Пушкинском языке легко подметить все усиливающуюся со второй половины 20-х годов тенденцию к национально-бытовому оправданию этого «французского» словоупотребления. Достаточно вдуматься в такую параллель:

В последний раз на груди снежной
Упьюсь отрадой юных дней

(1815)

и в стихотворении «Подъезжая под Ижоры» (1829):

Упиваясь неприятно
Хмелем светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты.

Точно так же и в образах *жидкости*, примененных к стихам, словам, речи, объединяется церковнославянская традиция с французской. Ср. франц.: les vers coulent bien; des vers coulants; style coulant и т. п. И в этой области символика движется по тем направлениям, которые указываются французским языком

мои стихи, *сливаясь и журча,*
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.

(«Ночь»).

его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучать и льются

(«Евгений Онегин»);

и др.

Ср. у Дельвига в письме к Боратынскому: «Что стихи твои, *льются* ли все, *как ручьи* любви, или сделались просто ручьями чернильными?..».

Ср. французское: ce vers, cette période sonne bien; ce mot sonne bien à l'oreille!

Итак, в сфере словесной и фразовой семантики теория и практика Пушкинского творчества решительно расходились со стилистическими принципами славянофильства. Пушкин, называя французский язык «языком мыслей», нередко исходит из той системы группировки, дифференциации и связи значений, которая была свойственна французской семантике. Перед ним как перед «европейцем» стояла задача перевода форм европейской мысли и европейской символики на русский язык, задача приспособления русских слов к выражению европейских

---

[1] Татищев (959). Примеры Пушкинского употребления слов *упиться, упоенье, упоительный* и т. д. см. у Гершензона.

понятий. Отрицание этимологического принципа как основного эвристического приема при исследовании идейной, образной и экспрессивной структуры языка и ориентация на употребление, на речевой быт дворянского общества, а отчасти и разных слоев буржуазии и крестьянства побуждали Пушкина искать в русском языке живых лексических соответствий французским словам и их значениям. Это был установившийся метод западнической традиции.[1] Так, кн. Вяземский, в статье «О злоупотреблении слов», переводя изречение Талейрана: «la parcle est l'art de déguiser la pensée» («слово есть искусство переодевать мысль»), писал о соотношении между русским и французским языками: «Заметим мимоходом, что если здесь в переводе нашем не переодета, то отчасти прикрыта мысль Талейрана, потому что у нас нет глагола, равнозначительного с французским dèguiser; нет у нас и еще кое-каких слов, несмотря на восклицания патриотических... филологов... удивляющихся богатству нашего языка, богатого... вещественным, физическими запасами, но часто остающегося в долгу, когда требуем от него слов утонченных и нравственных» (Полн. собр. соч. кн. Вяземского, I, 274). «В русском словаре нет слова, которое ясно и вполне выразило бы французское engouement» (Ib., 156). В «Письмах из Парижа» кн. Вяземского характерны такие места: «То, что римляне называли respublica, что французы называют la chose publique или l'intérêt public, а по-русски как назвать, право, не умею, потому что со мной нет здесь русского словаря» (Ib., 223); «Сей город (Петербург) никогда *не онародуется* (не позволишь ли мне, парижскому неологу, так перевести выражение: se nationalise») (Ib., 248).

Пушкин, оценивая и уточняя значение слова, прибегал почти всегда к сопоставлению с французским языком. Критикуя «Нарвский водопад» Вяземского, поэт остался недоволен выражением «*междуусобные* войны»: он увидел в нем искажение прямого значения слова *междуусобный*. «Междуусобный значит mutuel, но не заключает в себе идеи брани, спора — должно непременно тут дополнить смысл» (Переписка, I, 264). Задумавшись над употреблением слова *случай* в стихе Батюшкова:

Колен пред *случаем* во век не преклоняет,
И в хижине своей с фортуной обитает

Пушкин приписал: «faveur — не то».[2]

В письме к кн. П. А. Вяземскому (20/XII, 1823):

«Какая б ни была вина.

[1] Ср. у Ф. Ф. Вигеля в «Воспоминаниях»: «У французов для названия скромности есть два слова — modestie и discrétion, коих значение различно. Закревский был discret» («Записки», II, 284, примеч.); «От этого fond (дном сего у нас назвать нельзя, а как же иначе?) одна фигура, совсем не серафическая, отделясь, выступала на первом плане» (II, 184) и др. под.

[2] Л. Майков, «Пушкин», 301.

Так и у меня на черно:

Символ конечно дерзновенный
Незнанья жалкого вина.

Вина, culpa, faute; simbole temèraire, faute déplorable de l'ignorance. У нас слово *вина* имеет два значенья: одно из них здесь не имело бы смысла». (Переписка, I, 92).

Наличие в быту таких понятий и характеров, для которых в русском языке еще не создано слов, побуждает Пушкина к канонизации, к переложению на русский лад тех французских слов, которые воспитывали и внушали соответствующую область мыслей и поведения. «Coquette, prude. Слово кокетка обрусело, но prude не переведено и не вошло еще в употребление. Слово это означает женщину, чрезмерно щекотливую в своих понятиях о чести (женской) — *недотрогу*. Таковое свойство предполагает нечистоту воображения, отвратительную в женщине, особенно молодой. Пожилой женщине позволяется много знать и многого опасаться, но невинность есть лучшее украшение молодости. Во всяком случае прюдство или смешно или несносно» (IX, 41).

Характерно, что в набросках «Романа в письмах» светская девушка пользуется для передачи значения prude просторечным словом *недотрога*.

Вместе с тем у Пушкина исследователи (Ф. Е. Корш, Н. О. Лернер, Н. К. Козьмин и др.) не раз отмечали прием семантического дублирования русского слова французским. Это «двойное» употребление указывает на то, что смысловая нормализация лексики, преимущественно в сфере отвлеченных понятий, шла от французского языка. Русские слово, фраза кажутся писателю семантически зыбкими, текучими. Они недостаточно четки, недостаточно лексикализованы (если можно так выразиться) или потому, что двусмысленны, могут скорее выражать какое-нибудь другое значение, не то, которое хотел вложить в них автор-европеец, или потому, что недоосмыслены, требуют от читателя усилия и игры в этимологизацию. Ссылка на французское выражение в этих случаях замыкает значение русского слова, фразы в ясные и твердые семантические границы. Происходит как бы примерка русских слов к передаче таких значений и их оттенков, которые имеют вполне точное, логически-безупречное выражение на французском языке. Точный смысл французского выражения должен перелиться в русское. Тогда признаки языкового смешения исчезают, и в русском национальном языке остается новая мысль.

Например «семейственная неприкосновенность (inviolabilité de la famille)» (Переписка, III, 122). Слово *неприкосновенный* в языке XVIII века имело только прямое значение. Оно было отрицательной формой слова *прикосновенный*, которое обозначало: при-

лежащий, смежный, например, *прикосновенные места* («Словарь Акад. Росс.», 1792, III, 457). Отсюда развилось позднее в слове *неприкосновенный* переносное значение: *непричастный* к чему-нибудь. Оно отмечается «Общим церковно-славяно-российским словарем» П. Соколова (1834, ценз. разр. 1829).[1] В эпоху создания салонного стиля Карамзинской школой причастия и отглагольные прилагательные приноровлялись к передаче французских прилагательных на -able, т. е. стали обозначать обладание каким-нибудь свойством, склонность, способность к чему-нибудь. Тогда слово *неприкосновенный*, оторвавшись от слова *прикосновенный*, осложнилось новым значением: такой, которого нельзя касаться или коснуться, осязать.[2] Отсюда развивается переносное значение в соответствии с франц. inviolable.[3] Такова текучесть, расплывчатость значений слов *неприкосновенность, неприкосновенный* в литературном языке 20—30-х годов XIX века. Это слово влечется цепью французских слов — impalpable, intangible, inviolable. И Пушкин принужден считаться с этим «смешанным» обликом слова, с «двойственным» его существованием.

Точно так же в письме к Вяземскому, поясняя глагол «презирать» французским braver: «презирать (braver) суд людей нетрудно», Пушкин подчеркивает тот оттенок значения, который, перелившись в русское слово из французского, ярче всего теперь обнаруживается в таких фразах, как *презирать опасности* (braver les dangers), *презирать смерть* (braver la mort), т. е. выказывать презрение к чему-нибудь отсутствием страха, боязни.[4]

Такого же типа двойные обозначения: «чрезвычайная известность» (extrême popularité) (Переписка, I, 235). Без французской параллели слово *известность* меньше всего направляло бы мысль

---

[1] Ср. формулировку этого значения в «Слов. Акад. росс.» (1814, III, 1354).

[2] Ср. перевод этим словом французского impalpable в «Новом полном российско-французско-немецком словаре...» (1813, I, 891). Ср. intangible (Voltaire в «Dictionnaire par M. Boiste»).

[3] Оно не поддавалось точной логической формулировке; еще в 20—30-х годах «Словарь Акад. Росс.» и за ним П. Соколов в своем словаре описывают случаи его употребления, круг применения. Здесь читается: «...говорится о всякой святыне, к которой должно иметь крайнее благоговение. Говорится о самодержавных особах, а также о чужестранных послах для означения отменного уважения к их сану, званию» (I, 1650); ср. в «Petit Larousse» определение значений inviolable. Лишь в Акад. словаре 1847 г. *неприкосновенный* определяется так: «1) не долженствующий подлежать ни малейшему оскорблению; священный... 2) не причастный чему-либо...»

[4] Этот оттенок значения был чужд глаголу *презирать* в XVIII веке (см. «Словарь Акад. Росс.» 1792, III, 147); ср. «Словарь Акад. Росс.», по азбучному порядку расположенный (1822, V, 207—208). Лишь в «Общем церковно-славяно-российском словаре» П. Соколова (1834) разделяются два значения: 1) ненавидеть, почитать недостойным уважения, почтения; 2) пренебрегать, не обращать внимания, не страшиться, презирать опасности, смерть (II, 776). При этом любопытно, что слово *пренебрегать*, связывая оба эти значения, относится то ко второму, как у Соколова, то, как в Акад. словаре 1847 г., к первому значению.

читателя 20-х годов к кругу понятий, связанных с популярностью, с признанием кого-нибудь широкими кругами общества, с распространенностью чего-нибудь в народе. Даже словарь П. Соколова определяет известность только так: «Достоверность, точность, подлинность, несомненность» (I, 1001). Значения французского popularité вполне перелились в слово *известность* только в 30—40-е годы (ср. определение этого слова в Акад. словаре 1847 г.). Слово *популярность*, повидимому, было достижением буржуазной лексики (ср. М. А. Дмитриев, «Мелочи из запаса моей памяти». М. 1869, стр. 106).

В повести «Барышня-крестьянка» есть такой же пример дублирования слова: самобытность (individualité). Церковнославянское слово *самобытность* сближалось по значению со словом *самостоятельность* (буквальный перевод нем. Selbstständigkeit). Значение *оригинальность, своеобразие, составляющее внутреннюю сущность какой-нибудь личности* этому слову не было присуще в 20—30-е годы. Мало того: оно не нашло выражения и формулировки даже в Акад. словаре 1847 г. Пушкин, вкладывая это значение в слово *самобытность* посредством применения его к франц. individualité, повидимому пытался внести большую определенность в смысловую структуру этого слова, отделить его от заимствованных синонимов. И история языка оправдала эти усилия поэта. Следует привести несколько иллюстраций того же типа из критических статей Пушкина: *простодушие* (naïveté, bonhomie);[1] *сила рассуждения* (discussion);[2] *пошлая простонародность* (vulgaritè);[3] *хорошее общество* (bonne société).[4]

Во всех отношениях самый народный (le plus national et le plus populaire). Здесь интересно стремление увеличить емкость слова *народный* соответственно разным значениям слова *народ*. В слово *народный* вмещались три значения: 1) свойственный народу, нации, характеризующий нацию, 2) свойственный «простонародью», простонародный и 3) распространенный в разных слоях народа, угодный публике, толпе, популярный. Необходимость пояснить русское слово *народный* французскими сло-

---

[1] «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825).

[2] «Критические заметки» (1830). Французская параллель придает слову *рассуждение* оттенок разбирательства, расследования, разыскания (см. Татищев, I, 478), который не отмечается в Академическом словаре 1822 г. (V, 915), но который «Общий церковно-славяно-российский словарь» П. Соколова пытался передать словом *рассмотрение*, сделав из него особое значение.

[3] Французское слово вносит в «простонародность» оттенок неприличной, не отвечающей требованиям хорошего общества пошлости, низкости, в то время как другое значение простонародности у Пушкина приближалось к понятию народности и не имело отрицательного смысла. «О безнравственности поэтических произведений» (1830).

[4] Так, слово *хороший* из плана субъективной или моральной оценки переводится в сферу социологических понятий. «Критические заметки» (1830).

вами вытекала из тех споров, из тех разногласий, которые в 10—20-е годы были связаны с вопросами о народности. Так, М. А. Дмитриев, полемизируя с Вяземским, упрекал его в смешении «наименования: *народное* с *национальным*» и, определяя разницу между этими словами, писал: «*Народная* поэзия может существовать и у народа необразованного: доказательство тому наши старинные песни. Поэзия же *национальная* существует единственно у тех народов, которых политическое бытие тесно соединено с просвещением гражданским и одно в другом находит необходимую подпору; у народов, имеющих при образованности, общей им с другими, свои собственные нравы, свои обычаи, не изглаженные, но только смягченные временем, свои предания, которых, может быть, не признает история, но которым верит дух нации» («Вестн. Европы» 1824, № 5). Таким образом Дмитриев ставит слово *народный* в связь с народностью или, вернее, «простонародностью», а *национальный* с понятием «исторической нации». Кн. Вяземский на это возражал, определяя содержание слова *народный* близко к Пушкину: «Всякий грамотный человек знает, что слово *национальный* не существует в нашем языке; что у нас слово *народный* отвечает одно двум французским словам: populaire и national, что мы говорим: *песни народные* и *дух народный* там, где французы сказали бы: chanson populaire и esprit national («Дамский журн.» 1824, VI, № 8).

Ср. еще примеры из Пушкинской прозы: «*Долгий поцелуй* поставлено слишком на *выдержку* (trop hasardé)» (Письмо к Н. И. Гнедичу, 27 июня 1822, Переписка, I, 46); [1] «преувеличение (exagération) модной поэзии»; Боратынский «никогда не прибегал к шарлатанству, преувеличению (exagération) для произведения большего эффекта», и мн. др. под.

Нетрудно заметить, что Пушкин в своем художественном словоупотреблении следует традиции «европейцев». Он не избегает значений, возникших на основе перевода с французского языка. Все те лексические формы, которые осуждаются А. С. Шишковым как галлицизмы, можно найти в языке Пушкина. Правда, стилистические принципы отбора и осмысления «галлицизмов» у Пушкина эволюционируют. Принцип непосредственной смысловой ассимиляции «европеизмов» с национально-бытовой сферой значений или, лучше, принцип соответствия галлицизмов национальным стилям речи — и отсюда принцип жесткого ограничения семантических заимствований, строгий отбор галлицизмов в зависимости от их согласия с национально-языковой структурой лексико-семантических форм — вот те стеснительные нормы, которыми Пушкин постепенно, но особенно решительно с середины 20-х годов, стал руководство-

[1] Ср. тот же смысловой ход от французского языка к русскому: «Душа моя, как перевести по-русски bévues. Должно бы издавать у нас журнал Revue des bévues» (Письмо к брату, Переписка, I, 63).

ваться в отношении «галлицизмов», устанавливая пределы и функции для французской системы связи понятий в русском литературном языке. Метод предметно-смыслового оправдания «французских» лексем и фраз и принцип семантической цикли-зации слов, определяющей стилистическую систему основных структурно-объединенных сфер образов и понятий, остаются в силе и при работе поэта над созданием прозаических стилей. Тут прежде всего следует разобрать те случаи, когда Пушкин, отказываясь от французского слова, предлагает его перевод, его русское выражение. Буквальность перевода отвергается. В статье о Боратынском поэт сначала написал: «Никто более (его) n'a mis чувства в свои мысли»; затем буквально перевел французское выражение: «*не вложил*». В окончательной редакции Пушкин придал фразе более острую, парадоксальную — и в то же время более оправданную русской семантикой (хотя и созданную на французской основе) — форму: «не имеет чувства в своих мыслях». В отрывке «В зрелой словесности» для фразы: «с этой foule песен» опять подыскивается эквивалент, далекий от дословного перевода: с этой *бездной* песен (ср. франц. abîme: un abîme de malheurs). Еще оригинальнее и острее русское соответствие глаголу dédaigner (т. е. считать недостойным, презирать, гнушаться): «Истинный вкус не в том состоит, что dédaigne такое (то) слово, такой-то оборот» — так первоначально звучал текст, но потом был так руссифицирован: «истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова».

Пушкин, несомненно с осуждением, отмечает галлицизм *нравов* (moeurs) в стихе Батюшкова:

Обитель древняя и доблести и *нравов*.[1]

В творчестве Пушкина французская семантика слова, развивавшаяся в русле разных стилистических традиций до половины 20-х годов, уже с конца 10-х годов начинает подвергаться сложным стилистическим ограничениям. Постепенно исчезают формы словоупотребления, не оправдываемые смысловой структурой русской лексики. Таковы:

Все в ней очарованье:
И томное дыханье,
И взоров томный свет,
И груди трепетанье,
И розы нежный цвет —
Все юность изменяет.
(«Фавн и пастушка», 1816)

Хохот чистого веселья,
Неподвижный, тусклый взор
Изменяли час похмелья
Сладкий Вакха заговор.
(«Воспоминанье», 1815).

[1] Л. Н. Майков, «Пушкин», 311.

Ср. французское trahir (указание Ф. Е. Корша).

Питать — nourrir:

Судьбою вверенный мне дар,
Доселе в жизненной пустыне
Во мне питая сердца жар...
(Увы язык любви болтливой)

Ср. французское nourrir la flamme.

Он создал нас, он воспитал наш пламень
(«19 Октября»)

Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой
Питать я пламя не хочу.
(«Гречанке»)

Ср. у Батюшкова:

И огнь поэзии питает между нами
(«Послание к И. Л. Муравьеву-Апостолу»).[1]

Но ср. несколько иные укоренившиеся в русском литературном языке приемы употребления слова *питать* (в соответствии с nourrir), иную фразовую атмосферу этого слова (вне связи с образами *огня-пламени*):

Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея...
(«Деревня»)

Иль думы долгие в душе моей питаю
(«Осень», 1830)

Питая горьки размышленья...
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
(«Евгений Онегин»);

и очень мн. др.

(ср. nourrir l'espoir, se nourrir d'espérance и т. д.)

ср. у Батюшкова:

Твой друг в тиши ночной
В душе задумчивость питает

Вить — в значении, связанном с мифологическими образами античности:

Счастливых дней Амуры мне не вьют
(«Сон», 1816)

Где Фебовы сестрицы
Мне с негой вьют досуг
(«Послание к Галичу», 1815)

---

[1] Ср. у кн. П. А. Вяземского в стих. «К Е. С. Огаревой» (1816):
Когда Мелецкого иль Дмитриева дар
Питал бы творческою силой
В груди моей, как пепл таящийся остылой,
Бесплодный стихотворства жар

Ср. у Боратынского:

Скука томно дни прядет
(«К Дельвигу», 1819)

У Батюшкова:

Пусть Парки ввек прядут тебе часы златые.
(«К Маше»)

Литься — couler:

Когда по небу тень *лилась*
(«Кольна», 1814)

С востока *льется ночи тень*
(«Руслан и Людмила»; I, 180)

и мн. др.

Это фразеологическое сочетание — *льющаяся тень* — постепенно отмирает.

Убивать — tuer:

И плод уединенья
Тисненью предают —
Бумагу убивают
(«К Дельвигу», 1815)

Но ср. в «Евгении Онегине»:

Вот как убил он восемь лет,
Утратя жизни лучший цвет
(4, IX)

и др.

Характерно расширение сферы значений *отвечать* под влиянием французского répondre à...:

Как тяжко мертвыми устами
Живым лобзаньям отвечать
(«Кавказский пленник», II, 68—69)

Не мог он сердцем отвечать
Любви младенческой открытой
(«Кавказский пленник», I, 172—173)

Участьем отвечать застенчивой мольбе
(«Деревня»)

Ср. *вопрошать:*

Трепеща, хладною рукой
Он вопрошает мрак немой
(«Руслан и Людмила»)

Ср. у Батюшкова:

Рукою трепетной он мраки вопрошает
(«Воспоминания»)

Ср. у Вяземского:

Мрак жадно вопрошают очи
(«Графине», 1825)

У Пушкина:

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал
(«Фонтан Бахчисарайского дворца», 1820)

Ср. у Батюшкова:

Погибли славные! Но странник в сих местах
Не тщетно камни вопрошает
(«На развалинах замка в Швеции»).

Ср. у Боратынского:

То вопрошаю я предания веков
(«Н. И. Гнедичу»)[1]

и мн. др.

Символы *цветов, розы* в соответствующем фразном контексте — также типическая принадлежность ранней русско-французской традиции в стиховом языке Пушкина:

Иль юности златой
Вотще даны мне розы
(«Городок», 1814)

Доселе в резвости беспечной
Брели по розам дни мои
(«Послание к Юдину», 1815)

О, Лила! вянут розы
Минутные любви
(«Фавн и пастушка», 1815)

Я ей принес увядши розы
Отрадных юношеских дней
(«Стансы», 1817)

Ср.:

Но иногда цветы веселья рвал
(«Не угрожай ленивцу», 1817)

Ср. у Боратынского:

Счастлив, кто легкою рукой
Весной умел срывать весенние цветы
(«Послание к Дельвигу», 1820)

Ср. у Батюшкова:

И рвал в чужбине счастья розы;
(«Разлука»)

и др. под.

Ср. у Боратынского:

Хладеет в сердце жизнь, и юности моей
Поблекли утренние розы!
(«Весна», 1820)

В статье С. Савченко «Элегия Ленского и французская элегия» (сборник «Пушкин в мировой литературе») приведено много

---

[1] Ср. Отрывок из стихотворения «Деревня» кн. П. А. Вяземского:
Ты мудрость вопрошал на плодовитой жатве.

французских фразеологических параллелей к Пушкинскому употреблению этих образов.

Например, у A. Chénier:

> O jours de mon printemps, jours couronnés de rose...
> Sur ma tête bientôt vos fleurs seront fanées...
> A peine ouverte au jour ma rose s'est fanée...

У Millevoye:

> La fleur de ma vie est fanée
>
> («Le poéte mourant»)

и мн. др.

Ср. условные значения слов «цепи», «оковы» (fers; chaines):

> Гордой Елены
> Цепи забывал
>
> («Измены», 1815)

> Опомнись! долго ль, узник томный,
> Тебе оковы лобызать
>
> («Кавказский пленник»)

Ср. у Парни:

> C'en est fait; j'ai brisé mes chaînes
>
> («La rechûte»)

В 20-х годах Пушкин все глубже и ярче разрабатывает приемы национализации тех образов и значений, которые вошли или шли в русскую литературную речь из западноевропейских языков, преимущественно французского. И лексика, и фразеология европейского типа подвергаются своеобразному процессу «этимологизации» в аспекте русской литературной и разговорно-бытовой семантики, проходят сложный путь символической или «вещественной» ассимиляции с национальным словарем и фразеологией.

Например, фраза *влачить жизнь, дни* (ср. «медлительно влекутся дни мои», «влачатся в тишине часы томительного бденья» и т. п.; ср. франц. trainer une vie malheureuse, trainer une misérable existance — влачить жалкое существование) подвергается такому семантическому преобразованию в стихотворении «К Языкову» (1824):

> Всегда гоним, теперь в изгнаньи,
> Влачу закованные дни.

В «Евгении Онегине»:

> Он так привык *теряться* в этом,
> Что чуть *с ума не своротил*
>
> (8, XXXVIII)

Ср. французское se perdre dans qch.

> Поэта память пронеслась,
> *Как дым по небу голубому*
>
> (7, XIV)

Ср. фразеологию франц. fumée.

Ср.

И слабый дар, как легкий скрылся дым
(«Надпись на беседке»)

Интересны такие примеры возвращения значений слов, подвергшихся французскому влиянию, к национально-бытовому контексту в Пушкинском стиле 30-х годов:

Развиться:

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко развилось, как боевое знамя
(1834)

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток
(«Воспоминание», 1828)

Рой — essaim:

Тогда я демонов увидел *черный рой*,
Подобный издали ватаге муравьиной
(«И дале мы пошли», 1832)

(Ср. материал на употребление слова *рой* ниже, стр. 311—312 и мн. др. [1])

Но в ранних стихах Пушкина формы французского словоупотребления условны и далеки от национально-бытовой семантики русского языка, например:

И струны трепетны *посыплют* огнь в сердца
(«Воспоминания в Царском селе», 1814)

Ср. у Милонова в стихотворении «П. А. Никольскому»:

С струн посыпалися звуки

В стихотворении «К А. П. Б.»:

Там сыплющий со струн в сердца восторга жар...
На нем *сияет язва чести*
(«Принцу Оранскому», 1816)

---

[1] Замечательно «смешение» смысловых форм в таких стихах:

В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь:
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окна мелом
Забелены, хозяйки нет.
А где бог весть. Пропал и след.
(„Евгений Онегин", 6, XXXI)

Ср. в отрывке из «Евгения Онегина»:

А дело в том, что с этих пор
Во мне уж сердце охладело,
Закрылось для любви оно,
И все в нем пусто и темно.

Ср. в «Кавказском пленнике»:

Скучая миром, *в язвах чести,*
Вкушаешь праздный ты покой

Ср. эвфемизмы смерти:

Когда пойду на *новоселье*
(Заснуть ведь общий всем удел)...
(«К Н. Г. Ломоносову», 1814)

Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем.
(«Кривцову», 1817)

Ср. у Боратынского:

До рокового *новоселья*
Пожить не худо для веселья.
(«К—ву»)

Что нужды! до новоселья
Поживем и пошалим.
(«Больной»)

Ср. у кн. П. А. Вяземского «К смерти» (подражание французскому):

Зачем пойду на *новоселье,*
Когда и здесь не худо мне?
(Полн. собр. соч., III, 218).

Но здесь проблемы лексики уже переходят в область фразеологии (ср. употребление слова *пир* в «Послании к кн. А. М. Горчакову»: «на жизненном пиру» и у Жильбера: «Au banquet de la vie» и т. п.). Вместе с тем анализ принципов структурного сочетания европейской лексики с формами церковнославянского языка и национально-бытового просторечия ведет к теме об индивидуально-художественном стиле Пушкина.

§ 3. Третий процесс языкового «смешения» состоял в семантическом приравнении русских морфем к «французским» и далее в «кальках», в лексических неологизмах по типу французского словообразования. В качестве таких слов — «копий», воспроизводящих нормы чужестранной речи и разрушающих связи морфем в русском литературном языке, приводились А. С. Шишковым такие неологизмы: *влияние, утонченный, сосредоточить, трогательный* («Рассуждение», 25), *ответность, предельность, повсенародность, ощутительнейшее вразумление,* и пр. (Ib., 53), *картинное положение, письменный человек* (т. е. литератор; 227), *живописательная история* (69), *письменность* (littérature; 296—298), *расположение* (disposition); *развлечение* (distraction); *присутствие духа* (présence d'esprit); *впечатление* (impression); *обстоятельство* (circonstance; ср. Umstand); *склонность* (inclination); *расстояние* (distance); *развлекать* (distraire); *предрассудок* (préjugé; калька

принадлежит А. П. Сумарокову); *насекомое* (insecte); [1] *подразделение* (subdivision); l'impénetrabilité — *непроницаемость* и мн. др. под.

Шишков вполне резонно замечает, что понимание таких «русско-французских» слов обусловлено знанием французского языка», что структура их двуязычна. «Незнающий французского языка сколько бы ни был силен в российском, не будет разуметь переводчика; но благодаря презрению к природному языку своему, кто не знает ныне по-французски? По мнению нынешних писателей великое было бы невежество, нашед в сочиняемых им книгах слово *переворот*, недогадаться, что оно значит révolution или по крайней мере révolte. Таким же образом и до других всех добраться можно: *развитие* — développement, *утонченный* — raffiné, *сосредоточить* — concentrer, *трогательно* — touchant, *занимательно* — intéressant и т. д.» («Рассуждение», 27). Вместе с тем Шишков очень тонко, хотя и в полемическом плане, сопоставляет системы корней-основ и «сцепление понятий» русского и французского языков (ср. семантический анализ слов трогать и toucher, свет и lumière). «От глагола *разить* или от имени *раз* происходят слова: *поражение, раздражение, выражение, возражение, подражание* и проч. Все оные изображают различные понятия. Соответствующие сим французские слова: irritation, expression, imitation и проч., от одного ли проистекают источника? Могут ли два народа в составлении языка своего иметь одинакие мысли и правила?» (Ib., 33). Общность предметно-смысловой структуры в развитии языков возможна у названий материальных вещей. «Напротив того, те названия, коими изображаются умственные вещи или действия наши, имеют весьма различные круги знаменований, поелику... происхождение слов или сцепление понятий у каждого народа делается своим особливым образом» (Ib., 34—35). [2] Поэтому каждый народ должен эту связь понятий «выражать своими словами, а не чужими, или взятыми с чужих. Но хотеть русской язык располагать по французскому, или теми же самыми словами и выражениями объясняться на русском, какими французы объясняются на своем языке, не то ли самое значит, как хотеть, чтоб всякой круг знаменования российского слова равен был кругу знаменования соответствующего ему французского слова» (Ib., 39—40). Ведь для современных Шишкову западников необходимость «рабственного подражания французам» оправдывалась именно тем, что «они, читая французские книги, на-

---

[1] Ср. статью B. Unbegaun, «Le calque dans les langues slaves littéraires», «Revue des études slaves», XII, fasc. 1 et 2.

[2] Ср. на стр. 294, примечание: «не токмо отрасли, происходящие от корней слов, но и самые соответствующие в двух языках слова, хотя одно и то же понятие выражающие, по различным умствованиям составлены и от разных источников проистекать могут».

ходят иногда в них такие слова, которым, по их мнению, на нашем языке нет равносильных или точно сответствующих» (Ib., 45). И Шишков указывает, что такое уравнение русского языка с французским, противоречащее национально-исторической традиции, должно привести к созданию таких слов, как *предличие* — для полного соответствия французскому préface — взамен «предисловие», *презлато* вместо «сокровище» для передачи французского trésor (Ib., 294—296).

Пушкин не участвует в творчестве этих морфологических «снимков» с французских лексем. Теоретически он даже протестует против этого принципа «перевода». «Множество слов и выражений, насильственным образом введенных в употребление, остались и укоренились в нашем языке. Например, *трогательный*, от слова touchant (см. справедливое о том рассуждение г. Шишкова). *Хладнокровие*, это слово не только перевод буквальный, но еще и ошибочный. Настоящее выражение французское есть sens froid — *хладномыслие*, а не sang froid.[1] Так писали это слово до самого XVIII столетия. Dans son assiette ordinaire. Assiette значит положение, от слова assoir, но мы перевели каламбуром — в своей тарелке —

Любезнейший, ты не в своей тарелке»

(«Горе от ума»)

§ 4. Четвертый процесс смешения русской литературной речи с французской еще глубже уходит в структуру основных понятий языка. Он касается группировки и соотношения грамматических разрядов слов. Он состоит в сближении русских грамматических норм и категорий с французскими. Сюда Шишков относит морфологическую перелицовку русских выражений и слов, как например: «вместо *будущее время* говорят *будущность;* вместо *настоящее время* — *настоящность* и проч.» («Рассуждение», 2). «Мы привыкли к слову *неаполитанский,* начто ж писать *неапольский?*.. Какое название дадите вы жителю Неаполя? *Неаполец?* Но оно не значит жителя города сего, а значит *маленький Неаполь.* Итак, в сем случае должны вы прибегнуть к слову *неаполитанец:* на что ж вы оное переменяли? Притом же под словами *Неаполитанская земля* разумеется все королевство, а под словами *Неапольская земля* должно разуметь токмо ту землю, на которой город *Неаполь* построен, или ту округу, которая собственно ему принадлежит» («Рассуждение», 179). Комментируя

[1] Ср., например, в Словаре Татищева (1798): «il agit, il'écoute de sang froid — он поступает, слушает все равнодушно (1786)»; Б. В. Томашевский предполагает, что замечание Пушкина о sang froid находится в связи с именем Буало: «В предисловии к изданиям сатир 1667 и 1672 гг. была фраза: «Le lecteur qui est de sens froid n'épouse point les sottes passions d'un rimeur emporté». В издании 1713 г. Броссет заменил sens froid через sang froid. В хороших позднейших изданиях такая замена оговорена». Примечание к статье «Пушкин и Буало» («Пушкин в мировой литературе», 349).

фразу: «Фортуна много бы помогла *в улегчение* моего состояния», [1] Шишков пишет: «Зачем новое слово *улегчение?* Для чего не *к облегчению* моего состояния? Есть ли мы, вместо *сделать легче, сделать лучше,* станем говорить: *улегчить, улучшить,* то вместо *сделать приятнее, сделать вкуснее,* должны будем писать: *уприятнить, увкуснить...*». Так «многие понятия... перепутаются, смешаются, ибо по сему правилу *сделать крепче* и *укрепить* будет все равно. Между тем... *сделать крепче* значит переменить слабое качество вещи в крепчайшее... В сем случае нельзя говорить: *укрепить вино.* Напротив того, *укрепить доску гвоздями,* не есть переменить качество оной, но токмо учинить ее неподвижною. В сем случае не можно сказать: *сделать доску крепче*» («Рассуждение», 190). Эти явления Шишков правильно понимает как смещение, изменение границ и значений словообразовательных категорий, существовавших в русском языке, — в угоду языку французскому. Воздействие французского языка ломало структуру словообразовательных категорий и нарушало соотношение между грамматическими разрядами слов.

В этих сдвигах грамматических категорий можно найти внутреннюю связь. Мне кажется, что центром, откуда исходило это семантическое движение, была категория прилагательных. Под влиянием французского языка изменились стилистические функции категории имен прилагательных, произошло расширение сферы качественной оценки (ср. значение этой категории в языке Карамзина). В именах прилагательных, как в словах более зыбких по очертаниям отдельных значений и по логическим формам их связи, легче всего осуществлялось раздвижение семантических пределов слова. Кроме того, именно в этой сфере, в сфере форм качественной оценки, характеристических и эмоциональных определений, резче всего выступала *бедность* русского литературного языка, опиравшегося на традиции церковно-книжной речи, — сравнительно с французским (ср. хотя бы характеристику арго щеголих и петиметров XVIII века в «Живописце»). Легко убедиться, что в Карамзинском стиле категория имен прилагательных и сфера относительно-определительных конструкций служат структурной основой речи.

Характерно, что Пушкин, пародируя и обличая в своих критических статьях фразеологические штампы манерных «светских» стилей, отрицает господствующую роль категории имен прилагательных. В самом деле, для всех осмеиваемых Пушкиным выражений характерны.

1) *обилие качественных слов—определений и приложений.* В стиле карамзинистов и их эпигонов нет почти ни одного обозначения, ни одного существительного, которое выступало бы без сопрово-

[1] Мне удалось установить, что этот пример, как и многие другие, заимствован Шишковым из российского сочинения К. Г.: «Новой чувствительной путешественник или моя прогулка в А. в 1802 году», М.

ждающего его определения. Эти определения звучат эмоционально, риторически-приподнято, торжественно, но все они, по оценке Пушкина, плоски, банальны («Будь уверен, что никто не заметит твоих выражений — никто спасибо не скажет»); вот примеры: «сие животное гордое, пылкое...», «дружба, сие священное чувство...», «... благородный пламень...», «восточные края лазурного неба...», «... сия юная питомица Талии и Мельпомены...» и т. п.;

2) *господство относительных и определительных конструкций* над повествовательным движением, преобладание описательных и характеристических выражений над формами последовательно-временных сочетаний. Например: «сие священное чувство, коего благородный пламень и проч...», «презренный завистливый зоил, коего неусыпная зависть изливает усыпительный свой яд на лавры русского Парнасса...», «сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном». Эти грамматические особенности придают повествовательную неподвижность и экспрессивное однообразие стилю, несмотря на видимое обилие слов.

При поисках новых форм повествования в 20—30-е годы много писалось о необходимости сокращения количества прилагательных. Н. А. Полевой в своей статье об «Эде» Боратынского ставил поэту в заслугу, что «он умеет также избегать *прилагательных*, которые так обильно рассыпаются в наших стихах и иногда с излишком употребляются даже в самых лучших произведениях» («Моск. телеграф» 1826, VIII, № 5, 73).

«Моск. вестник» (1827, № 1) обращает внимание читателей на мысль кн. Вяземского об именах прилагательных: «Все существительные уже сказаны, — говорит кн. Вяземский, — и нам остались только прилагательные». «Но существительные все», замечает «Моск. вестник», «сказал еще Адам. Некто заметил, что нам предоставлены глаголы» (208). Кн. Вяземский развивал свои мысли о прилагательных в заметке, посвященной второму изданию «Сочинений в прозе» Жуковского, по поводу повести: «Марьина роща». «В слоге ее», писал Вяземский, «отзывается молодость, но молодость многообещающая: заметна преимущественно невоздержанность на прилагательные, которая есть обыкновенная погрешность и молодых писателей и молодых словесностей. Признаюсь, я не враг прилагательных: почитаю их одним из способов выражения мысли, нам оставленных предшественниками нашими. Все существительные уже высказаны; нам остается заново оттенивать их прилагательными. Прилагательное новое и кстати есть новая оправа старого существительного; она может свидетельствовать об искусстве мастера. Но тем более должно быть осторожным и вместе с тем изобретательным в таком мастерстве. Перечитывая сию повесть и пораженный иногда несообразною расточительностью прилагательных, сделал я еще другое замечание. Излишество их тем

у нас чувствительнее, что, по какому-то заведенному и вероятно машинальному порядку, мы ставим почти всегда прилагательное пред существительным. Мне кажется, что сия повадка, не основанная ни на единственном течении мысли, ни на духе языка нашего, придает утомительное однообразие слогу и какую-то медленность в его движении. В «Истории государства Российского», в сей сокровищнице и святилище языка нашего, можно найти многие примеры счастливому разнообразию в перестановке прилагательных» (Полн. собр. соч. кн. Вяземского, I, 263). В позднейшей приписке своей к статье: «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» Вяземский, каясь в погрешностях своего стиля, писал: «Вьельгорский находил в почерке моем сходство с почерком Шатобриана и извлекал из того, что есть некоторое сходство и в литературных свойствах, или приемах: разумеется не в степени и силе дарования, а просто в избытке и расточительности прилагательных» (Ib., 54). Интересно сопоставить эти стилистические рассуждения с характеристикой французского языка эпохи революции и с описанием послереволюционных стилей романтизма у Поля Лафарга: «В революционный период безмерное увлечение *прилагательными*, сообщающими языку образность... развивалось без всяких преград» («Язык и революция», 91). «Чтобы судить, насколько этот язык, уснащенный *прилагательными*, метафорами и антитезами, был чужд языку XVIII века, достаточно вспомнить жалобы Вольтера... возмущенного иносказательными выражениями, как: «зажечь факел восстания», «мой разум сыплет искры...», «судьба разбрасывает тайны...» (Ib., 94).[1]

Таким образом структура французского языка, ее воздействие на русский язык объясняют это торжество категории качественной оценки в системе русских литературных стилей конца XVIII — начала XIX века. Сообразно с этой общей тенденцией усиливается качественное значение в прилагательных относительных и происходит качественное преобразование форм причастий, которые сближаются теснее с категорией прилагательных. «Когда я нахожу», пишет А. С. Шишков, «подобный сему перевод:[2] *чем простее, вездесущнее, всенасладительнее, постояннее и благодетельнее есть средство или предмет, в котором или через которой мы сильнее существуем, тем существеннее мы сами, тем виднее и радостнее бытие наше — тем мы мудрее, свободнее, любящее, любимее, живущее, оживляющее, блаженнее, человечнее, божественнее, с целию бытия нашего сообразнее* — то могу ли я с услаждением читать то, чего не разумею?.. Существо может ли быть

[1] Ср. также книги гр. Ф. де-ла-Барта: «Шатобриан и поэтика мировой скорби» 1905 и «Разыскания в области романтической поэтики и стиля», Киев, 1908.

[2] Это — перевод заметки Лафатера, взятый А. С. Шишковым из «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина, II, 243—244.

существеннее? Тело может ли быть *телеснее*, мясо *мяснее*, дерево *деревяннее?* Говорим ли мы когда: *я тебя любящее, ты меня ненавидящее, он его глядящее.* Также можем ли сказать: *я тебя живущее?* Можем, но вот в каком разуме: *эта собака живуща, нескоро убить ее можно, а эта еще живущее.* Свойственно ли нам от глагола *оживлять* производить уравнительный степень *оживляющее?* Поэтому я могу сказать: *ты умеешь копить деньги, а я еще и тебя копящее?* Свойственно ли нам из имени человек делать уравнительный степень *человечнее?* Поэтому могу я говорить: моя лошадь *лошадинее* твоей, моя корова *коровнее* твоей?» («Рассуждение», 350).[1]

Широкое развитие категории качественности вело к усилению значения качественной оценки в именах прилагательных и к обогащению сферы качественных наречий. Шишков возмущается такими новообразованиями: «что значит *унизительно тяжко?* каждое из сих слов порознь можно разуметь; но вместе не составляют они никакого понятия» (Ib., 180—181). Расширение категории качественной оценки содействовало росту продуктивности форм словообразования, связанных с категорией прилагательных.[2] Так, для конца XVIII — начала XIX веков характерно распространение имен существительных на *-ость*, производных от имен прилагательных (в соответствии с французским суффиксом -eté, -abilité). «Вошло в обыкновение», пишет А. С. Шишков, «из него (т. е. из суффикса *-ость*) ковать новые слова без всякого разбора и вникания в свойство языка, которое одно в сем случае может предохранять от погрешностей» (Собр. соч. и перев., V, 29). Пример — слово *ответственность*, которое прежде не было в употреблении и в котором, по Шишкову, нет нужды. «Если сию надобность станут выводить из свойств французского языка, в котором réponse и responsabilité имеют великое различие, тогда я останусь при моем мнении, что мы подобными подражаниями скорее будем портить и приводить в бедность, нежели обогащать свой язык» (Ib., 30—31); «другие из русских слов стараются делать не-русские: напр., будущность, настоящность и проч.» (Ib., II, 23—24). В связь с этим преобладаньем категории качественности следует поставить и ослабление категории действия, активной глагольности. А. С. Шишков не раз обличал прием «нового слога» — «для мнимой краткости, выкидывая из выражений необходимо нужные глаголы, делаться невразумительным» (Собр. соч., XII, 193). Особенно он упрекал за это Жуковского. Процитировав его стихи:

---

[1] Уже в послепушкинскую эпоху Н. И. Греч писал в «Чтениях о русском языке»: «Имеют ли причастия степени сравнения?.. Нет! Имея значение времени, они не могут в то же время означать степень качества» (II, 43).

[2] Ср. кое-какой материал у В. И. Чернышева, «Правильность и чистота русской речи», в. II, 167—168 и 158.

Царство ей стройное
В силе спокойное...

Шишков замечает: «Плутарх справедливо сказал: речь без глагола не есть речь, но мычание» (Ib., XII, 205).

Стилистический упор на категорию имен прилагательных имел последствием сложные семантические изменения в системе связи значений у прилагательных и в принципах их сочетания с существительными. А. С. Шишков настойчиво предостерегает от манеры «придавать несвойственные вещам прилагательные имена,— таковые, как *безбрежная тень* и т. п.» (письмо к И. И. Дмитриеву от 16 июня, 1821 г.). Критикуя стих Раича:

Оратай! подстрекай недремлющей рукой

А. С. Шишков пишет: «можно сказать *недремлющее око, недремлющий ум* (поелику уму придают очи); но, кажется, прилагательное сие ни к руке, ни к ноге идти не может».[1] В другом месте он, перечисляя недостатки нового слога, среди них упоминает привычку «означаемым существительными именами вещам давать несвойственные им прилагательные» (Собр. соч. и перев., XII, 193—194), например: «река красноречивая», «ветерок перелетный», «святые травы» и т. п. (Ib., 209).

Проблемы, связанные с функциями имен прилагательных в языке Пушкина, выходят за пределы изучения отслоений и преобразований в нем русско-французской стилистической традиции. Они составляют часть сложнейшего вопроса Пушкинской стилистики — вопроса о формах фразообразования. Здесь же — в плоскости отражений европейского, преимущественно французского, мышления и выражения — приходится ограничиться лишь беглыми указаниями на связь Пушкинского стиха ранней поры с Карамзинскими приемами употребления прилагательных. Характерной чертой стиля Карамзина и его продолжателей, особенно Жуковского, было расширение категории качественного определения за счет категории предметности или, вернее, «окачествление» (если можно сочинить такое слово) категории предметности. Достигалось это, прежде всего, частым употреблением прилагательных в функции существительных. Например у Карамзина в «Рыцаре нашего времени»: «*Жестокая* наложила на нее печать свою — и мать героя нашего никогда не была бы супругою отца его, есть ли бы *жестокой* в апреле месяце сорвал первую фиялку на берегу Свияги...». Пушкин в своих ранних произведениях охотно следует этой традиции.

Вещай, сын шумного потока,
О храбрых поздним временам

(«Кольна», 1814)

[1] «Записки, мнения и переписка адм. А. С. Шишкова», Berlin 1870, I, 349 и 353.

Храбрый видит красну деву

("Казак", 1814)

Мой храбрый вопросил

("Слеза", 1815)

Ср. франц. brave, mon brave.

Слезами счастья грудь прекрасной,
Счастливец милый, орошай

("К Батюшкову", 1814)

В юности страстной
Был я прекрасной
В сеть увлечен

("Измены", 1815)

Кому тихонько верный ключ
Отворит дверь его прекрасной (de sa belle)

("Счастлив, кто в страсти сам себе")

И чувство робости прекрасной овладело

("Леда", 1814)

Горит лицо прекрасной

("Городок")

Он обольстил меня, несчастный (le misérable)

("Руслан и Людмила")

...но в глазах
Вид окрестный потемнился
И несчастный... утомился

("Блаженство", 1814)

Мальвина обняла несчастного колена

("Осгар", 1814)

Пустыню с милым протекает,
Пленившим сердце красотой

("Кольна")

Мечта! в волшебной сени
Мне милую яви

("Городок")

Здесь милого Эвлега призывала

("Эвлега", 1814)

Для милого я сбросила одежды

(Ib.)

Но дерзкого в Валгалле ты найдешь

(Ib.)

Печальная Гальвина
Ждет милого в пещерной темноте

("Гараль и Гальвина", 1814)

Уединен шептал он имя милой

(Ib.)

Для милой... уж не мил

("Блаженство", 1814)

Пускай Глицерия, красавица младая...
Других неопытных в любовну ловит сеть
(«К Лицинию», 1815)

Любопытно, что, исправляя это стихотворение в 1825 г., Пушкин устраняет прилагательное в функции существительного, изменив стих так:

Неопытность других в наемну ловит сеть.

Когда на сильного с сынами устремился
(«На возвращение государя императора», 1815)

...Ужели грозный пал?
Кто смелый?..
(Ib.)

Старый пляшет в хороводе,
Жажду просит утолить
(«Гроб Анакреона», 1815)

Интересно, что в редакции этого стихотворения 1825 г. «старый» поправлено на *старец:*

Старец пляшет в хороводе.

Лихие ржут, бразды кусают
(«Послание к Юдину», 1815)

и мн. др.

Ср. также соединение прилагательного с существительным посредством союза *и,* как однородных членов предложения, например:

А с ними крючковатый
Подьяческий народ,
Лишь взятками богатый
И ябеды оплот.
(«Городок», 1814)

В картинах толь богатый
И вкуса образец.
(Ib.)

Ср. примеры такого же словоупотребления у Жуковского:

Но, ах, жестокой не смягчил!
Жестокая — любви не знает!
(«Из Дон-Кишота», 1804)

Куда! Неведомый спросил
(«Громобой»)

Отчаянного стон бесплодно исчезает
(«Орел и жук», басня; 1806)

Все великою душою
Несравненный превышал!
(«Плач Людмилы», 1808—1809 гг.)

Так я, воспитанник свободы,
С любовью, с радостным волнением певца
Дышал в объятиях природы
И мнил бездушную согреть, одушевить!
Она подвиглась, воспылала!
Безмолвная могла со мною говорить.

(«Отрывок», 1806)

Там шумят веселых волны...

(«Кассандра», 1808—1809)

Кто этот, в славе зримый?..
Ах! что ж могучий повелел?

(«Громобой»)

И под воздушной пеленой
Печальное вздыхало

(«Вадим»)

В тучах звездочка светилась;
Не скрывайся! я взывал;
Непреклонная сокрылась.

(«Пловец», 1811)

И верная незримо с нею

(«Цвет завета»)[1]

Этот прием употребления имен прилагательных к 20-м годам в языке Пушкина почти замирает. Во всяком случае формы его позднейшего применения синтаксически ограничены и стилистически оправданы.[2] Но в Пушкинском стихе на рубеже 10—20-х годов развиваются, получая все более разнообразное выражение, принципы «романтического» отношения к прилагательным. Семантико-грамматический акцент переходит в эмоционально-фразовый. Имена прилагательные или существительные в функции определения становятся сложными формами романтического фразообразования, создающими метафорические противоречия, контрасты и антитезы. Это употребление категории прилагательных (и вообще определений) также отражает воздействие европейской романтической системы стилей на русский язык. Современники видели в этих приемах влияние не только французского, но и немецкого языков. Однако в большинстве случаев прибегали к французским параллелям и пояснениям. Так, «Атеней», критикуя четвертую и пятую главы «Евгения Онегина», спрашивал: «Есть ли какой-нибудь из европейских языков терпеливее русского при налогах имен прилагательных: что хочешь поставь пред существительным,

---

[1] См. у акад. А. Н. Веселовского: «В. А. Жуковский», 481—452. Ср. также о формах словообразования прилагательных у Жуковского, 453—454.

[2] Ср. замечание в «Современнике», II: «Роскошь красок, фигур, сравнений, прилагательных — все это легче дается, нежели положительная мысль, простое чувство, голые существительные, которые должно одеть и украсить верностью и свежестью выражения» (279).

все выдержит... Не назвать ли нам эпитетов, не имеющих приметного отношения к своим существительным, вместо прежнего: *имена прилагательные* новым словом: *имена прилепительные?*» («Атеней» 1828, I, № 4).[1] Оценка эпитетов производится с точки зрения их соответствия французским образцам. Например, когда Пушкин, под влиянием кн. Вяземского, в первом издании «Бахчисарайского фонтана» изменил «язвительный» (ср. «язва лобзаний») на «пронзительный» («Язвительные лобзания напоминают тебе твои... Поставь *пронзительных* — это будет ново. Дело в том, что моя грузинка кусается, и это непременно должно быть известно публике»; Письма, I, 60), — то эта перемена вызвала такой протест рецензента «Сына отечества» (А. А. Перовского? 1824, ч. 92, № 13): «Между поцелуем страстным и язвою поэт усмотрел соотношение смелое, новое, но справедливое. Язва и пламень удобнее сравниваются, нежели пронзительность и пламень. Если словом *пронзительные* лобзания хотя не близко переведем baisers pénétrants, — то словом *язвительные* лобзания неподражаемо выразим другой эпитет изобретения Руссо. Что я говорю? baisers acres холодны перед огненным выражением Пушкина. Быть может, что замеченная перемена сделана в угождение принятому словоупотреблению. Ах, сей тиран и такой жертвой не будет доволен!..». Наиболее частой формой употребления определений для Пушкинского языка первой половины 20-х годов было оксюморное, основанное на смысловом контрасте или несоответствии сочетание их с определяемыми. Тут отражалась общая тенденция романтического стиля к семантическим противоречиям. В этом плане проблема определений органически связана с вопросом о структурных формах романтической фразы, романтического стиля. Пока же уместно ограничиться несколькими иллюстрациями:

О мученик ошибок славных
(«Вольность»)

В блистательном разврате света
(«Вигелю», 1823)

О жизни мертвый проповедник
(«Череп», 1827)

Не обличали в нем изгнанного героя,
Мучением покоя
В морях казненного, по манию царей.
(«Недвижный страж дремал», 1823)

Не там, где на скалу свою
Сев, мучим казнию покоя,

---

[1] Ср. статью В. М. Жирмунского; «К вопросу об эпитете» в сборнике «Памяти П. Н. Сакулина». 1931.

Осмеян прозвищем героя
Он угасает недвижим
("Герой»)

И терном славы неувитый
(«Разговор книгопродавца с поэтом»)

Мне жизни дался бедный клад
(Черновые наброски «Демона», 1823)

(Открыл) я жизни бедный клад.
(Ib.)

и мн. др.

Характерны для усложненной семантики Пушкинской фразы замены эпитетов шаблонно-торжественных:

Недавно бурных туч грядой
Свод неба мрачно облегался

простыми, но семантически далекими:

Недавно черных туч грядой
Свод неба глухо облекался

Этому принципу употребления прилагательных соответствуют и приемы их «открытого» «присоединительного» сочетания, основанного на внутреннем несоответствии, на эмоциональном разрыве сцепляемых форм. Экспрессивное раздвоение этих «открытых структур», преодолеваемое актом эмоционально-смыслового синтеза, создает семантические формы высокого напряжения. Например:

Уж не тебя ль изображал
Поэт *мучительный и милый?*
(«Гречанке», 1822)

Под стражей *бдительной и хладной*
На лоне скуки безотрадной
Измен не ведают оне
(«Бахчисарайский фонтан»)

С мольбой моей *печальной и мятежной*
(«19 октября 1825»)

Чудак *печальный и опасный*
(«Евгений Онегин», 7, XXIV)

Прозерпина вслед за ним,
Равнодушна и ревнива,
Потекла путем одним.
(«Прозерпина», 1824)

и мн. др.

Уже эти беглые иллюстрации к употреблению прилагательных в языке Пушкина рисуют перспективу постепенного отхода поэта от воспринятой им традиции русско-французского западничества. Язык Пушкина, следуя противоречивым и смешанным нормам «европейских» романтических стилей, выходит за пределы Карамзинских стилей в начале 20-х годов, хотя ориен-

тация Пушкинской речи на «европейское мышление» и на европейские формы выражения продолжается. Но в повествовательном стиховом стиле, а с еще большей выразительностью в повествовательной прозе Пушкина, стилистическим центром выражения становится категория глагола.[1]

§ 5. Пятый процесс семантического «извращения» русского языка, отмеченный Шишковым и поставленный им в тесную связь с приемом калькированья слов, стоит уже на грани фразеологии. Это — процесс изменения внешней синтагматики слов по типу французского словосочетания: «Например: переводят *влияние*, и несмотря на то, что глагол *вливать* требует предлога *в*: *вливать вино в бочку, вливает в сердце ей любовь*, располагают нововыдуманное слово сие по французской грамматике, ставя его по свойству их языка с предлогом *на*: faire l'influence sur les esprits — делать влияние на разумы» (ср. цитаты из современных Шишкову писателей: *Авторскою деятельностью иметь влияние на современников; находиться под влиянием исключительной торговли; сие приключение имело влияние на ход политики* и т. п.) (стр. 25—26).[2]

Точно так же слово *предмет*, приспособив свои значения к франц. objet, стало сочетаться с родительным падежом дополнения. По словам Шишкова, это слово «заводит нас в несвойственные языку нашему выражения». Например, «*предмет кровопролития* есть некая загадка, или излишняя кудрявость мыслей». Ср. еще указываемые Шишковым выражения: «предмет благодарения и жертв», «предмет похвальбы», «предмет потребностей» и т. п. «Негде случилось мне прочитать чувствительное, как ныне называют, описание о человеке, который удит рыбу: *с дрожащим сердцем приподнимает уду и с радостью вытаскивает предмет пропитания своего*. Мне кажется мы скоро будем писать: *дрова* суть *предметы топления печей*! О! какие сделаем мы успехи в словесности, когда достигнем до того, что вместо *подай мне платок* станем слуге своему говорить: *подай мне предмет сморкания* моего!» («Рассуждение», 183).

Ср. у Пушкина:

Приди узреть предмет любви твоей
("Эклога", 1814)

Мой свет, мой добрый гений,
Предмет моей любви!
(«Городок», 1814)

---

[1] См. наблюдения М. О. Лопатто: «Повести Белкина», «Пушкинист», в. III. Детальнее в моей работе: «Стиль Пушкина». Ср. также замечания Б. В. Томашевского в комментариях к «Гавриилиаде»: «Гавриилиада», Редакция, примечания и комментарии Б. Томашевского (82).

[2] Ср. конструкции: «Путь открылся влиянию в общие дела европейские» (А. А. Барсов) и т. п. «История Российской Академии» М. И. Сухомлинова, IV, 135, 137 и др.

К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены
("Руслан и Людмила")

Обнять влюбленную подругу,
Желаний слез, тоски предмет.
(Ib.)

Вниманья слабого предмет уединенный,
К доброжелательству досель я не привык...
(«Ответ анониму», 1830)

и мн. др.

Ср. у Millevoye: Digne objet d'un constant amour и т. п. Подобные же изменения постигали и глагол, разрушая систему его синтаксических связей. Возникали новые формы управления падежами. Например: «*когда же сей наружный мир будет достигнут. Достигать до чего, доходить до чего, доплывать до чего:* при сих глаголах несвойственно говорить: *будет достигнут, будет дойден, будет доплыт*» («Рассуждение», 185—186). «Корпус потребован к сдаче, приятель мой потребован к гулянью за город, слуга мой потребован к причесанию соседа: все это не по русски» (Ib., 189).

Ср. в «Моск. телеграфе» 1825, ч. IV, список галлицизмов «Сына отеч.», напр.: «Человек с курьезным носом, которому *умел он давать самое комическое положение*»; женщина... «*заслуживала иметь...*»; «*счел за великую* для себя *честь иметь* такой *отличный почлег*» и мн. др.

Ср. у Пушкина:

И старец беспокойный взгляд
Вперил на витязя в молчанье
(«Руслан и Людмила»)

(франц. fixer ses regards sur quelque chose)

... Взор немой
Вперил он на свое созданье
(«Недоконченная картина»)

На царственный порог вперил смутясь он очи...
(«Отрывок», 1823)

Ср.:

Вперял он неподвижный взор
На отдаленные громады —

Ср. у Боратынского:

Не вы ли, бледные вперив на звезды очи,
Плывете в облаках туманною толпой
(«Финляндия»)[1]

---

[1] Ср., впрочем, еще у Державина:

Вперя свой взор на небеса.
(Из „Фелицы", 279, 18)

Ср. в «Осгаре» (1814):

Задумчивый певец взор тихий обратил
На сына чуждых стран...;

и мн. др.

В «Полтаве»:

Отмстить поруганную дочь... (venger sa fille)
Не он ли помощь Станиславу
С негодованьем отказал
(avait refusé son assistance)

В «Борисе Годунове»:

Доверенность младого Венценосца
Предательством ужасным заплатить!..
. . . .
Я знал донцов: *не сомневался видеть*
В своих рядах казачьи бунчуки.
. . . .
Предшествуем хоругвями святыми... (франц. precédé)

В «Каменном госте»:

Я прошу
И вас свой голос к ним соединить... (joindre à...)

и мн. под.[1]

Шишков ставит в связь с французским влиянием широкое распространение форм родительного падежа в функции определения: «нахожу... *битвы юности, траву стен, облако запада* (сие можно сказать токмо о важных вещах, как например, *врата востока, сын отечества, дщерь неба,* но не смешно ли говорить: дерево леса, рыба реки, куст поля... *речами мира* соблюсти жизнь воина» («Рассуждение», 346—347).

Ср. в языке Пушкина:

Когда роскошных дев веселья
Младыми розами венчал
(«Кавказский пленник», черновая рукопись)

В сцене из Фауста:

Тогда ль, как розами венчал
Ты благосклонных дев веселья

Ср. франц. fille de joie — «непотребная девка», по определению Татищева (т. I, 707).

Ср. у Боратынского:

Не смейтесь, девы наслажденья:
И ваша скроется весна.
(«Прощание»)

В «Евгении Онегине»: «дева красоты» (6, XXII); «дева неги и любви» (вариант в описании Одессы).

[1] Ср. Ф. Е. Корш, «К вопросу о подлинности «Русалки».

Ср. в «Леде» (1814):

Сим примером научитесь,
Розы, девы красоты...

Ср. другие примеры:

Пиров и неги верный сын
(«Энгельгардту», 1819)

Веселых пирований
Веселые сыны
(«Послание к Галичу», 1815)

Прости, счастливый сын пиров
(«Всеволожскому», 1819)

В стихотворении «19 октября 1825 г.»: «сын лени», «волн и бурь любимое дитя»; в стихотворении «Гараль и Гальвина» (1814): «сыны побед»; в «Полтаве»: «сыны любимые победы»; в «Кольне» (1814): «сын шумного потока»; в «Эвлеге»: «о сын угрюмой ночи; «сын отрад» («Гроб Анакреона», 1815); «о дети мудрой лени» («Сон», 1816); «забав и роскоши дитя» («Евгений Онегин») и мн. др.; в стихотворении «К принцу Оранскому»: «язва чести», «воин мести»; в послании «К Юдину»: «сабля мести», ср. в эпилоге «Кавказского пленника»; в стихотворении «Наполеон на Эльбе»: «знамена чести»; в стихотворении «Война»: «знамена бранной чести»; в «Руслане и Людмиле»: «цвет уединенья»; ср. у Дельвига; «цвет невинности» и т. д.[1]

Слезами счастья грудь прекрасной,
Счастливец милый, орошай
(«К Батюшкову», 1814)

В слезах отчаянья, Людмила
От ужаса лицо закрыла
(«Руслан и Людмила», II, 291—292)

И с тихими тоски слезами
(«В Альбом И. И. Пущину»)[2]

и др. под.

Изменение форм фразообразования было связано с преобразованием структуры синтагм. Возникали не только новые типы синтаксических связей, но и уже существовавшие формы синтаксиса расширяли сферу своего применения и получали новое

---

[1] «Вечер горести» («Осгар», 1814); «уныньья мрак» (Ib.); «его звало к боям чужой земли» («Гараль и Гальвина», 1814); «и взором гибели сверкая» («Наполеон на Эльбе», 1815); «посох томной лени» («Мечтатель», 1815); «на маках лени» («Послание к Галичу», 1815); «на слабом утре дней златых» (Ib.); «и вяну я на темном утре дней» («Элегия», 1816); «в листах воспоминанья» («В альбом А. Н. Зубову», ср. в «Евгении Онегине»); «лета соединенья» («Кюхельбекеру»); «Забвенья поростет ползущей павиликой» («К Дельвигу»); «хлад старости», «холод вдохновенья» и мн. др. под.

[2] Ср. у Н. О. Лернера, «Рассказы о Пушкине», 1929, 45.

значение. Таково, например, распространение значений предлога в (франц. en, dans), который после прилагательных (в обособленном употреблении или в функции сказуемого) выражал обладание чем-нибудь, наличие чего-нибудь, как разъяснение качественной оценки. Например: «*она... была так любезна, трогательна в нежной томности своего взора...*». Шишков указывает, что этот оборот применялся в словосочетаниях типа: *ты хороша в белом платье.*: «Но похож ли будет бред наш на хороший и чистой язык, когда мы говорить станем: *ты трогательна в томности твоего взора; ты прекрасна в белизне твоего платья?*» («Рассуждение», 193). Ср., например, у Пушкина в «Пиковой даме»: «молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии...».[1]

Вообще влияние французского языка на русский привело к широкому распространению конструкций с предлогами. Отношения между словами, раньше выражавшиеся предметными значениями самих слов, теперь получали формально-логические обозначения посредством предлогов. А. С. Шишков так писал об этом: «Ныне по примеру чужих языков объясняем мы — мысль словами: *умереть для греха, жить для бога;* ибо *он умер для греха* есть выражение, подобное тому, какое изображаем мы словами: *он умер для нас*, разумея под сим, что тот человек, о котором у нас идет речь, хотя и жив еще, но по отдаленности его от нас, или по иным каким причинам, мы никогда уже не надеемся его увидеть. Следуя старинному правилу, надлежало бы говорить: *он умер нам, он умер греху, он умер славе* и проч. Возьмем для примера одну из сих речей и рассмотрим, которое выражение лучше и справедливее, прежнее ли, например: *Он умер славе,* или нынешнее: *он умер для славы?* Сие последнее не заключает ли паче в себе мысль: *он купил славу ценою жизни* своей? Сия мысль весьма различна от следующей, которую мы изобразить хотим: *он потерял славу свою, и уже никаким образом возвратить оную не может.* И так обе сии весьма различные между собою мысли изображаем мы одними и теми же самыми словами: *он умер для славы.* Сие ли есть красота и богатство языка?.. Не вникаем в богатство коренного языка своего, и последуем бедности чужих языков. Все наше рассуждение основано на том, что французы говорят: il est mort pour nous; il'est mort pour la gloire etc.» («Рассуждение», 226—228).

Ср. в «Моск. телеграфе», 1825, ч. IV, признание галлицизмами: «в деревне очень *опасно для дамы* ночевать одной»; «довольно обширные строения для пристанища армии (les bâtiments asser spacieux pour offrir un asile à l'armée)»; «не почитает сие поприще совершенно для себе конченным» и мн. др.

---

[1] Ср. хотя бы у Руше («Les Mois»):

Surez que la beauté plus *forte dans ses larmes.*
Trouvera votre coeur armé contre ses charmes.

Ср. у Пушкина:

Пока сердца для чести живы
(«К Чаадаеву», 1818)

Ср. у Батюшкова:

Как вовсе умирал для света,
Как снова мой челнок фортуне поверял
(«К друзьям»)

§ 6. Создание новых «переводных», калькированных форм фразеологии, в которых смысловые связи элементов не выводятся из семантических норм русской речи, а понимаются лишь на фоне соответствующих французских фраз, было одним из наиболее ярких проявлений «скрещения» языков и вело, по мнению Шишкова, не только к распаду фразеологической системы русского литературного языка, но и к его национально-стилистическому «обезличению». Русско-французская фразеология состояла из калькированных выражений, из «кудрявых» и «маловразумительных» фраз с семантически противоречивым или немотивированным (в аспекте русского языка) сочетанием частей, и эти неразложимые фразы-кальки понимались как литературные заместители «простых» обозначений, как условные неделимые перифразы бытовых понятий и слов. В этих фразах исчезала не только конкретность значений, но и смысловая связь частей. А. С. Шишков так писал об этом:

«Мы, удаляясь от естественной простоты, от подобий обыкновенных и всякому вразумительных, и гоняясь всегда за новостию мыслей, за остроумием, так излишно изощряем, или, как ныне говорят, *утончиваем* понятия свои, что оные чем меньше мысленным очам нашим от чрезвычайной тонкости своей видимы становятся, тем больше мы им удивляемся и называем это *силою гения*» («Рассуждение», 61). Вместе с тем Шишков подчеркивает, что основной причиной распространения этого типа фразеологических клише является буквальный перевод, калькирование французских речей: «Не находим ли мы в нынешних наших книгах: *подпирать мнение свое, двигать духами, черта злословия* и т. п. Не есть ли это рабственный перевод с французских речей: soutenir son opinion, mouvoir les esprits, un trait de satyre?» (Ib., 45). И Шишков приводит длинный перечень фразеологических неологизмов,[1] например: «Жестоко человеку нещастному *делать* еще упреки, *бросающие тень на* его *характер*». (Ср.: «набросим тень на сии преступные восторги») (Ib., 137). Ср. у Пушкина: «Тщеславие на всех наводит ложну тень» («Безверие», 1817)[2]

[1] См. «Рассуждение», 51—52, 53, 55, 56, 58.

[2] Ср. у Пушкина более позднего периода:

Я молча целый день
Бродил угрюмый, — все кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.
(„В начале жизни школу помню я“, 1830)

погрузиться в состояние морального увядания; погрузиться в глубокую скорбь, отчаянье — se plonger dans une profonde douleur. (Ср. у Prosp. Mérimée в переводе «Пиковой дамы»: le vieux thaumaturge accourut aussitôt et la trouva plongée dans le désespoir; ср. у Пушкина: «Графиня... была скупа и погружена в холодный эгоизм» («Пиковая дама») и др. под. Но ср. в «Сцене из Фауста» (1825) попытку создать объяснительный фразовый контекст:

Тогда ль, как *погрузился ты*
В великодушные мечты,
В *пучину темную* науки,

и др. под.;

«страдательное участие *переменить на роль* всеобщего посредничества» (Шишков, «Рассуждение», 51—52); «что такое: *сия чувствительность дала* рассудительный *оборот* ее мыслям»? Что такое: сия чуствительность дала тихость ее нравам? Откуда научаемся мы такому чудному составлению речей, таким странным выражениям?» (Ib., 125); «*раскрыть через анализ... тайны чудес* (это прямо по-русски!); «*закрасить* чем-нибудь (для чего не замазать!) *свое положение*» (Ib., 137). (Ср. colorer un injustice, un mensonge; il a si bien coloré sa faute — «он так умел закрасить... свой проступок», Татищев); «*играл* совершенно *страдательную роль*» (ср. франц. jouer un grand rôle, un passif rôle); «важность, носящая отпечаток мужественного характера»; ср. франц. porter l'empreinte; ср. у Пушкина в письме к кн. Вяземскому: «Все *носит отпечаток* ее дружбы, для меня драгоценной» (Переписка, I, 172). Старые писатели сказали бы: *в этом городе, или стране, повсюду наблюдаются порядок и спокойствие,* а нынешние говорят: *все, что вы в этом городе видите, носит на себе* (как будто какое платье) *отпечаток порядка и спокойствия.* Выражение сие переведено с франц. porter l'empreinte (Собр. соч. и перев., XII, 193—194). «Мы не смели вводить в сочинения наши таких переутонченных мыслей, каковы суть: «стеснить время в один крылатый миг», или «молодая горячность скользит по жизни» (Ib., XII, 203).[1] «Простое выражение: *она имела власы кудрявые* похоже ли на то, что *волосы у нее льются с чела, и свиваются* с какими-то другими кудрявыми волосами?..» (Ib. IV, 371—372).

Шишков уверяет, что писатели русско-французской школы «почти каждому слову дают... не то знаменование, какое оно прежде имело, и каждой речи не тот состав, какой свойствен грубому нашему языку. Отсюда, по их мнению, рождается сия тонкость мыслей, сия нежность и красота слога, как например следующая или сему подобная: *бросать убегающий взор на распростертую картину нравственного мира* (Ib., II, 68—69); *выра-*

---

[1] Ср. у кн. П. А. Вяземского в стихотворении «Первый снег»:

Стеснилось время им в один крылатый миг.

жение осанки, переменяющейся подобно предметам, коими она трогалась, придавало фигуре ее непреодолимую прелесть!!! После таковой ясности смысла и красоты слога не остается нам ничего, как токмо удивляться, в какое краткое время и какие великие успехи, учась у французов, сделали мы в российском языке» (Ib., 129).

Особенно любопытны приводимые Шишковым фразовые параллели:

старого:	и нового слога:
Как приятно смотреть на твою молодость!	Коль наставительно взирать на тебя в раскрывающейся весне твоей!
Луна светит.	Бледная Геката отражает тусклые отсветки.
Окна заиндевели.	Свирепая старица разрисовала стекла.
Любуемся его выражениями.	Интересуемся назидательностью его смысла.
Око далеко отличает простирающуюся по зеленому лугу пыльную дорогу.	Многоездный тракт в пыли являет контраст зрению.
Деревенским девкам навстречу идут цыганки.	Пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонит.
Жалкая старушка, у которой на лице написаны были уныние и горесть.	Трогательный предмет сострадания, которого уныло задумчивая физиономия означала гипохондрию.
Какой благорастворенный воздух!	Что я обоняю в развитии красот вожделеннейшего периода.[1]
Когда я любил путешествовать.	Когда путешествие сделалось потребностью души моей (Карамзин).[2]

Шишков настойчиво подчеркивает — излишнюю кудрявость мыслей в языке «европейцев». «Чем короче какая мысль может быть выражена, тем лучше. Излишность слов, не прибавляя никакой силы, распространяет и безобразит слог: мы слово *предмет*, последуя французскому слогу, весьма часто без всякой нужды употребляем, как напр.: *в старину* было *многое очень стыдно, что ныне составляет честь и предмет похвальбы*. Для чего не просто: *честь и похвальбу*?». Интересно сопоставить с этими мыслями и заметками А. С. Шишкова рассуждения о русско-французской фразеологии конца XVIII — начала XIX веков другого националиста — выходца из духовного звания Гавриила Добрынина, который отмечает новые формы французской послереволюционной фразеологии: «Я люблю говорить то, что понятно, и люблю слушать то, что ясно и полезно. Для меня понятно, например, «восстановить и утвердить порядок

---

[1] «Рассуждение», 57—58.

[2] Комментарии Шишкова: «Свойственно ли по русски говорить: *потребность души моей*, и можно ли путешествие называть *потребностью*, надобностью, или *нуждою* души?.. Здесь речь сия расположена точно по французскому складу: quand le voyage est devenu nécessaire à mon âme».

правления», но не на мой вкус: «поставить здание на незыблемых столбах политических». Я могу написать: «изнеможение или остаток законной силы и власти», но никогда не напишу: «единая тень колоссального могущества». Я могу написать: «падение государства и его законов», но не напишу: «потеря тяжести, равновесия политических постановлений». Кто так пишет, тот моей своеобычливости кажется таким аптекарем, который в одной ступе толчет историю с механикой. Я могу говорить: «французы уклонились от порядка, истины, должности», но не скажу: «французы уклонились от знамен философии». Я могу говорить, что «духовенство могло бы произвести споры за веру, проклятия и козни», но не скажу, «что духовенство зажгло бы религиозную войну». Я разумею значение «отвратительного самолюбия», но гнушаюсь «гнусным эгоизмом». Мне понятно: «исступление народа во время всеобщего мятежа», но отвратителен «энтузиазм народа в сию эпоху революционной бури». Мне понятно: «французы, зараженные исступлением своих соотечественников», но смешно: «наэлектризованные сообщительным энтузиазмом французских патриотов». Я разумею: «ужасное смятение народа в такой уже было степени, что всякая преграда благоразумия бессильна была отвратить его», но стыжусь разуметь: «река революционная, которой берега низко опущены, разливалась с такою быстротою, что уносила с собою все оплоты, которыми хотели поздно удержать ее». Нет такого таинства, что кровожаждущему Робеспьеру отрублена голова на эшафоте 9 термидора, при радостном рукоплескании всего народа. Но не кстати загадка: «Глухой рев, который бывает предтечею бури, возвестил ее приближение, 8 термидора гром загремел, а 9 термидора удар совершился». Стрельцы, физики и канонеры говорят, что прежде совершается удар, а после ударяет гром. У наших ораторов напротив. Пусть так пишет современник мой Сегюр: он человек государственный. Пусть так переводит соотечественник мой Измайлов, он умеет говорить по-французски, и я люблю читать его Евгения Лукича, представляющего не картину, но истинную историю...» («Русск. старина» 1871, «Записки г. Добрынина», 270—271).

На почве этой сложной и социально-разноречивой русско-французской системы фразовых сочетаний возник новый литературный стиль с своеобразными формами метафоризации, с специфическими условными типами перифраз, не поддающихся этимологизации и предметному осмыслению, с манерною изысканностью приемов экспрессивного выражения.[1] Устойчивая система литературной фразеологии — условной и пышной, состоящей из перифраз и метафор, была характерна не только

[1] Ср. замечания Шишкова о выражениях «... сосн густых, согбенных времени рукою, над глухо воющей рекою; «... когда сосны рукою времени сгибаются?».

для салонного риторического стиля карамзинистов, но — в иных лексико-идеологических формах — она входила в литературный канон и разночинной буржуазии 20—30-х годов. Она заменяла простую номинацию идей и вещей и делала излишним непосредственное обращение к церковно-книжному языку, сила которого заключалась в богатой фразеологии, упорядоченной риториками Ломоносовской школы. Это была обширная область фразеологических штампов, представлявших своеобразную застывшую и неподвижную языковую кору, через которую трудно было пробраться к точному предметно-бытовому значению слов.[1] Процессы фразообразования на французский манер вели к ослаблению предметно-логической структуры слов. Слова сближались, следуя принципам французской риторики. Возникали сочетания слов, содержащие в себе логическое или экспрессивное противоречие. Уместно вспомнить приписку А. С. Пушкина в стихах Батюшкова:

Иль на чело его, в знак мирного венчания,
Возложим мы венки из миртов и лилей

Она гласит: «Увенчаем в знак венчанья!!!».

Возникновение новых форм фразеологии было обусловлено не только механическим воспроизведением «связи понятий» французского языка, но и признанием, освоением чужой мифологии и чужой системы метафоризации, системы риторических фигур (ср. примеч. в «Рассуждении», 91—92). Ср. оценку «русско-французской» фразы с точки зрения смысловых норм русской речи: «*Влить в сердце спокойное достоинство*, есть один

Ср. у Пушкина:

Уж осени холодною рукою
Главы берез и лип обнажены.

(„Осеннее утро“ 1816)

Ср. у Андрея Тургенева в «Элегии» («Вестник Европы», 1802, июль № 13):

Угрюмой осени мертвящая рука
Уныние и мрак повсюду сеет:

Ср. у Милонова в стихотворении «Падение листьев»:

Рассыпан осени рукою,
Лежал поблекший лист кустов.

Ср. у кн. П. А. Вяземского в стихотворении «К Батюшкову»:

Доколе роз в садах не тронет
Мертвящей осени рука.

«Прилично ли говорить о реке: «глуховоющая река»? («Рассуждение» 617). Ср. другие примеры «нелепых» выражений: «нежное сердце, которое тонко спит под дымкою прозрачною», или: «сердечной терн быть может дара тать», или: «не осторожно свесть две сцены жития» и проч.» (Ib., 61).

[1] Ср. граф де-ла-Барт, «Разыскания в области романтической поэтики и стиля» (364 и след.).

пустой звук слов, без всякой мысли» (Ib., 128).[1] «*Влечение наших идей столь же обширно, как пространный океян*». Влечение, скрипение, смирение и проч. не имеют никакой обширности или пространства, потому не могут быть уподоблены океяну, так как поверхность не может быть уподоблена простоте, или точка высоте. Надобно рассуждать, когда пишешь» («Рассуждение», 191).

Шишкову принадлежит характеристика этого слога как «надутого и чопорного», принятая потом и Пушкиным. По поводу Карамзинских фраз: «пишу для вас; заблаговременно готовлю вас в друзья моей памяти» А. С. Шишков замечал: «хороший слог должен быть естествен, а не надут и чопорен» («Рассуждение», 203—204).

В языке Пушкина ранней поры можно найти покорную дань этой русско-французской фразеологической традиции. Например:

Небес сокрылся вечный житель[2]

(«Кольна», 1814)

Ср. у Дельвига в стихотворении «Поэту математику» (1814):

Небес веселых мрачный житель
Является перед тобой.

И покамест *жизни нить*
Старой Паркой там прядется

(«Опытность», 1814)

Ср. у Милонова в стихотворении «К Неере»:

Три грозные сестры, что смертных жизнь блюдут,
Нить дней моих прядя иссохшими перстами...

Где факел мщенья?

(«Воспоминания в Царском Селе», 1814)

Ты пал, и хладною косою
Едва скошенный, не увял!

(«К Батюшкову», 1814)

Ср. у Вяземского:

И самолюбия нож острый часто косит
Весенние цветы младых и красных дней

(«К друзьям», III, 70)

Ср. у Дельвига в балладе «Поляк»:

Цвет невинности непрочен,
Как в долине василек:

---

[1] Ср. такие же примеры из Пушкинского языка, собранные М. О. Гершензоном в книге «Гольфстрем».

[2] Ср.:

Житель рощи торопливый,
Будь же скромен, о ручей!

(„Леда“, 1814)

Часто светлыми косами
Меж шумящими волнами
Вянет скошенный цветок.

Челнок свой весело направил
По влаге бурной глубины

(«К Н. Г. Ломоносову», 1814)

И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках

(«Романс», 1814)

И светлые цари
Смеркающейся нощи
Плывут по небесам.

(«Городок»).

Но вот ночей царица
Скатилась за леса

(«Фавн и пастушка»)[1]

Ср. у М. Милонова:

Как света царь, скончав торжественный свой ход,
Померкшее чело скрывает за туманом

(«Уныние»)

И демон метроманов
Не властвует тобой

(«К Пущину», 1815)

и мн. др.[2]

Ср. в письме к кн. Вяземскому от 27 марта 1816 г.: «Зачем дразнить было нещастного царкосельского пустынника, которого уж и без того дергает бешеной Демон бумагомарания?» (Переписка, 1, 21).[3]

---

[1] Ср., например, у Ламартина («La prière»): «Le roi brillant du jour se couchant dans sa gloire — Descend avec lenteur de son char de victoire и др. под.

[2] Ср.:

Из круга смехов и харит
Уж время скрыться мне велит

(„Стансы", 1817)

Блажен, кто с юных лет увидел
Извивы темные двухолмной высоты.

(„К Дельвигу", 1817)

И в час безмолвной ночи,
Когда ленивый мак
Покроет томны очи

(„Городок", 1814)

и мн. др.

[3] Ср. у кн. П. А. Вяземского в стихотворении «Графу Ф. И. Толстому»

Стихомаранья лютый бес
Кидал меня то в ров, то в лес

Но уж очень рано в творчестве Пушкина обнаруживается упорная работа по исключению и преобразованию штампованных перифраз и метафорических групп, по созданию новой поэтической фразеологии, по переосмыслению и композиционной деформации осколков старой фразеологической системы. Изменившимся методам языковой практики соответствует ряд принципиальных высказываний поэта по вопросам фразеологии. Они частично совпадают с суждениями А. С. Шишкова. Пушкин прежде всего, как и А. С. Шишков, противопоставляет длинным и вялым выражениям простые и короткие обозначения, предлагая писать, например: вместо «дружба, сие священное чувство, коего благородный пламень и проч.» — попросту *дружба;* вместо «едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба» — *рано по утру;* вместо «сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Аполлоном» — *эта молодая хорошая актриса.* Пушкин иронически демонстрирует выражение: «презренный завистливый зоил, коего неусыпная зависть изливает усыпительный свой яд на лавры русского Парнаса, коего утомительная тупость может только сравниться с неутомимой злостью». Этому последнему явно пародическому примеру цветистой прозы Пушкин даже не хочет указать эквивалента в «благоразумном слоге». Он приходит в комическое отчаянье, припоминая д'Аламберта: «Боже мой, зачем просто не сказать лошадь?» Количество примеров этой «высокой» метафорической прозы можно увеличить, если обратиться к пародическим статьям Пушкина. Так, в «Отрывке из литературных летописей» Пушкин издевается над перифразой Каченовского: «Вместо слова *история* — «*неизмеримая область* бытописания, по которой Карамзин проложил тропинку, теряющуюся в тундрах бесплодных». И далее сам Пушкин пародически воспроизводит эту стилистическую манеру: «Светильник исторической его критики озарит вышеупомянутые тундры области бытописаний, а законы словесности, умолкшие при звуках журнальной полемики, заговорят устами ученого редактора» (IX, 46—47).[1] Пушкин указывает на бедность мысли в этом игривом потоке слов, на логическую, а иногда и грамматическую невразумительность пышных перифраз. В диалог двух неизвестных, из которых один затем становится альманашником, вкраплены фразы того же темного, изысканного слога (IX, 61). Так, неизвестный убеждает будущего альманашника пойти к литераторам и сказать им, что он — «юный питомец муз», что он «впервые выступает на поприще славы» (IX, 55). В ту же систему изысканно-описательного стиля прозы попадает и выражение Киреевского о Дельвиге: «Древняя муза его покрывается иногда душегрейкою но-

[1] Ср. у М. И. Сухомлинова, Сочинения, т. II.

вейшего уныния...». «Зачем не сказать было просто: в стихах Дельвига отзывается иногда уныние новейшей поэзии?» (IX, 113).[1]

На полях статьи кн. Вяземского об Озерове—статьи, в которой, по отзыву самого Вяземского, чувствовалась «какая-то напряженность, излишняя искусственность в выражении вследствие короткого знакомства... с французскими образцами старого времени»,—Пушкин отмечает неодобрительно такие русско-французские фразы: «Из наших драматических творений всякое более или менее ознаменовано печатию отвержения, наложенною на наш театр рукою Талии и Мельпомены»; «главным свойством его сердца была любовь к друзьям» (комментарий Пушкина: «Любовь к друзьям — по-русски дружба не свойство, а страсть разве»); «и совсем поглотила его бездна забвения» (Пушкин поправляет эту фразу Вяземского: «и совсем его забыли (проще и лучше)»).

Ср. в «Евгении Онегине»:

И память юного поэта
Поглотит медленная Лета.

Он мыслит: буду ей спаситель,
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал,
Чтоб червь презренный, ядовитый,
Точил лилеи стебелек,
Чтобы двухутренний цветок
Увял еще полураскрытый.
Все это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.
(6, XV, XVI, XVII)

Тот же мотив борьбы с фразовыми шаблонами звучит в оценке Пушкиным стихов Батюшкова:

Ты здесь, подобная лилее белоснежной,
Взлелеянной Авророй и весной,
Под сенью безмятежной
Цвела невинностью близ матери твоей.

Уместно вспомнить, как Пушкин анализирует перифразу Вяземского о водопаде «сердитый влаги властелин»: *Вла, вла,* — звуки музыкальные, но можно ли, например, сказать о молнии *властительница небесного огня?* Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь. Перемени как-нибудь...» («Переписка» I, 264).

Определившееся к половине 20-х годов отношение Пушкина к предметным формам фразы ярко выступает в его критиче-

---

[1] В своей переписке Пушкин пародически употребляет перифразу. Брата он просит: при посылке вина не забыть и (говоря по-дельвиговски) «витую сталь, пронзающую засмоленную (пробку) главу бутылки, т. е. штопор» (Переписка, I, 165).

ских заметках о стиле Батюшкова. По поводу фразы Батюшкова, лишенной конкретного значения, являющейся лишь условно-литературным символом для выражения поэтического восторга: «Тогда я с сильфами взлечу на небеса!», поэт иронически замечает: «Вот сунуло куда».[1]

Ср. у Пушкина:

Сияя горним светом,
Бестрепетным полетом
Взлечу на Геликон.[2]

(«Городок», 1814)

Так же иронизирует Пушкин и над риторическим переосмыслением ходячей торжественно-бытовой русско-французской фразы «отдать руку и сердце» (в значении: сделать брачное предложение) в «Ответе Гнедичу»:

Твой друг тебе на век отныне
С рукою сердце отдаст

приписав на полях: «Батюшков женится на Гнедиче».[3] Пушкин отмечает также предметно-смысловую несообразность в стихах Батюшкова:

Что вы для них, для сих *сердец,*
Природой *вскормленных для* сечи?[4]

В связи с этим требованием внутрифразового предметного соответствия находится принцип точного выражения смысла. Прочитав стихи Батюшкова:

О подвигах своих рассказывает древний воин,
Товарищ юности, и, сидя за столом,
Мне лагерь начертит веселых чаш вином

поэт вспоминает раннюю редакцию последнего стиха:

---

[1] Л. Майков, «Пушкин», 295.

[2] «Взлететь на Геликон» — традиционное «одическое» выражение. Ср., напр., характеристику стиля од Сумарокова у Н. Булича... «Начала од... у Сумарокова чисто случайны и расплодились в нашей литературе с легкой руки Ломоносова, перешед прямо от Ж.-Ж. Руссо и Буало:

Мой дух и сердце возлетают
Туда, где музы обитают...

Или:

Ищи избранных слов союза,
Взлети со мной на Геликон...»

(„Сумароков и современная ему критика“,
Спб. 1854, 106)

[3] Л. Майков, «Пушкин», 206.

[4] Ib., 298.

Пусть ратных стан чертит чаш пролитых вином,

и замечает: «*чаш пролитых вином* — точнее». [1]

Действительно, поправка Батюшкова, модернизуя текст, затемняла понимание самой ситуации: эпитет «веселый» лишь отводил от конкретного представления чертежа. [2] Ср. у Пушкина:

> и ветхим костылем
> И стан, и ратных строй, и дальний бор с холмом
> На прахе начертит он медленно пред ними.
>
> («На возвращение государя императора», 1815)

Борьба Пушкина с фразеологическими трафаретами русско-французского стиля имела целью возвратить словам их предметное значение и этим увеличить, напрячь смысловую интенсивность речи. Ведь в традиционной фразе, стиравшей лексические значения составных частей, роль слов низводилась к функциям фразеологических морфем. Это семантическое обезличение слов, их «грамматикализация», уничтожение в них конкретных значений вели к обеднению мыслей, к образованию смысловых «пустот» в языке. Слово теряло глубину, переставало быть центром сложных семантических притяжений из разных сфер. Оно сохраняло лишь формы плоскостных соответствий и связей, и то строго предписанные, ограниченные нормами фразеологической традиции. Одним из приемов разрушения этой традиции был принцип предметной этимологизации, придвижения слов к их основной лексической сфере. [3] Таково, например, фразеологическое сочетание «едкие угрызения» (в черновой рукописи «Цыган» [4]; ср. французское remords piquants).

Интересен принцип фразового объединения, основанный на метафорическом сближении выражений, этимологически близких, причастных одной смысловой сфере, но стилистически уже разъединенных, семантически разорванных:

> Среди рабов *до упоенья*
> Ты *жажду* власти *утолил*
>
> («Наполеон», 1821)

---

[1] Л. Майков, «Пушкин», 300.

[2] Ib.

[3] Ср. в «Современнике», № 2, в рецензии на поэму Э. Кине. «Napoleon» протест против «обиняков, метафор», против «Делилевской музы, которой страстно хотелось описать кошку, слона, лошадь, но никогда не доставало духа наименовать слона слоном, лошадь лошадью и так далее», — которая всегда надевала шелковые перчатки, срывая землянику в поле, всегда играла в «отгадай — не скажу...» — и лозунг современной литературы: «Современная поэзия должна быть особенно буквальная: в этом случае *дух* именно в *букве* и заключается, точно как достоинство и душа портрета в рабском сходстве. Аллегорические портреты не удовлетворяют истинному чувству: оно требует не холодной отвлеченности, а живой и теплой действительности» (276, 279).

[4] См. «Сочинения Пушкина», изд. Академии наук, III, 434.

(ср. франц. enivrement — упоенье).[1] Однако, позднее Пушкин еще теснее сближает формы русско-французской фразеологии с национально-бытовыми значениями слов, «овеществляет» или «очувствляет» (как выражались пушкинские современники) их. Например в стихотворении «19 октября» (1825):

А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.

Ср. славяно-французские выражения ранних стихов:

О, если б Аполлон пиитов дар чудесный
Влиял мне ныне в грудь
(«Воспоминание в Царском селе», 1814)

И мне в младую боги грудь
Влияли пламень вдохновенья
(«К Дельвигу», 1817)

Ср. у М. Милонова в стихотворении «К Сильвии»:

Пролей надежду на свиданье,
И веры пламень оживи.

Ср. у Дельвига в стихотворении «К С. Д. Пономаревой»:

И весть о вас, как весть спасенья,
Надежду в сердце пролила.

Тяготение к семантическому обоснованию русско-французской фразеологии, к ее этимологическому переосмыслению на национально-русской почве сказывается и в приемах развития, распространения метафор. Ср. в «Деревне» (1819):

Где *льется дней моих невидимый поток*

И в наброске 1835 г.:

И *дней моих поток*, так долго мутной,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.[2]

Но ср. у Милонова в стихотворении «К В. А. Жуковскому»:

Ты внемлешь быстрых лет катящийся поток.
И время отдает тебе минувши годы.

Ср. в «Евгении Онегине»:

Люблю я дружеские враки
И дружеский бокал вина
Порою той, что названа

---

[1] Ср. каламбурную интерпретацию слова *упоение* в письме кн. Вяземского к А. И. Тургеневу: «Я говорю, что это упоение пивное, тяжелое» (Остафьевский архив, V, 31—32).

[2] Ср. в «Русалке» в речи князя:
Мысли в нем
Рассеяны, как тучи после бури (ср. франц. dissipé)

Пора меж волка и собаки,
А почему, не вижу я.

(4, XLVII)[1]

Сюда же примыкают принципы борьбы Пушкина с теми субъектными срывами, с немотивированными включениями авторской оценки в речь персонажа, которые характеризовали «монологический» стиль сентиментально-классической школы. Эта борьба, между прочим, обнаруживается и в заменах эпитетов, в согласовании их с композицией целого. Так, в «Борисе Годунове» Пимен говорил о себе (черновая рукопись Ленинской библ., б. Румянцовского муз., № 2370):

Оставлю труд смиренный, безымянный.

Определение *смиренный* могло выражать лишь точку зрения автора, но не соответствовало «смирению» самого летописца. Поэтому субъектно правдоподобнее окончательная редакция:

Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный.

Другой формой фразеологического «пуризма» была борьба с обезличенными, утратившими конкретный смысл словами, борьба с такими фразовыми шаблонами, в которых отдельные компоненты уже не имели ни предметного, ни экспрессивного значения. Отсюда возникал принцип фразовой «полновесности» стихов: Например, в стихотворении «Козлову» (1825) стихом:

Разбитый юности кумир

был заменен стих:

Цветущей юности кумир

Ср. в эпилоге «Руслана и Людмилы»:

Кипящей младости кумир

Фразеологическая несвязность слов *влачить... венец* в стихотворении «Я пережил свои желанья» была устранена в позднейшей редакции:

Вместо:

Безмолвно, жребию послушный,
Влачу страдальческий венец,

в исправленном тексте:

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец.

---

[1] Ср. в письме П. А. Плетнева Гроту (12 декабря 1840 г.): «Я спросил, могу ли еще бывать у нее (С. М. Сологуб) *между волком и собакою*, и прибавил объяснение, что волк значит гость, жаждущий обеда, а собака — друг, разделяющий с нами вечерние досуги» («Переписка Я. К. Грота П. А. Плетневым», СПБ. 1896, I, 170).

В связи с этими новыми языковыми тенденциями происходит устранение русско-французских, абстрактно-метафорических, лишенных предметно-смыслового единства фраз типа:

И вяну я на *темном утре* дней...
(«Элегия», 1816)

Ср.

Мне страшен свет, проходит век мой темный
(«Сон», 1816)

И ваши *дни по терниям текли*
(«Любовь одна», 1816)

Насытясь жизнию у юных дней в гостях
(«К Каверину»; 1817)

и мн. др.

Происходит постепенное «угасание», замирание французских образов, которые были живыми и действенными в Пушкинском стиле 10-х годов и самого начала 20-х годов. Лишь в «светских» произведениях появляются изредка их отражения. Например метафорическая фразеология, связанная с глаголом *оковать*, постепенно увядает:[1]

Окован мрачною, безмолвною тоской
(«Осгар», 1814)

Ср. у Батюшкова:

Зефир последний свеял сон
С ресниц, окованных мечтами...
(«Пробуждение»)

У Пушкина:

Окованный волшебной силой
Наедине с красоткой милой
Ты маешься...
(«Усы», 1816)

Что я, беснуясь по ночам,
Окован стихотворной думой...
(«Моему аристарху», 1815)

Окован мыслью томной...
(«Фавн и пастушка», 1816)

И память прошлых красных дней,
Окованных счастливой ленью...
(«Мое завещание», 1815).

Ср. у Милонова в стихотворении «На скоропостижную смерть Д...»:

Мечтал ли, что тебя, весельем окрыленну,
На утро окует внезапный смерти хлад.

---

[1] Ср. в «Эвлеге»:

И смерти хлад их ярость оковал.

Ср.

Над морем я влачил задумчивую лень
("Редеет облаков")

Ср. значения франц. enchainer.
Ср. у Батюшкова:

Считаю скукой дни, цепь горестей влачу
(«В сени домашних где богов»)

Ср. также:

Других на век печалями связал
(«Любовь одна...» 1816)

Точно так же изменяется и теряет устойчивое однообразие фразеология, примыкающая к образу «груза»:

Напрасно! Я влачил постыдной лени груз
(«К ней», 1817)

Забот и дум слагая груз
(«Земля и море», 1821)

Ср. mettre bas un fardeau.
Ср. у Жуковского:

Лишенный спутников, влача сомнений груз
(«Вечер»)

Ср.:

Влачить забот и скуки бремя
(«Эпимесид», 1813)

Ср. у Батюшкова:

Пускай забот свинцовый груз
В реке забвения потонет
(«Беседка муз»)

Ср. у Боратынского:

Я ль чувствовал ее свинцовый груз
И перед ней унизился душою.
(«К Дельвигу»)

Но некоторые фразеологические группы, восходящие к французской семантической системе, оказываются очень стойкими в Пушкинском языке, например:

То огнь по членам пробегает
(«Кольна», 1814)

И нежная улыбка пробежала
Красавицы на пламенных устах.
(«Рассудок и любовь», 1815)

Бессмертные, с каким волненьем
Желанья, жизни огнь по сердцу пробежал
(«Выздоровленье», 1818)

По жилам быстрый огнь бежит
(«Руслан и Людмила»)

Ср. у Батюшкова: в стихотворении «Привиденье»:

... Пламень потаенный
По ланитам пробежал.

Ср. в поздних стихах Пушкина:

... Холод
Бежал по мне и кудри подымал...
(«В начале жизни», 1830)

Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал
(«Медный всадник»)

Ср. в стихотворении «Как счастлив я, когда могу покинуть» (1826):

Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается — тогда
Мгновенный хлад, как ужас, пробегает
Мне голову, и сердце громко бьется.

Ср. в прозе «Капитанской дочки»: «Огонь пробежал по мне». Ср. у Вяземского в стихотворении «К прелестной» (1823):

Мгновенно быстрый огнь по жилам пробегает...

Вместе с тем тяготение к символической многозначности и метафорической остроте эпитета непосредственно очевидно хотя бы в таком примере:

Россия, бедная держава,
Твоя *удавленная слава*
С Екатериной умерла
(«Мне жаль великия жены», 1824)

Третьей формой семантического углубления речи был у Пушкина прием дробления фраз. Застывшая фраза как бы ограничивала смысловые пределы речи. Ведь в такой фразе несколько слов по значению замещали одно слово, были равны ему своим смысловым весом. Пушкин нередко возвращает фразе свободу и раздельность ее частей, рассекая ее на элементы и вовлекая их в новые связи. Так, «Атеней» укорял поэта за выражение: *читать в глаза*:

«Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим любезным
Свои творенья.

В числе народных выражений есть и *говорить в глаза;* но мы до сих пор не слыхали, чтобы кто-нибудь сказал: *читать в глаза писать в глаза, рисовать в глаза* и т. п.» («Атеней» 1828, I, № 4). Ср. расчленение и семантическое развитие фразы: *кружиться в вихре вальса, в вихре удовольствий* (le tourbillon des plaisirs).

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный.
(«Евгений Онегин», 5, XLI)

Стремясь совместить в организации фразы структурное единство группы и предметно-смысловую раздельность элементов, Пушкин одновременно обнажает семантическую членимость фразы и раздвигает пределы фразового контекста, устраняет «бессмыслицу» в соотношении отдельных частей расширенных фразовых объединений. Когда А. Родзянка в своем мадригале «К милой» пытался расширить значение формы настоящего времени, включив в нее и план прошлого посредством наречия «вчера»:

Вчера, сегодня, беспрестанно
Люблю и мыслю о тебе,

Пушкин резко осудил этот аграмматизм в письме А. А. Бестужеву от 8 февраля 1824 г.: «Вчера люблю и мыслю» поместят со временем в грамматику для примера бессмыслицы». Отрицая русско-французские шаблоны перифрастических выражений и утверждая новые принципы фразообразования, Пушкин сначала стремится сочетать предметно-смысловую заполненность фразы с приемами внутрифразового контраста, внутрифразового синтеза семантических несоответствий или противоречий. Возникает новая логика семантического движения, в которой объединяются структурные основы национально-языковой идеологии и мифологии с системой европейского мышления. Этот прием романтической индивидуализации фразы, отчасти направленный против перифрастических клише «классицизма», но отчасти использующий те же традиционные антитезы, в стиле Пушкина испытывает сложную эволюцию, но не приводит поэта к созданию национальных форм стиховой фразеологии. Пушкин отходит от принципа прямых, «линейных» антитез, который уже с конца десятых годов укрепляется в его языке, например:

Ты в страсти горестной находишь наслажденье;
Тебе приятно слезы лить.[1]
(«Мечтателю», 1818)

---

[1] Ср. в «Городке»:

И в грусти томный дух
Находит наслажденье.

Покрывы жаркие рыдая обнимал
И сохнул в бешенстве бесплодного желанья

(Ib.)

Ср. франц. fureur.

И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе

(«Жуковскому», 1818)

Узнав тебя, блаженство я познал
И щастие мое возненавидел...

(«Как сладостно...», 1818)

И правду пылкую приличий хлад объемлет.

(«Чаадаеву», 1821)

... Преступник и герой,
И ужаса людей и славы был достоин

(«Дочери Карагеоргия», 1820)

Твоей игрушкой был кинжал,
Братоубийством изощренный

(Ib.)

Опомнись! долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать

(«Кавказский пленник»)

Ср. у Жуковского:

Так пламенно объята мною
Природа хладная была

(«Мечты» 1812)

Я на тебя смотрю с веселием унылым...
О, упоение томительной мечты,
Покинь меня! *Желать* — безжалостно ты учишь,
Не воскрешая, смерть мою тревожишь ты;
В могиле мертвеца ты чувством жизни мучишь

(«В Альбом Ал. Андр. Протасовой», 1814)

С темным счастья ожиданьем.

(«Прощание», 1815)

Отрада нам — о счастье слезы лить!

(«Воспоминание», 1816)

Все необъятное в единый вздох теснится
И лишь молчание понятно говорит.

(«Невыразимое», 1818)

Ср.:

И ликов ряд недвижимых стоит;
И, мнится, их молчанье говорит...

(«Мина», 1818),

и др. под.

Ср. у Боратынского:

С тоской на радость я гляжу
("Элегия", 1819)

Немирного душой, на мирном ложе сна
Так убегает усыпленье...
(«Дориде», 1821)

и др. под.

С середины 20-х годов поэт переходит к более изощренным формам сочетания слов и фраз на основе «косвенных»—чаще даже не столько предметно-логических, сколько экспрессивных—стилистических подобий и несоответствий.

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
(«Чернь», 1828)

Ср. фразеологическую атмосферу слова *повесть:*

К чему тебе внимать безумства и страстей
Незанимательную повесть?
Она твой тихий ум невольно возмутит
(«Мой друг, забыты мной», 1821)

Ср. у Жуковского «Пери и ангел» (1821):

И яркими чертами совесть
На нем изобразила повесть
Страстей жестоких и злодейств.

В «Домике в Коломне»:

Но сквозь надменность эту *я читал*
Иную повесть: долгие печали,
Смиренье жалоб...

В «Русалке» — в речи князя:

Все здесь напоминает мне былое
И вольной, красной юности моей
Любимую, хоть горестную повесть.

Ср. у Вяземского в стихотворении «Листок»:

Но кто на нем и повесть роковую
И таинство судьбы его прозрит.

Пушкин в эту эпоху (со второй половины 20-х годов) все более и более осложняет национально-бытовой семантикой схемы европейского (следовательно и французского) фразообразования и фразосочетания. Он вплотную подходит к проблеме национально-языкового синтеза закрепленных дворянским бытом и литературной традицией простейших французско-русских фразовых форм с идиомами русского просторечия и фразеологией церковно-книжного языка. Возникают сложные и многоцветные структурные объединения стилистически разнородных фраз и фразовых осколков. Вопрос о принципах этой фразеологической мозаики, оправданной композицией целого и «духом» национального языка, выходит за пределы темы о фразеологических отражениях «европейского мышления». Это — основ-

ная тема Пушкинской стилистики. Но зато еще острее выступает необходимость указать на сложность и богатство тех русско-французских простейших фраз и идиом, которые отчасти были унаследованы Пушкиным из предшествующей дворянской литературно-языковой традиции, отчасти восприняты из современного поэту речевого опыта, отчасти восполнены им самим и которые были утверждены поэтом как один из структурных элементов художественной и бытовой фразеологии русского литературного языка. В языке Пушкина находят признанье и применение не только «смешанные» или «слитные» формы славяно-французской фразеологии, но и многочисленные, разнообразные серии чисто французских словосочетаний, фразеологических клише и фразовых сращений. Например, mesurer des yeux, avec les yeux:

Я ужаснулся и молчал,
Глазами страшный призрак мерил

(«Руслан и Людмила», I, 415—416)

ouvrir de grands yeux:

Она, *открыв глаза большие*

(«Граф Нулин»)

Выражение *хлад старости:*

Под хладом старости угрюмо угасал
Единый из седых орлов Екатерины

(«Н. С. Мордвинову», 1825)

— типичный шаблон литературного языка той эпохи. У Батюшкова в прозе: «Власы главы его белели уже от хлада старости».[1] Ср. французские «Stances» (1814) Пушкина: dans la froide vieillesse.

Т а и л в молчаньи он глубоком
Д в и ж е н ь я с е р д ц а своего.

(«Кавказский Пленник», I, 363, 364)

Ср. французское: le mouvement du coeur.

И утонули в наслажденьи
Не омрачаемом ничем

(«Подражание Корану»)

И после ужасов набега
В роскошной лени утопал

(«Бахчисарайский фонтан»)

Ср.:

Пусть наша ветреная младость
Потонет в неге и в вине

(«Добрый совет», 1817)

Но ср. в стихотворении «Языкову» (1827):

---

[1] Письмо к И. М. М. А. «О сочинениях г. Муравьева», Полн. собр. соч. М. Н. Муравьева, 1819, стр. XI.

В долгах, бывало, утопая,
Заимодавцев избегая,
Готов был всюду я лететь.

Ср. у Дельвига в стихотворении «К Илличевскому»:

Лениться, говорят, беда,
А я в беде сей утопаю.

Ср. у Плетнева в стихотворении «Пир»:

Я в сонме радостных гостей.
Все утопает в наслажденьи...
Сияет роскошь средь огней

(Соч. и пер., III, 259)

Ср. еще у Пушкина:

Мы топили горе наше
В чистом, пенистом вине.

(«Воспоминание», 1815)

Мы любим славу (?) да в бокале
Топить разгульные умы.

(«Мы рождены, мой брат...», 1830)

Я рад рассудок утопить

(«Кто из богов», 1835)

Ср. значения и фразеологию французского noyer.

Прияв губительные меры
Носился, плавал коршун серый.

В «Борисе Годунове»—царь:

Послушай! князь: взять меры сей же час.

Уж носятся сомнительные слухи,
Уж новизна сменяет новизну;
А Годунов свои приемлет меры.

«Борис Годунов» — Марина

Ср. французское prendre des mesures pour qch.

Ср. в «Арапе Петра Великого»: «Меры были приняты наскоро».

Здесь готовится природе
Долг последний заплатить

(«Гроб Анакреона» 1815)

В лице печальном изменясь,
Встает со стула старый князь.

(«Руслан и Людмила», 88—89)

Ср. французское: changer de visage.

В «Пиковой даме»: «Он ее боялся, как огня» (в переводе Pr. Mérimée: il la craignait comme le feu); «сделала знак молодому человеку» — fit un signe au jeune officier, и мн. под.

Ср. эволюцию фразеологических оборотов, связанных со словом *рой* — essaim: «рой веселья» («Фавн и пастушка», 1816); «детей пафосских рой игривый» («Моему аристарху», 1816); в «Евгении Онегине»: «комедий *шумный рой»;* «в нем думы *роем* возмутил»; в «Бахчисарайском фонтане»: «прелестниц обнаженный рой»; «жены... гуляют легкими роями» и др. под.

Толпа в гостиную валит.
Так пчел из лакомого улья
На ниву *шумный рой* летит.
(«Евгений Онегин», 5, XXXV)

Тогда я демонов увидел черный рой,
Подобный издали ватаге муравьиной
(«И дале мы пошли»)

Тогда других чертей нетерпеливый рой
За жертвой кинулся с ужасными словами.
(Ib.)

Ср. у Боратынского:

Исчезнет легкий рой веселий и забав
(«Дориде»)

Живых восторгов легкий рой
Мне заменится хладной думой
И сердца мертвой тишиной!
(«Элегия»)

и др. под.

Ср. фразеологию, прикрепленную к слову *тень* — ombre и мн. др.

§ 7. Проблема отражений французского языка в формах построения, расположения и связи синтагм Пушкинского языка очень сложна. Прежде всего возникает вопрос о структуре «синтаксических единиц» в языке Пушкина, о порядке слов в Пушкинском предложении, о приемах сцепления предложений, о порядке их движения. Принципы синтаксической реформы удобнее всего наблюдать на материале прозы. Ведь здесь выковывались нормы для языка общежития. Но синтаксис Пушкинской прозы не стоит одиноко. Он очень близок к синтаксису прозы Боратынского («Перстень»), прозы Грибоедова, прозы Д. Давыдова (см. также прозу «Записок капитана Головнина») и др. под. Коечто роднит его с языком Погорельского. Нельзя отрицать в нем сильной французской струи. Пушкин, как и Боратынский, отбирая формы синтаксического выражения, устанавливая порядок слов и ритм прозы, ориентируется на синтаксис французской прозы определенного стиля (прозы XVIII века), но критерий национальной оценки и оправдания всегда ищет в формах русской народной словесности, «общерусского» разговорного и книжного языка, а также языка бытовых жанров прозы, т. е. переписки, записок, мемуаров и хроник. Синтаксис — это тот рычаг, посредством которого Пушкин сдвигает литературный язык с отведенных ему позиций. Но стилистический синтаксис Пушкинского стиха и Пушкинской прозы — одна из глав моей книги, посвященной изучению индивидуально-художественного мастерства Пушкина в сфере речи. [1]

---

[1] Эта глава войдет во второй том моей работы «Стиль Пушкина». Здесь, между прочим, рассматривается и вопрос об отношении Пушкин-

Ср. в «Моск. телеграфе» 1825, ч. IV, примеры синтаксических галлицизмов русской прозы в роде: «и не было другой возможности достичь, *как разве* в челноке»; «*вместо того, чтобы* взять направление ко взморью» и т. п.

Пока же уместно привести несколько характеристических примеров отражения французского синтаксиса в Пушкинском стихе. Воздействие французского языка на Пушкинский синтаксис замечали современники. Они видели в этом свидетельство традиционности стилистической манеры Пушкина. Так, П. А. Плетнев в разборе элегии Батюшкова «Умирающий Тасс» останавливается на синтаксическом приеме постановки личного местоимения впереди имени, которое оказывается тем самым в функции приложения, и видит в этом синтаксическом явлении отражение французского синтаксиса. Поводом к этому экскурсу в область синтаксиса был разбор стихов Батюшкова:

Повсюду перст ее неотразимый,
Повсюду молнии, карающей певца.

В примечании Плетнев пишет: Если в первом стихе местоимение *ея* (по нашей орфографии *ее — В. В.*) отнести (как и должно по пунктуации оригинала) к слову *фортуна,* то второй стих совершенно потеряет смысл. Если же это местоимение относится к слову *молния* во втором стихе, то олицетворение молнии, карающей перстом своим человека, ослабляет ее действие в естественном виде; притом же оборот сего периода становится не совсем русским». У нас многие первоклассные поэты употребляют личное местоимение прежде имени, как здесь: «повсюду перст ее... повсюду молнии», например, Пушкин:

Она прошла, пора стихов,

или он же:

Ты их узнала, дева гор.

Но такое словосочинение свойственнее, кажется, французскому языку, с которого оно и взято в русский, как например:

Elle a vécu, Myrto, la jeune Tarentine.
(Chénier)

Ils ne sont plus, ces jours délicieux
(Parny) [1]

Примеры из стихотворений Пушкина:

ской синтаксической системы к Карамзинской. Ср. описание норм «французского стиля» в «Сокращенном курсе российского слога» Подшивалова-Скворцова, указания на роль французского и английского «словосочинения» в языке карамзинистов у И. И. Давыдова («Опыт о порядке слов»), у Н. И. Греча («Учебная книга русской словесности», 1830, IV, «Практическая русская грамматика», особенно изд. 2-е, 1834; «Чтения о русском языке»), у С. П. Шевырева и мн. др.

[1] Соч. и перев. П. А. Плетнева, Спб. 1885, I, 103—104.

Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.
(«Стансы Толстому», 1819)

Ты их узнала, дева гор,
Восторги сердца, жизни сладость.
(«Кавказский пленник», II, 1—2)

Итак, они прошли — лета соединенья
Итак, разорван он — наш братский верный круг
(«Кюхельбекеру», 1817)

Они прошли, твои златые годы
(«Послание к кн. Горчакову», 1817)

Исчезнул он,
Веселый сон.
(«Пробуждение», 1816)

Ср. в Пушкинских «Stances»: Il a fui, le temps des beaux jours

Она исчезла, жизни сладость
(«Кавказский пленник»)

Но ты, пора любви, минула
Еще быстрее...
(«Цыганы», 389—390),

и мн. др.

Ср. у Bertin в 12 элегии II кн.: Ils sont passés, ces jours délicieux.

Ср. у И. И. Дмитриева:

Придете ль вы назад,
Минуты радостей, минуты восхищений?
(«Два голубя»)

У Н. М. Языкова:

Она прошла и не придет,
Пора томительных забот,
Моя сердечная тревога
(«Воспоминанье», Альбом северных муз, 1828, стр. 110)

У Н. М. Языкова в «Послании к А. Н. Очкину»:

Но вы сокрылись, дни счастливого незнанья!

В «Песни барда»:

И вы сокрылися, века полночной славы,
Побед и вольности века!

В послании к А. А. Воейковой»:

... но где ж они,
Мои пленительные дни,
Восторгов пламенная сила
И жажда славного труда?

В элегии: «Меня любовь преобразила»:

Она придет, мой ангел милый,
Любовь моя — она придет!
Он отдыхает, грешный свет
(«Ночь», 1827)

У Е. А. Боратынского в «Элегии» (1830):

Уж он исчез — блаженства сон мгновенный

У А. А. Марлинского:

Зачем зарницею без гула
Исчезла ты, любви пора?..
(«Сон», 1829) [1]

Еще более характерны приемы чисто французского сочетания синтагм, противоречащие системе русского синтаксиса и уже в русском литературном языке почти совершенно вымершие к 30-м годам.

Примеры из сочинений Пушкина:

Бежал от радостей, бежал от милых муз
И — слезы на глазах — со славою прощался
(«К ней», 1817)

Ср. les larmes aux yeux.

То же в стихотворении «Андрей Шенье» (1825):

Когда с угрозами и слезы на глазах
Мой проклиная век, утраченный в пирах». [2]

Ср. в «Городке» (1814):

Склонилася она
Ко груди грудью страстной,
Устами на устах,
Горит лицо прекрасной
И слезы на глазах.

В черновом наброске «Евгения Онегина» — «непростительный галлицизм»:

Грустный, охладелый,
И нынче иногда во сне
Оне смущают сердце мне

В «Дубровском»: «Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового».

Ср. у Марлинского А. А. в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 года и начале 1825 года»: «Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся ум дела; он хочет шевелиться, когда не может летать; но не занятый политикою — весьма естественно, что деятельность его хватается за все, что попадется» (XI, 169).

Ср. у Батюшкова:

---

[1] Стих. и полем. статьи (Полн. собр. соч. А. Марлинского, 1840, XI, 143).
[2] Ф. Е. Корш, «Изв. II отд. Акад. наук» 1898, III, 698.

Беги на встречу мне, беги из мирной сени,
В прелестной наготе явись моим очам,
Власы развеянны небрежно по плечам,
Вся грудь лилейная и ноги обнаженны...

(«Элегия» из Тибулла)

У Жуковского:

Бледен, изможденный,
С обезображенным челом,
Все кости обнаженны,
Брада до чресл, власы горой,
Взор дикий, впалы очи,
Вопил от муки Громобой
С утра до поздней ночи.

(«Громобой», 1816—1817)

И распаленные душой,
Влекомы ожиданьем,
Для вас взойдет краснее день,
И будет луг душистей

(Ib.)

С женихом рука с рукой,
Взор любовью распаленной,
И гордясь сама собой
Благ своих не достигает

(«Кассандра», 1809)

и др. под.

Ср. у Боратынского:

Невольник истины угрюмой,
Отныне с праздною душой, —
Живых восторгов легкий рой —
Мне заменится хладной думой.

(«Элегия», 1820)

и др.

Но основа Пушкинского синтаксиса не в этих отдельных проявлениях французского влияния. Порядок слов, построение синтагм, принципы их сочетания, господствующие категории синтаксических связей, среди которых выделяются стилистическим своеобразием и остротою приемы применения «присоединительных», «прерывистых» конструкций, логика синтаксических форм — все это в Пушкинском стиле национально оправдано, но обнаруживает тесную связь с традициями французской литературы, особенно в прозе. Проспер Мериме был прав, когда писал о «Пиковой даме»: [1] «Je trouve que la phrase de Pouchkine «Пиковая дама» est toute française, j'entends française du XVIII-e siècle, car on n'écrit plus simplement aujourd'hui. Je me demande quelquefois: si vous autres Бояре vous ne pensez pas en Français avant d'écrire en Russe? y a-t-il quelque livre écrit en

---

[1] А. К. Виноградов, «Мериме в письмах к Соболевскому», М., 1928, стр. 99.

Russe avant qu'on ne sut le Français?». Для Пушкинского стиля симптоматичен самый выбор и отбор синтаксических форм и традиций из разных стилей французского литературного языка.[1]

§ 8. Резкие изменения в лексике, грамматической системе и семантике русского литературного языка, вызванные сложными и социально разнородными формами влияния «европейского мышления», разными методами синтеза национально-русских и западноевропейских элементов речи, вели к полному разрушению тех стилистических контекстов, которые, видоизменяясь, осложняясь, из XVIII перешли в XIX век. Становилась иной стилистическая характеристика слова. Ломались нормы его употребления. Стили смешивались. Таким образом Пушкин постепенно отклоняется от пути русских западников, не выбиваясь из русла европейского мышления, и в то же время остается далеким, чуждым школе славянофилов. Он дает самостоятельное, но вовсе не революционное, а скорее примирительное и национально-охранительное решение вопроса о границах и принципах литературно-языковой европеизации. В этом либеральном консерватизме Пушкинской реформы крылись причины того, что язык и стиль Пушкина в эпоху буржуазной революции, которую переживал русский литературный язык в 30—50-е годы, подверглись молчаливому преследованию. Язык и стиль Пушкина стали живым источником литературных влияний лишь тогда, когда притупилось ощущение и понимание современной Пушкину литературной и идейной борьбы, когда язык Пушкина был, так сказать, деклассирован историей. И тем не менее позиция Пушкина в борьбе между французским и русско-славянским языками гениальна. Пушкин, содействуя укреплению форм европейского мышления, в то же время преодолевает узость великосветского жаргона и сближает литературный язык с разными национально-бытовыми стилями.

[1] Но проблема Пушкинского синтаксиса, по внешним обстоятельствам (типографского характера), уходит отсюда в мою книгу о стиле Пушкина.

VIII

Процесс буржуазного перерождения русского книжного языка в 20 — 30-х годах XIX века. Буржуазные стили русской литературной речи и язык Пушкина

1

Проблема соотношения «европейского мышления» и живых, т. е. развивающихся, стилей русской литературной и бытовой речи стояла в центре языковой теории и практики буржуазной литературы. Эта проблема находила неодинаковые решения у разных групп разночинной интеллигенции. И все эти решения резко отклонялись от принципов Пушкинского синтеза основных социально-языковых категорий. С точки зрения норм буржуазного языкового творчества стиль Пушкина в его разнообразных жанровых вариациях представлялся «архаистичным», старомодным, или вернее: консервативным, скованным традициями дворянской «литературности». В иных отношениях оценка была неоднородна. Одни (как Даль) находили язык Пушкина недостаточно «народным», чересчур «французским». «Пахнет русским духом иногда у Пушкина, Языкова», — отзывался В. И. Даль.[1] Другие (как Полевой) отрицательно относились к принципам Пушкинского отбора и синтеза стилей и к Пушкинскому методу литературной обработки просторечия и простонародного языка, выдвигая требование семантически осложненной и метафорически пестрой прозы.[2] Создавалось парадоксальное положение. Пушкинский стиль оказывался ближе литераторам старой дворянской, Карамзинской школы, т. е. тем, с кем Пушкин вел борьбу с самого начала 20-х годов и кто его так недавно порицал и отвергал.

Характерно суждение И. И. Дмитриева. Он пишет В. А. Жуковскому от 13 марта 1835 года: «Заплатя достойную дань сво-

---

[1] Полн. собр. соч. Владимира Даля, 1898, X, 542.

[2] Ср. в письме И. И. Дмитриева к А. С. Пушкину по поводу «Истории пугачевского бунта»: «Другие и, к сожалению, большая часть лживых романтиков желали бы, чтобы история наша и в расположении и в слоге изуродована была всеми припасами Смирдинской школы и чтобы была гораздо погрузнее» (Соч. И. И. Дмитриева, Спб. 1893, II, 319).

ему веку, окажите же вместе с Пушкиным услугу и нашей словесности, как истинные ее представители; не дайте восторжествовать школам Смирдина и Полевого над языком Карамзина. Он, очевидно, теряет свое господство. Большая часть наших писателей, забыв его слог, благозвучный, отчетливый в каждой фразе и каждом слове, украшают вялые и запутанные периоды свои площадными словами: *давным давно, аль, словно, коли, пехотинец, закорузлый, кажись* (вместо кажется), *так как, ответить, виднеется* — с примесью французских: *серьезно* и *наивно*. Такие и подобные слова нахожу я не только в легких, но и в тяжеловесных сочинениях новейшего времени». [1] Далее Дмитриев

---

[1] Но ср. у П. А. Катенина:

Не промолвятся день целой,
И кажись друг друга жаль.

(„Наташа", Соч. и перев. П. А. Катенина, I, 2)

Коли в нем проку нет,
Так не на что беречь

(„Мстислав Мстиславич", Ib., 40)

Ср. суждение В. К. Кюхельбекера об этих Катенинских стихах: «Я, кажется, слышу не князя Мстислава, но самого низкого простолюдина». («Невский зритель» 1820, ч. I, февраль. «Взгляд на текущую словесность», стр. 110).

Вам вечный стыд, мне горе неутешно,
Коль наш отец от тяжких ран умрет.

(Ib., 43)

У Пушкина в «Домике в Коломне»:

Бывало, мать давным-давно храпела,
А дочка — на луну еще смотрела...

Ср. у кн. П. А. Вяземского стихотворение «Давным-давно» с четыре раза повторяющимся рефреном строф: «давным-давно» (напечатано в «Полярной звезде» на 1824 год).

У В. А. Жуковского:

... приняться
Давным давно пора тебе за дело.

(„Две повести", 1844)

У Пушкина:

Но так как с заднего крыльца
Обыкновенно подавали
Ему донского жеребца...
Поступком оскорбясь таким,
Все дружбу прекратили с ним.

(„Евгений Онегин", 2, V)

В «Утопленнике» (1828):

Рыболов ли взят волнами
Али хмельный молодец,
Аль ограбленный ворами
Недогадливый купец.

Али — у Пушкина обычно в стилизациях народно-поэтического творчества:

говорит о незначительности влияния Академии и университетов на «усовершенствование языка» и возмущается: «Один профессор [1] называет Карамзина слог идиллическим, а другой признает слог Сенковского образцовым в силе, красоте и правильности русского слова. К кому же остается прибегнуть, как не к вам, представителям (еще повторю) нашей словесности! Остановите порчу отечественного языка, если не хотите получить упрека в неумышленном союзе с Францией. Не испугайтесь! Так Франция убила благородный наш язык в домашнем быту высшего сословия. У кого теперь перенимать его нашим детям? Научаться ли ему у семинаристов, или в лакейской и девичьей? Я право иногда боюсь, чтобы мужики наши не заговорили по-французски, а мы по *ихному*. [2] Да мне уже и удалось подслушать на улице пьяного каменьщика, приветствовавшего своего товарища: «бонжур, мусье», а в гостиной крестьянку кормилицу, она, поднося к ее сиятельству двухлетнюю Додо или Коко (не помню), толкала ее в затылочек и повторяла: «Скажи матушке: мерси, мерси». Даже и детская благодарность к матери должна быть выражаема на чужом языке» (Ib., 315—316). Так в формировавшемся литературном языке буржуазии и разночинной интеллигенции возникала новая смесь «французского с нижегородским», происходило смешение буржуазного просторечия, «мещанских» говоров, разных профессиональных диалектов и арго с литературными традициями дворянских стилей и с новыми (уже не салонно-аристократическими, а буржуазными) воздействиями французского (и немецкого) языка. За этими новыми превращениями литературного языка с боязнью следили писатели-дворяне старой формации. Им язык Пушкина был ближе и доступнее, чем «простонародность» Полевого или «светская разговорность» Сенковского, хотя бы простонародные слова у Пушкина были гораздо более неприкрашены, грубы и прямы». [3]

Что белеется на горе зеленой?
Снег ли то, али лебеди белы

(1835)

Али я тебя не холю?
Али ешь овса не в волю?

«Буржуазно-демократическими» словами в собственном смысле, повидимому, могут быть признаны из указанных И. И. Дмитриевым только — *закорузлый* (ср. у Достоевского в «Преступлении и наказании»: «На рутину их дряхлую, пошлейшую, закорузлую злость...»; «в «Идиоте»: «нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника» и т. п.) и *ответить* (как совершенный вид глагола *отвечать*).

[1] В. Плаксин, ср. письмо И. И. Дмитриева от 6 сентября 1836 г.

[2] «Это выражение употребляется не только в большом свете, но уже найдено мною в двух книгах, в «Йориковом Коране» и в «Путешествии академика Зуева».

[3] Для характеристики различия в лингвистических вкусах дворянства («феодалов», по определению самого Иванчина-Писарева) и разночинной

Таким образом в 30-х годах выступают в светлое поле литературной жизни новые стили русского книжного языка, представляющие сложную систему взаимодействий между формами литературно-дворянской речи и разновидностями буржуазного письменного и устно-бытового языка. Историку языка важно уяснить социологические основы этих стилей, постепенно завоевавших господствующее положение. О них тот же И. И. Дмитриев писал от 12 октября 1836 года П. П. Свиньину: «Я и сам желал бы «Современнику» более журнальных свойств, более живости и разнообразия, более участия в движении нашей и всеобщей литературы. По крайней мере доволен тем, что читаю его не на площадном языке и не встречаю в нем, как в «Библиотеке для чтения», гениальных несообразностей, подобных следующим:

Чу! грянули трубы!
Ружье на молитву! душа к божеству!
В глазах просияла, *протеплилась вера,*
Небесною влагой *намокли* глаза;
По длинным, по мшистым усам гренадера
Украдкой сбежала *красотка*-слеза.

или:

Чи, чи, чи! кричит сорока:
Прилетела издалека.[1]

Не правда ли, что эта гениальность самая варварская?» (Ib., 327). Ср. в письме к В. А. Жуковскому от 16 сентября 1836 года: «Что же такое народность, по мнению наших молодых учителей? Писать так, как говорят наши мужики на сенной и в харчевнях!» (Ib., 325). М. А. Дмитриев в «Мелочах из запаса моей памяти», прославляя Карамзинскую реформу литературного слога, доказывал, что даже «бесталанные писатели научились от него не только правильности и чистоте языка, но и благородству слога. Последнее надобно заметить особенно в нынешнее время. Ни один из тогдашних писателей не писал языком лакейским; ни один журналист не вставил бы свою фразу: *изволите видеть.* Чувство вкуса предупредило бы его, что такими любезностями и такими поговорками не говорят в хорошем обществе. Ни один из них не писал, как пишут нынче: *взойти* в дверь и *войти* на лестницу. Ни один не сказал бы: *не хватало* на это, а сказал бы: *недостало* на это! А нынче так пишут даже и дамы» (Ib., 94). Тот же М. А. Дмитриев в другом месте своих «Мелочей» отмечает стилистические своеобразия нового «арлекинского языка» в употреблении «иноплеменных (французских) слов»: «Его

буржуазной интеллигенции показательны признания и жалобы карамзиниста Н. Д. Иванчина-Писарева в письмах к И. М. Снегиреву («Известия II отд. Академии наук» 1902, VII, кн. 4).

[1] Это — выдержки из стих И. Пожарского: «Червонный колпак» («Библ. для чтения» 1836, XVI).

(С. Н. Глинки) сочинения имели, говоря нынешним арлекинским языком, большую *популярность* даже, чтобы выразиться совсем по нынешнему, скажу: *огромную популярность,* и прибавляю в доказательство: *это факт!* После этого слова, кажется, как не поверить?» (Ib., 106).

В примечании (VI) к первой части своих мемуаров «Взгляд на мою жизнь» И. И. Дмитриев характеризует язык новейших течений литературы (т. е. 20—30-х годов) выписками из «Московского телеграфа»: «Ныне молодые писатели в стихах и прозе, за исключением достойных почитателей Карамзина, признают уже устарелым и его слог правильный, ясный, обдуманный и благозвучный... *Требования века, дух времени, народность* — вот пышные и громкие слова, непрестанно ими произносимые... Ныне удивляются только самородному, самостоятельному, гениальному. Но я, признаюсь, ничего подобного и не замечаю в новейших наших авторах. Гениальность и народность не в том состоит, чтоб *созданиями своими,* как они называют собственные нелепости, силиться потрясать наши нервы, возбуждать страх, ужас и отвращение, хотя они и того не производят, и щеголять языком простонародным или хватским, употребительным на биваках.

Выпишем здесь для примера несколько нововведенных слов, с переводом оных на язык Ломоносова, Шишкова и Карамзина и еще две-три фразы в последнем новейшем вкусе.

По новому:	По старому:
Нисколько	Нимало.
Маленькие народцы («Телеграф»)	Малочисленные народы, или для краткости, хотя и не говорится, народики.
Проблескивает (там же)	Просвечивает.
Суметь (там же)	Уметь, сладить.
Колея привычки (там же)	Это слово чаще других употребляемо было ямщиками; значит же: прорез от колес по густой грязи.
Палач-война	Губительная, опустошительная война.
Покаместь	Доколе, пока.
Словно	Как бы, подобно.
Поэтичнее («Телеграф»)	Стихотворнее, живописнее.
Требовательный слог (там же)	Хвастливый, затейливый.
Вдохновлять гения (там же)	Вдыхать, одушевлять.
Вдохновлен страстями	Воспламенен.
Узенькая ножка	Тоненькая.
Исполинская шагучесть (там же) [1]	Шаг или ход.
Безграничный (там же)	Неограниченный, беспредельный.
Слав (там же)	Слава и роскошь. Эти два существительные доселе во множественном числе не употреблялись.

[1] Ср. у Пушкина в статье: «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем»: «Никто постояннее моего не следовал за исполинским ходом нашего века» (IX, 198).

По новому:	По старому:
Огромные надежды, огромный гений (там же)	Это прилагательное прикладывалось только к чему-н. материальному: огромный дом, огромное здание.[1]
Ответить	Отвечать. Так говаривали прежде только крестьяне и крестьянки в Кашире и других верховых городах.
Этих	Сих, оных.
Пехотинец («Телеграф»)	Пеший, сухопутный солдат, ратник.
Конник (там же).	Конный, всадник. Нынешние авторы, любя подслушивать, оба свои названия переняли у рекрутов.

Прибавим еще и целые фразы: «Кажется, юным взорам нового Ахиллеса представили меч, но Петр и более сего» («Телеграф»); «Великое сердце его без эгоизма в самой эгоистической из страстей» (там же); «Шуази с жаром говорит что-то. Вдруг протянул он руку, и с радостным криком правые руки всех ударились в его руку» (Николай Полевой, в повести «Краковский замок», напечатанной в альманахе «Радуга») (Ib., 157—158).

Интересно сопоставить с этими указаниями характеристику «манеры» говорить, употреблять и интонировать некоторые слова у студентов-разночинцев той эпохи в повести Л. Н. Толстого «Детство, отрочество, юность»: «Они употребляли слова *глупец* вместо дурак, *словно* вместо точно, *великолепно* вместо прекрасно, *движучи* и т. п., что мне казалось книжно и отвратительно непорядочно. Но еще более возбуждали во мне эту комильфотную ненависть интонации, которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова: они говорили ма́шина, вместо маши́на, деятельность вместо де́ятельность, на́рочно вместо наро́чно, в камине́ вместо в камине, Ше́кспир вместо Шекспи́р и т. д. и т. д. они выговаривали иностранные заглавия по-русски... Простота их обращения доходила до грубости, но и под этой грубой внешностью был постоянно виден страх хоть чуть-чуть оскорбить друг друга. *Подлец, свинья*, употребляемые ими в ласкательном смысле, только коробили меня и мне давали повод к внутреннему подсмеиванию,

[1] Ср. отрицательное отношение к такому употреблению слова *огромный* у Пушкина в ответе на рецензию Броневского «Об истории пугачовского бунта» («Современник» 1836, III, 109—134). Он употребляет это слово иронически, как цитату из своего рецензента: «*огромное* (т. е. пространное) примечание». Ср. у Броневского: «выписка из сочинения С. Левшина не имела никакой нужды в огромном примечании к сей главе» («Сын. отеч.» 1835, ч. 169, № 3, Библиография). Кн. П. Вяземский писал П. А. Плетневу 6 октября 1841 г.: «В статье Бальзак есть *огромный восторг*. Ради бога выкиньте эту любимую и повсеместную ныне *огромность*» (Соч. и переписка П. А. Плетнева, Спб. 1885, III, 394). Однако ср. у Пушкина в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях»: «У нас никто не в состоянии исследовать, оценить *огромное создание* Карамзина» (IX, 42). На то, что переносное значение слов — о г р о м н ы й, о г р о м н о с т ь распространилось из языка «Московского телеграфа», указывает также «Дамский журнал» 1827, ч. XVIII, 259.

но эти слова не оскорбляли их и не мешали им быть между собою на самой искренней, дружеской ноге» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., II, 215—219). Таким образом отличия новых буржуазных стилей русского литературного языка состояли, конечно, не столько в употреблении отдельных словечек и фраз (некоторые из которых можно найти и у писателей-«аристократов»), [1] сколько в иных формах семантики и экспрессивного выражения, в иных приемах комбинирования словесных контекстов, в иной системе идеологии.

В языке «школы Смирдина и Полевого» (т. е. в языке литературы, обслуживавшей интересы «средних классов» — мелкого провинциального дворянства, средней и мелкой буржуазии, разночинной интеллигенции) И. И. Дмитриев отмечает:

1) Литературную канонизацию таких форм «просторечия», которые были свойственны говору полуинтеллигенции, мещан и купцов, т. е. «языка дурных обществ», по терминологии Пушкина. Сюда должно отнести такие слова, как *нисколько, суметь, огромный* в переносном, отвлеченном значении: огромные надежды; *ответить, проблескивать* и т. п. Любопытно, что большинство этих слов теперь вошли в систему литературного языка. Пушкин, однако, некоторые из отвергаемых И. И. Дмитриевым слов свободно употребляет, например такие слова, как: *покамест — покаместь, словно:* [2]

Словно горы
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились.
Там буря выла, там носились
Обломки
(«Медный всадник»)

Покамест, друг бесценный,
Камином освещенный,
Сижу я под окном
(«Городок», 1814)

Покамест ночь еще не удалилась,
Покамест свет лила еще луна
(«Монах», 1814)

Покамест молоды и здравы
(«К Щербинину», 1819)

Покамест сон прелестный,
Под сенью тихих крыл...
Меня не усыпил
(«Послание к Галичу», 1815)

---

[1] См. очень интересный материал для суждения о русском литературном языке 30—40-х годов в книге «Справочное место русского слова» (М. 1839; 2 изд. 1843).

[2] Ср. в письме академика Румовского министру Завадовскому (1804): «Что касается до слова *покамест*, во время печатания постараюсь везде поставить *доколе*» («История Российской Академии» М. И. Сухомлинова, II, 106, 118).

Враги мои, покаместь, я ни слова

(1825)

и др. под.[1]

2) По указанию И. И. Дмитриева, усилилось в литературном языке 30-х годов влияние лексики и фразеологии профессиональных диалектов, в частности военного или даже солдатского. Иронические эпитеты *хватский, употребительный на биваках*, примененные Дмитриевым к буржуазному языку, оправдываются ссылкой на литературную канонизацию таких слов, как *пехотинец, конник*. Характерно, что слово *пехотинец*, отсутствующее в «Словаре Академии Российской» 1822 года, появляется в «Словаре церковнослав. и русского языка» 1847 года (III, 587). Напротив, слово *конник»*, отмеченное в «Словаре Академии Российской» (1814, III) как «славянское», признается литературным (в значении: сидящий на коне, верховой) в «Словаре» 1847 года (II, 197).

3) Процесс борьбы между дворянской литературно-языковой традицией и буржуазными тенденциями литературного выражения сопровождается изменениями в формах словообразования и словоупотребления. Сюда относятся такие неологизмы, как *безграничный*, исполинская *шагучесть, поэтичнее, вдохновлен* страстями, *вдохновлять* гения и т. п. Чтобы по этим единичным примерам увидеть, какие грамматические и семантические сдвиги происходили в литературном языке при буржуазно-демократической его перестройке, достаточно привести комментарии к слову *вдохновить* из книги «Авторский вечер» (1835), направленной против школы Смирдина. Описывается разговор о «словах новой ковки» между племянником, отстаивающим «новый слог», и дядей — защитником стилистических традиций дворянской литературы. Племянник защищает *вдохновить* — слово «новое, но в то же время и необходимое, которое никаким другим словом заменить невозможно... Оно составлено... по образцу других подобных слов. *Вдохновение, вдохновенный, удивление, удивленный*, удивить, удивлять, следственно, можно сказать и *вдохновить, вдохновлять*...». Дядя, защищая слово *воодушевлять*, резонно замечает: «Из приведенного тобою сравнения слов *вдохновенный* и *удивленный* еще не следует, что от всех слов могут быть производимы другие слова. От *вдохновенный* нельзя произвесть *вдохновлять* или *вдохновить*, точно так, как нельзя произвесть от *незабвенный — незабвенить*, от *надменный — надменить*, от *согбенный — согбенить*, от *поползновенный — поползновенить*» (Ib., 134—135). В самом деле, буржуазное новообразование *вдохновить — вдохновлять* вело к разрыву морфологического ряда: вдохнуть — вдохновение — вдохновенный. Ср. возникнуть — возникновение, исчезнуть —

[1] Об употреблении формы *покаместь* в русском литературном языке со второй половины XVIII века см. у В. И. Чернышева: «Правильность и чистота русской речи» 1915, II, 348.

исчезновение, столкнуть(ся) — столкновение, проникнуть — проникновение — проникновенный и т. п.

4) В соответствии с таким нарушенным, дефектным, не соответствующим нормам прежнего литературного языка словоупотреблением строится и новая «синтактика» речи. Она нередко основана на неполном, ущербном и искривленном применении семантических форм «правильного» литературного языка, как бы на недоосмыслении возникающих несообразностей и противоречий. Например, «с радостным криком правые руки всех ударились в его руку» (Н. Полевой).

5) Дмитриев в упрек литературному языку школы Смирдина и Полевого ставит особые формы фразообразования, которые возникали вследствие метафоризации повседневно-бытовых, иногда простонародных и профессиональных слов. Например, *колея привычки,* [1] *требовательный* слог и т. п. Впрочем, интересно, что некоторые из этих выражений, например переносное значение слова *колея,* уже имели широкое употребление у писателей-дворян. Так, у кн. Вяземского: «Хорошо не затеивать новизны тем, коим незачем выходить из колеи и выпускать вдаль ум домовитый и ручной» (Полн. собр. соч., I, 197); «Должно надеяться, что он (Пушкин) подарит нас образцовым опытом первой трагедии народной и вырвет ее из колеи, проведенной у нас Сумароковым не с легкой, а разве с тяжелой руки» («Кн. Вяземский и Пушкин об Озерове» — см. Л. Майков, «Пушкин», Спб. 1899, стр. 270); у А. Бестужева-Марлинского: «Жуковский и Пушкин... при жизни своей увлекли в свою колею тысячи» (Полн. собр. соч., 1840, XI, 287); из письма П. В. Киреевского от 3 июня 1834 года: «Я попал, наконец, на свою колею и не возвращусь оттуда с пустыми руками» (Письма, 1905, 33) и т. д. [2]

Пушкинская оценка языка «Моск. телеграфа» и Полевого общеизвестна: «Телеграф» для Пушкина половины 20-х годов «враль и невежда» (Переписка, I, 234); Полевой «длинен и скучен, педант и невежда» (Ib., 289). Пушкин советует кн. Вяземскому надеть на Полевого «строгой мундштук и выезжать его на досуге» (Ib., 289). Поэт отвергает язык и стиль Полевого. Издатель, по словам Пушкина, «должен 1) знать грамматику русскую, 2) писать со смыслом, т. е. согласовать существительное с прилагательным и связывать их глаголом. А этого-то Полевой и не умеет»

---

[1] Ср. у М. П. Погодина в «Исторических афоризмах» (Москва 1836): «Дюжинные люди волочатся спокойно по глубоким колеям привычки и давности» (61); у Н. И. Греча в «Черной женщине»: «Мало по малу беседа вошла в прежнюю колею» (III, 210).

[2] Ср. у Державина: «Мир в общей колее течет» («Идолопоклонство», 1810); у С. Т. Аксакова: «Жизнь постоянно бежит по колее своей» («Семейная хроника»); у Лермонтова: «Я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрономией, попал невольно в их колею» («Фаталист») и др. под.

(Ib., 383).[1] «Остренький сиделец» (Переписка, II, 312), по изображению Пушкинской детской книжки, «русской грамматике не хотел... учиться, ибо недоволен был изданною для нар[одных] учил[ищ] и ожидал новой философ[ической]. Логика казалась ему наукою прошлого века, недостойною наших просвещенных времен» (IX, 60). О стиле «Истории русского народа» Полевого Пушкин отзывался отрицательно: она «писана темным, изысканным слогом», «исполнена противоречий и многословия» (IX, 66). «Искусство писать до такой степени чуждо ему, что в его сочинении картины, мысли, слова, все обезображено, перепутано, затемнено» (IX, 70). Иронически поэт замечает: «Г-н П. в своем предисловии весьма искусно дает заметить, что слог в Истории есть дело весьма второстепенное, если уже не совсем излишнее, он говорит о нем почти с презрением».[2] Интересно сравнить с отзывами Пушкина тон суждений кн. Вяземского о Полевом (в 30-х годах). Кн. Вяземский называет Полевого «кабацким литератором» (намекая на винный откуп): «Хотя бы он торговал и церковными свечами, но по слогу, по наглости, по буянству своему был бы он кабацким литератором...». У «Моск. телеграфа», по словам кн. Вяземского, «свой argot, что называется, свой воровский язык, но не принадлежащему шайке их неприлично марать свой рот их грязными поговорками» (письмо к М. А. Максимовичу от 23 января 1831 г.).[3]

Таким образом отношение Пушкина к языку и слогу «Моск. телеграфа» и Полевого было отрицательное, но не достигало той степени классового презрения и высокомерия, которыми проникнуты суждения кн. Вяземского. В сущности, к отзыву Пушкина примыкают писатели различных стилей — от Н. М. Языкова до А. А. Марлинского. В. К. Кюхельбекер, сочувственно относившийся к Н. А. Полевому, об языке его пишет: «Полевой... по слогу варвар».[4] Н. М. Языков называл слог «Моск. телеграфа» «дубовым» (Письмо к А. М. Языкову от 1 февраля 1825 года — «Язык. архив», I, 146). М. П. Погодин признавал язык «Моск. телеграфа» и Полевого «варварским», отмечая в нем смесь «готовых выражений» и «высокопарных, бессмысленных фраз» («Моск. вестник» 1830, № 2, 165). Сопоставляя все эти суждения и оценки, приходится признать,

---

[1] Ср. нападки «Дамского журнала», «Сына отечества» и других журналов на «грамматику» статей Н. А. Полевого.

[2] Ср. у Полевого в предисловии: «мы не потребуем того, что многие почитают доныне первою и главною обязанностью; напротив, мы подтвердим мысль одного древнего писателя: всякая История хороша, если она и не красноречиво написана» (Н. Полевой, «История русского народа», I, стр. XXIV).

[3] С. И. Пономарев, «Памяти кн. П. А. Вяземского», Спб. 1879, 104—105.

[4] «Дневник В. К. Кюхельбекера», 1929, 61.

что Пушкину в слоге Полевого были неприемлемы четыре категории явлений.

1) Прежде всего Пушкина возмущали в языке Полевого нарушения грамматических норм, «неправильности» конструкций, свидетельствовавшие о неполном усвоении литературно-книжной стилистической традиции. «Разве не смешили нас», писала «Литературная газета» (1830, II, № 65, 236—237), «первые опыты одного журналиста, не умевшего (и поныне еще не совсем умеющего) сладить с периодом русским?..» (ср. примеры И. И. Дмитриева).

2) Пушкин отрицал свойственные Полевому принципы соединения слов, образов, фраз в стилистические контексты. Манера Полевого, по отзыву Пушкина, обнаруживала полное отсутствие искусства писать. Очевидно, здесь корень зла был не столько в простонародности, сколько в вульгарной книжности языка Полевого. «Простонародность» была, как это будет ясно из дальнейшего изложения, подчинена в стиле Пушкина стройным нормам литературного синтеза. Предосудителен был лишь привкус порчи, нарушения грамматических форм и привкус «дурных обществ». Критерий оценки в этой плоскости мягко выражен П. А. Плетневым в рецензии на идиллию Н. И. Гнедича «Рыбаки»: «Одно только слово, кажется, нехорошо, т. е. глагол: *встрелся* вместо *встретился*. Хотя в просторечии говорят таким образом, но стихотворец для изображения простонародных разговоров не должен придерживаться и ошибок их в языке, который у него должен быть только прост, а не испорчен. В последнем случае бесчисленное множество испорченных слов получило бы право гражданства в нашей литературе» («Труды Вольн. общества люб. росс. слов.» 1822, XVIII; Соч. и переп. П. А. Плетнева, I, 41).

Просторечие, «простонародный» язык в понимании Пушкина не надо смешивать с языком «дурного общества», т. е. с зараженной книжным духом претенциозной речью полуинтеллигенции из семинаристов, мещан, купцов и дворни. Это различие решительно подчеркивается Пушкиным в рецензии на роман Загоскина «Юрий Милославский». Пушкин порицает автора за употребление выражений: *охотиться* вместо «ездить на охоту», *пользовать* вместо «лечить», и прибавляет в пояснение: «эти... выражения не простонародные, как, видно, полагает автор, но просто принадлежат языку дурного общества» (IX, 80).

Для языка Полевого были типичны срывы в этот «язык дурного общества», т. е. в язык буржуазной полуинтеллигенции. [1] Стиль Полевого поражал и отталкивал даже его почитателей (например Марлинского) несогласованностью разных контекстов,

[1] По отзыву О. М. Сомова, слог «Истории русского народа» Полевого состоит «из плоского прозаизма, выражений низких и областных» или «поднимается на ходули и напыщается странным образом» («Сев. цветы» на 1831 год).

разных стилистических форм. Так, Бестужев-Марлинский писал о языке романа Полевого «Клятва при гробе господнем»: «Пусть всякой сверчок знает свой шесток; пусть не залетают настоящие мысли в минувшее, и старина говорит языком ей приличным, но не мертвым. Так же смешно влагать неологизмы в уста ее, как и прежнее наречие, потому что первых не поняли бы тогда, второго не поймут теперь. В этом отношении язык... (Полевого) был очень не ровен: то он не выдержан по лицам, то по времени. Слог порою тяжел и запутан... Неполный успех *Клятвы* произошел, вероятно, от слога: это концерт Беетговена, сыгранный на плохой скрыпке». [1]

Ср. примеры стилистической «неряшливости» и вульгарной книжности, смешанной с простонародностью, из писем Н. А. Полевого: «Я становился *оплеван* перед всеми»; [2] «Смирдин *шутит в плохую шутку*»; [3] «Отказ... может *положить* в их *глазах темную на меня тень*»; [4] «во-первых, я *засел в мою конуру*»; [5] «И жилы *мои не железные, могут лопнуть*»; [6] «Положение мое не безнадежно, а только *терзательно*; [7] «Есть и *такие стороны души, неразделение которых грустит нас*, тяготит, печалит»; [8] «Это непременно надобно нам сделать даже для устройства судьбы нашей, для *установки* всех отношений... для того, чтобы я не *издох собачьею смертью*»; [9] «Беспрестанные несогласия, споры и шум уже давно *решили меня бросить* «Пчелу»; [10] «Вот почему я должен, как *наивозможно*, ехать в Москву»; [11] «среди множества *визитующих* старика»; [12] «Сам я *изряден*, хотя изломан, ибо ночевать нигде не решался». [13] В предисловии к «Очеркам русской литературы»: «Пусть *вержет за то на меня камень* тот, кто сам не испытал обмана и разочарования»; [14] «Люди показали мне себя в *самой темной краске бесчувственного эгоизма*» [15] и т. п.

Тот же оттенок фразеологической неорганизованности наблюдается и в «галлицизмах» Н. А. Полевого. Например: «два другие собеседника, знавшие всю *соблазнительную* летопись (chro-

---

[1] О романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем» (1846) — Полн. собр. соч. А. Марлинского, XI, 321—324.
[2] «Записки К. А. Полевого», 399.
[3] Ib., 399.
[4] Ib., 399.
[5] Ib., 400.
[6] Ib., 414.
[7] Ib., 418.
[8] Ib., 425.
[9] Ib., 425.
[10] Ib., 426.
[11] Ib., 454.
[12] Ib., 501.
[13] Ib., 503.
[14] «Очерки русской литературы», I, «Несколько слов от сочинителя», X.
[15] Ib. XVI.

nique scandaleuse) Москвы»;[1] «Мы уселись и пошли по *ослиному мосту* (pont des ânes), то есть: стали говорить о погоде, о здоровье».[2] «Он что-то начал о любви, о супружестве, об оскоме, которую *набивает на зубы кислое яблоко супружества* (la pomme aigre du mariage)»;[3] «Бывают ложные умы (esprits faux): они тогда только судят хорошо, когда ошибаются».[4] Ср. издевательства Полевого над галлицизмами «аристократического» или поддельно-аристократического эвфемистического типа: «*Делать карьер* — это одна из употребительнейших новых фраз, выдуманных в последнее время вместе с другими, каковы: *делать партию, кадр, администрация*. Если вы не варвар, то не говорите: *он выгодно женился*; если вы не мещанин, боже вас избави сказать: *основание дела хорошо*, но *исполнение дурно*! Говорите, М. Г., так: он *сделал прекрасную партию, кадр был прекрасный, но исполнен дурно*. Я слышал даже щеголеватого поверенного питейной конторы, который говорил: *администрация нашего откупа отлично* хороша. Как это мило, и можно ли сравнить с этим грубую фразу: наш питейный откуп хорошо управляется».[5] «*Делать карьер* — это нестерпимый галлицизм, подобный галлицизмам: я *его слышал говорить, делать зубы, она выглядит*, и прочему, что слышим мы из уст хорошеньких девушек, которые сами галлицизм в нашем быту».[6] И на фоне рассуждений о различиях в значении выражений *служить* и *делать карьер* особенно внушительно звучит выпад против Пушкина: «некоторые утверждают, что деланье карьера есть не что иное, как старинное *местничество*, выродившееся и переродившееся с веком. В самом деле, какой-то писатель не посовестился сказать, что старинное местничество заменяло у предков наших point d'honneur. Прочтите в «Северных цветах» сброд слов, названных *мыслями* (1828, стр. 216). Если согласиться с этим, то деланье карьера, точно, есть изменившееся местничество».

Непримиримая идеологическая рознь между Полевым и Пушкиным обнаруживается и в различной оценке стилей французского литературного языка и в выборе разных литературно-языковых французских традиций как объекта для национального освоения и обогащения. Полевой ориентируется на стили французского романтизма, на философскую, публицистическую лите-

---

[1] «Утро жениха» («Новый живописец общества и литературы». М. 1832, ч. I, 26).
[2] «Утро невесты», Ib., 47—48.
[3] Ib., 50.
[4] «Всякая всячина», 214.
[5] «Делать карьер» («Новый живописец общества и литературы», II, 62).
[6] «Делать карьер», Ib., 64 и 67.

ратуру послереволюционной буржуазии. Пушкину ближе стили французского классицизма XVII и XVIII веков.

Для понимания социальных основ этой стилистической традиции, которая, конечно, в языке Н. А. Полевого подверглась сложным литературным преобразованиям, любопытны материалы статьи А. А. Марлинского «Русский язык». [1]

«Всякое звание», пишет А. А. Марлинский, «имеет у нас свое наречие. В большом кругу подделываются под jargon de Paris. У помещиков всему своя кличка. Судьи не бросили еще *понеже* и *поелику*. У журналистов воровская латинь. У романтиков особый словарь туманных выражений, даже у писарей и солдат свой праздничный язык. В каждом классе, в каждом звании отличная тарабарщина: никто сразу не поймет другого, и в этом-то вся претензия, чтоб, не думавши, заставить думать; но купчики, пуще всего купчики, любят говорить свысока, то есть сбирать кучу слов. Вот образчик». И далее изображается разговор автора с купцами в сибирках, происходивший в трактире на станции: [1] «Позвольте попросить позволения узнать, с кем то-есть имеем осчастливленную честь говорить-с?» — «Я не говорю с вами». — «Так-с, все конечно-с, дело дорожное-с! Я ведь впрочем не для ради чего иного прочего, а так из кампанства, хотел только, утрудив, побеспокоя вас, попросить соблаговоления, чтобы нашему чайнику возыметь соединяемое купносообщение с этим самоваром-с. Попросту так сказать-с, малую толику водицы-с!»

«Сначала я думал, что это мистификация, потом мне стало смешно; потом и совестно, что я так небрежно отвечал этому сплетателю глупостей... Мало-по-малу у нас завелся уж и политический разговорец. Старший купчик, поглаживая свою подстриженную бородку, смотрит на лубочный портрет Кульнева.

«Вот, батюшка, была в 12-м-то году кампания, так уж кампания-с! — уж можно сказать, что *богатель!* Французские все армии да и войска уничтожительно истреблены-с двунадесятью язык, и по делам супостату-с. Вся антирель теперь в Москве лежит: пушек-с — как моркови. Позвольте, к слову стало, узнать-с, достохвальный и знаменитый генерал Кульнев в конном или в кавалерицком полку служительство производить быть имел?

«— Он служил в гусарах.

«— Так-с (обращается к товарищу). А ты спорил, что в кавалерии (ко мне). Ученье свет, неученье тьма-с. С нашим удовольствием благодарение приносим, что изволили объяснить-с.

---

[1] Предварительно описан диалог между купцами за игрой на биллиарде: «Купец помоложе (бьет): «Ах! дал скользея! 42 и 10». Купец постарее: «Не в ударе, брат, не в ударе» (бьет).— «Ась, каково? — да еще *верхним подходцем!* 45 и 10!» Купец помоложе: «Вам можно *отчаяваться* и на удалую, партия в дороге-с. Вот и мы *накатцем* доехали».

А этот храбрый генерал-майор Кульнев-с и в чины происходить к повышению производства в том же полку благоволил-с?

«— Помнится, в одном и том же.

«— По всему видно, что герой-с. А он на поле чести или на поле брани живот за отечество положить удостоен-с?.

«— Он был смертельно ранен на поле сражения.

«— А вот этот простяк говорит, что на поле брани-с.

«— Мне кажется, это все равно.

«— Так-с. Справедливо изволите иметь таковое умственное рассуждение в мыслях-с. Я и сам, то есть по своей комплекции, думаю, что он наверно был славно знаменит-с...»[1]

На почве этой своеобразной «вульгарной» книжности выростало буржуазное презрение к «простонародному», «мужицкому» языку. И здесь намечается новая социально-языковая грань между Пушкиным и Полевым.

3) Н. А. Полевой допускал употребление в литературе крестьянского языка только как социально-характеристической приметы персонажа-простолюдина (см. язык «простонародья» в «Клятве при гробе господнем»), но решительно отрицал возможность включения простонародных элементов в авторскую речь. В рецензии на повесть М. П. Погодина «Черная немочь» Н. А. Полевой писал: «Говорят, что язык действующих лиц в «Черной немочи», картины и мелочные подробности взяты с природы. Очень может быть, что *черный* народ наш говорит, думает и живет почти так, как описывает это г-н Погодин. Но где границы вкуса? Все ли существующее в природе и в обществе достойно быть переносимо в изящную словесность?» («Моск. телеграф» 1829, № 15, стр. 322). И далее — о языке той же повести Полевой отзывался так: «Язык в ней вообще дурен, и во многих местах действующие лица и автор говорят одинакими выражениями. Мы думаем, что первые должны говорить свойственным им языком, напротив, автор обязан выражаться языком хорошего общества и выдерживать тон своего рассказа» (Ib., 323). Поэтому Н. А. Полевой не только равнодушно, но даже отрицательно относится к собиранию областных слов и «простонародных» арготизмов: «К чему послужат для русского языка исковерканные уездные слова, и какая надобность нам, что в Раненбургском уезде говорят вместо стыдить — *обизорить*... вместо шалить — *дуровать?*» («Моск. телеграф», 1829, № 9, XXVII, 5, «Совр. библ.»). И здесь же — об офенском жаргоне: «Статья об офенских словах, по нашему мнению, не принесет

---

[1] Полн. собр. соч. А. А. Марлинского, XII. Ср. у А. С. Шишкова в «Рассуждении»: «Обветшалые иностранные слова, как напр. *авантажиться, манериться, компанию водить, куры строить, комедь играть* и проч., прогнаны уже из большого света и переселились к купцам и купчихам» (Примеч., стр. 22—23).

ни малейшей пользы. Какое употребление можно сделать из этих варварских, областных, не русских слов?» (Ib.).

Для наблюдений над приемами литературной нивеллировки крестьянского языка в прозе Н. А. Полевого интересна его повесть «Мешок с золотом» («Мечты и жизнь» 1834, IV). В предисловии автор как бы извиняется перед читателем за крестьянскую манеру речи: «Не бойтесь грубого балахона и зипуна крестьянского: под ним часто бьется сердце золотое, доброе, горячее. Русский крестьянин говорлив, словоохотлив: поговорите с ним, спросите у него; не пугайтесь его неученого выговора, его невылощенных фраз: вы найдете в них ум свежий, простой и, нередко, сильный...» (13—14) — и заявляет: «Я выведу вам русских крестьян, буду говорить их языком и — припишите моему неуменью, если простой рассказ мой вам не понравится» (16). Но, несмотря на эти предупреждения, в повести лишь изредка проскальзывают простонародные слова в роде: «живал на *добрую стать*» (18); «распить *помаленка чаю*» (21); *«зашибался хмелиной»* (20); «Ванюша не был *олухом* при ласковости своих соседок» (27); «*переколачивал* всякою всячиною» (33); «хату *сгоношим* опять» (48) и др. Ср. формы «языка дурных обществ»: «По самоварам что ли у старосты с Федосеем было особое *душевное сродство и приятельство*» (19); «Их (прислужников ресторации) услужливые крики *ась, ась, ась*, когда гость стучит *повелительным ножиком* в медную полоскательную чашку» (21); «Этот москвич *облелеет дочь своими ласковыми словами*» (48); «Иное может оскорбить случайным сходством *какую-нибудь рожу, дышущую на белом свете*» (76); «В мире московских извощиков есть свои условия *быта, из коих только гении-извощики вылетают*» и др. под. Вообще язык повести: «Мешок с золотом» — общелитературный, с примесью «мещанского» элемента. Так оценивал литературное значение крестьянского языка Полевой. Напротив, для Пушкина крестьянская речь резко отделялась от «языка дурных обществ». Призывая к исследованиям «языка простого народа», Пушкин прежде всего имел в виду язык крестьянства и тех групп мелкой буржуазии, речь которых насыщена словами и оборотами крестьянских диалектов (см. следующую главу). К. А. Полевой был поражен суждением Пушкина о Шекспире: «Немцы видят в Шекспире чорт знает что, тогда как он просто, без всяких умствований говорил, что было у него на душе, не стесняясь никакой теорией. Тут он выразительно напомнил о неблагопристойностях, встречаемых у Шекспира, и прибавил, что это был гениальный мужичок».[1]

«Чистый русский язык», по мнению Пушкина, легче всего было найти у крестьянина. Характерно замечание кн. П. А. Вяземского: «Пушкин... советовал прислушиваться речи просвирней

---

[1] К. А. Полевой, «Записки» 199.

и старых нянек. Конечно, от них можно позаимствовать некоторые народные обороты и выражения, выведенные из употребления в письменном языке к ущербу языка; но при том наслушаешься и много безграмотности. Нужно иметь тонкое и разборчивое ухо Пушкина, чтобы удержать то, что следует, и пропустить мимо то, что не годится. Но не каждый одарен, как он, подобным слухом».[1] Пушкин, описывая жене свои деревенские впечатления, рассказывает: «Все кругом меня говорит, что я старею, *иногда даже чистым русским языком.* Наприм., вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась. А она мне: «да и ты, мой кормилец, состарелся да и подурнел» (Переписка, III, 232).

Пока этих иллюстраций и замечаний достаточно, чтобы увидеть разницу в отношениях Пушкина и Полевого к «чистому русскому языку», к «простонародной» стихии, и чтобы понять, где для Пушкина находился социально-бытовой центр национального просторечия. Разное понимание литературных прав и функций простонародного языка, разные приемы смешения простонародных выражений с другими составными элементами литературной речи проводили резкую грань между Пушкиным и писателями из буржуазно-промышленных (если так можно выразиться) групп. Таким образом стили литературы, опиравшиеся на бытовые диалекты средней и мелкой буржуазии, также представляли систему взаимодействия и смешения трех основных социально-языковых категорий: книжной речи — с примесью церковнославянской и канцелярской стихий, бытового просторечия и европейских языков. Но социально-диалектический состав этих сфер речи и способ их стилистической интерпретации в буржуазном языке не соответствовали тем нормам «языка хорошего общества», которые предносились Пушкину.[2] Особенно резко это несоответствие стилистических вкусов обнаруживалось в системе литературной фразеологии.

4) Стилистической сферой, в которой язык Пушкина становился в непримиримо враждебное отношение к буржуазно-демократическим стилям литературного языка, была сфера фразео-

---

[1] «Взгляд на литературу нашу после смерти Пушкина» (Полн. собр. соч. кн. Вяземского, II, 361).

[2] Любопытно, что А. А. Марлинский, склонявшийся к буржуазно-демократическим формам стилей, выставляет двух «крестных отцов» русского литературного языка XIX века: Крылова и европейское мышление: «Один только самобытный, неподражаемый Крылов обновлял повременно и ум и язык русский, во всей их народности... Он первый показал нам их без пыли древности, без французской фольги, без немецкого венка из незабудок. Мужички его природные русские мужички; зверьки его с неподкрашенною остью. Счастливцы мы: Крылов и XIX век были нашими крестными отцами. Первый научил нас говорить по-русски, второй мыслить по-европейски» (Полн. собр. соч. А. А. Марлинского, XI, 283).

логии. Многословная, цветистая, напыщенная и противоречивая фразеология «Моск. телеграфа» была чужда Пушкинскому стилю. В основе этой фразеологии лежали иные предметные формы, но те же семантические схемы, те же приемы риторических перифраз и метафор, которые Пушкин осудил в манерном языке русского дворянского западничества. Традиции Карамзинского стиля, взлохмаченные и растрепанные романтическими бурями, были перенесены буржуазией в мир метафоризованной вещной действительности и подвергнуты «перелицовке» на бытовой лад. В этой области Марлинский был едва ли не главным учителем Полевого. Достаточно привести несколько иллюстраций, чтобы понять ту непроходимую пропасть, которая, все углубляясь (вследствие идеологических и мифологических противоречий), отделяла стиль Полевого от языка Пушкина. Вот типические формы фразеологии Полевого — в статье о Жуковском: «веселье тихое *возобновляет в памяти вашей светлые точки»*; [1] *«буря испытательности бесплодно утомляет силы свои над тем,* что вечно, что неизменно от сложения мира...» [2]; «Германии, этой *плавильной печи европейских идей».* [3] В предисловии к «Очеркам русской литературы»: «Угрюмый опыт останавливает мечту *и щиплет крылья моего воображения»*; [4] *«посулы будущего* уже не обольщают души моей, и золотые сны не облекают наготы существенного» [5] и др. под.

В повести «Блаженство безумия»: *«Зажгите слова мои огнем,* и тогда я *выжгу в душе другого чувства мои такими звуками, что он поймет* их»; [6] «Вот три высоких состояния души человеческой, и, при всех трех, *уму и языку дается полная отставка»;* [7] «Я видел не прежнего холодного Антиоха... *запеленанного в формы и приличия»;* [8] «... Дитя... безотчетно улыбается на ее материнскую слезу и *питается жизнью из ее груди»*; [9] «К несчастию, *глаза людей заволокает темная вода:* они... пугаются *привидений священной полуночи дружбы»*; [10] «Ты еще не испытал *терзательных бичей жизни.* Ты еще не *ставил на карту мечтаний* всего своего счастия»; [11] «Привидение, сеющее бесплодные семена, или попускающее расклевывать их *галкам* и *воронам ничтожных* отношений» [12] и т. д.

---

[1] «Очерки русской литературы», I, 95.
[2] Ib., 97.
[3] Ib., 102.
[4] Ib., стр. XXI.
[5] Ib., стр. XX.
[6] «Мечты и жизнь», М. 1833, I, 11.
[7] Ib., 14.
[8] Ib., 24,
[9] Ib., 28.
[10] Ib., 29.
[11] Ib., 31.
[12] Ib., 38.

Из писем Н. А. Полевого к брату: «Ведь жизнь — то значит счастье и наслаждение, а я *откупорил стклянку с этим небесным газом* — он вылетел, и теперь, как ни запирай эту драгоценную стклянку, — она пуста»;[1] «Я как будто забыл *о делах, этих мерзких червях, которые точат нас заживо*»;[2] «не станем же *гадить небесных чувств* словами: они даны нам на *издержки земные*»;[3] «Не поверишь, как мне тошно и отвратительно *среди этого клубка глистов*»;[4] «*Под необделанною и грубою корою* у него *хранится* добрейшее сердце и здравый ум»;[5] «Я не встречал нового года ни слезами, ни вином, а так, *остеклелый какой-то,* старался *вмять его в ряд других дней*».[6] В аллегорической сказке «Гостья после бала»: «*Ужас польется по костям твоим*»[7] и др. под.

Таким образом эта фразеологическая риторика или парила в беспредметных и противоречивых метафорах, в отвлеченных перифрастических описаниях чувств, или ниспадала в мир вещной, часто профессионально-бытовой или технической действительности, используя ее предметные формы для метафоризации душевного мира, для описания борьбы идей и чувств, для изображения общественных взаимоотношений, коллизий или настроений, для выражения характеристических различий в поведении людей.

Интересно сопоставить приемы фразообразования Полевого с комически-трескучей фразеологией просительного письма некоего Никанора Иванова Пушкину (1835 г., ноября 2): «... с телом, истомленным адскою болезнию... которая, как *червь, по капле в день сосет кровь* из его сердца» (Переписка, III, 245); «Как Прометей мифологический, хищник небесного огня, — *прикован он цепями нужды* к ужасной скале нищеты, *а коршуны-страсти неумолимо терзают его сердце*» (Ib., 245); «Я сорвался с цепей своих, как тигр, и *стремясь в родную дебрь, погряз в тине смрадного болота*» (246); «Я хотел *убить жар* сердца и души *подобно мужам древности*» (247)[8] и т. п.

5) В структуре буржуазной фразеологии любопытна тенденция сочетать с «гуманитарной» мифологией и идеологией мифологию и идеологию естественнонаучную. Эта тенденция была чужда дворянским стилям литературы, в том числе и языку Пушкина. В дворянской художественной литературе 30-х годов кн. В. Ф. Одоевский, охотно пользовавшийся образами и понятиями идеалистической натурфилософии, занимал обособлен-

---

[1] «Записки К. А. Полевого», Спб. 1888, стр. 397.
[2] Ib., 415.
[3] Ib., 442.
[4] Ib., 443.
[5] Ib., 473.
[6] Ib., 489.
[7] Ib.
[8] «Новый живописец общества и литературы», I, 146.

ное место. Для понимания этой черты буржуазного языка интересны такие лексические толкования и каламбуры Н. А. Полевого: «Старики передали нам слово: *изверг*. Это слово почти не годится для нас. Кто теперь *изверг*, т. е. человек, которого не сварил бы желудок нынешнего общества? Напротив, общество нынешнее никогда не чувствует *индижестии*: как желудок индейского петуха, оно переваривает самые крепкие ланцеты.— Но есть в химии словцо, которое надобно бы нам принять в общий язык,— это слово: *низверг*. Им означают осадку, которая происходит от смешения двух жидких или жидкого с твердым тел. Этот добрый низверг садится спокойно на дно сосуда, как будто не его дело, и остальному, что есть в сосуде, также нет никакого дела до *низверга*. Ах! Сколько *низвергов* в наше время, когда изверги совсем исчезли!» [1]

В аспекте этой языковой системы становится понятным, почему Н. А. Полевой в своих пародиях на Пушкинский стиль избирал главным объектом нападений (если отрешиться от общественно-политических и биографических намеков) синтаксические формы Пушкинского стиха и экспрессивные приемы его «разорванной», эллиптической композиции. Фразеология же Пушкинского стиха в этих пародиях только обесцвечивается, разлагается на примитивные, лишенные образности шаблоны или простейшие формы антитез и контрастов. Не ценя тонких семантических нюансов Пушкинского слова, скрытых в нем литературно-символических намеков, Полевой считает Пушкинский стиль идеологически скудным, опустошенным:

Он холодел, он пламенел,
Он забывал свои обеты,
Он забывал свою судьбу
(Отрывок из поэмы «Курбский»)

Мертвец средь радостей земных
И гость веселый на кладбище
(«Поэт»)

Ты нас то мучишь, то терзаешь
То радуешь, то веселишь;

и т. п.

Итак, школа Полевого отталкивается от Пушкинского стиха и прозы. Отрицались не только идеологические основы Пушкинского стиля, но и его структурные формы — грамматические, лексические, фразеологические, композиционные—признавались не соответствующими «современным» нормам литературного языка. Простота Пушкинского стиля, его предметно-смысловая прозрачность, художественная нейтрализованность в нем риторических форм, его субъектно-экспрессивная многозначность и лирическая напряженность — все это расценивалось как

[1] «Небольшие разговоры» («Новый живописец общества и литературы», II, 54).

симптом бедности мыслей. Пушкинскому синтезу основных национально-исторических категорий противопоставлялась литературная «идеализация» стилей «мещанского» торжественно-разговорного и письменно-делового, публицистического языка, сбивавшихся на книжную речь мещанской риторической прозы XVIII века. Эта «идеализация» состояла не только в усвоении принципов той французско-русской романтической риторики, с которой боролся Пушкин, но и в ее семантическом приспособлении к идеологии и мифологии мещанского языка и к формам западноевропейской буржуазно-демократической мысли.

2

Литературным современникам школа «Московского телеграфа» казалась близкой к «Смирдинской школе», вождем которой был О. И. Сенковский. Их сливал в одно старый карамзинист И. И. Дмитриев. Их преемственность и тесную связь признавала и сама буржуазно-демократическая литература. В предисловии к рассказу В. С. «Два маскарада» (2 ч., Москва 1837) говорится: «В 1825 году последовало новое явление на горизонте русской журналистики, русской литературы, явление, потрясшее весь книжный мир наш... произведшее новую эру в словесности нашей, начиная от шрифтов и типографского станка, до мысли, цели, слога...— я говорю о появлении «Московского телеграфа...». Не «Телеграф» ли первый начал говорить языком современности?» (VII—VIII). После панегирика «Телеграфу», после повести об его безвременной кончине, рассказывается о возникновении «Библиотеки для чтения», которая, по мнению автора, заместила покойника. «Основание, план и исполнение условий журнала принимались телеграфские, разумеется, — с приличными переменами» (XXI). Кроме пристрастности критических статей, автор всем доволен в «Библиотеке для чтения»: «Разверните любую книжку библиотеки, она прекрасна!» (XXII).

Но социальные основы и идеологические предпосылки языка «Смирдинской школы» были иные. Та система литературной речи, которая предносилась Сенковскому как норма литературного выражения, строилась на ином стилистическом фундаменте, чем язык Полевого. Недаром Сенковский готов был увидеть в прозе «Пиковой дамы» Пушкина «прозу, которую может с одинаковым удовольствием читать все общество — от княгини до купца 2-й гильдии». «C'est le langage russe universel manquait à notre prose, et je l'ai trouvé dans votre conte. C'est e langage de vos poësies qui sont comprises et goltées par toutes les classes également, que vous transportez dans votre prose de conteur» (Переписка, III, 159). О. И. Сенковский, как и Пушкин, стремился к созданию «языка хорошего общества»

(le langage de la bonne société). Повидимому, именно к языку первых двух глав «Пиковой дамы» относится восторженный отзыв Сенковского (письмо к Пушкину, 1834): «Voilà, comment il faut écrire des contes en russe! Voilà au moins un langage civilisé, une langue qu'on parle et qu'on peut parler entre des gens comme il faut... L'élément essentiel, vital, sans lequel il n'y a point de vraie littérature nationale, l'élément qui manque totalement à notre prose, c'est le langage de la bonne société. Jusqu'au présent je n'ai vu dans notre prose qu'un langage de femmes de chambre et celui de suppôts de justice... Si vous voulez, il n'existe pas encore de véritable langue russe de bonne société, car nos dames ne parlent russe qu'avec leurs femmes de chambre, mais il faut deviner cette langue, il faut la créer et la faire adopter par ces mêmes dames et cette gloire, je le vois, clairement, Vous est réservée, à Vous seul, à votre goût et votre admirable talent» (Ib., 158).[1] Правда, характерно, что тут же в области языка (не стиля) выше всех прозаиков ставится Загоскин (за исключением тех сцен, где выводятся персонажи из высшего общества, особенно дамы, которых автор заставляет говорить языком, употребительным лишь в отношениях между госпожей и горничной). Но именно у Загоскина Пушкин отмечает уклон к «языку дурных обществ». Кроме того, Сенковским отмечаются громадные заслуги А. А. Бестужева в истории прозаического стиля («sa pensée est belle, mais son expression est toujours fausse»). И, наконец, указываются проблески, как бы предвестия языка хорошего общества в «Монастырке» Погорельского, не развившиеся и не осуществившиеся, так как автор, не удержавшись, впал потом в простонародность (il est retombé dans le vulgaire). Таким образом О. И. Сенковский, стремясь к преобразованию литературного языка на основе речевого быта буржуазно-дворянского салона, применяясь к лингвистическим вкусам провинциального дворянства, разных слоев чиновничества, разночинной интеллигенции и промышленной буржуазии, в принципе примыкает к той традиции дворянского

---

[1] Любопытно, что и Н. А. Полевой не только целиком принимал манеру повествования в «Евгении Онегине», но достоинством ее считал «светскость», отсутствие «вульгарности». «Шуточные поэмы наших стихотворцев сбивались в плоскости, шутки их окорбляли благопристойность, улыбка походила на хохот тех героев, которых они описывали, как то: трактирщиков, карточных игроков или пьяниц... Видно, Пушкину суждено быть первым и в исполнении поэм и в изобретении предмета своих поэм... Он не кривляется, надувая эпическую трубу, не пародирует эпопеи, не нисходит в толпу черни: выбрав героя высшего звания общества, он только рисует с неподражаемым искусством различные положения и отношения его с окружающими предметами... Хочешь спросить, как успел подслушать поэт тайные биения сердца? Где научился высказывать то, что мы чувствовали и не умели объяснить?» («Моск. телеграф» 1825, II, № 5).

прозаического стиля, которая сближала язык литературы со стилями светского бытового повествования.[1]

Но Сенковский помещал почти в один ряд такие разнородные явления, как язык Пушкина, Погорельского и язык Загоскина и даже язык Марлинского. Эта свобода стилистического объединения, эта широта литературного признания, своеобразный языковой эклектизм указывают на то, что Пушкинский прозаический язык в его разнообразных жанровых вариациях Сенковского не мог вполне удовлетворить как норма стилей литературной речи. Так и было. Пушкинский язык — вне круга «светской», «салонной» повести — казался Сенковскому недостаточно разговорным, запутавшимся в плену традиционно-литературной книжности. Спор шел не только о церковнославянской стихии, особенно в области прозы, где, по словам Сенковского, Пушкин «сохранял предрассудки своих учителей». Ведь Пушкин санкционировал (правда, внесши существенные поправки) стили книжного языка и признал церковно-книжную речь одной из структурных форм литературной речи, а Сенковский вообще отрицал систему книжного языка и отрекался от всей литературно-книжной традиции, враждебной культу светской «разговорности». Вполне понятно, что, с точки зрения Сенковского, в языке Пушкина были недостаточно использованы, недостаточно представлены стилистические элементы разговорной речи. Поэтому Пушкинский язык, по мнению Сенковского, быстро должен был устареть. Сенковский понимал свою литературно-языковую задачу как творчество новой системы литературного языка на основе многообразия разговорных стилей «светского», т. е. буржуазно-дворянского, общества, приобщенных к западноевропейской мысли, украшенных блеском салонного остроумия и наделенных звучностью и красноречием литературной фразеологии.

Характерные особенности языка и стиля «Смирдинской школы» в оценке старого карамзиниста пародически изображает повесть «Авторский вечер. Странный случай с моим дядей» (Спб. 1835). Здесь прежде всего делается попытка установить общие принципы новой системы литературного языка. Автор сводит их к таким основным положениям:

1) Литературный язык должен строиться только на формах простой разговорной речи и притом на таких ее стилях, которые являются общими для буржуазного общества, для разных его сословий, находя лучшее, наиболее полное и «очищенное» выражение в беседе буржуазного салона. «Прежде думали, что в одном и том же русском языке существуют два языка: письменный и разговорный или книжный и простой. Думали также, что и все или почти все слова двух родов, и одни принадлежат к красноречию, а другие к просторечию...» (169). Теперь

[1] Ср. «Письмо трех тверских помещиков» (Собр. соч. Сенковского, VIII).

же... «сбросили с себя этот предрассудок... узнали, что собственно нет слов ни красноречивых, ни просторечивых» (170). «Все слова, которые вошли в русский язык из славянского, должны быть изгнаны из русского языка, как пришлецы, которые уже внесли с собою развращение... Русский язык сделался уже ныне, благодаря всюду разлившемуся просвещению, языком европейским, и никак не должен преклонять выи своей под ярмо ржавой старины... мы несравненно умнее предков наших и гораздо лучше сделаем, если, покинув все прежде славившееся силой, выразительностью, или красотой, введем что-нибудь новенькое... Это новенькое на первый случай могло бы заключаться в том, чтоб не употреблять ничего в писании, что не слышим мы в устах простого народа и частью среднего состояния...» [1] (26).

Таким образом основой литературного языка провозглашаются стили «изящного разговорного языка», в том числе и просторечие «третьего сословия», буржуазии, опирающиеся на «слова самые обыкновенные, не эти слова, зарытые в архивной пыли, или которые вместе с молью покоятся на полках никем не посещаемых библиотек; но слова, которые слышишь и на бульваре и в магазине и в... Тут нет изысканности, но все просто и мило» (34—35). В «Авторском вечере» отмечено множество слов и выражений «новой ковки», множество литературных приемышей из буржуазного просторечия. «Слова: *выразить, изобразить, приметить, обнаружить, показать* и множество других слов, которые, когда учился я в университете, почитались весьма хорошими, преданы мною были, могу сказать, анафеме. Напротив, словам: *выказать, высказать, подметить* даны мною были права самые неограниченные или, как говорил я тогда, следуя моде, *безграничные*» (19). На протяжении почти всей повести иронически демонстрируется новое употребление этих слов, например слова *выказать*: [2] «Самое слово *любомудрие* показывает уже, что почтенный профессор мой... был старого леса кочерьга, а чтоб лучше *высказать* эту фразу: *самое слово любомудрие выказывает в почтенном моем профессоре* старого леса кочерьгу» (21); «Анета... *выказывает* превосходные таланты. Она имеет душу мягкую, пушистую, ароматическую...» (31). Так же изменилось значение слова *высказать*: [3] «Не успеет *высказать* одних своих чувств, снова обращается

---

[1] Ср. Сенковский, Собр. соч., VIII, 200—254; IX, 272—274, и др. под.

[2] С точки зрения старых норм литературного языка слово *выказать* значило: выставить напоказ (см. «Акад. словарь», I, 853), а в новом употреблении это слово становилось синонимом слов *показать, доказать, обнаружить.*

[3] Следует для полной ясности заметить, что слово *высказывать* в «Акад. словаре» (I, 953) имеет только одно значение: «пересказывать другому, что видел или слышал». В письме И. И. Дмитриева к П. П. Свиньину (1825 г.) слово *высказать* в новом значении отнесено к неологизмам «Моск. телеграфа» (1825, № 2): «*Высказанное* же (слово несносное для моего слуха...) не достаточно и не складно» (Соч. И. И. Дмитриева, II, 289).

к другим...» (31). Когда «архаист» дядя спрашивает племянника, почему он вместо того, чтобы сказать: «не могу *изъяснить* или не могу *выразить* своей благодарности» — говорит: «не могу *высказать* своей благодарности», племянник отвечает: «Это... гораздо выразительнее. Благодарность мою я представляю сильною, живою, патетичною, и потому хочу ее *высказать*, т. е. всю до основания, до капли, до поддонок, чтобы она излилась на языке моем лучом солнечным, цветами радужными... Притом слова *объяснить, выразить* теперь уже обветшали» (32). Сходные комментарии даются словам *подметить* (вместо заметить или приметить), *подглядеть, подсмотреть*. Племянник осуждает употребление дядею пошлого выражения: «то, *что с прискорбием видите вы в вашем племяннике*», тогда как можно прекрасно выразить ту же мысль в словах: «что *подсмотрели, что подметили* вы в вашем племяннике» (46). В своем сочинении племянник пишет: «мечты мои можно только *подслушать* на моей груди, *подметить* в потоке жарких моих слез» (85). Он яростно защищает красоты выражения «*он подглядел ее душу...*»: «Душа, свойства которой в человеке скрываются, свойств которой я не могу видеть, не могу знать, проявляется иногда в каком-нибудь действии, слове, взгляде, движении. Если я это увидел, заметил, то могу сказать: *я подглядел душу*». Дядя возражает: «Ты мог, да и то не *подглядеть*, а *увидеть, усмотреть* какое-нибудь качество души, а не душу. Вообще слово *подглядеть* очень в немногих случаях может быть употреблено. *Подглядеть птицу, зверя, вора;* так! а то: *подглядеть душу!!!* Если ты замечал чьи движения, взоры, поступки, и чрез то узнал душевные расположения человека, то так *простенько* и скажи: «*Я замечал, я наблюдал его поступки, движения, взоры, и мне открылась душа его, я узнал его, узнал его чувства, добродетели, пороки*» и проч. и проч. В выражении: «*я подглядел его душу*» видно какое-то жеманство автора, а оно, воля твоя, никуда не годится. Ты сказал: «я *подглядел* его душу»; другой скажет: «я *подсмотрел* его душу»; третий — «*я подметил* его душу»; четвертый — «я *подстерег* его душу»; пятый — «*подкараулил* его душу...». Что ж за новые идеи родятся от того??» (160). Из других стилистических особенностей, отвергаемых как буржуазные новшества, следует указать широкое употребление наречий: *снова* и *лишь*. «Слова *снова, лишь* играют преважную роль» (24). «Везде встречал я: он *снова* взглянул, он *снова сказал*, везде, т. е. часто и там даже, где не *вновь* поглядел куда-нибудь человек...» (19).[1] «*Лишь*, думал я, никогда

[1] Ср. у Пушкина:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне

(„Предчувствие", 1828)

не может быть лишним» (20). Ср. другие лексические приметы буржуазного языка: «человек пять молодых людей... с головами *раскаленными*, как говорится ныне» (23); *«безвкусица»* (35); *«на счет* нынешних писателей» («Думаю, прервал дядя, вы хотите сказать *о* нынешних писателях?» — «Да, да, *на счет* писателей, о писателях») (69);[1] «и *баста!»* (71); «Любовь меня *разложила!* разложила, т. е. не то, чтобы сечь, разложила на стихии, *и я — испаряюсь»* (120); «по местам *процвечивали и проглядывали* на нем (небе) белые пятна...» (86); *«безмолвить»* («шум морских непогод *безмолвил* мои душевные бури») (88); *«круть»* («нельзя держаться на такой крути») (100);[2] *«приосаниться»* (134); *«охрана»* («Они находятся под охраною общественной честности»);[3] *«словно»* («В книгах я никогда его не начитывал, в разговорах не слыхал... Когда я стал читать перед литераторами *рассказ моей блохи...* что эта блоха, быв уже преклонных лет... *«снова оделась юностью лишь только распустившейся розы»*, то все нововводители... среди... похвал непременно требовали, чтоб... сделана была перемена, и чтоб сказано было, *что блоха оделась снова юностию, словно лишь распустившаяся роза»*) (28) и т. п.

---

[1] Впрочем, это выражение было в употреблении в 20-х годах и у людей иного социального круга, например у Д. В. Веневитинова: «целое произведение может иногда быть одною ошибкою; я не говорю этого на счет Онегина» («Сын. отеч.» 1825, ч. 100, № 8).

У Пушкина:

С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря,
Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного

(1819)

Ср. раньше у Милонова «На женитьбу в большом свете»:

И лучше убедить, Дамон, на этот щет
Красноречивый сам не мог бы Боссюет.

[2] Дядя комментирует: «Никогда в разговоре, сколько-нибудь хорошем и благородном, никто... не скажет *круть*, всяк скажет *крутизна*, и она ничем не хуже вашей крути... Если хотите, чтоб от слова крутой непременно происходила круть, а не крутизна, то допустите уже, чтоб и от пологий происходила *полога*; от надменный — *надмена*, от древний — *древень*, и проч., потому, что точно так, как *крутизна*, имеем мы вошедшие в язык слова: пологость, надменность, древность» (100).

[3] Комментарии дяди: «Писатель, может быть, думал, что так как есть слово *опала, остуда*, то почему ж не быть и слову *охрана?* Он, может быть, и прав. Если б теперь употребление и ввело слово *охрана*, то растолкуй мне, почему оно лучше слова *охранение*, которое существует, по крайней мере, со времен Екатерины. *Охрана!* Охрана!.. Охранять, сохранять, наблюдать, соблюдать, и от них — охранение, сохранение, наблюдение, соблюдение, а не *охрана, сохрана, наблюда, соблюда*. Вот ведь до какой формации слов может довесть жажда новизны... Должно преображать, но не должно обезображать» (147).

Эти указания анонимной повести отчасти совпадают с суждениями И. И. Дмитриева об языке «Смирдинской школы», отчасти дополняются ими. «Большая часть прозаических сочинений и переводов, помещенных в «Библиотеке для чтения», писана вялым, неровным слогом и наполнена пошлыми, неправильными речениями, подслушанными на биваках, на рынках и в лабазах, в доказательство чего приведу здесь несколько слов, которых еще не позабыл», возмущался И. И. Дмитриев. «Вместо: *пока — покамест; надобно — надо; дребезжать — дребезжется; мелочи — мелочности; дурацкий — дурачеський* (хотя contes drolatiques — детские и не дурацкие, а вздорные, балагурные); вместо *отрывки* или *обрывки* — *обломки*, чего же? Большой почти истлевшей эпической поэмы скандинавов, как будто эта поэма писана была на стеклянных или мраморных досках! Даже и сочный бифштекс превращен ныне в *сочистый* на новом нашем языке. Прибавим еще к тому частое употребление исковерканного французского слова *серьезно* и даже *пресерьезно*» (Соч. И. И. Дмитриева, II, 307—308). Таким образом в язык «Смирдинской школы» широкой струей вливается буржуазная разговорность и несет с собой формы «языка дурных обществ» (с точки зрения дворянско-аристократической литературной традиции).

2) Русский литературный язык в понимании Смирдинской школы должен был укрепить европейское мышление на национальных основах разговорной речи. Большую организующую роль в этом синтезе играл французский язык. В сущности, язык буржуазии стремился к перевоплощению национального в европейское. И в этом он был связан с Карамзинской традицией.

Впрочем, методы синтеза были разные. Карамзинисты от европейского шли к национальному. В языке Смирдинской школы движение началось с другой стороны: национально-бытовая речь притягивалась к выражению понятий европейского мышления, получала европейскую «начинку». Разговорный язык буржуазного общества равнялся, обрезался, отделывался по французскому образцу. У дяди с племянником заходит спор о словах — *единожды* и *однажды*. Племянник отвергает *единожды* как славянизм и излишний «синоним» для слова *однажды*. Дядя, отстаивая многообразие стилей, поучает: «слова *один* и *един*... совершенно однозначительны, но происходящие от них слова: *однажды, единожды* отнюдь не однозначительны. Я могу сказать: «однажды он явился ко мне и понес всякий вздор», но не могу сказать: *единожды* он явился ко мне и понес всякий вздор». Я могу сказать: «*единожды* положив за правило не рассуждать с людьми, увлекающимися фальшивою логикою, я никогда не стану спорить с таким-то человеком»; но не хорошо будет, если скажу: «*однажды* положив за правило» и проч. Вы хоть и ругаете французов, но, сколько я замечал, у них же

стараетесь перенимать все, от нитки в одежде до обертки на книге, а потому и растолкую мысль свою сравнением с французским выражением: *однажды* значит autre-fois, т. е. в один такой-то день, такой-то час, *а единожды* значит une fois pour toujours» (53). Любопытно, что калькированная (с французского) идиома *«раз навсегда»* с течением времени совсем вытеснила слово *единожды*.[1]

Пурист дядя постоянно отмечает в стиле сочинений племянника «неправильные и уродливые галлицизмы» вроде: «окружил его любовью отеческою, супружескою и *всеми родами любвей*». «Разве это также не с французского, и разве грамматика ваша не *выказывает,* что слово любовь, так как и все почти слова, означающие страсти, не имеет множественного числа. С французского же взяты... и выражения: «он его *бросил в тюрьму*, он приехал *собрать наследство...*» (104) и т. п. Блюститель традиций старой литературы, стараясь убедить молодых писателей в ненужности слова *будущность,* ссылается на французский язык: «Я заметил, что многое берется с французского, но французы не говорят futurité» (105).[2]

Таким образом нормы французской семантики сохраняют регулятивное значение и для некоторых буржуазных стилей русского литературного языка.

3) Разговорный язык буржуазии не должен стихийным, бесформенным потоком вливаться в литературу. Он подлежит обработке, украшению и регламентации. Ориентируясь на формы разговорной речи, литература производит отбор их и преобразует их соответственно своему идейно-художественному содержанию, соответственно нормам литературной стилистики и эстетики. «Мы стараемся», говорит племянник, примкнувший к новой литературной школе, «только самые простые, всеми употребляемые слова облечь в прелестные формы, и вы увидите, как лет в десять язык наш образуется, возвысится; как словесность наша процветет от лакейской и прачешной до гостиной и будуара красавицы, от театральной сцены, водевиля до самой сильной академической речи, от народной песенки,

---

[1] Защищая *однажды* и отвергая *единожды,* «племянник» оправдывает свою точку зрения указанием на то, что слово *один* «...употребляет всяк: и крестьянин, и профессор, и разряженная графиня и судомойка... и оно между тем ничем не хуже, а во сто раз лучше... *единого*» (52). Ср. у Пушкина в статье «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», стилизованной под Феофилакта Косичкина: «рассердясь *единожды,* сержусь я долго и утихаю не прежде как истощив весь запас оскорбительных примечаний, обиняков, заграничных анекдотов и тому подобного» (IX, 15).

[2] Ср. однако уклон литературной речи 30—40-х годов в сторону научно-философского и публицистического языка и совместность влияний, шедших не только из Франции, но и из Германии. Подробнее см. в моей книге: «Очерки по истории русского литературного языка с конца XVII века», глава VII.

которую повторяют горничные девушки, до самой возвышенной оды и эпопеи. И все будет выражаться в самых простых, обыкновенных словах» (51).[1]

Между литературой и бытом должно быть тесное взаимодействие в сфере речи. «Что есть изящный разговорный язык? Ведь это выбор фраз и оборотов из творений изящной словесности». Элементы простого разговорного языка, обработанные литературной стилистикой, снова «вливаются в умную беседу, которая... нередко придает им смысл новый, яркой, блестящий. И с этими благоприобретенными качествами эти фразы опять переходят в словесность, где под искусным пером составляют новые живописные группы, убирают другие мысли, озаряются придаточным блеском внутренней замысловатости и наружной полировки; и потом свежие, красивые, гладкие, как атлас, они, подобно нимфам Гомера, выходящим из хрусталя вод, из этой светлой купальни ума, опять бросаются на розовую постель веселой, игривой, образованной беседы». В связи с этими идеями возрождается и Карамзинский принцип подчинения литературного языка идеальному представлению о нормах речи «светской женщины» или «дамочки», как говорили представители новой школы (в повести «Авторский вечер»): «Мы хотим писать так, как говорят теперь хорошенькие дамочки» (115).[2] «Корифей» новой литературы, выступающий в «Авторском вечере», так определяет взаимоотношение между литературным языком и разными социальными диалектами разговорной речи. «В сочинениях наших мы хотим как возможно более сообразоваться с языком разговорным, сообразоваться только, а не все то вводить, что употребляется в разговорах. Мы хотим сообразоваться

---

[1] Ср. рассуждения О. И. Сенковского о том, что выражения и обороты, «отринутые изящным обществом», не должны «лезть прямо в изящную словесность». «Словесность ведь лицо благородное, воспитанное, умное, блистательное, одетое со вкусом и некоторою изысканностью, которое принято в лучших домах — которое садится прямо на диване между хозяйкою и ее дочерью» (Собр. соч. Сенковского, VIII, 237—238).

[2] Ср. иронию Кюхельбекера по поводу реверансов Сенковского в сторону высшего общества: «Охота профессору Сенковскому быть маркизом! Что за первые высоты общества? Не читал же профессор «Онегина». Иное дело, если он на высотах общества полагает людей не самых светских, а самых умных и добродетельных. Это соль земли и между ними подлинно чувствуешь себя благороднее и лучше» («Дневник Кюхельбекера», 229). Очень интересны суждения Кюхельбекера об языке Смирдинской школы» (т. е. Сенковского). Не отнимая у разных литературных личин самого Сенковского или его заместителей из «Библиотеки для чтения» ни воображения, ни занимательности, ни таланта, Кюхельбекер упрекает всех их в «незнании русского языка» (289). Его возмущают понятия Сенковского о «литературности», о содержании словесности, о читателе, о слоге. «Светский разговор у него прототип слога изящного» (231). Общее заключение Кюхельбекера: «Марлинский — подлинник, а они... списки и все же не быть им законодателями в русском языке» («Дневник», 229).

и при этом *выдумывать,* что бы такое можно было написать, выразить, т. е. *высказать*, так, чтоб после это же самое можно было повторить, не краснея, и в обыкновенном разговоре. По этому-то самому и не употребляем мы ни *сей,* ни *оный,* ни *якобы,* ни *изрек,* ни *возвестил*» (117). Но устранение канцеляризмов, церковнославянизмов, архаизмов и других отслоений книжного языка не исчерпывало задач «чистки» литературной речи. [1] Понятие разговорности было подчинено строгим социально-диалектическим и стилистическим ограничениям, которые были обусловлены представлением об идеальной буржуазной норме общественного выражения. Так, когда камердинер сказал *обнокновенно* вместо *обыкновенно,* то один из писателей — Скромин — заметил: «Ну вот, господа, мы хотим перевести все разговорное в наши сочинения. Поэтому надобно писать *обноковенно,* а не *обыкновенно*». — «Нет, нет», прервал Корифей, «мы не того хотим... Мы хотим и писать так, как говорят, хотим и того, чтоб все говорили как мы пишем» (116).

4) Эти ограничения понятия «разговорности» были связаны с своеобразным социологическим обоснованием функций и состава литературного просторечия. В эстетике речи торжествовал принцип буржуазной порядочности и светской разборчивости. Этот принцип был враждебен крестьянской и мещанской простонародности и грубой простоте языка. Тут была разительная и резкая разница между Пушкинским языком и языком Смирдинской школы. Сенковский (так же как и Полевой) мог не только понять, но и одобрить тех Гоголевских дам, которые «никогда не говорили: «я высморкалась, я вспотела, я плюнула», а говорили: «я облегчила себе нос», «я обошлась посредством платка» («Мертвые души», III, 157). Недаром и Сенковский и Полевой порицали Гоголя за то, что он «наслушался слов, которых не говорят в порядочном обществе» (Н. Полевой, «Русск. вестник» 1842, №№ 5—6). Но особенно ярко это различие взглядов Пушкина и Сенковского на стилистическую структуру литературного просторечия проявлялось в оценке литературных функций «простонародного» языка, т. е. крестьянских диалектов.

Сенковский вовсе запретил доступ в литературу «грубому мужицкому» языку и издевался над «лапотной школой», одним из представителей которой был В. И. Даль. Сенковский отрицал всякую близость между «мужицким языком» и языком хорошего общества даже по отношению к древне-русской эпохе. Крестьянская речь представлялась Сенковскому дикой и окаменелой формой первобытного, непросвещенного словесного вы-

[1] Ср. рассуждение о литературном языке в очерке «Осенняя скука» из книги: «Фантастические путешествия барона Брамбеуса», Спб. 1835, стр. XI—XII.

ражения. «Мужики древние», писал он, «говорили так же, как мужики XIX века; но бояре никогда не говорили как мужики. Древняя русская аристократия была непросвещенна, могла даже иметь грубые привычки, но она не была груба на словах». [1]

В рецензии на роман Вельтмана «Лунатик» О. И. Сенковский писал о «простонародности» в литературе: «Признаюсь откровенно, я не понимаю изящности этой кабачной литературы, на которую наши Вальтер-Скотты так падки. И как мы заговорили об этом предмете, то угодно ли послушать автора «Лунатика»:

«— Э, э! что ты тут хозяйничаешь!

«— Воду, брат, грею.

«— Добре! Засыпь, брат, и на мою долю крупки.

«— Изволь, давай.

«— Кабы запустить сальца, знаешь, дак оно бы тово!

«— И ведомо! Смотрико-сь, нет ли на поставце?

«Это называется изящною словесностью! Нам очень прискорбно, что г. Вельтман, у которого нет недостатка ни в образованности, ни в таланте, прибегает к такому засаленному средству остроумия. Нет сомнения, что можно иногда вводить в повесть и просторечие; но всему мерою должны быть разборчивый вкус и верное чувство изящного; а в этом грубом сыромятном каляканье я не вижу даже искусства». [2]

5) Литературная канонизация буржуазного «изящного разговорного языка» была связана с созданием новой системы фразеологии и синтаксиса, с построением новой логики словесных композиций. Старая риторика отвергалась. Новый метод словесного творчества (в пародической формулировке автора повести «Авторский вечер») сводится к тому, чтобы «никогда не выражать своей мысли ясно, но всегда выказывать ее помаленьку, украдкою, как прокрадывается хищный зверь, сова, филин, или слабое насекомое, стараясь сколько возможно более набирать подобий» (25).

Поэтому у писателя новой школы «в тени пустого, ненужного извилистого оборота можно только угадывать, а не прямо понимать мысль» (148). Идея должна воспроизводиться в разных аспектах своего явления. В литературном произведении одна и та же «идея дробится, подобно тому как дробятся предметы, когда посмотришь на них в граненое стекло» (59). Показывая «исковерканные выражения» (129), необычные фразеологические сцепления, основанные на принципе дробления, столкновения идей, на приеме метафоризации бытовых предметов и понятий, защитник старой литературы разбирает новый слог с точки зрения логики прежнего стиля: «Кой-где

---

[1] «Русский архив» 1882, III, тетр. 6, 150.

[2] «Библ. для чтения» 1834, V.

проглядывали кровли домов из *потока зелени...* — Прошу объяснить, что бы это значило *поток зелени?* Правда, это не противно грамматике, но противно, однакож, логике и общему смыслу, руководства которого, я считал бы, никогда покидать не должно» (102); «Он снова *выкинул меня в вечность*» («Экой вздор, а вы любуетесь, чай») (106); «Я в *распаленном его взоре* видел, что телесные его страдания укротились» («Ну можно ли видеть в распаленном взоре уменьшение страданий?»); «Это имя *зажигалось звездою надежды* на бесприютном горизонте русской литературы» («Очень видно, что автор говорит это, облизываясь... между тем как тут только двусмыслие и бессмыслие: «Имя *зажигается?* Что значит: зажигается имя? кто его зажигает? или как оно зажигается? *звездою* на *бесприютном горизонте литературы*. Что за бесприютный горизонт литературы? И почему бесприютный, бесприятный, т. е. такой, который нигде приютиться не может. Где же бы хотел он, чтоб *приютилась* русская литература. Вздор! да и все тут. Такой мысли вовсе не существует...»). Враги «нового слога» подчеркивают, что проблема стиля — это в то же время вопрос идеологии: «Я потому хулю слова», говорит дядя из повести «Авторский вечер», «что они представляют мысль или неправильно, или неправильную...» (145). «Идея и форма идеи должны быть неразлучны между собою. Переменить форму значит почти всегда изменить идею» (148).

6) Новые формы фразовых связей зависели не только от смысловых нарушений, от контаминации разных оборотов, от ломки идиом, неизбежно сопутствующей социальным переворотам в языке (например: *«голова...* как *жар горит»* (22); «перевод *верен с подлинником,* — мимоходом замечу, — я полагал бы, сказать должно: *согласен, сходен с подлинником»* (73); *«западающее в сердце чувство...* есть старинная песенка: *запала в сердце кручинушка...* это совсем другое дело, чем твое *чувство, западающее в сердце.* С понятием о чувстве представляется понятие чего-то общего. Сказать: *«запало в сердце чувство»* — столько же уродливо, как сказать: *«запал в сердце порок, запала в сердце добродетель»* (86); *«брызнули из земли цветы...»* это уродливо... и невозможно так сказать. Ты верно хотел позаимствоваться выражением из немецкого языка. На нем говорится: «die Blumen aus der Erde sprossen, и ты подумал, что sprossen происходит тут от spritzen — брызгать» (87) и т. п.), но и от общего изменения приемов метафоризации. Образы, метафоры нового стиля часто имели конкретно-бытовую, нередко даже производственную основу. Отвлеченное преломлялось сквозь призму привычно-реального, повседневного. Отсюда-то возникал отпечаток игривой иронии, комических несоответствий, тон авторской издевки, насмешливого подмигиванья, который создавал своеобразную экспрессивную атмосферу повествования.

Вот — примеры предметно-бытовой, иногда производственной или профессиональной метафоризации: «с головами *раскаленными*, как говорится ныне, всем тем, чем питался пиитический их дух» (23); «*перепалка трескучего пламени чувств*» (44); «самозабвение *сплавливает* в одно *святое наслаждение* частную и общественную жизнь...» («Что за плавильщик такой самозабвение?») (95); «нет средства удержать удивления, которое заставляет *перекипать сердце героя через край*» («Уподобление в этом случае сердца котлу или горшку, в котором перекипает через край жидкость, только что унижает предмет и больше ничего») (98—99); «весна бросила изменнические искры причуд в зарядный ящик воображения» («Просто и прямо сказать тебе, мой друг, такого рода метафорическое выражение есть кривлянье, гаерство») (102).

Метафоризация могла принимать даже естественнонаучный характер, например: «Сквозь эту *ржавчину прошедшего века в нем просвечивают блестящие крупинки и пластинки, как в золотой руде, покрытой грубою корою*» (114). Ср.: «Это полезное, впрочем, сочинение пахнет *дубовым* классицизмом и отзывается *ржавым железным* слогом прошедшего века» (126);[1] «*Любовь разложила меня в стихии всех возможных чувствований,* и если бы она меня *поцеловала, я бы в один миг испарился...*». — «Я показываю, что я учился физике и химии, что можно разлагать всякую вещь на стихии: *любовь разложила меня.* Знаю, что все, разложенное на стихии, может испариться... Затем, в каком тоне говорю я о любви своей, об этом всепожирающем пламени? Тут всякий видит, что я ищу выражений, слов, не нахожу их, и что я, как поток, текущий под землею, в своем заключении, в темнице своей, в своей *тюрьме,* вдруг прорываюсь, и выхожу наружу светлою струею прекрасного, сильного, выразительного сравнения. *Любовь* меня *разложила!* разложила, т. е. не то, чтоб сечь, *разложила* на стихии, и я — испаряюсь!» (120).

С этим стилем также связаны конкретно-бытовые метафоры и сравнения, реализующие и символически преобразующие отвлеченное понятие, например: «Мрак ночи... старается *обхватить* холодными объятиями заблудившегося странника» (25); «Кровь в жилах течет быстро, с *шумом,* как *весною вода на Иматре...*».

Представитель старой литературы возмущен этим сравнением: «Что вы это делаете, что вы говорите? возможно ли, дозволительно ли делать такие сравнения? Движение в человеке крови сравниваете вы с Иматрою, воображение с павлиньим хвостом» (60). В ответ на это Корифей излагает принципы конкретной, «вещественной» метафоризации: «Когда я сравниваю

[1] Ср. у Пушкина в письме к кн. Вяземскому от 6 февраля 1823 года: «Опыты Озерова ознаменованы поэтическим слогом, и то не точным и заржавым» (Переписка, I, 67).

цветы невещественных мыслей с цветами, которым удивляется зрение, т. е. взгляды (видно, он винил себя за слово зрение, происходящее от славянского слова *зрак*), и когда я уподобляю... невидимое движение крови с видимым движением потока (водопада)... который всяк, кому угодно сделать полтораста верст, видеть может, то я тем живее представляю мысль свою» (61).[1] См. такие сравнения: «По местам *процвечивали и проглядывали* на нем (небе) белые пятна, *словно вата на стеганой одежде у щеголихи* прошлого столетия» (86); «Милые мечты былого... слетелись как ласточки, брызнули из земли как цветы...» (87). Ср. метафоры: «*мерзнуть* в жизни и науке» (68); «нынешняя словесность, *опрокидывающая* все понятия»; «ветер веял, *пахал на меня поминками юности*» (87); «купался в кровавых удовольствиях,

---

[1] В сфере стиха ближе всего подходил к этой стилистической системе «Смирдинской школы» В. Г. Бенедиктов. О. И. Сенковский по формальному мастерству ставил Бенедиктова выше Пушкина (ср. «Ночи Пюблик-Султан-Багадура», Собр. соч., IX, 247). Но ведь своеобразная система патетической метафоризации конкретно-бытовых явлений и вещных обозначений, создававшая впечатление неорганической смеси «возвышенного лиризма» с самой пошлой прозой, частые срывы в «тривиальность» и составляли стилистическую сущность «бенедиктовщины». Характерны также упреки критики в «фальшивом тоне» и «приторности» тех редких стихов, в которые Бенедиктов допускал «простонародность». Достаточно привести несколько примеров из стихов Бенедиктова в параллель к метафорам Смирдинской школы:

Сын громов — орел — мужчина...
Зашатался ночи мрак,
Тучи *лопнули*, и хлынул
Крупный ливень на бивак.

(Примеры, указанные в статье Я. Полонского о Бенедиктове)

И весь невредимый *хохочет* утес

(„Утес", Стихотворения, 2 изд., 3)

Чудная влекла к себе *и сердца железные*
Персями магнитными

(„Незабвенная", стр. 5)

Ланита прекрасной была *нажжена*

(„Два видения")

Любовь не *гнездилась в ущельях* сердец.

(„Золотой век")

И вот — лазурная *эмаль*
Очей прекрасных *развернулась*...

(„Три вида")

Чаша неба голубая
Опрокинута на мир

(„Облака")

и др. под.

По свидетельству И. И. Панаева, Пушкин на вопрос, какого он мнения о Бенедиктове, иронически отвечал, что «у него есть превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей». С той же иронией Пушкин хвалил «удивительные рифмы» Бенедиктова. Ср. статьи Белинского.

как в масле» (128); «*бог провел* ум в холодной голове, а сердце *спрятал* в персях» (131); «*извлеките* из этого нравственный *вывод...*» (133). Ср.: «*Извлечь* вывод!» (136);[1] «привесть *образец, к которому бы плотно применялись ваши замечания*».[2] Ср. замечание И. И. Дмитриева: «вместо *отрывки* или *обрывки* — *обломки*, чего же? Большой почти истлевшей эпической поэмы скандинавов, как будто эта поэма писана была на стеклянных или мраморных досках!» (Соч. И. И. Дмитриева, II, 308).

Метафоры сталкиваются одна с другой и создают логические и предметные противоречия. Логика прежнего литературного стиля сменяется алогической пестротой, хаотическим нагромождением разорванных метафор. Об этом в повести «Авторский вечер» рассуждает дядя так: «... ты все изметафорил... Тебе надобно было сказать, что лес не оделся еще зеленью. Как же ты придумал это выразить, чтоб не упустить в выражении ни метафор, ни подобия, ни сравнения? — Ты сказал: «лес не оделся еще *в общий мундир весны!*». Это, конечно, потому, что цвет мундиров также зеленый.[3] Далее... «*заржавелые непогодою пни* (экой вздор) провожают, — говоришь ты, — меня и машут как *ведьмы* (ну, как право не смеяться?) длинными сухими космами плюща». — Да помилуй, когда ж ведьмы машут плющом? Но ты, не довольствуясь ни ржавчиною пней, ни ведьмами, в том же тоне продолжаешь, что будто бы «кустарники *вылезли* из развалин, словно кочующие семьи цыганов» (96).

Характерно, что стилистические различия слов при этом столкновении метафор стираются, и в непосредственном соседстве с пышным символом, как комическая неожиданность, вырастает просторечное выражение, например: «он снова *выкинул меня в вечность*» (106). Из разных категорий метафор наиболее остро и враждебно воспринимается представителями дворянского слога «иносказательность, смешанная с иронией против природы» (91). Характерно, что и здесь образы разговорно-конкретны, взяты из сферы повседневного быта, из окружающей действительности. Например: «Хоть бы месяц взошел. *Легок на помине.* Этот *старый франтик* как раз прыгнул на небо... И то с облаками в гулючки играет, то за звездами гоняется...» (90—91); «Мгла

---

[1] Ср. в «Моск. телеграфе» 1825, ч. IV: «извлечь из своих заведений (tirer de leurs établlissements) прибыток — галлицизм».

[2] Стилистические замечания дяди: «хотя говорится по-руски *привесть* пример, но не говорится: *привесть образец.* Чтоб фраза была определительна, надобно сказать *представить*, а не привесть образец. Во-вторых, ты хочешь, чтоб я представил тебе образец, к которому бы *плотно* применялись мои *замечания.* Можно плотно приставить, приколотить, приклеить, приноровить, но плотно *применить...* невозможно. Применение может быть точное, определительное, а не плотное...» (143).

[3] Ср. у Гоголя в «Невском проспекте»: «В три часа новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна; он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах».

задушила небосклон» («попросту бы: мгла затмила небосклон»; 94); «Море дает лучам солнечным и взорам человеческим *купаться* в своем лоне» («Позвольте спросить, что тут за мысль? Дает, дает, да как и не дать?.. Но почему же взор, да и лучи *купаются?* взор никогда не купается; да не знаю, как и лучи купаются») (95); «Ты, море, заключено в *песчаную тюрьму диких берегов*» («Что за радость, что за идея сравнивать крутизну берегов с тюрьмою? Никакого ни сходства, ни подобия»); «Безграничные (безграничный... повторено... по крайней мере двадцать раз...) — безграничные твои волны *тупеют* под кудрями седых твоих всплесков» (96); «Два терна *вцепились друг другу* в волосы, словно (опять словно!) русские мужики на ярмарке, и чахлый вереск *качает головою*, словно не верит, дожить ли ему до завтра, и потихоньку кашляет от ветра» и т. п.

Этот стиль пейзажа категорически отвергается представителем старой литературы как уродливый и бессмысленный. «Я считал бы, что никакое произведение природы не может быть предметом насмешки. Насмешка над нею всегда будет уродлива. Итак, вереск качает головою и кашляет, но не хотите ли узнать, что делает при этом мох и вообще вся природа? Мох... краснеет по скалам, *точно румяна... по щекам старушки,* а вся природа спит, завернувшись в саван вечного снега...» (98). «И снова жертва ветра была вырвана из *когтей его*» (106) и т. п.

7) Характер стиля определяется не только нормами грамматики, лексики и фразеологии, но и формами экспрессии. Языку Смирдинской школы были свойственны устойчивые характеристические типы экспрессии, специфический тон изображения и описания — фамильярно-развязный, «хватский», кривляющийся и насмешливый. Этот тон поддерживался каменевшими шаблонами эпитетов и тем. Ср.: «При поездке мелькали в глазах моих предметы, натурально *мимолетные*... блистали подковы тройки, натурально *лихой*... увидел я *старушку*, т. е. Москву, естественно белокаменную и проч.» (30).[1]

Образ субъекта, образ автора зависел не только от тем и их лексического выражения, но и от их экспрессивного освещения: «Все старое, серьезное, увесистое, как Геркулесова палица, брошено, и введено легкое, эфирное, едкое, mordant» (49). «Мне все кажется, что автор подшучивает, подсмеивает, подпрыгивает, кривляется и все не впопад, все не кстати» (98). Писатели все-

---

[1] «...Читал я почти одни и те же сатиры на титулярных советников, коллежских и губернских секретарей, столоначальников и тому подобное. Мне казалось, что авторы видят какое-то зло в общежитии, и все это зло приписывают титулярным советникам. Это ли высшие взгляды, о которых они открыто говорят, приписывая их себе? Многие пишут о любви к отечеству. Цель прекрасная... часто однако находил одно и то же: «Москва белокаменная, заздравный кубок! *усы! сабля, кровь врага!*» (125).

время «хотят щеголять остротами и шуточками» (125), «насмешливым, издевчивым языком» (128). Они подобны «плясунам на канате и проволоке, забавникам, которые стараются изумить кривляньями» (130). «Автор, напыщаясь, старается умножать слова, не довольствуется каким-нибудь одним, двумя близкими сравнениями, набирает их кучи, складывает костры и старается как возможно более поместить в своих картинах изгибов и вычур...» «Нынешнюю, так многими называемую красоту слога сравнить можно разве только с чудными образами, какие представляются в движущихся и непрестанно изменяющихся парах. Мало вижу огня, и множество дыму, который тем больше ест глаза, чем чище взор» (130).[1]

«Смирдинскую школу» литературные враги из дворянского, аристократического лагеря ставили по языку и стилю в параллель со школой «Московского телеграфа». Субъективно же не только в сфере идеологии, но и в области языка Сенковский и Полевой боролись друг с другом. В декларации Н. А. Полевого против Сенковского, изложенной в письме к Булгарину от 2 апреля 1838 года, значились пункты: «Он (Сенковский) портит русский язык своими нововведениями, вовсе не умея писать по-русски. Он ввел в моду грубую насмешку в критике и обратил ее без пощады на все, даже на самые святые для человека предметы, развращая при том нравы Скарроновскими повестями и ругательными статьями. Он вводит в науку грубый эмпиризм и скептицизм, отвергает философию и всякое достоинство ума человеческого».[2]

Однако и в объективном плане стилистические системы Н. А. Полевого и О. И. Сенковского существенно отличались одна от другой. Они имели под собой неоднородную социальную почву и питались соками различных стилей буржуазного литературно-книжного и разговорного языков, разными диалектами просторечия. Идеологические корни этих систем только соприкасались, расходясь потом в разные стороны. В связи с этим и субъектно-экспрессивные формы стилей, приемы отражения и освещения действительности были у Полевого и Сенковского разнородны. Но с точки зрения, например, той позиции, на какой стоял Пушкин, было в стилистических устремлениях Полевого и Сенковского много общего, социологически родственного.

[1] Любопытно сопоставить с этой характеристикой Смирдинской школы отзывы В. К. Кюхельбекера: «Надоела мне... судорожная (grimaçante) ирония, с какою с некоторого времени обо всем пишут» («Дневник», 222). В другом месте Кюхельбекер пишет о театральных рецензиях «Библиотеки для чтения»: «тут при каждом слове так и видится жеманная улыбка: рецензент до того привык кривляться и скалить зубы, что истинно не знаешь, говорит ли когда-нибудь дело» (Ib., 221).

[2] В. Каверин, «Барон Брамбеус», 1929, 116.

3

Принципиальная далекость стилистических систем Сенковского и Полевого от языка Пушкина очевидна. И те формы «изящного разговорного языка», которые вовлекались в литературу «Смирдинской школой», и те формы буржуазного просторечия и «вульгарной» книжности, которые служили социально-диалектологической базой стиля Н. А. Полевого, для Пушкина часто в одинаковой мере относились к «языку дурных обществ». Повидимому, на проникновение в литературу именно этого «языка дурных обществ» намекал Пушкин, когда писал по поводу приготовления Академией наук третьего издания словаря: «Прекрасный наш язык под пером писателей и неученых, и неискусных быстро клонится к падению. Слова искажаются, грамматика колеблется. Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и каждого».

Одним из характернейших свойств «языка дурных обществ» с точки зрения Пушкина было жеманное отвращение к «простоте». Оно выражалось в вычурных перифразах, в изысканно-цветистой фразеологии. Принципы фразообразования в языке Полевого и Сенковского были более или менее однородны и в равной мере враждебны Пушкинским.

Непосредственность обозначений, обилие слов с прямым предметным значением — при бедности метафор — оценивались как недостаток стиля и Полевым и Сенковским. Сенковский даже был склонен в этих стилистических приметах видеть симптомы влияния того «делового, канцелярского» языка, против которого он с таким усердием боролся. Любопытен такой диалог между дядей и племянником в повести «Авторский вечер»: при обсуждении фразы: «*природа спит, завернувшись в саван вечного снега*» дядя замечает: «Перечитывая разные сочинения, я много, много раз находил *саваны* вместо *снегу*. Этак можно и совсем уничтожить слово *снег* и переименовать его в *саван*...»:

«— Да и хорошо бы,— отвечал я,— если б одни исправники стали писать в своих донесениях: *снег выпал, поля покрылись снегом*. У литераторов должен быть другой язык, отличный от канцелярского...» (162).[1]

Еще более характерно, что старовер-дядя выступает на защиту классической простоты — против вычур и манерности,

---

[1] Ср. в «Фантастических путешествиях барона Брамбеуса» (Спб, 1835, стр. XI—XII): «в Словесности в нынешнем году было очень скучно, потому, что русская изящная словесность не хотела говорить русским языком XIX века... что она никак не соглашалась стряхнуть с себя пыль канцелярских форм, описывала даже любовь и ее прелести слогом думного дьяка Власа Афанасьева и заставляла меня, злополучного, думать на одном языке, на том, которым говорю я с порядочными людьми, а писать на другом, которым не говорит никто на земном шаре».

против побрякушек и колокольчиков нового стиля, прибегая к таким аргументам: «Простота не есть низость... Поэту и вообще писателю с прямым даром вдохновения не нужно кривлянья, вычуры и размалевщины» (149). Необходимо «избегать всего того... что кудряво, неестественно, затейливо, уродливо, и также всего того, что противно грамматике и естественной логике» (155).

Точно так же, в противовес риторической манерности буржуазных стилей, тяготение к простоте бытописательного языка, борьба с фразеологическим риторизмом и с литературной «искусственностью» стали основными тенденциями Пушкинского стиля, особенно повествовательного, с конца 20-х годов.[1]

Это стремление Пушкина к простоте предметно-бытовых обозначений ярко проявилось, например, в отрицательном отношении его к тому претенциозному заглавию, которое хотела дать своим запискам Дурова. Она хотела назвать их: «*Своеручные записки русской Амазонки, известной под именем Александрова*». Пушкин рассудил: «*Записки Амазонки* как то слишком изысканно, манерно, напоминает немецкие романы. *Записки Н. А. Дуровой* — просто, искренно и благородно». Слово для Пушкина — бытовой символ предмета, простое и незаменимое выражение вещи. В слово как бы вмещен контекст исторической действительности. В. А. Дурову Пушкин писал о «Записках» Дуровой: «Что касается слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность. Предмет сам по себе так занимателен, что никаких украшений не требует. Они даже повредили бы ему» (Переписка, III, 209, письмо от 16 июня 1835).

Предоставление просторечию прав литературного гражданства Пушкин понимал как утверждение литературной ценности таких бытовых предметов и действий, которые прежде оставались за пределами «словесности». Проблема «литературного предмета», проблема натуры в критике конца 20-х — начала 30-х годов приобрела особенную остроту и напряженность едва ли не в связи с творчеством Пушкина.[2] В поэзию Пушкина широким потоком хлынули такие предметы, которые по своей бытовой повседневности признавались «непоэтическими». Ирония критиков из консервативно-дворянского лагеря литературных староверов и из некоторых групп буржуазии сопровождает это движение низких предметов в литературу. Например, по поводу описания пожитков, с которыми Таню везли в Москву, «Сев. пчела» (1830,

[1] В этом отношении характерны стилистические суждения «Современника». Например, в разборе поэмы Э. Кине «Napoleon» («Современник» 1836, № 2): «В поэме Эдгара Кинэ истина нигде не встречена прямо в лице, нигде нет собственного слова, а все обиняки, метафоры — все Делилевская муза» (276).

[2] Ср. параллельный Пушкинскому, но семантически и стилистически обособленный (особенно в сфере синтаксиса), лексически более одноцветный путь к простоте Е. А. Боратынского.

№№ 35 и 39) иронизировала: «Мы никогда не думали, чтоб сии предметы могли составлять прелесть поэзии, и чтоб картина горшков и кастрюль et cetera была так приманчива». Тот же вопрос о приемах и границах художественного воспроизведения «натуры» в связи с творчеством Пушкина обсуждается в диалоге между автором и Пахомом Силычем в статье Надеждина («Вестн. Европы» 1830, № 7). Соглашаясь с «Северной пчелой», объявившей, что в седьмой главе «Онегина» нет ни мыслей, ни чувств, Пахом Силыч саркастически утверждает, что поэтическое достоинство Пушкинского языка исчерпывается «картинками»: «Не в одном только грозном рокоте грома слышится эхо вечной гармонии, одушевляющей вселенную; ухо чуткое чует ее и в щебетании ранней ласточки и в жужжании вечернего жука и в чиликаньи запоздалого кузнечика. Пусть поэзия изображает нам верно то, что видит и слышит в природе. Будут ли то *картины* или *картинки*... до формата нет нужды... И *прыщик* может иметь поэтическое достоинство... не на прекрасном личике *Делии*, а на красной роже кухарки Аксиньи — в карикатурном зрелище: ибо он там может возбуждать *поэтический* смех... основание *комического* услаждения... и это ничуть не низко для поэзии!.. Будь поэзия, как природа! Изображай *червячков*, но *светящихся*... а не копайся в навозе, чтобы открывать там гнусных насекомых, утаиваемых ею самою от человеческих взоров! Заставляй улитку высовывать рожки: но не срывай с нее скорлупы, прикрывающей ее отвратительную уродливость... Я буду всегда любоваться подобными *картинками*, сколь ни мелочны они кажутся» («Вестн. Европы» 1830, № 7). Сочинения Пушкина называются «забавной болтовней», «мелочными картинками».

Любопытно, что буржуазную критику 30-х годов пугает непосредственность Пушкинского воспроизведения быта в слове. Сами по себе те же слова и выражения, преимущественно в метафорическом, не прямом их применении, были присущи и буржуазным стилям. Но с Пушкинских слов был как бы совлечен наряд «литературности».

Пушкин в повествовании (особенно в прозаическом) стремился к достижению иллюзии непосредственной передачи факта или события, к созданию стиля, чуждого литературных украшений. Это была борьба с искусственной, «жеманной» риторикой как дворянской, так и развивавшейся на ее основе буржуазной, — во имя новых форм литературного языка. Эти новые формы литературы, по Пушкину, вырастают из исторического факта, из бытовых социально-характеристических различий лиц, предметов и мировоззрений. Они должны быть приспособлены к нормам выражения «хорошего общества», т. е. того интеллигентного общества, которое должно впитать национальные, «общенародные», выросшие на почве дворянской культуры или

родственные ее стилям, но чуждые нетерпимости, не заклейменные печатью узкодворянской классовой этики и эстетики традиции «общежительности». Рецензентов Пушкина, придерживавшихся буржуазного стилистического канона, смущает отсутствие в «Повестях Белкина» того, что тогда считалось симптомом литературного стиля и литературного содержания. «Жалуются, что содержание сих повестей слишком просто; что, прочитав некоторые из них, спрашиваешь: только-то?» («Сев. пчела» 1831, № 255). Н. А. Полевому кажется, что Пушкину явно хотелось попасть в колесо Вашингтона Ирвинга, что автора пленило и влекло к подражанию «безыскусственное искусство» повестей Вашингтона Ирвинга, «отсутствие в них шумихи содержания и слога». «Сочинителю хотелось испытать: можно ли увлечь внимание читателя рассказами, в которых не было бы никаких фигурных украшений ни в подробностях рассказа, ни в слоге и никакого романизма в содержании (принимаем здесь слово романизм как *умоизвитие*, в чем, по уверению наших риторов, заключается сущность романа)». («Моск. телеграф» 1831, № 22). Под углом этой точки зрения повести «Выстрел» «Метель» и «Барышня-крестьянка» признаются «фарсами, затянутыми в корсете простоты без всякого милосердия». Этот «простой» литературный язык не удовлетворял тем запросам, которые предъявлялись к поэзии и прозе буржуазной интеллигенцией 30-х годов.

Интересен отзыв Белинского о прозе Пушкина: «Повести, изданные Пушкиным... занимательны, их нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать (conter); но они — не художественные создания, а просто сказки и побасенки; их с удовольствием и даже с наслаждением прочтет семья, собравшаяся в скучный и длинный зимний вечер у камина; но *от них не закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнем восторга; но они не будут тревожить его сна — нет. После них можно задать лихую высыпку*» («Молва» 1835, № 7). Так на фоне увлечения романтической патетикой расцениваются

...прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый вздор.

По мнению Белинского, только повесть «Выстрел» достойна имени Пушкина.

Из тех же норм «риторического» стиля исходил Броневский, осуждая слог «Истории Пугачовского бунта». «Многие надеялись и были в том уверены, что знаменитый наш поэт нарисует нам сей кровавый эпизод царствования Екатерины Великой кистью Байрона, подарит нас картиною ужасною, от которой, как от взгляда пугачевского, не одна дама упадет в обморок. Нам казалось, что исторический отрывок, написанный слогом возвышенным, живым, пером пламенным, поэтическим, не потеряет своего

внутреннего достоинства...». Но «История Пугачовского бунта» рецензенту кажется «мертворожденным детищем». «В истории Пугачовского бунта, действительно, все так холодно и сухо, что тщетно будет искать в нем труда знаменитого нашего поэта. Мы не нашли в нем ни одного чувства, ни одной искры жизни. Пушкин, как историк, так мало походит на Пушкина-поэта, что мы, удивляясь такому его самоотвержению, не хвалим его за насилие, самому себе сделанное, и досадуем, что ему вздумалось, исписав 168 страниц, ни одним словом, ни одним выражением, не изменить своей пламенной природе, всегда сильно чувствующей и пишущей пером огненным» («Сын отеч.» 1835, ч. 169, № 3).[1]

Между тем, структура исторического (и шире — повествовательно-бытового) стиля у Пушкина опиралась на теорию языковых культурно-исторических контекстов. Предметы и их обозначения вовлекались Пушкиным в литературу в зависимости от изображаемого социально-бытового контекста. Пушкин руководился в отборе и размещении предметов тем принципом, который кн. Вяземский метко назвал «исторической народностью». И. Средний-Камашев в разборе «Бориса Годунова» так писал о Пушкине: «Никто до сих пор из наших поэтов не умел с таким искусством и силою описывать предметы, как он, ибо Пушкин собственно поэт натуры. Теперь, обратившись к истории, национальный по поэтическому значению, он и здесь превосходно выполнил мысль свою в этом отношении: в «Борисе Годунове» как в художнической панораме вы видите весь дух того времени,

---

[1] Любопытно, что барон Розен, возражая на рецензию Броневского («Сев. пчела» 1835, № 38), защищает Пушкинский стиль не как форму художественного повествования, а как форму исторического изложения: «... Воспламенять читателя... дело ораторства и поэзии. История, ведаясь с существенною правдою, относится к нашему уму и через него действует на сердце. История распоряжается своим материалом и устраивает его таким образом, чтобы он не имел ни малейшей надобности в украшениях поэтических и риторических...». У Пушкина «мудрая экономия и изящное устройство материала; точное, истинно-художественное разделение света и тени и, наконец, неподражаемая сжатость слога, где не найдете даже ни одного лишнего эпитета, все это служит отрадным доказательством великого дарования исторического. Как странны притязания тех, кто ожидал от Пушкина истории, написанной пером *пламенным, кистью Байрона!!!* Что наш великий поэт сумел быть не поэтом в истории, именно *это* вменяется ему в лучшую похвалу и доказывает, как хорошо он знает непреложные границы каждого изящного искусства». В подтверждение яркости колорита пугачовщины в Пушкинском повествовании Розен выписывает рассказ о судьбе Харловой и заключает: «Какая полнота, какое богатство слога при такой простоте и сжатости. Вот как надобно писать историю. Всякая строка — огненная черта, из которой воображение читателя себе рисует великие картины». Ср. также «Отеч. зап.» 1841, XVII, № 8: «В русской литературе нет ничего выше его (Карамзина) исторической прозы, кроме «Истории Пугачовского бунта», пером Тацита писаной на меди и мраморе!».

все значение тогдашней Руси» («Сын. отеч.», 1831, XXII, ч. 145, №№ 40 и 41).

Идеи литературы у Пушкина постепенно сливаются с содержанием быта, с «толкучим рынком» жизни, исторической действительности. Особый мир «поэзии идей и чувствований», возникающий на основе риторического преобразования и возвышения действительности, был не только чужд Пушкину, но и враждебен.[1] Поэзия, по Пушкину, проходя через фазу истории, освобождаясь от оков риторики, становилась миром творчества, миром чистой действительности, символически воплощающей в себе историческую реальность. Но для писателей буржуазного лагеря Пушкинских мыслей было недостаточно. Булгарин в «Письмах о русской литературе» («Сын отеч. и Сев. архив», 1833, XXXIII, № 6), упрекая Пушкина за то, что он «полагает все достоинство поэзии в гармонии языка и в живости картин» и хочет быть «только артистом, музыкантом и живописцем», писал: «Наши эстетики и поэты (разумеется, не все) никак не поняли, что гармония языка и живопись суть второстепенные средства новой поэзии идей и чувствований, и что в наше время писатель без мыслей, без великих философических и нравственных истин, без сильных ощущений — есть просто гударь, хотя бы его рифмы были сладостнее Россиниевой музыки, а образы светлее Грезовой головки». Характерно, что Пушкин в своих теоретических высказываниях неизменно развивает те же идеи о недостаточности одних только «блестящих игр воображения и гармонии», особенно в прозе, о необходимости углубления и расширения сферы литературных мыслей. Но эти принципы у Пушкина сочетаются с требованием простоты стиля. Особенно любопытны в этом смысле суждения Пушкина о языке прозы.

В определении языковой структуры прозы Пушкин исходит из тех стилистических предпосылок, которые были утверждены риториками 20—30-х годов и которые наиболее лапидарно и наиболее просто изложены в «Риторике» Кошанского. «Точность и краткость — первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат, стихи — дело другое (впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится)» (IX, 10).[2] Принцип фразеологи-

---

[1] См. примеры в следующей главе.

[2] Слишком прямолинейны и односторонни противопоставления Пушкина-прозаика Пушкину-поэту. Так писал об этом кн. Вяземский: «... прозаик крепко-накрепко запер себя в прозе, так чтобы поэт не мог и заглянуть к нему. Впрочем, такое хладнокровие, такая мерность были естественными свойствами дарования его, особенно когда выражалось оно прозою. Он не любил бить на эффект, des phrases, des mots à effets, как говорят и делают французы. Может быть, доводил это правило до педантизма» (Полн. собр. соч., II, 375). Так же отзывался о прозе Пушкина

ческой разграниченности систем прозы и стиха, выражающийся между прочим в усиленном тяготении прозы к «нагой простоте», к непосредственной точности номинации, не раз повторяется Пушкиным. «Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями; поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем. Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность» (IX, 46). Пушкин издевается над писателями, «которые, почитая за низость изъяснять просто вещи самые обыкновенные — думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами» (Ib., 10).

Проза по Пушкину соотнесена с бытом и его потребностями. Она должна найти оправдание своим формам и своему содержанию в своем общественном назначении. Поэтому Пушкин с осуждением относится к смешению целей прозы и стиха и отрицает необходимость «поэтизации» прозы. «У нас употребляют прозу как стихотворство: не из необходимости житейской, не для выражения нужной мысли, а токмо для приятного проявления форм» (IX, 399).

Проза должна удовлетворять интеллектуальным потребностям общества и не может довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии (IX, 11), так как «просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов...».[1] Слово *прозаический* представляется Пушкину совмещением понятий: «спокойный, умный, рассудительный». В заметке о книге И. И. Дмитриева «Путешествие NN в Париж и Лондон» поэт так и пишет: «есть люди, которые находят и Горация прозаическим (спокойным, умным, рассудительным, так ли?») (IX, 210).

С. П. Шевырев: «Он владел русскою прозою и дал ей новый оттенок. Никто из писателей России и даже Запада, равно употреблявших стихи и прозу, не умел полагать такой резкой и строгой грани между этими двумя формами речи, как Пушкин. Сколько стих его всегда возвышен над обыкновенною речью, всегда изящен звуком, всегда отмечен... как червонец, чеканом светлым и звонким, столько же проза его проста, сильна, истинна и чужда, как жизнь, ею изображаемая, всякого ненужного ей украшения. Поэтому-то проза Пушкина не есть какой-то междоумок между стихами и прозою, который известен под именем прозы поэтической или, правильнее, прозы риторической, который заимствуется от стихов метафорами и сравнениями и блещет на произведениях современной нам литературы, много свидетельствуя об упадке общего вкуса. У нас Марлинский был главным представителем этого рода прозы» («Москвитянин» 1841, V, № 9).

[1] Все литераторы первой трети XIX века жалуются на отсутствие культуры прозы, на необработанность прозаической речи, на расплывчатость и бедность форм выражения в прозе. «Мера и рифма», пишет Кюхельбекер в своем «Дневнике», «учит кратко и сильно выражать мысль, выражать ее молнией; у *наших* великих писателей в прозе эта же мысль расползается по целым страницам» (235).

Таким образом само понимание смысловой структуры литературного слова у Пушкина и у писателей «риторического» направления (а к этому направлению примыкали почти все господствующие буржуазные стили 30-х годов) было в корне разное. Основу Пушкинского языка составляют предметные значения слов и их конструктивно-смысловые оттенки, создаваемые композиционными соотношениями символических рядов и разными субъектными применениями одних и тех же выражений. Для писателей типа Полевого семантический центр речи заключался в образно-риторической насыщенности, так же как для Сенковского — в игре остроумия и парадоксальных сближений. [1]

4

Стили «Смирдинской школы» и школы Полевого были далеки от Пушкинского языка не только идеологически, но и диалектологически. Особенно резкую грань между ними создавало отношение к «простонародному» языку. В этом направлении Пушкин ближе подходил к позиции мелкобуржуазных народнических стилей, которые нашли наиболее яркое теоретическое обоснование и наиболее полное выражение в литературной деятельности В. И. Даля. «Простонародность» В. И. Даля была доступнее Пушкину и приемлемее для него, чем купеческая «народность» Полевого или буржуазно-светское просторечие и красноречие Сенковского. Социально-языковый материал, который В. И. Даль стремился положить в основу системы литературной речи и из которого он исходил в своем творчестве, представлял и для Пушкина основную национально-языковую ценность. Но принципы его стилистической обработки у Даля, идеальные нормы литературного языка, предносившиеся Далю и направлявшие его литературную и филологическую деятельность, отношение Даля к традициям литературно-книжной речи были чужды и враждебны Пушкину. [2] Пушкин, быть может, согласился бы признать своими (хотя и с оговорками) те слова о простонародном языке, которые приписаны ему Далем: «Сказка сказкой, а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать?.. Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще. А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не

---

[1] См. об этом в главе: «Структурные формы Пушкинского слова» во втором томе моей работы («Стиль Пушкина»).

[2] Хотя и в творчестве Даля и в его литературно-языковом мировоззрении заметна некоторая эволюция на протяжении 40—50-х годов, но для характеристики стилистической позиции Даля в 30-е годы можно — с оговорками и ограничениями — пользоваться и более поздними его высказываниями и филологическими трудами.

дается в руки, нет».[1] Но Пушкин не мог согласиться с основными мыслями Даля об идеальной структуре русского литературного языка. Даль думал, что буржуазии, «среднему сословию», суждено осуществить синтез «родимого и прививного» и создать подлинно национальную систему русского языка, в котором все будет «переработано брожением из начал русского духа», «будет все свое и все согласно, созвучно». Но Далю казалось, что «среднее сословие» как культурный класс еще не сложилось. «И вот почему и в словесности нашей еще и быть не может народности, родимости, свойскости ни в речи, ни в сущности ее. На разных обществах и сословиях наших нет еще своего лица... Самый быт наш — еще смесь быта вселенной, а язык почти то же и по словам и по оборотам, и ныне еще нет никакой возможности писать таким русским языком, как бы казалось писать должно. Ныне еще легко промолвиться и оступиться, попасть вместо родного в простонародное, потому что средины, которой мы ищем, еще нет; а есть одни только крайности: язык высшего сословия — полурусский, язык низшего сословия — простонародный. У нас нет и среднего сословия, оно только что учреждается, основывается и со временем от этого благодатного правительственного учреждения можно и должно ожидать много, и много для самостоятельности русской во всех направлениях».[2]

Таким образом, по мнению Даля, перед русской буржуазией стоит задача создания чисто национального литературного языка посредством синтеза русских элементов речи высших классов с «живым языком русским, как он живет по ныне в народе...».[3] «Где же нам учиться по-русски? Из книг не научиться, потому что они писаны не по-русски; в гостиных и салонах наших — подавно; где же учиться?.. Остается одна только кладь или клад — родник или рудник — но он за то не исчерпан... Источник один — язык простонародный, а важные вспомогательные средства: старинные рукописи и все живые и мертвые славянские наречия. Русские выражения и русский склад языка остались только в народе; в образованном обществе и на письме язык наш измололся уже до пошлой и бесцветной речи, которую

---

[1] Л. Н. Майков, «Пушкин и Даль», 42. Ср. слова Даля о самом себе (в третьем лице): «Не сказки по себе были ему важны, а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без особого предлога и повода, — и сказка послужила предлогом... Сказочник никогда не ставил сказки свои в пример слога и языка, не говорил и не говорит, что так именно должно писать по-русски — нет; он хотел только на первый случай показать небольшой образчик... запасов, о которых мы мало или вовсе не заботились, между тем, как рано или поздно, без них не обойтись!..» («Полтора слова о русском языке», Полн. собр. соч. В. И. Даля, X, 556—557).

[2] «Полтора слова о русском языке», 543, 544.

[3] Ib., 545.

можно перекладывать от слова до слова на любой европейский язык». [1]

Итак, в видоизмененной форме вновь выплывает славянофильская, националистическая концепция с ярко демократической окраской. Но церковнославянизмы устраняются как мертвый груз языка. По словам Даля, труды «славянистов, как неуместная натяжка, остались гласом вопиющего в пустыне». [2]

В статье о «Русском словаре» Даль пишет о составе своего «Словаря *живого* великорусского языка»: «Церковный язык наш исключен; но приняты все выражения его, вошедшие в состав живого языка, также обиходные названья предметов веры и церкви. И славянских слов встречаем мы несколько в речи народной...» («Толковый словарь», XVI). [3] Осуждая «диковатые» на слух «книжные словообразования» и среди них «недавно (т. е. в 30—40-е годы) пущенное в ход словечко *исчезновение*», Даль прибавляет: «Это производство славянское или языка церковного» (XXIII). Ср. также замечания Даля по поводу книжного слова «*мертвенность*», образованного «на образец *бренность*, *откровенность*» (VII).

Но язык древней письменности, который в романтическом понимании истории национального языка сливался с «народным» языком, и для Даля является богатейшим «золотоносным пластом». Мало того: лично сам находя «главный запас» в языке простонародном и называя старинные книги и рукописи «средствами вспомогательными», Даль в то же время признает равноценным и параллельным метод реформы русской литературной речи, придававший основное значение формам «письменного языка предков наших», а вспомогательное — простонародным диалектам. [4] Это — путь, на котором вождем был в 30-годы Вельтман (ср. особенно его романы: «Кощей бессмертный» и «Светославич»).

Так книжный язык и вообще язык дворянско-буржуазного общества в концепции Даля поступает под контроль простонародных диалектов. Высшие классы «знают русские слова, но не русский язык: они говорят русскими словами по-французски, по-немецки, [5] стараясь для ясности в изложении приблизиться сколько можно к языкам западным». По мнению Даля, в русском литературном языке дворянской традиции не осталось почти ничего национального. «В вымышленном языке Афенов наших гораздо более русского, чем во многих русских книгах». [6]

---

[1] «Полтора слова о русском языке», 545—546.
[2] Ib., 541.
[3] Но ср. в «Толковом словаре» не только такие слова, как: *длань, глад, младой* и т. п., но и такие, как *средовек, спона, стогн, угобжать* и т. п.
[4] «Недовесок» к статье «Полтора слова о русском языке», 566.
[5] «Полтора слова», 549.
[6] «Недовесок», 572.

Лексика, фразеология, общий «склад или слог» русского литературного языка — иностранные, «европейские». «Мы не гоним общей анафемой все иностранные слова из русского языка. Но к чему вставлять в каждую строчку *моральный, оригинальный, натура, артист, грот, пресс, гирлянда, пьедестал* и сотни других подобных, когда без малейшей натяжки можно сказать то же самое по-русски? Разве: *нравственный, подлинный, природа, художник, пещера, гнет, плетеница, подножье* или *стояло,* хуже?» [1] Тяга к иностранным словам объясняется склонностью к готовым формам мысли и выражения. «Подражать легче, чем творить». Отсюда проистекает подражательность и в формах словообразования. «Существительными отвлеченными мы сорим ни в лад, ни в меру, ставим их всюду, где им быть приходится по французскому или немецкому обороту, а где русский обойдется без них и выразится лучше и короче». [2] «Все мы усердно стараемся растянуть русскую речь еще шире и длиннее, от незнания языка своего, от ломки его по несродным ему образцам». [3] Причина этой варваризации литературной лексики — копирование формы и содержания западноевропейских языков. Результат — тот, что русский литературный язык «испошлен до нельзя», он «усвоил себе все плоскости и общие места болтовни иноземной, но ни силы, ни красоты, ни других достоинств чужих языков не перенял». [4] Эта стилистическая скудость и условная безжизненность литературной речи порождена однообразными принципами построения «высокого» книжного слога, приемами классовой оценки «литературности» выражений. [5] «Мы умышленно избегаем народного слова как не принятого в высокородное общество», не считаясь с смысловыми несообразностями, которые бывают связаны с употреблением «вычурных, напыщенных» книжных слов (например, «путеводитель в пустыне» вместо «степной вожак»). Этот строгий, аристократический отбор выражений в письменном языке ведет к бедности литературного словаря. «Мы... привыкли к какому-нибудь одному существительному от каждого корня, и на нем всегда и выезжаем, — и чем длиннее оно, тем лучше — а другие в благородную речь не допускаются, напр., *могущество*

---

[1] «Полтора слова», 551.
[2] Ib., 553.
[3] «Недовесок», 582.
[4] Ib., 578.
[5] Ср.: «Отчего у нас, почти без изъятия, не ученые, не словесники говорят гораздо лучше, чем пишут? и это следствие того же: с письмом или письменностью у нас связано понятие о каком-то высшем слоге, а высший слог этот отличается от разговорного тем, что он пересыпан иностранными, изломанными словами взамен русских, и что понятия выражаются не русским складом» (549). Ср. также рассуждение об «иностранных словах» в статье: «О русском словаре» («Толковый словарь», стр. XVII—XVIII, XI—XII).

пишется не только там, где слову этому быть следует, но и там, где бы должно говорить: *мочь, могута, мощь* и проч., и скорее решимся сказать *могущественность и мощность,* чем допустить в благородную речь одно из помянутых, более коротких и ясных слов».[1]

То же убогое, рабское подражание западноевропейским языкам, та же боязнь простонародности, по мнению В. И. Даля, наблюдаются в литературной фразеологии и синтаксисе. «Русские обороты вроде следующих...: *«мы обойдем мимо стоящий направо от него дворец»; «с каждым днем слышно о новом бедствии»; — «не делайте шума»; — «виною всего наша ограниченность, после чего идеал становится недостижимым»; «но за то ощущения, поселяемые этой картиной, сильнее, нежели от прочих»* — такие русские обороты у нас нипочем, и право, у нас нет писателя, который не напечатал бы что-нибудь подобное... Сам Пушкин говорит в прозе иногда так: *«обе они должны были выдти в сад, через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать»; «он помнил расстояние, существовавшее между ним и бедной крестьянкой»; «право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир»*. Все это не по-русски, так точно как и *«имеет репутацию»,* вместо: *слывет, славится;* но горе наше, что и *расстояние существующее* и *репутация* и *не делайте шума,* и все это подходит к переводу от слова до слова с того языка, на котором нам по обработанности его иногда легче думать, чем на русском». [2]

Вследствие грамматического, лексического, фразеологического и семантического приноровления русской книжной речи к европейским языкам весь строй, «склад или слог» русского литературного языка «варварски искажен». Тут преобладает не-русское, пошлое, вялое, «длинное, околичное и темное» (573).

---

[1] «Полтора слова», 553. Ср. в другом месте: «Слова наши и так уже многосложны и длинноваты, а их, как на смех, еще растягивают, особенно в последнее время. Пишут без всякой нужды: *красивость* вместо *красота, усовершенствование, руководствуемый, действование, чувствования, семейственный* вместо *усовершение, руководимый, действие, чувства, семейный.* Если же принять и то и другое слово, то надобно их различать и не употреблять без разбору то и другое» (550—551). Даль восстает против употребления «семипяденных слов с толкотнею четырех согласных сподряд», таких например, как: *предохранительная* оспа (вм. «народного» *охранная* оспа), *драгоценные* каменья (вм. *дорогие*), *по воспрепятствовавшим обстоятельствам* (вм. *сталась помеха*), *собственность* (вм. *собь*) *собственный,* (вм. *свой*) и т. п. («Толковый словарь», XVII).

[2] Ср. другие примеры: «Мы пишем: *пора цветения, светящийся червячек,* т. е. светляк» (571). «Все мы говорим или по крайней мере пишем: *он имеет много времени, каждый из верхних передних зубов этого животного имеет желобок,* тогда как эта неуместная вставка вспомогательного глагола противна языку нашему и не ведет ни к чему... *Работа эта не превосходила сил его и притом согласовалась более или менее с наклонностями его;* это значит — работа посильная, и не постылая, не докучливая, не противная. *Жизнь наша коротка, а бедствий встречаем много,* по-русски: веку мало, горя много и прочее» («Недовесок», 573).

«В не-русском обороте речи у слова нашего не только отымаются руки и ноги, а отымается язык: он коснеет и немеет». Интересна мысль Даля о том, что наречие и глагол являются основными характеристическими формами национального русского стиля. «Богатством и разнообразием видов глаголов наших мы пользоваться не умеем; от глагола *красть*, напр., образуются: украсть, покрасть, раскрасть, выкрасть, обокрасть, перекрасть (три значения), накрасть и проч., этого в других языках нет; а между тем оно много способствует к краткости речи и дает ей более определительности» (553).[1] «Наречия и подходящие к ним выражения, которыми язык наш так богат, и которые так удобно заменяют околичные пояснения, редко приходят нам во время на память, потому что их в других языках мало. *Утороиь, вприпор, вназерку, пить бычком, пить вприглядку, сидеть на слуху, походя, взахлест, зубцом* (вместо чего часто читаем *зигзагом*), *в уровень, вразрез, наполы, взакрой, в обрез, ничком, навзничь* и прочее» (554). Между тем в литературном языке разрушено это грамматическое своеобразие русского национального стиля. «Дух языка требует, для ясности, точности, краткости и силы, глагола или наречия; а мы, привыкнув видеть на этом месте в других языках существительное, ставим существительное, ломаем остальное по силам своим и разуму, не заботясь о том, что из этого выйдет» («Недовесок», 577).

Итак, русский литературный язык лишился своих национальных основ, потерял связь со «стихийными началами своими». «Более половины русских слов забыты, изгнаны, заменены и заменяются еще каждодневно иностранными; а обороты, русский склад переиначены по таким языкам, которые в сущности своей слишком удалены от нашего» (546). «*Накрыть, исплошить* неприятеля, спать *будко,* дремать *чутко,* рублем *прост* буду (ставлю рубль заклада), овражки *заиграли* (снег тает, вода пошла оврагами) — и сотни других подобных выражений и оборотов могут казаться дикими, грубыми, одним словом, неуместными в письменности только для нашего отчужденного от родины уха, только тому, кому доступен лишь насыпной, искусственный верхний слой родной почвы, между тем как недра ее поневоле остались для него на-век недоступны» («Недовесок», 571). Необходимо приблизить литературную речь к «недрам» родного национального слова. Даль утверждает, что «нельзя указать ни на одну статью, не только ни на одну книгу, как на образец родного языка, потому что родного еще никто себе не усвоил» («Недовесок», 573). Русского национально-литературного языка («самостоятельного, могучего и вполне обра-

[1] Ср. рассуждение о глаголе в статьях, предпосланных «Толковому словарю», стр. VII, XX—XXI.

ботанного»). — «еще нет на свете». Он лишь задан как идеальная цель, идеальная норма литературного творчества. «Даже и создать от себя его не может никто, потому что язык есть вековой труд целого поколения» (565). «Простонародный язык» — основной источник, сокровищница форм национальных выражений.

Однако «перенимать простонародного языка, заменять им безусловно нынешний письменный язык нам не должно» (567). Задав вопрос: «Да разве можно писать мужицкою речью Далева словаря, от которой издали несет дегтем и сивухой, или по крайности квасом, кислой овчиной и банными вениками?» — Даль сам отвечает: «Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя, это доказали все, решавшиеся на такую попытку, и в том числе, может быть, и сам составитель словаря» («Толковый словарь», II). «Речь идет только о необходимости воспользоваться или приобрести его, приобщить, *очистив и обработав,* к нынешнему языку, с тем чтобы не переиначивать слога и склада его (фразеологии и стилистики) по иноземному» («Недовесок», 548). Следовательно, Даль предлагает руководствоваться в реформе литературной речи идеальным представлением о духе русского слова и о «духе русской нации». А для этого «необходимо полное и совершенное знание русского ума и русского сердца, знание русского — не одного простонародного — быта, духовного и телесного... Надобно мыслить, думать по-русски, тогда и обороты и склад языка будет русский» (545). «Изучать надо нам народный язык, спознаться через него с духом родного слова, и принимать или перенимать с толком, с чувством, с расстановкой. Освоившись с упрямым и самобытным духом родного слова, мы облагородим, обусловим и перенесем на родную, но более точную и возделанную, почву все то, что стоит пересадки» (567—568).

Итак, литературно-книжный язык не отвергается целиком, а простонародный язык не санкционируется безоговорочно. Они должны слиться в целостную систему национально-демократического языка русской буржуазии, воплощающую «стихийные начала» русского духа и опирающуюся на мещанскую и «мужицкую» речь.

На основе постижения «русским ухом и русским чувством» индивидуальных своеобразий национального выражения должен произойти коренной перелом в характере отношений русской литературной речи к европейским языкам. Русский литературный язык освободится от оков «европейской» речи. Изучив простонародный язык, в котором национальная самобытность сохранилась во всей чистоте, «граждане» должны искать родных, национальных соответствий понятиям европейских языков, «добиваться того, чтобы высказать ясно, отчетисто и звучно все то, что другие могут вымолвить на своем языке; но выска-

зать так, как оно должно отозваться в русском уме и сердце, сорваться с русского языка» (579). Проблема *перевода* становится проблемой *национально-языкового творчества* в поисках «коренных», народных воплощений общечеловеческой мысли. «Выработка языка для точного выражения всех оттенков людских мыслей и чувств, будь они подлинные или переводные» — вот цель, стоящая перед «каждым гражданином» (578, 581). «Вы найдете почти для каждого иностранного слова несколько русских, хотя очень часто ни одно из них не будет вполне соответствовать всем значениям первого; в этом случае их надо будет употреблять с разборчивостью, где одно, где другое; но вместо этого просто их не употребляют, вовсе не приняли, не обусловили их значения, не привыкли видеть в печати» (554). Даль предписывает в сфере языка «не ходить за иностранцем гуськом — ступня в ступню, а проторить свой путь» (578), создать национальный «стиль» языка, в котором были бы свои, «природные» эквиваленты (и притом более выразительные и богатые оттенками мысли) европейских понятий. «Немец говорит: *это не хорошо выглядит;* француз: *это удивляющее дело;* англичанин: *каждый человек ничего не знает — это хорошо для него;* русский скажет: *это ни на что не похоже, это больно неказисто, очень невзрачно; удивительное, дивное дело; никто ничего не смыслит, ни один человек аза в глаза не знает; это никуда, ни к чему не годится, никуда не годно, не гоже...* Наберите самых хитрых и замысловатых оборотов, по каким угодно прямым и переносным, насущным и отвлеченным понятиям, и вы, конечно, найдете то же» («Недовесок», 579). При глубоком проникновении в дух «народного» языка открывается богатство выразительных и ясных слов, которых доселе чуждался «образованный», «высокородный» книжный язык, и которые могут вполне заменить иноплеменные заимствования, варваризмы. «Не очень давно предложили, за редкость, русское слово вместо французского *пандан,* а именно: *ровня;* другие поправились — извините меня — из кулька в рогожку, заметив, что ровня не то, а можно-де сказать вместо того: *соответствие, соответственность.* Кто из русских не вздохнет о таких пересудах? А между тем есть два слова, из коих одно выражает французское pendant, а другое немецкое Gegenstück: *дружка и противень;* есть еще выражение: *под стать, масть, пару»* (553). Итак, иноплеменные слова, обороты, кальки — словом, весь багаж заимствованных форм мысли и выражения — отправляется Далем в историю, в прошлое. «Превосходные, незаменяемые выражения» простонародного языка должны заместить варваризмы и очистить литературный язык от «порчи»: «*заимка, хутор* лучше, нежели употребительное у нас *ферма; марево* лучше *миража;* а *путевик* лучше *маршрута; поличие, подобень,* по крайней мере, нисколько не хуже *портрета;* даже *окрутник* и *окрутница* можно употребить вместо

маски тем более, что маскою называем мы и самую *личину* и переряженного» (569).[1] Отрицая «смешанные» русско-европейские формы литературной речи, Даль подчеркивает глубокие структурные различия между аналитическим строем западноевропейских языков и синтетической системой словообразования в русском языке. «Русский изворачивается одним словом, давая ему чрез окончание и предлоги различное значение, там, где француз и немец складывают новое понятие из двух или трех слов, соединяя два или более понятия в одно» (например, нем. Schlafmütze, Fingerhut, Handschuh; франц. bâteau à vapeur, fer à repasser; ср. русск. перчатка, наперсток, игольник и т. п.). «Народ русский говорит: *слизняк,* а не *слизоэкивотное, нутряк, нутровой* — а не *вутренностный* или *внутренностное экивотное*» (583—584).

Эта идеализация «простонародности» не только крестьянского, но и солдатского, мещанского типов, сопряженная с националистической нетерпимостью к формам западноевропейских языков и с отрицанием традиций русской церковно-книжной и литературно-дворянской культуры речи, резкой чертой отделяет буржуазно-демократическую позицию Даля от аристократического демократизма Пушкина. Пушкин не мог пойти ни на разрыв с литературно-книжной традицией послепетровской эпохи, ни на «мещанский» бунт против церковнославянского слога, и еще меньше на огульное отрицание форм европейского мышления — даже в сфере «метафизического» языка. Недаром Даля упрекали сторонники дворянско-буржуазной культуры в националистическом ретроградстве. Но Даль возражал, что «он только старается твердо помнить зады, и, шагая вперед, постоянно на них опирается. Скачками на удачу, вправо и влево, можно нахватать много постороннего, да торной дороги не проложишь, а с коренного пути того и гляди собьешься» («Недовесок», 579).

Эта рознь между мещанским, мелкобуржуазным демократизмом Даля и дворянским демократизмом Пушкина в сфере языка обнаружится глубже, если раскрыть рекомендуемые (отчасти даже осуществленные) Далем методы стилистической обработки простонародного языка и приемы синтеза «простонародности» с книжной речью. Даль категорически возражает против механической замены литературной речи простонародным языком. Весь пафос реформы Даля направлен на творческое пересоздание литературного языка при посредстве «стихий» народной речи. Участником этого национального дела должен быть «каждый гражданин». Структура идеальной системы национально-литературного языка, по Далю, определяется сложными формами взаимодействия между «книжной», дворянско-буржуазной

[1] «Толковый словарь», стр. XI, XVII—XVIII.

и простонародной речью. Выдвигаются такие шесть основных принципов.

1) *Принцип национально-демократического оправдания элементов литературного языка.* «Надобно подобрать и обусловить русские слова, надобно привыкнуть к русскому складу» (545). Критерии националистической проверки и критики составных форм литературного языка отыскиваются в недрах простонародного слова. Так, Даль отвергает, исходя из норм «народного языка», сложные, составные слова. «Склейки кой-как при каждом удобном случае по два слова вместе... язык наш не терпит, а образует всякое новое слово из одного только главного понятия» (548). Даль протестует против «наваривания иностранным словам долгих русских хвостов», т. е. против смешанных русско-европейских форм словообразования (например, против глагольных суффиксов *-овать* и *-ировать*, суффиксов существительных *-изм* и *-ичность* и т. п.). Даль ограничивает церковно-книжные категории словообразования, иронизируя над упорным желанием «ломать все отвлеченные существительные в окончание на *-ость* и *-вость*, окончание, которое в народном языке довольно редко, употребляется только кстати и чаще заменяется короткими и более выразительными словами» (548). Вообще, по Далю, необходимо обращаться непосредственно «к простонародному» языку за ответами по вопросам «русского ударения слов», по вопросам «постройки речи», «расстановки слов», выбора их, «слога, склада или способа выражения». Однако следует помнить, что сам простонародный язык принимался Далем не во всей полноте его «природных» элементов и экспрессивных форм, но с отбором и «чисткой», хотя иногда в увлечении Даль заявлял: «Народные слова *прямо* могут переноситься в письменный язык, *никогда* не оскорбляя его грубою противу самого себя ошибкою, а напротив *всегда* направляя его в природную свою колею, из которой он у нас соскочил, как паровоз с рельсов; они оскорбят разве только изрусевшее ухо чопорного слушателя».[1]

2) *Принцип морфологической и семантической реорганизации литературного языка при посредстве простонародной стихии.* «Если вы найдете в народе не много выражений для отвлеченных понятий, то не забудьте, что большая часть прямых и насущных выражений может быть применена к употреблению в переносном смысле, и что изучение это даст вам, во всяком случае, понятие о том, куда и к чему нам стремиться, чего искать, каким образом составлять и переиначивать слова, чтобы они выходили русскими... Оно сроднит нас с духом языка, даст вникнуть в причудливые, прихотливые свойства его, и даст средства образовать мало по малу язык, сообразный с современными

[1] «Словарь», I, стр. XVI. Но ср.: «Словарь великорусский должен содержать полное собрание слов *очищенного* обиходного русского языка, с устранением всего прочего» (стр. LI).

потребностями» (547). «Преобразователю» следует начать с низшей ступени, «изучить язык народный, грубый, дикий... необработанный, каков он ни есть, и воспользовавшись уже всем наличным запасом и, главное, изучив дух, свойства и потребности языка, строить на этом основании далее» (555). И в этом вопросе Даль проявлял такой «радикализм», которого пугались даже его «сочувственники» из буржуазного лагеря (например М. П. Погодин). «Воротись назад, да начинай учиться сызнова», взывал Даль к писателю. Изгоняя из литературной речи «громоздкие, выкованные склепкой и сваркой составные слова», Даль декретирует их замену новообразованиями с суффиксами: *-ах, -ях, -ух, -юх, -ых, -их, -ан, -ин, -он, -ун, -атка, -итка, -ец, -ица* и др. (583), или с «придаточными предлогами». «По этому самому и надобно образовать слова из одного только главного понятия о предмете посредством этих окончаний и, если угодно, предлогов; тут столько средств, столько богатства, столько разных оттенков...». «От *молока,* например, народ составил: *молочник, молочница, молочная* (комната), *молокан, молочай, молоки* — и можно бы без всякой натяжки образовать: *молочняк, молочатка, молочан, молочец* и пр.» (583—584). Даль широко рекомендует метод лексико-морфологических новообразований для заполнения недостающих форм «словарного гнезда» (583—584). Исходя из системы словообразования, присущей простонародному языку, Даль производит все возможные формы от той или иной основы, все теоретически допустимые сочетания ее с приставками и суффиксами.

3) *Принцип демократической унификации литературного языка, принцип разрушения традиционных стилистических категорий.* Простонародная стихия должна стереть границы и преграды между прежними стилями и жанрами литературного языка. Известен предложенный Далем Жуковскому перевод отрывка с современной им обоим литературной речи на тот язык, который представлялся Далю подлинно-национальным русским языком:

	По Далю:
Казак оседлал лошадь, как можно поспешнее, взял товарища своего, у которого не было верховой лошади, к себе на круп, и следовал за неприятелем, имея его всегда в виду, чтобы при благоприятных обстоятельствах на него напасть.	Казак седлал уторопь, посадил бесконного товарища на забедры и следил неприятеля в назерку, чтобы при спопутности на него ударить.

«Сравните и решите, что лучше и как бы должно писать и говорить» (560). По изображению Даля, безупречная «литературность» обычно определяется и оценивается негативно, по отсутствию «безбожной ломки русского слова». «У нас есть несколько писателей, которые ведут речь свою искусно, сгла-

живают и скрадывают удачно все недостатки литературного языка» (572). Все тирады Даля против литературности, против «высокого», «напыщенного» слога вытекают из убеждения, что «сущность языка — внутреннее достояние и достоинство его — это свойство языка для сочетания слов, для образования речи, слог и склад» (572), и что этот «слог и склад», «запас своей здоровой пищи» надо искать не в «этой окрошке, в нынешнем грамотном языке нашем», а в языке простонародном. «Для меня», пишет Даль, «сделалось задачей выводить на справку и поверку: как говорит книжник и как выскажет в беседе ту же доступную ему мысль человек умный, но простой, неученый — и нечего говорить о том, что перевес по всем... мерилам всегда оставался на стороне последнего. Не будучи в силах уклониться ни на волос от духа языка, он поневоле выражается ясно, прямо, коротко и изящно».[1]

4) *Принцип литературно-творческого заполнения смысловых пустот простонародного языка, принцип семантического обогащения простонародной речи литературными новообразованиями.* «В народном языке недостает многих для нас необходимых слов, потому что там нет и многих понятий» (548). Правда, прием метафоризации простонародных слов, углубление их смысловых пределов переносными значениями может увеличить область понятий литературного языка. Но этого недостаточно «для точного выражения всех оттенков людских чувств и мыслей». Необходимо свободное национально-литературное творчество новых форм языка. Надо «удержать речь свою на природном ее пути, дать ей простор и раздолье в своем коренном русле». Другие языки могут оказать только одну помощь — толкнуть на поиски и на творчество русских национальных выражений для передачи всех оттенков мысли, выработанных европейской культурой. «Пиши так, как написал бы на твоем месте даровитый иностранец, если бы он был русский» («Недовесок», 578). Отсюда возникает необходимость «развить наперед законы... словопроизводства, разумно обняв дух языка», понять «жизненную, живую силу нашего языка», а потом создавать новые слова. Одним из средств такого речетворчества является умножение «отростков» или «одногнездков» в составе словесного гнезда. Другим средством обогащения языковой семантики служит свободный перевод европейских слов равносильными, «прилаженными и примененными» русскими словами.

Этот принцип замещения варваризмов «высокородного» языка русскими национальными соответствиями разной стилистической окраски сводится к тому, чтобы подыскать для передачи западноевропейского выражения «чисто-русские», преимущественно простонародные слова и идиомы, «клички», не смущаясь их экспрес-

[1] «Словарь», I, стр. III.

сивной и стилистической разнородностью с «чужим речением», и, «приняв, обусловить выражение, и оно будет именно то» («Напутное слово», XI). Вот иллюстрации этого метода замены или подмены варваризмов русскими лексемами: «акушер — родовспомогатель, родовспомогательный врач, родопомощник, повивальщик, бабич, приемник» («Толковый словарь», I, 8); «консерватор — боронитель, сохранитель, охранитель, охранник» (II, 762); «эгоист — себялюб, самотник, себятник...» (IV, 606) и мн. др. под.

«Язык наш для потребностей образованного круга еще не сложился: неоткуда взять тех салонных — ныне уже не говорят — *гостиных* выражений, которых от нас требуют...». Но Даль полагает, что и русский «топорный» язык «будет хорош», если литературно «изобиходить и обусловить его». Точно так же, «если недостает отвлеченных и научных выражений, то это не вина народного языка, а вина делателей его...». Необходимо «образовать такие выражения, по мере надобности, из насущных». «Потрудитесь, поневольтесь, прибирайте, переносите значение слов из прямого понятия в отвлеченное, и вы на бедность запасов не пожалуетесь» («Толковый словарь», XVII). «Толковый словарь» Даля ярко отражает эти тенденции буржуазно-демократического словотворчества. Это — словарь, устанавливающий нормы национального выражения в понимании «преобразователя» — вопреки утверждению Даля, что «словарник — не узаконитель, а раб языка» («Искажение русского языка», X, 543).

5) *Принцип чистки, «облагорожения» простонародного языка и принцип отбора простонародных элементов.* Прежде всего отвергаются областные нормы крестьянского произношения. «Наш крестьянин говорит чистым хорошим языком, в котором остается только заменить грубое произношение или говор тем, какое употребительно в образованном круге, какое, так сказать, согласно с понятием нашего уха о благозвучном и приятном произношении» (548). Итак, «говор черни перенимать никогда почти не станем» (568). Но и в сфере лексики «чуткое ухо» должно предохранить преобразователя от «порчи» литературного языка «местными, областными выражениями», от «всякой разладицы» с «духом звучного родного языка», например от употребления выражения *играть* песню вместо петь (тульск.), слова *конфетчик* — вместо *лавочник* (оренбургск.), *бажоный* — вместо милый (новгородск.), *блицы* — вместо грибы и тому подобных диалектизмов, «которые могли бы испортить язык наш».

Но те же «русское ухо и русское чувство» должны открыть преобразователю в «недрах» простонародного языка «множество превосходных, незаменяемых выражений, которые должны быть приняты в книжный язык наш» (например: *тенетник* в значении паутина, летающая осенью по лесам и полям; *опока* — пушистый иней на деревьях; *перевесло* — ручка или дужка на

ведре или корзине; *побудка* — вместо инстинкт и т. п.). «Чем писать или говорить: *я попал из ружья слишком высоко или слишком низко* — нам позволят, надеюсь, сказать просто: *я обвысил, обнизил;* а каким словом вы замените, напр., простонародное слово: *осунуться?*» («осунуться — в прямом и переносном смысле значит: ступив неосторожно на сыпучую почву по окраине яра, обрушиться на него, вместе с осыпавшеюся землею») (570).

Но, отстаивая литературные достоинства «простонародных», «чистых» крестьянских слов, Даль восстает против «речений, умничаньем искаженных, и столь удачно прозванных *галантерейными,* выражений полукупчиков, сидельцев, разночинцев и лакеев, как например *патрет, киятер, полухмахтер* и проч.» («О русском языке» — «Толковый словарь», XVI).

Таким образом в этом процессе чистки и литературной квалификации простонародных элементов отвергается все, что представляется узко местным, областным или испорченным, а потому не может претендовать на национальную всеобщность. Кроме критерия «порчи», при отборе выражений имел основное значение критерий «образности» слова, его экспрессивной выразительности. Возможность непосредственного усмотрения «внутренних форм» простонародного слова, легкость бытовой «этимологизации» решала литературную судьбу того или иного выражения.

6) *Принцип грамматического и семантического приспособления простонародных элементов к идеологии и стилистике литературного языка.* Простонародный язык наделит литературную речь множеством слов и выражений это — «уже хороший запас для богатства и роскоши языка». Но «богатство» слов еще не составляет богатства языка: «гибкость, плавность, выразительность, вразумительность, разнообразие; наконец, удобное согласование живого слова с понятиями умственного языка — вот что необходимо» (548). Возникают сложные формы грамматических, семантических и стилистических «скрещений» между книжным и простонародным языком. Ведь апперцепирующим фоном все же и для Даля оставался литературный язык. Характерны, например, по своему книжному образованию слова; *мертвизна:* — слово, предлагаемое Далем вместо лексемы *мертвенность* («Толковый словарь», VII), [1] *самотность, самотство, самовщина* — вм. эгоизм (XVII); *солнопутье* — вм. эклиптика (XVIII) и т. п. Сама «образность» и выразительность диалектизмов определялась формами их смысловых связей с системой литературного языка, формами их понимания в свете литературной семантики. Так на основе скрещения «простонародного» языка с книжной традицией воздвигалась своеобразная националистическая система мелкобуржуазной литературной и научной речи.

---

[1] Ср.: «От этого насилия его обдало мертвизною» (III).

Все эти стилистические принципы у Даля органически сочетались с отрицанием языка буржуазно-дворянских групп столицы и с видимым пренебрежением к мещанской книжности полуинтеллигенции. «Людей менее основательного образования письменный язык наш сбивает вовсе с толка; они борются с трудностями языка и, наконец, пускаясь поневоле на скоропись, теряют из ума и из виду природную логику свою, здравый смысл; из человека, довольно умного на деле, на письме выходит, будьте здоровы, дурень» (550). «Мы встречаем в письменном обиходе много дурных слов, пущенных в ход взамену более звучных и выразительных...» («Недовесок», 574). Эти замечания Даля несколько похожи на суждения Пушкина о языке дурных обществ. Но сами литературные новообразования Даля — типа *самовщина, мертвизна, ловкосилие, глазоем, мироколица, колоземица, насылка* (вм. адрес) и т. п.—едва ли могли в большей своей части избежать обвинительного приговора Пушкина: они также были бы отнесены к «языку дурных обществ». Ведь на многих неологизмах Даля лежит отпечаток чуждой Пушкину и неприемлемой для него вульгарной литературности. И сама интерпретация функций простонародного языка в системе литературной речи, сама практика «простонародного» творчества у Даля имеет мало общего с Пушкинской «простонародностью» и «народностью». Характерно, что Жуковский, которому Даль представил образчики своего идеального литературно-народного языка, заметил, что так можно говорить только с казаками и притом о близких им предметах. Далю был чужд Пушкинский принцип дифференциации культурно-исторических и социально-бытовых контекстов речи. [1]

Даль стремится сломать стили дворянско-литературного и церковно-книжного языка, затопить их простонародной, хотя и «очищенной», речью. Пушкин пытается сделать прививку национально-бытового просторечия и простонародного языка к литературной речи и таким образом, национализировать ее, не разрывая связи с системой «европейского мышления».

[1] Характерны в этой связи упреки Я. К. Грота, обращенные к Далю: «Автор упускает из виду, что у каждой сферы языка есть свой характер, свой тон, который поддерживается не только целым составом речи, оборотами, но и отдельными словами. Поэтому переносить слова из одной сферы в другую не всегда удобно» («Филологические разыскания Я. Грота», 1876, I, 20).

IX

Стили национально-бытового просторечия, простонародные диалекты и язык Пушкина

1

§ 1. Устная национально-бытовая стихия — «кипящая, но мутная» — с 20-х годов все сильнее и сильнее привлекает Пушкина. Он видит в ней источник обновления литературной речи. Вовлечение форм просторечия и простонародного языка в литературу было связано с процессом социально-стилистической переоценки и дифференциации элементов бытовой речи.

В лексикографической традиции начала XIX века социальные нормы устных стилей и диалектов русского языка определялись не столько посредством точного приурочения того или иного типа речи к его обладателю, классу, сословию, социальной группе, сколько посредством общего противопоставления церковнославянских, книжных, собственно литературных и — далее — салонных, светских форм выражения просторечию и простонародному языку. В стилях литературы просторечию и простонародному языку были указаны узкие жанровые пределы. Поэтому словари не интересовались вовсе социологическим анализом сословных, классовых типов разговорно-бытовой речи (профессиональные слова обычно отмечались). Словари стремились только к строгой охране литературы от вторжения «подлого», «низкого» языка, и все социальное многообразие бытовых стилей и диалектов втискивали в общие категории просторечия и «простонародного» языка.[1] В «Словаре Акад. Росс.» (1822, V) просторечие определяется так: «Употребление слов *простым народом*. Слова в просторечии употребляемые суть средние между высокими и низкими» (V, 640). Под *простым* народом здесь разумеются «непросвещенные науками, неученые люди» (V, 645). Таким образом просторечие — не столько сословно-классовая, сколько стилистическая категория. Поэтому в «Общем церковно-славяно-российском словаре» П. Соколова

---

[1] Ср. богатый иллюстративный материал из словарей XVIII века у М. И. Сухомлинова в «Истории Российской Академии», VIII.

(1834) определение просторечия — из-за возможной двусмысленности выражения «*простой народ*» — изменяется: просторечие — это «употребление слов в *простых разговорах*».

Совсем иной, чисто классовый, смысл вкладывался в понятие простонародного языка. О слове «простонародный» «Словарь Акад. Росс.» (1822, V) пишет: «Принадлежащий, свойственный, приличный черни, низкому, простому народу» (V, 939). Это определение сохраняется в «Общем церковно-славяно-российском словаре» П. Соколова. Но и под этим углом зрения понятие «простого народа» в аспекте литературного языка было изменчивое, колеблющееся. А. Ф. Воейков, ставя поэме Пушкина «Руслан и Людмила» в вину «низость и грубость выражений», «площадные шутки», прибавлял: «...и между простым народом есть своя благопристойность, свое чувство изящного. Говоря о простом народе, я не разумею толпы пьяниц, буянов, праздношатающихся ленивцев, но почтенный, работающий и промышленный разряд граждан общества» («Сын отеч.» 1820, LXIV, № 36). Вместе с тем иногда слово «простонародный» — в применении к языку — сливалось с социологически недифференцированным понятием национально-разговорного, национально-бытового, например довольно часто у Шишкова, у Е. Станевича (ср. в «Рассуждении о русском языке», 1808, I: «Язык наш остался все тем же языком славенским. Правда, перемена в наречии показалась нам столь ощутительною, что мы вздумали разделить свой язык на два языка, из которых один назвали славенским, оставшимся в священных книгах, а другой — российским, или простонародным, ныне всеми употребляемым»). Поэтому понятия «просторечного» и «простонародного» иногда сливались, особенно в тех случаях, когда внелитературные формы речи противопоставлялись литературному языку. И все-таки различия в социальных основах и стилистической структуре просторечия и простонародного языка легко увидеть и определить.

Для ясного понимания этих различий можно воспользоваться примерами из «Словаря Акад. Росс.» (Спб. 1805—1822). Простонародными тут признаются такие слова и выражения, как, например: *порожнянка* (лошадь порожняя, без поклажи, V, 6); *портняга* (неискусный портной, V, 12); *портретчик* (кто пишет портреты); *посвойски; посиделки; посыкаться* (иметь к чему намерение: посыкаться к драке);[1] *посюда* (V, 40); *посяжка* (в значении посягательство, V, 71); *потайком* (V, 71); *потамест* (V, 73); *потерять человека* (в значении убить, V, 77); *потоле* и *потоль* (V, 79); *потуда* (V, 87); *потускнелый* (потускнелая медь, V, 88); *потылица* (подзатыльник, 90); *потычка* (частая и безвременная

[1] Ср. у Гоголя в речи слесарши из «Ревизора»: «Следовало взять сына портного да родители богатый подарок дали, так он (городничий) и *присыкнулся* к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала к супруге полотна три штуки, так он ко мне».

посылка: он привык к потычкам, 90); *потешливый* (склонный к забавам, 91); *правша* (правая рука, 133); *прибаутка* (251); *приблаживать* (пришаливать, делать непорядочные движения, поступки и проч., здравому разуму и благопристойности противные, 255); *приботать* (прибить, приколотить, V, 257); *прибочениться* (258); *калека* (III, 23); *калечить, калечный* (III, 23); *канючить* (III, 55); *кашлюк* (кто подвержен кашлю, 96); *кляузник, кляузничать; книгочет* (охотник до чтения, 191); *козачить* (батрачить, 213); *козачка* (рукоятка у сохи, 214); *кознодей* (кто строит кому козни, 317); *кока* (яйцо, 221); *кокошить* (бить, 223); *коли* (233); *колодец* (вместо колодезь, 230); *колотырный* (258); *конопатый* (278); *копоткий* (295); *коротышка* (короткое платье, 325); *корпеть* (326); *кортышки* (т. е. корточки: нести кого на кортышках, 327); *краснобай* (379); *крючкотвор, крючкотворец* (466); *брезгун* (I, 311), *брюхатая* (беременная), *брюхатеть* (I, 324); *буянить* (I, 349); *бывальщина* (I, 350); *валандаться* (I, 375); *дворяниться* (принимать на себя вид дворянина, барина, II, 38); *дуралей* (II, 278); *огурливый* (ослушный, упрямый, IV, 208); *остарок* (пожилой, приближающийся к старости человек, IV, 433); *сволочь* (в этом доме всякая живет сволочь, VI, 74); *сволакивать* (VI, 74); *сгустелый* (VI, 105); *тороторить* (750); *трескать* (774) и мн. др. под. [1]

К просторечию отнесены такие слова и выражения, как, например: *пороть* (в значении больно наказывать; пороть лозами, V, 8); *последки* (прожить последки имения, отдать кому последки денег, V, 36); *поставить на своем* (V, 48); *постоять за себя* (V, 49); *послаться* (в значении сослаться: на самих вас можно послаться, что это несправедливо, V, 65); *посыпать деньгами* (неумеренно тратить, V, 66); *потираться* (в значении ласкаться к кому — пресмыкаться: ласкатели потираются около богатых, V, 77); *потчивать* (перен., его потчивали хорошим местом, но он предпочитает всему спокойствие, 89); *потягивать* (попивать: потягивать пивцо, винцо, 92); *почта* (в значении почтовый двор, где письма и посылки отправляются и получаются: отнести письмо, посылку на почту, 112); *преестественный* (для означения высшей степени добродетелей или пороков, 206); *предел* (в значении участь, жребий, судьбина счастливая или злополучная, 204); *набить карман* (нажиться, обогатиться, III, 76); *клоктать* (о больных, которые охают, III, 172); *из кожи лезть* (III, 210); *копаться* (непроворно что-нибудь делать, III, 289); *втереть кому краску* или *ввести в краску* (пристыдить, III, 378); *браниться* (вместо бранить, ср. *выбраниться*, I, 303); *бубенить* (в значении разглашать, рассказывать, I, 326); *да* (в значении но, же: я бы

---

[1] Ср. включение И. И. Лажечниковым в число простонародных провинциализмов таких слов, как: *рохля, дотошный, дока, трущоба, зря, огорошить* и т. п. (Н. Трубицын, «Из начальных глав истории русской диалектологии» — «Русск. филол. вестник», LXIX, 149—152).

поехал, да не велят, II, 2); *добродетель* (в значении благодеяние: он не помнит моей добродетели, II, 100); *досужий* (досужий человек, II, 214); *завязить* (в перен. значении ввести в какое-нибудь дело: он завязил его в сей подряд вместо себя, II, 518; ср. тут же: завязить деньги, имение во что-нибудь); *загасать* (замешкаться, долго не возвращаться: пошел туда, да и загас там, II, 524); *засучить кулаки* (755); *звонить* (разглашать, 826); *одаль* и *поодаль* (IV, 210); *стрекнуть, дать стречка* (VI, 540); *торить* (торить дорогу, VI, 747) и др. под.

Уже из этих примеров видно, что картина социально-языковых делений в начале XIX века резко отличается от современных диалектических и стилистических группировок слов и просторечие понимается в словарях конца XVIII и первой четверти XIX веков как стилистическая категория разговорно-бытовой, фамильярной речи высших классов, не приспособленной к «светскому» этикету, далекой от риторических форм салонного и гражданского красноречия.

§ 2. Понятие «просторечия» для своего точного раскрытия нуждается в предварительном анализе содержания и пределов разговорной речи светского дворянского общества. Структура «просторечия» понималась в начале XIX века различно в зависимости от того, как и где проводились границы между книжным и разговорным языком. Для А. С. Шишкова «книжный язык так отличен от языка разговоров, что ежели мы представим себе человека, весь свой век обращавшегося в лучших обществах, но никогда не читавшего ни одной важной книги, то он высокого и глубокомысленного сочинения понимать не будет» (II, 434). «Вопреки сему часто бывает, что человек, пресильный в книжном языке, едва в беседах разговаривать умеет» (Ib., 435). Впрочем, Шишков не отрицает взаимодействия между книжным и разговорным языком. Однако это взаимодействие, по его мнению, происходит как смешение стилей в недрах самого книжного языка. Ведь с простым, низким стилем литературы пересекается область диалектов устно-бытового языка. Просторечие, простонародные слова вливаются (конечно с отбором) в простой слог литературы: «Важному и красноречивому слогу приличен такой же и выговор слов: если мы простонародное произношение вводить будем в книжной высокой и благородной язык, то, наконец, цари и герои в поэмах и трагедиях будут у нас говорить как простолюдины на улицах» (III, 31). Таким образом «высокий слог отличается от простого не только выбором слов, но даже ударением и произношением оных» (Ib., 40). Но стили книжного языка, будучи структурными единствами, не отделены друг от друга неизменными границами. Мыслимы переносы форм из одного строя в другой, допустимо смешение стилей. Между всеми тремя стилями литературного языка существует взаимодействие. Даже из низкого слога искусный писатель

может перемещать без эстетического ущерба слова в высокий слог. Необыкновенно изобретателен был в искусном смешении высокого словесного стиля с «просторечивым и простонародным российским» Ломоносов. «Надлежит долговременным искусом и трудом такое же приобресть знание и силу в языке, какие он имел, дабы уметь в высоком слоге помещать низкие мысли и слова, таковые, например, как: *рыкать, рыгать, тащить за волосы, подгнет, удалая голова* и тому подобные, не унижая ими слога и сохраняя всю важность оного» (II, 14–15, ср. 428—429). Впрочем, в статье о «сословах» Шишков предостерегает: «Важность слога, а особливо в нашей словесности, не терпит ничего простонародного. Надлежит много читать и быть весьма искусну в языке, дабы в возвышенном слоге уметь простые слова так употреблять, чтоб мысль и выражение не потеряли своей силы» (IV, 343). Точно так же, признавая стилистическую недифференцированность разговорного языка, отсутствие в нем нормирующего «разума», Шишков не закрывает глаз на социальные диалекты в кругу «общества», в сфере городской речи, на многообразие социально-групповых расслоений, которые нельзя отнести за счет «провинциализмов». По отношению к «диалектизмам», провинциальным словам, в литературной практике со второй половины XVIII века до 10—20-х годов XIX века существовало деление их на «неизвестные или неупотребительные в столицах» и «понятные», бытующие (хотя бы пассивно и на периферии) в городском просторечии и в городском простонародном языке. Но искание норм дворянского литературного языка — в связи с потребностью лексической кодификации — заставило несколько изменить принципы стилистической оценки «провинциализмов». И. Н. Болтин в своих «Примечаниях» на «Начертание российского словаря» писал: «Провинциальные слова, неизвестные или неупотребляемые в столицах, напрасно изгонять из словаря, ибо некоторые из них послужат к обогащению языка, каковы суть: *луда, тундра* и проч.». Это была крайняя позиция собирателя-любителя. Общее же мнение клонилось к необходимости оценочного, эстетического и культурно-бытового отбора «всех тех провинциальных слов, кои служат к обогащению нашего языка».[1] В «Словаре Акад. Росс.» этот отбор состоял в «изъятии» всех областных слов, «кроме тех, которые своею ясностью, силою и краткостью

[1] С Болтиным был согласен Фонвизин (ср. его письмо к О. П. Козодавлеву «О плане Российского словаря»). Но с такой формулировкой не мирился Карамзин, так как нормы стилистического отбора им и его школой определялись по-иному. В «Вестнике Европы» (1803, № 19) примечание Болтина Карамзин снабдил таким комментарием: «Сибирское слово *тундра* должно быть в русском лексиконе; ибо никаким другим мы не означили обширных, низких, безлесных равнин, заросших мохом, о которых может говорить поэт, географ, путешественник, описывая Сибирь и берега Ледовитого моря, но в *луде*, кажется, нет большой нужды».

могут служить к обогащению языка или означают тех стран произведения или наконец могут послужить к замене слов иностранных» (IX).[1]

Таким образом у филологов и литераторов конца XVIII—начала XIX века различия устно-бытового языка возбуждали интерес не с этнографической, а лишь с социально-стилистической и культурно-бытовой точек зрения. И Шишков прежде всего наталкивается на многообразие разговорной речи в «хороших обществах». Так, предметом постоянных его обличений является речь европеизованного дворянства, которая вовсе чуждалась книжного и ученого языка, «только далеко отстоящего от простого мыслей сообщения» (II, 7). Здесь царила пестрая смесь французского языка с тем «всенародным языком, который в общих разговорах употребителен» (II, 6—7). Это сочетание французского языка с «повседневными», «простонародными» выражениями в речи русского дворянского общества конца XVIII—начала XIX века прекрасно охарактеризовано И. С. Аксаковым:[2] «В конце XVIII и в самом начале XIX века русский литературный язык был... еще только достоянием «любителей словесности», да и действительно не был еще достаточно приспособлен и выработан для выражения всех потребностей перенятого у Европы общежития и знания... Многие русские государственные люди, превосходно излагавшие свои мнения по-французски, *писали* по-русски самым неуклюжим, варварским образом, точно съезжали с торной дороги на жесткие глыбы только что поднятой нивы. Но часто, одновременно с чистейшим французским жаргоном... из одних и тех же уст можно было услышать живую, почти простонародную, идиоматическую речь, более народную во всяком случае, чем наша настоящая книжная или разговорная. Разумеется, такая устная речь служила чаще для сношений с крепостною прислугою и с низшими слоями общества,— но, тем не менее, эта грубая противоположность, эта резкая бытовая черта, рядом с верностью бытовым православным преданиям, объясняет многое, и очень многое, в истории нашей литературы и нашего народного самосознания». Любопытна сюда же относящаяся бытовая сцена, рисуемая Ф. Ф. Вигелем: «Одним праздничным утром, окруженный всей свитой, посол (как все

---

[1] Ср. в «Опыте риторики» Ивана Рижского (изд. 3, Москва 1809): «Речения и выражения, употребляемые черныю, могут иметь место иногда в сочинениях низкого слога; однако, и в сем случае требуется крайняя разборчивость, дабы ими не унизить достоинства красноречивого произведения. Наконец, хотя между речениями областными бывают такие, которые выразительным своим значением заслуживают быть признаны общественными, например: *досчан, досветки;* однако отнюдь не прежде должно их принять за такие, как по согласии на то общества просвещенных граждан; оно одно решит жребий всякого речения и выражения, останется ли оно областным или общественным...» (17).

[2] Биография Ф. И. Тютчева. Москва 1886, 10.

знатные люди, которые думают славно говорить по-русски, когда употребляют простонародные выражения) иностранным наречием своим сказал: «пасматрите, Пал Митрич, у меня малатцов, что сакалов».[1]

Кн. Вяземский очень метко характеризует связь простонародности с французским языком у некоторых кругов дворянства на собственном примере: «При всем моем французском отпечатке, сохранил или приобрел я много и русского закала. Простонародные слова и выражения попадались мне под перо и нередко, кажется, довольно удачно. Впрочем, за простонародием никогда и не гонялся, никогда не искал я образовать школу из него. Этот русский ключ, который пробивался во мне из-под французской насыпи, может быть, родовой, наследственный. Родитель мой также был питомцем и представителем французской образованности. Между тем, Жуковский говорил мне, что он всегда удивлялся ловкости и сноровке, с которою в разговоре переводил он на русскую речь мысль, видимым образом, сложившуюся в уме его по-французски» (Полн. собр. соч. кн. Вяземского, I, стр. VIII). Таким образом дворянское просторечие вмещало в себя простонародность, конечно со специфическими экспрессивными оттенками и в особых формах смешения.

Еще ближе к крестьянскому языку была речь мелкого провинциального дворянства. М. А. Дмитриев вспоминал в своих «Мелочах»:[2] «Барыни и девицы были почти все безграмотные. Собственно о воспитании едва ли было какое понятие, потому что и слово это принимали в другом смысле. Одна из этих барынь говаривала: «могу сказать, что мы у нашего батюшки хорошо воспитаны, одного меду не впроед было». Но между стилями дворянского просторечия было большое разнообразие. Особенно резко различия выступили в конце XVIII века, когда нормы «салонного» языка, всячески пропагандируемые литературой «европейской» школы карамзинистов, обнаружили свое влияние на бытовую речь дворянской и буржуазной среды. Характерны симптомы изменившихся требований к стилю разговоров в дворянском обществе, собранные по мемуарным материалам Н. Д. Чечулиным:[3] «У очень многих тогда в ходу были разные особенные поговорки, часто ничего не значущие, иногда даже непристойные, от которых рассказчик не умел, однако, удерживаться даже в чужом доме, и речь некоторых была по привычке настолько вольна, что стесняла женщин». Интересно также замечание одного современника, что тогда (в казанской гимназии) особенное внимание обращали на то,

---

[1] «Воспоминания Ф. Ф. Вигеля», М. 1864, II, 179.

[2] М. А. Дмитриев, «Мелочи из запаса моей памяти», М. 1869, 17.

[3] Н. Д. Чечулин, «Русское провинциальное общество во второй половине XVIII века», СПБ. 1889, 33—34.

чтобы научить «говорить по грамматике», и слова другого, который, вспоминая свою молодость, прошедшую в конце 50-х и начале 60-х годов, говорит, что тогда мало где умели правильно говорить и правильно мыслить». Нормализация литературного и разговорно-салонного языка, предпринятая карамзинистами, свидетельствовала о резких колебаниях и стилистических различиях в области дворянско-буржуазного просторечия.

§ 3. Интересно собрать и сопоставить конкретные указания писателей начала XIX века на пределы, состав и признаки «литературного» просторечия. По Шишкову, просторечие — это разновидность «общего» устно-бытового языка, которая, входя в простой слог литературы, частично совпадает с манерой речи «хороших обществ», частично сливается с простонародным языком. По существу своему просторечие противополагается красноречию и книжному языку. Детальное рассмотрение структуры дворянского просторечия, воспроизводимой Шишковым, приводит к выводу, что просторечие не было стилистически дифференцировано и было очень пестро по своему составу. С одной стороны, Шишков оберегает границы трех стилей, предостерегая от немотивированного переноса простых слов в фразеологию высокого стиля. Например, в статье: «О сословах» Шишков пишет: «*Ход* есть простое слово, среднему слогу мало, высокому же совсем не приличное и употребляемое токмо в общенародных разговорах, как например: *не ходи, тут нет ходу; велик ли ход корабля? есть ли ход на рыбу?* т. е. ловится ли рыба? и проч. Все происходящие отсюда названия большею частию суть самые простые, не могущие быть употребляемы в благородном слоге, как то: *ходьба, сходня, ходули, ходок* и проч. Итак, весьма странно читать, когда не разбирающие приличия слов писатели, последуя французскому выражению la marche de la nature, думают, что и нам вместо *течение природы* пристойно говорить *ход природы* и т. п. Мне кажется *ход законов, солнца, государственных дел* и проч. вместо *течение законов, солнца, государственных дел* и проч. столь не хорошо, как если бы Ломоносов вместо *чрез огнь и рвы течет с размаху* сказал: *чрез огнь и рвы бежит с размаху*» (IV, 343). Просторечие в таком понимании сливается с простым стилем литературного языка, вклиниваясь в область того фонда слов и выражений, который является общим для письменного и разговорной речи. В связи с этим нередко у Шишкова понятие просторечия почти отожествляется с понятием разговорного языка. Например: лексемы «*клевреты, привлещи...* славенские, по просту: *товарищи, притащить; чета, криле* тоже славенские, по просту: *парочка, крылья*» (IV, 67); «*одеян...* по разговорному: *одет*» (Ib., 69); «*рек, конь, чрево* (по просту: *сказал, лошадь, брюхо*) суть славенские слова, т. е. неупотребительные в разговорах» (Ib., 70). «В просторечии говорится: *боязлив, богобоязлив;* как например: он бояз-

лив как заяц, он человек богобоязливый (в священных книгах: *боязнив, богобоязнив*)» (V, 84). «*Болезненно* — слово славенское, ибо мы в просторечии не говорим: *мне болезненно,* а говорим: *больно,* тяжело, досадно или т. п.» (IV, 67). «*Зеница* в просторечии *зрачок,* или *зорочек*» (V, 169). Тут слова *зрачок* и *зорочек* поставлены рядом. С нашей точки зрения они явно принадлежат к разным диалектам и стилям. Но для Шишкова — это формы тожественные, связанные с одной сферой речи. Сопоставление всех этих стилистических оценок доказывает широту объема понятия просторечия в бытовом и литературно-лингвистическом обиходе дворянства начала XIX века.

Подыскивая эквивалент понятию *наитие, наитствование* в просторечии, Шишков утверждает: «Понятие сие и в просторечие введено; мы говорим: *на него дурь находит,* так как бы по нынешнему сказать: *безумие имеет влияние на его разум*» (II, 25—26).[1] «В просторечии о человеке, ушедшем или бегущем прытко, говорят: *эк он стрекнул! Какова дал стрелка или стречка.* Насилу я от него *устрекнул*» (т. е. ушел, убежал) (XI, 255). «Нельзя без низости слога вместо *храбрый* говорить *хоробрый;* однакож в просторечии лучше сказать: *что ты расхоробрился?*» (XI, 220). «*Блажить* в просторечии значит резвиться, дурачиться, шалить; в важном же смысле: ласкать, нежить, баловать» (V, 78). «*Гомон.* У нас слово сие почти неизвестно, однакож многие от него ветви и поныне в просторечии употребляются, как то: *гомоню, гомонить, шумлю, шуметь*» (V, 144). «*Гудение* — в просторечии: *гудьба*» (V, 150).

Но, с другой стороны, просторечие у Шишкова спускается и в крестьянские, деревенские пласты слов и в связанные с ними «мещанские» диалекты. Так — «в просторечии вместо *иди прямо* говорят и поныне: *иди просто*» (XI, 256). Любопытно, что в «Словаре Акад. Росс.» это значение слова *просто* не указано. «Наши слова *свобода, освободить* в просторечии произносятся правильнее: *слабода, ослабодить*» (V, 328). «*Ажно.* Слово сие... и поныне в просторечии употребляется: гром так сильно грянул, ажно стены задрожали» (V, 45). Характерно, что *ажно*

---

[1] Ср. у Пушкина в письме к жене от 19 сент. 1833 г.: «а уж чувствую, что дурь на меня находит, я и в коляске сочиняю, что ж будет в постеле?» (Переписка, III, 46). Ср. употребление слова «дурь» в ином значении в повести «Барышня-крестьянка»: «Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однакоже не отрицал в нем и многих отличных достоинств». Ср. в «Медном всаднике»:

Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури.

Ср. в «Капитанской дочке» в речи Зурина: «любовная дурь пройдет сама собою, и всё будет ладно».

появляется в «Общем церковно-российском лексиконе» П. Соколова 1834 г. с пометой «*простонародное*».[1]

Однако в сочинениях А. С. Шишкова можно найти стилистические оценки, в которых отыскиваются простонародные эквиваленты лексике просторечия с явной тенденцией к разграничению этих сфер. Например: «*простак, дурачок.* Употребляемое у нас простонародное *фатюй* значит то же» (V, 388). «Глагол *лезть* в старинном простонародном языке означал просто движение человека или животного, иначе означаемого глаголом «иду, идет» (V, 204). «В крестьянском и простом наречии глагол *лезть* во многих речах тот же смысл и поныне сохраняет. Мужики говорят: *он налез* или *залез себе много денег*, т. е. достал, приобрел» (Ib., 205). «В просторечии говорится: *волосы лезут*, вместо выдергиваются, выходят вон. *Лезть в глаза* вместо заходить, забегать... Низкое слово *улизнуть* отсюда же имеет свое начало» (Ib., 205). Говоря об употреблении в высоком слоге выражения *лишить живота* (т. е. жизни), Шишков относит *живот* (в значении чрево) к простонародному языку — в отличие от просторечного *брюха* «Ныне и то одни простолюдины говорят: *живот болит*, разумея под этим словом *брюхо*» (XII, 182).[2] Возражая при разборе трагедии Озерова «Фингал» против фразы: «что делаешь, отец?», Шишков пишет: «Никогда не может языку нашему быть свойственно, чтоб сын или дочь, говоря с отцом своим или матерью, называли их: *отец, мать*. Причиною тому, что мы для возвышенного слога имеем и возвышенные слова: *Родитель мой! Отче мой!..* У нас не только — в возвышенном слоге, но даже и в простых разговорах сын вместо: *здравствуйте, батюшка* или *матушка!* не скажет отцу: *здравствуй, отец!* или матери: *здравствуй, мать!* — Самые крестьянские дети не говорят иначе отцам, как *бачка*» (XII, 185).[3]

---

[1] В «Словаре Акад. Росс.» конца XVIII века (1789—1794) просторечие нередко сливается с крестьянским языком. Например, к просторечию отнесены такие слова и выражения: *балы* (балясы) *подпущать, негод* (неурожай), *глот* (обидчик), *отклика, хапать, хабар, наблошняться* и т. п. Выражение *навязаться кому на шею* («Слов. Акад. Росс.» I, 1115) считается просторечным, *а навязать кому на шею* названо простонародным. Слово *разбодряться* (I, 263—264) включено в просторечие, а *прибодряться* (I, 263) — в простонародный язык.

[2] Впрочем, в «Словаре Акад. Росс.» просторечным признано только одно значение слова *брюхо*: «чреватость, ношение младенца во чреве. *Первым ходит брюхом*». Остальные значения — «1) чрево, живот; 2) передняя наружность живота, начинающаяся от груди и простирающаяся до ног. *Большое, отвислое брюхо*» — считаются нейтральными, общими для книжной и разговорной речи. О современном значении слова *живот* сказано, что оно встречается «в *простом употреблении*» и «означает ту пустоту тела у животных, в которой содержатся кишки, печень, селезенка, желудок и проч.» (II, 416).

[3] Ср. в «Слов. Акад. Росс.» конца XVIII века стремление разграничить просторечное и простонародное употребление одного и того же слова. Например: «*вараню*. В просторечии употребляется в третьем лице и зна-

Таким образом в том кругу консервативного, националистически настроенного служилого дворянства, к которому принадлежал Шишков, понятие просторечия охватывало широкую, ненормированную разнородную область фамильярно-бытовых стилей «не офранцузившегося» дворянства, духовенства, разночинной интеллигенции и даже мещанства. Просторечие претендовало на роль национального выразителя коренных русских бытовых начал — в отличие, с одной стороны, от ученого, книжного, «славенского» языка, а с другой — от чужих, заимствованных, по преимуществу французских, форм речи русских европейцев.

Итак, просторечие — собирательное имя фамильярных стилей национально-бытовой речи. При всем их социально-диалектическом разнообразии в них было много общего. Просторечие представляло пеструю смесь «народных», т. е. не имевших узкообластного значения, слов и идиом городского общеупотребительного говора (т. е. того «общего» языка, который, за пределами светского салона, своей фразеологией определял формы устного общения разных общественных групп, хотя имел, конечно, в каждой социальной среде свои характеристические особенности), общеупотребительных профессионализмов и арготизмов, которые, откалываясь от профессиональных диалектов и жаргонов, переходили в общий язык, и подвижного фонда выражений из разных социальных стилей буржуазно-дворянской и мещанско-крестьянской устной речи. В сущности, на противопоставлении просторечия и областных диалектов основано у Н. Остолопова («Словарь древней и новой поэзии», 1821, I, 107) рассуждение о простом слоге. Здесь явственно обозначена социально-языковая природа просторечия: «Под словами и выражениями обыкновенными разумеются те, которые употребляются в повседневном разговоре и понятны для людей всех вообще состояний одной нации... Слова и выражения низкие, употребляемые чернию и принадлежащие к какому-нибудь областному наречию... в сочинениях, которые должны быть писаны простым слогом, не могут иметь места...».

Карамзин и его школа стремились и в просторечие внести принцип классовой и экспрессивно-стилистической нормализации. Границы и состав литературного и салонно-бытового просторечия сужались. Выдвигается требование «подражать людям, которые говорят хорошо, а не тем, которые говорят дурно» («Моск. Меркурий» 1803, II). «Низкие слова в разговоре» (вроде: *задор*,

---

чит: кипит с шумом. *Вода в котле заварганила.* В простонародном употреблении значит: немножко на каком орудии играю» (I, 493). «*Отбиваю.* В просторечии берется иногда вместо *увечу: отбить руки, ноги.* Простонародно: отлучаю, отдаляю, отчуждаю: *отбить купца*» (I, 137). «*Наваливаюсь.* В просторечии: нападаю, притесняю кого. *На него всем миром навалилися.* Простонародно: во множестве, кучею, толпою вхожу. *В избу навалились мужики*» (I, 472) и мн. др. под.

рожица, пронюхать, тянуть за волосы и проч.) — мишень постоянных нападок карамзинистов на слог. П. Макаров, предостерегая Шишкова от употребления слов «*врать, бред*», замечает: «на что изъясняться таким огорчительным образом? Другие могут во зло употребить сию вольность?» (I, ч. 2, 47).

Просторечная вольность прежних дворянских стилей строго осуждалась. В пародическом письме, которое приписано А. С. Шишковым «европейцу», заключается такая оценка Сумароковского языка (по басне «Старик, сын его и осел): «Как можно это терпеть: *шумен, вскарабкался, взмостился, навьютил, взрютил, парень, старой хрен;* все это такие экспрессии, которые только что грубым ушам сносны» («Рассуждение», 429). Характерно, что рецензия П. Макарова на «Рассуждение о старом и новом слоге» А. С. Шишкова действительно заключает в себе несколько замечаний этого рода. Они показательны как свидетельство разного понимания границ и состава литературного просторечия в среде европейцев и славянофилов. В книге А. С. Шишкова «читатели», пишет П. Макаров, «найдут много таких слов, как, например: *виль, похуляя, фу пропасть,* много таких выражений, как например: *он пронюхал,* что у них *на уме* (203), *слова за волоса друг друга тянут* (186), *нигде не потчивали меня русскими щами, по-французски изготовленными* (390). Окончание Сумароковских стихов, три раза повторенных (10, 55, 373), предоставляет воображению нечто весьма неприятное» (разумеются стихи Сумарокова):

> Трудолюбивая пчела...
> Берет в свои соты частицы *и с навозу.*

Жаль, что сочинитель употребляет иногда такие слова, которые нельзя сказать в хорошем обществе» (разумеются слова: *провонял и растлить*). «Жаль, что он приложил стихи на слово *не тронутая* (разумеются пародические стихи Ломоносова, направленные против русско-французского выражения Сумарокова — «на супружню смерть не т р о н у т а взирала».

> Женился Стил, старик без мочи,
> На Стелле, что в пятнадцать лет,
> И недождавшись первой ночи
> Закашлявшись оставил свет:
> Тут Стелла бедная вздыхала,
> Что *на супружню смерть не тронута взирала.* [1]

Эти замечания достаточно ярко говорят об ограничительных принципах салонного отбора просторечных слов и выражений в «новом слоге российского языка». Особенно стеснительны

[1] Ср. замечания о сумароковском употреблении глагола *тронуть* в значении французского toucher у В. К. Тредиаковского (А. А. Куник, «Сборник материалов для истории импер. Акад. наук в XVIII веке», СПБ. 1865, II, 466—471).

были нормы, выдвигаемые И. И. Дмитриевым, творчество которого так низко расценивал Пушкин уже с конца десятых годов. М. А. Дмитриев, который вместе с П. А. Вяземским считал, что басни И. И. Дмитриева «по чистоте и благородству слога и по языку поэзии остаются и доныне первыми», писал о своем дяде: «Одного не прощал он: низкого чувства и низкого площадного выражения, которые при нем уже начинались». И. И. Дмитриев, в письме к Д. И. Языкову, выражал желание, чтобы Востоков, как истинный поэт, «убегал низких слов, как то: *истомить*, вместо *утомить, подмога* и некоторые другие» (соч. И. И. Дмитриева, СПБ. 1893, II, стр. 185). А. С. Шишкову И. И. Дмитриев признавался: «Я и сам не могу спокойно встречать в... поэзии такие слова, которые мы в детстве слыхали от старух или сказывальщиков. *Вот, чу, приют, теплится, юркнул* и проч. стали любимыми словами наших словесников» (Ib., 277). П. П. Свиньину тот же автор писал: «слово *ципочки* (по поводу выражения *на цыпочках,* вместо на пальцах — *В. В.*) употребительно было доселе не между авторами, а деревенскими только старухами» (Ib., 289). Но этот последний протест И. И. Дмитриева — против слова *на цыпочках* — ярче всего показывает, как расплывчаты были границы «литературного» просторечия, при отсутствии твердых норм. *На цыпочках* (на цыпках) встречается не только у Пушкина в «Руслане и Людмиле»:

Злодей в глубокой тишине,
Привстав, *на цыпочках* ко мне
Подкрался сзади, размахнулся...

(III, стихи 442—444)

в «Евгении Онегине»:

Чу... снег хрустит... прохожий; дева
К нему *на цыпочках* летит
И голосок ее звучит

(5, IX,)

в «Каменном госте»:

А сам покойник мал был и тщедушен,
Здесь, став *на цыпочки,* не мог бы руку
До своего он носу дотянуть

(«Дон Гуан»)

Ср. у Дельвига:

И, взявши посох в руки,
На цыпочках тишком
Укрылся от науки...

(К Таушеву, 1815)

Ср. в «Российском музеуме» Влад. Измайлова, 1815, ч. 11 в статье: «Портрет или о сходстве лица»: «Будучи низким, он хотел казаться высоким; приподнимался *на цыпочках* и держал выше голову»); но и у самого Н. М. Карамзина в «Рыцаре нашего времени»: «Слышу, слышу, как ты (майор Фадей Гро-

милов), не привыкнув ходить *на цыпках* в комнатах знатных господ, стучишь ногами еще за две горницы» (Соч., 1848, III, 261).[1] Ср. у Державина: «Шел *на цыпках*, чуть дышал» (II, 513, 18).

Итак, структура дворянского просторечия не была крепко ограждена устойчивыми нормами светского этикета и бытовых правил. Даже в системе литературного языка колебания в употреблении просторечных слов и выражений разительны. И все же в области просторечия по лексическому составу, по характеристическим формам экспрессии, по содержанию идей устанавливались свои социальные деления, свои стили.

Для стилей дворянского просторечия характерна живая связь их с «простонародностью», с крестьянским языком.

§ 4. Простонародными словами А. С. Шишков считает такие, как: *боронить* (в значении оборонять, V, 83); *кока* (яйцо), *кокать* (ударять яйцом в яйцо), *кокнуться* (удариться: «он так кокнулся лбом об стену, что у него искры из глаз посыпались»); в сочетании с приставками: *раскокать* (разбить), *укокошить* (убить), *прикокошить* (прибить), *кокошник* («известной головной убор женской, вероятно, названный так по подобию с хохлом курицы») (Собр. соч. и перев. V, 181) и др. под.

Ряд примеров как будто говорит о том, что простанородный язык в понимании Шишкова слагается из элементов крестьянской, отчасти солдатской и мещанской речи: «Простой народ говорит *перебяка* (в смысле препона)» (XI, 313). «В нашем простонародном языке *ору*, *орать* значит... говорить, но только в презрительном смысле. *Эк он заорал*, т. е. громко заговорил вздор» (XI, 275). «*Каять*. Отсюда простонородное тоже значащее *хаять*» (V, 179). «Глагол *сертять* (у Сумарокова) слишком простонародный, означающий: *стоять нагнувшись*» (XII, 137).

Но часто в сферу простонародного языка включается А. С. Шишковым то, что, с точки зрения современных стилистических норм, принадлежит разговорному языку или даже составляет общее достояние книжной и письменной речи. Таково, например, «простонародное выражение гнева или усердия: *лезет из кожи вон*» (V, 292). Ср. в «Словаре Акад. Росс.» отнесение этого выражения к просторечию (III, 210). Простонародным Шишков называет также глагол *бороться* (V, 85). В письме к Дмитриеву, разбирая стих Ранча:

То коши ёмкие плетет из гибких ив

[1] Ср. в письме Н. А. Полевого к А. А. Бестужеву от 20 дек. 1830 г.: «Помню что вы разгадали и прежде Карамзина. Его время прошло без возврата. Слов становится недостаточно; надобны мысли. Вы не поверите, как Карамзин и все карамзинское ныне упало. *Может быть, мы вытягиваемся на цыпочки* (курсив мой — *В. В.*); все однако ж лучше, чем сгибаться, чтобы уравнять себя с пигмеями» (Н. К. Козьмин, «Из переписки Н. А. Полевого с А. А. Бестужевым» — «Изв. по русск. яз. и слов. Ак. наук» 1929, II, кн. 1, 205).

Шишков возмущается постановкой двух точек над *ё*: «Хотя слово *емкие* есть простонародное и потому произносится больше *йомкие,* однакож лучше пусть читатель произнесет сам как хочет» («Записки, мнения и переписка А. С. Шишкова», I, 366). Ср. в «Словаре Акад. Росс.»: *василек,* в простонаречии — *василиок* (II, 390) и мн. др. Понятие простонародности речи у Шишкова иногда обобщается до понятия национально-разговорного, «общенародного» языка, в отличие от церковнославянского. Так, поясняя слова *абы* или *дабы* примерами из Нестора и летописи, Шишков замечает о слове *абы:* «Слово сие повидимому было простонародное, потому что мы нигде в священных писаниях оного не находим» (V, 44).

Таким образом простонародный язык в понимании А. С. Шишкова, которое совпадало с укрепившимся взглядом на древнерусскую нецерковную речь и на язык устной словесности, был близок к формам языка старинной письменности [1] и к стилям народной поэзии. Все это объединялось в понятии «народного языка». А этот «народный язык» представлялся А. С. Шишкову, как и другим славянофилам (например, П. А. Катенину, В. К. Кюхельбекеру), на ряду с церковнославянским языком, основным источником литературного творчества, впрочем нуждающимся в стилистической «чистке». В «Разговорах о словесности» А. С. Шишков писал: «Народный язык, *очищенный несколько от своей грубости, возобновленный и приноровленный к нынешней нашей словесности,* сблизил бы нас с тою приятною невинностию, с теми естественными чувствованиями, от которых мы удаляясь делаемся больше жеманными говорунами, нежели истинно красноречивыми писателями» (III, 163).

В другом месте он замечает: «Имеем мы древние летописи и другие простого же рода книги; также народные сказки, песни и пословицы, в которых слог простее и ближе к обыкновенному разговору или устному употреблению языка» (IV, 190). Следовательно, весь лексический и фразеологический материал «устной словесности» входит в сферу простонародного языка. Так, анализируя простонародное любовное слово *зазноба,* Шишков ссылается на песни: «В песнях поется: *Ты зазноба, моя зазнобушка, красна девица, зазнобила ты сердце молодецкое*» (V, 169). Рассуждая о слове *корысть,* Шишков ссылается на «простонародные песни»: «*Доживать мне свой век с худой женой некорыстною*» или «*износил я свою молодость ни в корысти, ни в радости*» (V, 194). В статье «О звукоподражании» Шишков пишет: «Звукоподражание даже и в самых простых сочинениях составляет иногда щастливое и весьма приятное выражение,

[1] Ср., например, слова В. И. Даля: «много старинных слов и поныне живут в народе, хотя их мало знают» («О русском словаре», стр. XVI).

как, например, в одной из простонародных песен следующие стихи:

Наша бы Танюша поплясала
Эх! чобот об чобот, чоботочик...

Сочинитель сей песни (может быть, какой-нибудь писарь или солдат)... восклицанием *эх!* показывает мне веселое расположение духа к пляске, а словами — «*чобот об чобот чоботочик*» производит в ушах моих точно тот звук, какой слышен бывает, когда скобка о скобку ударяется. Я не знаю, мог ли бы что лучше придумать сам Виргилий» (IV, 355). Ср. у Державина: «Чобот о чобот стучите» («Люб. худ.», 372, 12).

Итак, простонародный язык — это обиходный язык крестьянства (независимо от областного деления на диалекты), дворни, городских ремесленников, мещанства, мелкого чиновничества,[1] вообще, мелкой буржуазии, не тронутой литературным просвещением. Он вклинивался в просторечие, питался его формами и пополнял их. Вместе с тем он сохранял в живом употреблении много «старинных», даже церковнославянских слов.[2] Вообще граница между просторечием и простонародным языком была очень подвижной, извилистой. Она, конечно, зависела и от словаря, но не меньше и от экспрессии речи, от социально-характеристических форм фразеологии и синтаксиса. В своих «низких», наиболее далеких от сферы литературного повествования формах дворянское просторечие сливалось с простонародностью.

Карамзинская школа, сузив границы литературного просторечия, произведя отбор его форм, отбросила все его внелитературные формы в простонародность. Однако простонародность от этого не сократилась в дворянском обиходном, несалонном языке и не исчезла из «светской» салонной речи. Напротив: просторечие грамотных купцов, мещан, дворовых было склонно к своеобразной книжно-вульгарной риторике, иногда с церковным или канцелярским налетом, и чуждалось «подлых» слов,[3] хотя и не могло от них освободиться.

---

[1] Характерна, например, при слове *кляузы* в «Словаре Акад. Росс.» такая стилистическая помета: *реч*(ение), *приказ*(ное), *простонарод.* Ср. крючкотвор, крючковорец (простонар. III, 462).

[2] Ср. пометку *простонарод.* у таких слов, как *козлодей* («Словарь Акад. Росс.», III, 217).

[3] Ср., например, язык таких произведений, как «Анекдоты или веселые похождения старинных пошехонцов», соч. Березайского (новое изд., 1821), или «Слухи о моровом поветрии в Персии», Нравственно-сатирический отрывок из романа «Все к лучшему», соч. Ивана Гурьянова (Москва 1830), или «Встреча Чумы с холерою», соч. Алекс. Орлова (М. 1830), и тому подобных произведений мещанской литературы.

Характерен также язык «басен крестьянина Егора Алипанова» (1832), о котором Полевой писал: «Все его стихотворения похожи на стихотворения семинаристов, полковых писарей, грамотных приказных» («Моск. телеграф» 1831, XXXVII, 107).

Изменение к 10-м годам XIX века нормы русской литературной речи, расширение ее границ в сторону так называемых «простонародных диалектов» [1] выражается не только в усиленном собирании диалектологического материала, в издании областных словариков, но и в литературной переквалификации диалектизмов. При выработке планов составления словаря литературного языка в первой четверти XIX века за некоторыми областными словами признается право на вход в литературу. Традиция исключения диалектизмов не прерывается (ср. проекты словаря, предложенные И. И. Давыдовым, А. В. Болдыревым). [2] Но раздаются протесты против нее, опирающиеся на принцип «исторической народности»: «Выключение областных или местных слов не слишком ли решительно?.. в наших летописях, грамотах, старинных песнях и разных преданиях встречаются диалектизмы». [3] Об этом же пишет «Вестник Европы»: «Нельзя не заметить, что во многих словах, совершенно забытых в языке старого общества, но сохраненных где-нибудь между крестьянами, скрываются объяснения на историю нашего отечества» («Вестн. Европы» 1817, ч. 95, стр. 308). Любопытно замечание, что многие слова, употребляемые теперь только в простонародном языке, некогда могли быть «благороднейшими выражениями» («Вестн. Европы» 1811, ч. 60, стр. 28—30). В связи с этой переоценкой литературного значения «простонародных» провинциализмов находится интерес к областным словарикам, которые в большом количестве появляются на страницах журналов. Крепнет мысль о составлении общего словаря простонародного языка. Так, И. Ф. Калайдович полагает, что «весьма бы не худо было собрать словарь языка простого народа, и показать грамматические отличия оного от чистого, общеупотребительного наречия». [4] Н. И. Греч пишет в том же духе: «Желательно было бы, чтоб почтенные обитатели провинций, особенно же сельское духовенство и удалившиеся от шуму света и службы в поместья свои дворяне, стали замечать и собирать областные наречия, особые выражения, необыкновенные грамматические формы, присловицы и другие особенные свойства языка в разных странах неизмеримой России; и тем способствовали составлению сначала обозрения, а потом словаря и сравнительной грамматики русских провинциализмов» («Сын отеч.» 1820, LXI, 269—271). М. Н. Макаров, один из беллетристов, археологов и этнографов той эпохи, доказывал пользу областных словарей

[1] Для понимания характера переоценки простонародного языка см. суждения о нем писателей второй половины XVIII и начала XIX века у Н. Трубицына: «О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века», Спб. 1912, стр. 186—191.

[2] См. «Труды Моск. общ. люб. росс. слов.», 1817, VIII, 114—122, 123—134.

[3] Ib., 239—245.

[4] Соч. в прозе и в стихах, «Труды Моск. общ. люб. росс. слов.», V (от начала XXV), 1824, 330—390.

ссылкой на то, что «они только могут разрешить многие недоумения о **происхождении** слов русских, а с тем вместе исправить и обогатить язык отечественный, язык, долженствующий, может быть, скоро поступить на степень языков необходимых, языков общественных» (Соч. в прозе и стихах, «Труды Моск. общ. люб. росс. слов.», I (от начала XXI), стр. 287—288).

Таким образом областная (крестьянская, городская «мещанская» и провинциально-дворянская) стихия речи выступала как вспомогательный материал для создания национального литературного языка. Это был симптом национальной «демократизации» литературного языка и, во всяком случае, явное искание почвы для сближения дворянских и разночинно-буржуазных стилей, стремление к раздвижению социальных пределов литературного языка, претендовавшего на роль выразителя нации.[1]

Это экстенсивное развитие литературного языка, естественно, вызывало попытки ограничений, порождало потребность установить твердые нормы «общелитературного» употребления и сократить провинциализмы и профессионализмы (см. «Труды Общ. люб. росс. слов.», 1817, VIII).[2] Наиболее спорным представлялся вопрос о **границах** и составе простонародности в литературном языке. «Вестник Европы» (1819, ч. 107, № 20, стр. 274—277) выдвигал проблему: «До какой степени допускаемы могут быть слова простонародные и низкие, которых хотя начало сыскать и трудно, но коих употребление почти повсеместное?..» — и пояснял: «Достоинство словаря... не в обилии слов, но в выборе, порядке и правильном расположении оных... в нем должно быть только то, что может свидетельствовать о духе народа, пространстве его познаний, об его высокой промышленности, о силе и благородстве мыслей, о высшей его образованности...».

Таким образом в этой концепции нормы отбора простонародных слов и выражений носили ярко выраженную тенденцию дворянско-буржуазной «чистки».

Однако понимание «простонародности», ее предметного, идейного содержания и стилистического назначения в литературной

---

[1] Ср. у Ф. Глинки, «Письма к другу» (1816, III): «В простонародном наречии, сколько в протчем ни пренебрегают оным, встречаются необыкновенные выражения. Простодушные поселяне без всякого намерения блистать умом не редко изъясняют чувства и мысли свои весьма замысловато». В качестве примеров указываются выражения в роде: «у всякого душа *грудью закрыта*», «он (беглец) везде чужой и везде *страхом обгорожен*» (73—74).

[2] Профессиональные слова отмечались всегда в словарях. Так, в словарике А. С. Шишкова: «*Вабит, вабило, вабильщик, вабка, вабление.* Слова сии остались употребительными только у соколиных охотников» (Собр. соч. и перев., V, 89). «*Выступок.* Плотничье название, иначе называемое *зуб* и противозначащее слову *уступок* или *гнездо* или *ступа*» (Ib., 138) и др. под. Ср. в «Словаре Акад. Росс.» указания на сферу профессионального употребления слов.

речи было разное даже среди дворянства. Карамзинисты убеждали, что «простонародные выражения не должны писателям служить правилом» («Моск. Меркурий» 1803, II). Писатели, захваченные идеями романтической «народности», но не разрывавшие связей с карамзинским течением, вроде Ор. Сомова, также вносили существенные ограничения в принцип простонародности. «Не все выражения, употребительные в казармах, могут иметь место в поэзии, не оскорбляя разборчивого вкуса», писал Ор. Сомов по поводу Шевыревского перевода «Валленштейнова лагеря» («Сев. цветы на 1829 г.», стр. 10). И он же так отзывался о языке «Юрия Милославского» Загоскина: «Разговор простонародный очень естествен в лицах низшего звания, выведенных сочинителем; жаль только, что он допускал иногда слова и выражения, не одобряемые разборчивым вкусом. В подражании простонародному языку должно соблюдать великую осторожность и воздержанность; излишняя расточительность на слова и выражения грубые или областные, нисколько не способствуя живости и верности подражания, может наскучить и опротиветь образованному классу читателей» («Сев. цветы на 1831 г.», «Обозрение российской словесности за вторую половину 1829 и первую 1830 года», 60).

Эти ограничения опирались на представление об «идеальных» нормах синтетической системы русского литературного языка, включающей и очищенную простонародность. Эта точка зрения находит яркое выражение в «Обзоре российской словесности за 1828 г.» того же Ор. Сомова («Сев. цветы на 1829 год», 82—83): в прозе «еще не все или даже очень мало сделано для русского языка. У нас нет еще слога повествовательного для романов и повестей, нет разговорного слога для драматических сочинений в прозе, нет даже слога письменного. Оттого-то молодые наши писатели выступают всегда ощупью в этот путь, и славу богу, если за неимением проложенной, гладкой дороги им посчастливилось напасть на хорошую тропинку! Немногие однако ж похвалятся этою удачей: большая часть или *сбивается на шероховатую пашню устарелого языка славяно-русского,* или скользит и *падает на развалинах, сгроможденных когда-то из запасов чужеязычных* (галлицизмов, германизмов и проч.), или *тонет в низменной и болотистой почве грубого, необработанного языка простонародного*». Позиция Ор. Сомова характерна для понимания прогрессивно-дворянских тенденций в борьбе за «народность». К ней могло бы присоединиться большинство писателей из дворянского лагеря.[1] Чрезвычайно своеобразны рассуждения кн. В. Ф. Одоевского об отличиях «языка низшего класса» от языка «высшего общества» и о простонародности

[1] Интересно, что имя Ор. М. Сомова ставится иногда на ряду с именем издателя повестей Белкина при оценках «легкости разговорного слога». См. Альманах «Альциона» на 1832 г., примеч., стр. 254.

в литературе. Человек высшего общества выражает сложные движения души «одной фразой, одним словом, словом условным, которого, как азбуку, нельзя ни перевесть, ни выдумать... Сколько усилий потребно романисту для того, чтобы читатель понял значение этого слова». [1] «Человек низшего класса также имеет свою скрытность (т. е. лаконизм), но в другом роде», и его речь по внешности похожа на какую-то «бессмыслицу». «Надобно для выражения сей черты найти такую речь, которая бы соответствовала и характеру простолюдина и требованиям искусства». [2] Одоевский считал художественно оправданным употребление простонародного языка только у одного Гоголя. «Простонародный язык», по мнению В. Ф. Одоевского, «хотя груб, но силен и живописен; а употреблять его все еще нельзя; публика еще не доросла до него; а с так называемых руссицизмов наших романистов и ввек не дорастет». [3] Любопытен социальный контраст в отношении к простонародности у писателей-дворян. Они энергически возражают против литературного «украшения» простонародных слов и выражений. Так, В. Ф. Одоевский, возражая против «руссицизмов наших романистов», записывает с натуры сцены простонародных разговоров: «Баба, утешая другую, — не употребила ни одной из тех фраз, которые у нас влагают в уста простому народу наши романисты, — а вот их разговор:

«— Ну, что мать, падчерица все не дочь родная — бывало не то Дуняша, — скажет: приляг ка, матушка, дай ка те вшей поищу, а ведь эта и на агашнике вши не убьет.

«— И полно, — если тебе теперь слезы терять, — то палкой тебя, — плёха ты будешь, сущая плёха».

Другая сценка, записанная В. Ф. Одоевским:

«Солдат, встретя старого знакомого, не говорит ему: здорово, брат, или что подобное, как в наших романах, а след.:

«— А! а! держи его! вот он! ах! Еб. м. — и они обнимаются. Последняя фраза произносится с истинною и характерною чувствительностью». [4]

Любопытно, что позднее — в 40-х годах — К. Аксаков точно так же порицал «писателя, который для вернейшего изображения прибегает к народному будто бы оттенку речи, к народным выражениям, дошедшим до его слуха через переднюю и гостиную». [5]

---

[1] Соч. кн. Одоевского, II, Предисловие к «Княжне Мими», 330—331. Ср. здесь же характеристику языка светской гостиной.

[2] П. Н. Сакулин, «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский», М. 1913, I, ч. 2, 338.

[3] Ib., 385.

[4] П. Н. Сакулин, «Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский», I, ч. 2, 385. Примеч.

[5] «Моск. сборник» 1847, Критика, 4.

Впрочем, голый «натурализм» простонародного воспроизведения, не оправданный и не регулированный движением сюжета, порицается. С. П. Шевырев так писал о простонародном языке в произведениях М. П. Погодина, «который в повестях своих, один из первых, взялся за эту новую стихию»: «Он в употреблении оной не всегда руководствовался вкусом и следовал эстетической мерке, данной Пушкиным; но его «Черная немочь», и особенно «Самозванец в лицах» были одними из первых замечательных опытов в этом отношении».[1] Рядом с этой оценкой характерным диссонансом звучит отзыв Н. А. Полевого о «Черной немочи»: «Язык в ней вообще дурен, и во многих местах действующие лица и автор говорят одинакими выражениями. Мы думаем, что первые должны говорить свойственным им языком; напротив, автор обязан выражаться языком хорошего общества и выдерживать тон своего рассказа» («Моск. телеграф» 1829, № 15, 323). А между тем Погодин мечтал «написать жизнь Ломоносова простонародным языком для черни».[2] Эта глубокая стилистическая рознь между разночинцами зависела от их разного отношения к дворянской культуре литературного языка и — в связи с этим — от неодинакового понимания структуры «простонародности».

У писателей с ярко выраженным уклоном в сторону буржуазных вкусов провинциального дворянства, чиновничества, купечества крайние проявления «простонародничанья» (как, например, в «лапотных» сказках и повестях Даля) вызывают отрицательную оценку, враждебное отношение. Так, А. А. Бестужев-Марлинский, бывший стилистическим образцом для О. И. Сенковского и Н. А. Полевого, видит достоинство сказок Луганского только «в памяти издателя», ставя в вину Далю бедность или неудачу «собственных вымыслов».[3] Своеобразна оценка простонародной струи

---

[1] «Москвитянин» 1842, № 2, 184.

[2] Барсуков Н., «Жизнь и труды М. П. Погодина», 1889, кн. 2, 367.

[3] Интересно сопоставить стилистическую оценку Даля, сделанную А. А. Бестужевым-Марлинским, с суждением С. П. Шевырева о простонародном языке в творчестве Даля: «Все, до него пользовавшиеся этим языком, употребляли оный не столько в своем собственном слоге, сколько в разговоре простонародных лиц, выводимых ими. Один только Пушкин со смелостью, свойственною его гению, дерзал вставлять слова и речения простонародные в свою поэтическую речь. Даль-Луганский чувствовал большую симпатию к этому языку, на котором вырос и воспитался, а с тем вместе видел и невозможность ввести его, мимо всех обычаев, прямо в язык литературный. Ему не оставалось другого средства, как притвориться русским сказочником и дать нам новый образец этого забытого, живого, устного нашего языка, сначала в художественной оправе нашей народной сказки. Но по мере того как развивался этот замечательнейший писатель, — с его сказкой, равно как и с языком ее, творилось превращение удивительное... Из фантастической сказки Даля-Луганского вышла дельная, глубокая русская повесть, обнимающая оригинально и верно самые разнообразные стороны русской жизни» («Москвитянин» 1842, № 2, 184—185).

в литературе, данная А. А. Бестужевым в одном из писем к братьям Полевым: «Да и кто у нас пишет? Или жители гостиных, которые раз в год прислушиваются к языку народа в балаганах и рады-рады, что выудят какое-нибудь пошлое выражение, с которым носятся словно с писанной торбой. Это у них родимое пятнышко на маске... Или такие люди, которым, конечно, нечего лазить за харчевными выражениями, зато напрасен труд давать этим речам занимательность». Итак, Марлинский выражает пренебрежение к наготе «харчевных выражений», не украшенных «занимательностью».[1] Не случайно, что прямые и резкие отражения простонародного языка в литературных стилях, особенно в авторском повествовании, вызывают осуждение у таких писателей как Н. А. Полевой, Н. Надеждин, молодой Белинский и др. «Простонародность» буржуазной литературы 30-х годов склоняется к «вульгарной» книжности. «Простонародный язык» у писателей, стремившихся к буржуазной нормализации «литературности», лишен непосредственности бытового выражения, подвергается книжной «идеализации» и риторическому олитературиванию. «Эпоха слов и выражений прекратилась», заявляет Полевой, «настает эпоха мыслей и чувствований, принадлежащих народам» («Моск. телеграф» 1829, № 10, 235).

Но именно эта риторическая искусственность «мещанской речи», чуждавшейся «подлых выражений черни» и представлявшей собою (с точки зрения традиций «аристократической» литературы) пеструю смесь грубой «тривиальности» с напыщенным «вульгарно-книжным» стилем, была далека от живых стилей дворянской литературы.

§ 5. В кругу этих социальных делений бытового и литературного просторечия, в кругу литературных отражений и превращений простонародности нетрудно найти место, занимаемое Пушкинским языком. Пушкин отгораживается от языка «дурного общества», т. е. от «буржуазного» просторечия, приправленного элементами вульгарно-архаической книжности. Интересно отношение Пушкина к языку романа Загоскина «Юрий Милославский» — романа, который поэт считал «одним из лучших романов» своей эпохи. Пушкин осуждает в нем анахронизмы

[1] Для освещения отношения А. А. Марлинского к «простонародности» в 20-е годы очень показателен языковой материал «старинной повести» «Роман и Ольга». Она снабжена примечанием автора, касающимся языка: «Языком старался я приблизиться к простому настоящему русскому рассказу, и могу поручиться, что слова, которые многим покажутся странными, не вымышлены, а взяты мною из старинных летописей, песен и сказок». Принцип стилистической «раскраски» простонародных выражений проявляется во всем блеске. Например, «*удал на игрушках военных*» (примеч.: «так назывались на Руси турниры»), «свахи лучших женихов *обили пороги*»; «Ольга может в твою *угоду* скрыть слезы», «другой жених оботрет ее слезы бобровым рукавом шубы своей» и т. п.

и отражения речи дурного общества. Тут проявилось стремление Пушкина к тщательному отграничению простонародного языка от выражений дурного общества. «Выражения—*охотиться* вместо ездить на охоту; *пользовать*—вместо лечить... не простонародные, как, видно, полагает автор, но просто принадлежат языку дурного общества» (IX, 80).[1] Совсем иные стороны языка «Юрия Милославского» вызывали отрицательную оценку у писателей с буржуазным уклоном. Так, «Сев. пчела» порицала в этом романе «грубые, противные вкусу выражения: *гости порядком подгуляли* (III, 256), *шибко дерутся, собачьи дети!* (III, 68). И этого-то, *собачий сын,* не умел сделать! Как мило! Неужели автор не подумал, что книга его может попасться в руки дамам, может войти в учебные заведения?» («Сев. пчела» 1830, № 9).

Таким образом Пушкинский простой слог с конца десятых годов сочетает в себе элементы разных стилей дворянского бытового просторечия с «простонародным» языком. Пушкин подчеркивает эту связь «светского» и простонародного в быту и в литературе. «Откровенные оригинальные выражения простолюдинов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха» (IX, 116). Поэт как бы апеллирует к высшим законодательным органам дворянского этикета, суждение которых считалось решающим для «светских» писателей послекарамзинского периода. «Мы чувствуем, что и знатные должны выражать простые понятия, как простые люди» (IX, 125). Пушкин находит естественным, что в трагедиях Шекспира герой иногда выражается как конюх. Ведь «высокие люди не чуждаются просторечия» (Доп. и примеч., IX, 352).

Итак, простонародный язык, по суждению Пушкина, не противоречит тону хорошего общества, тогда как большинство современных Пушкину литераторов из дворянской и особенно из разночинной среды стыдилось пускать простонародные слова в авторскую литературную речь, «поминутно находя одно выражение *бурлацким,* другое *мужицким,* третье *неприличным для дамских ушей* и т. п.» (IX, 106).

Однако эта бытовая традиция, которой хотел прикрыться Пушкин в борьбе за «народные» основы русского литературного языка, не вполне соответствовала литературным вкусам «высшего общества». И попытка поэта социологически замаскировать этот

---

[1] *Охотиться* — в просторечии означало: «охоту, желание к чему получать, являть, показывать»: «*Охотиться итти куда*» («Словарь Акад. Росс.» IV, 730). Характерно, что *пользовать* в значении лечить (Ib., 1463—1464) здесь не имеет никакой стилистической пометы. Ср. у Державина: «Где *пользует* больных она» (из «Фелицы», 286, 37). Так отдельные слова, выходя из употребления в дворянско-аристократической среде, укреплялись в мещанском языке и становились его характеристическими приметами.

разрыв не могла не встретить возражений со стороны аристократических представителей салона. Любопытен отрывок воспоминаний кн. А. М. Горчакова, который передает свой разговор с поэтом по поводу той сцены «Бориса Годунова», в которую из летописного рассказа попали «слюни». «Вычеркни, братец, эти *слюни*. Ну, к чему они тут?» — «А посмотри у Шекспира — и не такие выражения попадаются», возразил Пушкин. — «Да, но Шекспир жил не в XIX веке и говорил языком своего времени», заметил князь. [1]

Горчаков находил в этих формах Пушкинского просторечия «*искусственную* тривиальность», которая «довольно неприятно выделялась из общего тона и слога». Особенно не по вкусу князю пришлись несколько стихов, в которых проглядывала какая-то «изысканная грубость и говорилось что-то о слюнях...».

Между тем Пушкин в этой непосредственной связи литературного языка с простонародностью видел залог национального обновления литературы. «Разговорный язык простого народа (не читающего иностранных книг и, слава богу, не выражающего, как мы, своих мыслей на французском языке) достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентинском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням. Они говорят удивительно чистым и правильным языком» (IX, 118—119).

Все эти ссылки на «мужичков», «простолюдинов,» «просвирен» как на обладателей «чистого народного языка», показывают, что Пушкин отстаивает литературные права «простонародного», т. е. крестьянско-мещанского, языка и тех стилистических пластов просторечия, которые были близки к нему. Следовательно, центр тяжести в вопросе о расширении пределов «литературности», о преобразовании литературного языка у Пушкина перемещается с «облагороженного» литературного просторечия на мелкобуржуазную «мужицкую» простонародность. Пушкин в «Заметках о Борисе Годунове» употребляет даже слово *площадной,* говоря об этой струе своего языка: «Есть шутки грубые, сцены простонародные. Поэту не должно быть площадным из доброй воли, если может их избежать, если ж нет, то ему нет нужды стараться заменять их чем-нибудь иным».

Итак, состав и функции устной бытовой стихии в языке Пушкина определяются тенденцией — полнее и гуще смешать стили дворянского разговорного языка, не стесненного условными нормами салонного этикета и не расцвеченного салонной декламацией, салонным красноречием на французский лад, с просто-

---

[1] Ср. «Русск. архив» 1883, III, стр. 205—206, «Канцлер кн. Горчаков о Пушкине». Другой разговор этого рода описывает К. Полевой, когда Пушкин, ссылаясь на Шекспира, не стеснявшегося никакой теорией, «выразительно напомнил о неблагопристойностях, встречаемых у Шекспира, и прибавил, что это был гениальный мужичок» (К. А. Полевой, «Записки»).

народными выражениями. Сама же простонародная стихия речи рассматривалась как «первобытное», непосредственное выражение национального духа. Поэтому она представлялась не только структурным ядром крестьянского языка, но и основой бытового просторечия разных социальных слоев дворянства, городской буржуазии, городских «простолюдинов». Простонародный язык в его национально-типических выражениях стал для Пушкина к половине 20-х годов сферою чистой «народности» и первобытной простоты. По поводу критических нападок (Надеждина и др.) на «простонародность» «Полтавы» Пушкин писал: «Слова: усы, визжать, вставай, рассветает, ого, пора, показались критикам *низкими, бурлацкими*. Никогда не пожертвую краткостью выражения провинциальной чопорности, боясь казаться простонародным, славянофилом или т. п.».

В этом тяготении к простонародности сказывался явный уклон Пушкина к «славянофильству». Пушкин не раз подчеркивал эту свою связь с романтическим национализмом, хотя бы, например, в статье о Катенине. Проблема обновления «стилей» путем прививки простонародного языка для Пушкина была тесно связана с националистической славянофильской традицией. В сферу «возвышенной поэзии», по словам Пушкина, первый ввел «язык и предметы простонародные» Катенин (IX, 167). Примеры этой простонародности поэтического языка извлекаются Пушкиным из баллады Катенина «Ольга», воспроизводящей Бюргерову Ленору «в энергической красоте ее первобытного создания», и из баллады «Убийца»: «сия простота и даже грубость выражений, сия *сволочь,* заменившая воздушную *цепь теней,* сия виселица, вместо сельских картин, озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей... После Ольги, явился Убийца, лучшая, может быть, из баллад Катенина. Впечатление, им произведенное, было и того хуже: убийца в припадке сумасшествия бранил месяц, свидетеля его злодеяния, *плешивым*» (IX, 167). [1]

Но в половине 20-х годов в сфере просторечия и простонародности антитеза «европейства» и «славянофильства» уже поглощена была буржуазно-дворянскими разногласиями по вопросам о социально-бытовой и классовой природе литературного просторечия, о границах простонародности в литературе, о принципах включения простонародного языка в разные жанры литературной речи, о стилистических функциях простонародного языка и о нормах его «поэтизации». Необходимо рассмотреть высказывания Пушкина на эти темы.

Прежде всего Пушкин опирается, как на семантическую основу простонародного языка, на простоту, первобытность его обозна-

---

[1] Пушкин отмечает также «собрание романсов о Сиде, сию простонародную хронику» (IX, 168). См. у Ю. Н. Тынянова, «Архаисты и новаторы».

чений, на непосредственность связи между простонародным словом и предметом и, вследствие этого, на краткость, лаконичность простонародных выражений. Защищая слова *хлоп*, *молвь* и *топ* в «Евгении Онегине», Пушкин ссылками на сказку о Бове Королевиче и на «Древние российские стихотворения» доказывает, что «слова сии коренные русские». Сюда присоединяется сентенция: «Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка». «Свобода» подкрепляется выразительностью, смелостью простонародных изъявлений.

Драматичность, энергичность (IX, 104) представляется Пушкину другим преимуществом простонародного языка. Пушкин отмечает в романе Загоскина «Юрий Милославский» «разговор живой, драматический везде, где он простонароден» (IX, 79). В «драгоценной свежести, простоте и простосердечности языка простолюдинов» Пушкин ищет противоядия жеманству, чопорности и однообразию европеизованного светского языка. История драматического искусства, которое «родилось на площади» (IX, 121), судьба «народной трагедии» особенно занимают Пушкина. Ведь для русской литературы вопрос о народной трагедии — это вопрос о низведении драматического искусства с придворных подмостков на площадь, где царит простонародный язык. «Как ей перейти к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади — как ей вдруг отстать от подобострастия, как ей обойтись без правил, к которым она привыкла, где, у кого выучиться наречию, понятному народу, какие суть страсти сего народа, какие струны его сердца, где найдет она себе созвучие» (IX, 127).

Этот «драматизм» простонародных слов и выражений, их экспрессивная яркость, их связь с жестом, мимикой и обстановкой, их театральная живописность поясняются, например, такой параллелью:

Сам съешь	Обратите это на себя
Происхождение сего слова: остроумный человек показывает шиш и говорит язвительно: съешь, а догадливый противник отвечает: сам съешь.	(Более учтивое, но столь же затейливое выражение) (IX, 104).

С разнообразием драматической экспрессии простонародный язык сочетает смысловую и эмоциональную емкость, способность выражения глубоких мыслей и чувств. «Глубокие чувства» и «поэтические мысли», выраженные «языком честного простолюдина», способны производить сильнейшее впечатление. Просторечие противополагается Пушкиным простомыслию «салонного» языка (IX, 115), пошлому и изысканному пустословию (IX, 389). «Сцена тени в Гамлете вся писана шутливым, даже низким слогом, но волос становится дыбом от Гамлетовых шуток» (IX, 46). «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограничен-

ным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и странному просторечию». С горестной иронией замечает Пушкин: «У нас это время слава богу еще не приспело... Прелесть нагой простоты для нас непонятна» (IX, 46).

Таким образом «благородная простота» и экспрессивно-символическая свежесть — основные признаки языка «честного простолюдина» в оценке Пушкина. Впрочем, в Пушкинской характеристике просторечия и простонародного языка нельзя не видеть и своеобразного стилистического манифеста, изображающего идеальные нормы литературного просторечия и его функции. К просторечию и простонародности в литературе предъявляется требование «глубоких чувств и поэтических мыслей». Вместе с тем простонародность должна носить отпечаток «воображения», «благородной простоты» и экспрессивной силы. Пушкин видит в произведениях Ваде пример одностороннего применения площадной речи. «Они дышат одной веселостью, выраженной площадным языком торговок и носильщиков. Произведения английских поэтов, напротив, исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина» (IX, 45). В сущности, в этих словах намечается принцип ассимиляции простонародного языка с системой литературной речи: «язык честного простолюдина» должен быть приспособлен к идеологии интеллигенции, к символическим и композиционным формам дворянской литературы.

С этим принципом символического насыщения простонародного языка мыслями и чувствами поэзии соединялся принцип стилистической обработки просторечия, принцип синтеза простонародности с живыми формами литературной речи, принцип освобождения «языка простолюдинов» от классовой узости и ограниченности посредством приспособления к системе общенационального языка. Барон Розен так отзывался о простонародной струе в Пушкинском языке: «Дабы все области поэзии были возделаны нашим поэтом, он обратился к простонародной сказке, доказав уже прежде своей народною балладою «Наташа», до какой степени он освоился с русским духом. *Отделенная от сора и нечистоты, и сохранившая только свое золото,* русская сказка у него золотозвучными стихами извивается по чудесной области народно-романтического. Удивительно счастливо здесь соединена *народность выражения* со всею *очаровательностью пушкинской дикции*» («Сев. пчела» 1832, № 81).

Принципы отбора и литературного преобразования простонародных элементов в языке Пушкина не остаются неизменными. Они эволюционируют. С конца 20-х годов все свободнее открывается доступ «грубым» простонародным выражениям в Пушкинский язык; становится резче и смелее экспрессия их; применяются более сложные приемы сочетания стилистически

разнородных, семантически далеких слов и фраз. В соответствии с той ролью, которую играли поэзия и стихотворная речь в нормализации литературно-книжного языка, Пушкин вслед за романтиками готов признать поэтическим стержнем простонародности «устную словесность». Именно здесь, по мнению Пушкина, «простонародность» обобщалась и очищалась до понятия «народности», национальности. Правда, в диалектах просторечия и простонародного языка не надо растворять целиком язык «народной словесности», как его понимал Пушкин. Тем не менее бытовые диалекты простонародного языка и «устная словесность» сливались для Пушкина в один мощный национальный поток, который должен был влиться в литературу и, изменив ее дух и формы, сделать ее общенациональным выражением, чуждым узкой классовой ограниченности, содействовать воплощению национальных начал в структуре языка хорошего общества, языка интеллигенции.

Вполне понятна поэтому тенденция поэта в своем национально-литературном творчестве приобщиться прежде всего к формам выражения, к языку и идеологии так называемой народной словесности. Наброски статьи о французской словесности оканчиваются призывом к «сокровищам родного слова». «Но есть у нас свой язык, смелее — обычаи, история, песни, сказки и проч.» (IX, 8). Не раз в статьях и письмах Пушкина звучат указания на народную словесность как на источник литературного языка и литературных форм. «Предания русские ничуть не уступают в фантастической поэзии преданиям ирландским и германским. Если все еще его (В. А. Жуковского) несет вдохновение, то присоветуй ему читать Четь-Минею, особенно легенды о киевских чудотворцах, прелесть простоты и вымысла», писал Пушкин Плетневу (Переписка, II, 237). И ему же: «Дмитриев, думая критиковать Жуковского, дал ему прездравый совет. Жуковский, — говорил он, — в своей деревне заставляет старух себе ноги гладить и рассказывать сказки и потом перекладывает их в стихи» (Переписка, II, 237; I, 55, 168, 202, 218). Таким образом под именем народной словесности Пушкин объединял и памятники древне-русской письменности и произведения устного творчества. Он заявлял: «Нам наскучила правильность и совершенство классической древности и бледные, однообразные списки ее подражателей... утомленный вкус требует иных, сильнейших ощущений и ищет их в мутных, но кипящих источниках народной поэзии».

Однако язык древне-русской письменности выступает в творчестве Пушкина как система речи, близкая к «простонародному» языку, лишь с середины 20-х годов. Сначала же, до 20-х годов, в поисках новых литературных образов, новых форм литературной речи Пушкин идет в область просторечия и народной словесности вслед за Жуковским. Романтизм влек Жуковского к «простонародности». Отсюда похвалы Бюргеру за «счастливое

употребление выражений простонародных». Но Жуковский боится далеко отойти от границ карамзинского канона. В этом смысле надо понимать «народность» «Светланы» и «Людмилы». Половинчатость этой позиции претила Грибоедову — Катенину (ср. полемику из-за катенинской «Ольги»). Особенно характерны приемы басенного языка Жуковского. Здесь встречаются, например, такие «простонародные» слова:

Сова Трофимовна — *сопунья*

(«Кот и мышь»)[1]

Ср. у И. И. Дмитриева в сказке «Картина»: «Не тот, что пишется у нас *сапун*, зевака» (Соч., 1818, II, 123).

Хозяин, *подкурив*, на улице заснул.

(«Мартышка, показывающая китайские тени», 1806)[2]

Благочестивый *распутлялся*...

(«Кот и мышь»)[3]

Ты ж, *нещечко* мое, душа моя...

(Ib.)[4]

Я, детушки, не *чван*

(«Мартышка и лев», 1806)[5]

Формы просторечия, довольно многочисленные, движутся по границе простонародного языка и лишены всякого «светского» тона, например:

Тот *под нос шиш ему, тот в зад его пинком*

(«Сурки и крот»)

Случился праздник, муж *хлебнул*, и в спор с женою

(«Расстройка семейственного согласия», 1808)

И я *штукарь*

(«Мартышка, показывающая китайские тени»)

Мартышка *верть* глазами

(«Мартышка и лев», 1806)

и т. д.

Н. А. Полевой в «Очерках русской литературы» (I, 110) пишет по поводу басен Жуковского, что «поэт пытался, кажется, говорить простонародным языком, но испугался современников и перестал». На этом фоне делается особенно выразительным отзыв самого Жуковского о баснях И. А. Крылова: «Попадаются погрешности против языка, выражения, противные вкусу, грубые и тем более заметные, что слог вообще везде и легок и приятен» («О басне и баснях Крылова»).[6]

---

[1] В «Словаре Акад. Росс.» 1822, VI, этого слова вовсе нет. В словаре 1847 г. оно приведено уже без всякой стилистической характеристики.
[2] В «Словаре Акад. Росс.» и в словаре 1847 г. этого слова нет.
[3] В «Словаре Акад. Росс». и в словаре 1847 г. этого слова нет.
[4] Этого слова нет в словарях до Даля.
[5] В «Словаре Акад. Росс». это слово не имеет стилистической пометы. В словаре 1847 г. оно обозначено как простонародное.
[6] Соч. в прозе В. Жуковского, изд. 2, 1826, 96.

Та же двойственность наблюдается в отношении Жуковского к так называемой «народной словесности». В письме к А. П. Зонтаг (в конце 1816 г.) поэт пишет: «Не можете ли вы собирать для меня русские сказки и русские предания: это значит заставлять себе рассказывать деревенских наших рассказчиков и записывать их россказни... это национальная поэзия, которая у нас пропадает, потому что никто не обращает на нее внимания... Я бы желал, чтобы вы, Анета, Дуняша и Като, завели каждая по две белых книги: в одну записывать сказки *(и, сколько можно, теми словами, какими они будут рассказаны),* а в другую всякую всячину, — суеверия, предания и т. п... *Писать не нужно со старанием, записывать просто содержание»* («Уткинский сборник», 89).[1] Народно-поэтический язык, язык сказки и песни, Жуковским «очищается». Таково впечатление современника — Комовского (письмо к Н. М. Языкову от 25 апр. 1832 г.): «Жуковский, как сказочник, обрился и приоделся на новый лад, а Пушкин — в бороде и армяке».[2] И Плетнев на примере сказки Жуковского «Иван царевич» так характеризует стилизованную простонародность автора: «Видно, что эта сказка идет не из избы мужицкой, а из барского дома, и говорит ее не барский подлипала, а прямой поэт».[3] Академик А. Н. Веселовский очень тонко и остро отметил у Жуковского схематичную отвлеченность его «народного» стиля, который далек от Пушкинской «исторической народности», враждебен ей своими анахронизмами и нарушениями колорита местности: «В Песне бедняка» (из Уланда) благовест заменил орган; дьячки в стихарях и кадила являются в «Старушке» из Саути; в «Воскресном утре в деревне» Гебеля... богослужение совершается по нашему, а в «Дочке хозяйки» (из Уланда) мы встречаемся с русской картиной: «В светлице свеча пред иконой горит». В переводе «Овсяного киселя» (из Гебеля) немецкое настроение осталось, несмотря на русские имена (и Иван, и Лука, и Дуняша), и такие выражения, как «гнедко»-Esel, «заскородил овес», «колос оброшенный».[4] Современники видели в этой архаической манере воспроизведения народности у Жуковского, особенно в 30-е—40-е годы, уход назад от Пушкинского языка. Критикуя стиль перевода «Одиссеи», Киреевский пишет А. М. Языкову: «Мне все кажется, что теперь возможен перевод Гомера, потому что мы ознакомились с языком первобытной, народной, не искус-

---

[1] Ср. там же письмо от 1827 г., 27 окт. — рецепт А. П. Зонтаг придерживаться «нежной ясности и простоты в слоге сказок», 101).

[2] Садовников, «Отзывы современников о Пушкине» («Ист. вестн.» 1883, № 12, 534).

[3] Сочинения и переписка Плетнева III, 562. Ср. характеристику отношения Жуковского к народности и народной старине у акад. А. Н. Веселовского; «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения», XV.

[4] Акад. А. Н. Веселовский, «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и сердечного воображения», Пгр. 1918, 477.

ственной поэзии; таков язык Гомера, и следовательно, переводить его надо таким языком, по крайней мере, каким Пушкин перевел песни западных славян». [1] Но эти поиски «первобытной» простонародности увели Пушкина далеко в сторону от пути Жуковского в начале 20-х годов...

§ 6. Пример Жуковского, Крылова, Д. В. Давыдова [2] и даже «Опасного соседа» В. Л. Пушкина заражал творчество молодого Пушкина в 10-х годах, выводя фамильярно-бытовые формы его стиля за пределы салонного языка. Впрочем, эти вольности фамильярной речи, не стесненной этикетом, были лишь отголосками бытового языка, рассчитанного на своих людей, и нисколько не свидетельствовали о литературном отрыве поэта от Карамзинской традиции. Тут еще нет и намека на стилистическую борьбу за «простонародность». В зависимости от темы, жанра, экспрессии иногда прорываются в языке Пушкина «низкие», «грубые» выражения из разных стилей дворянского просторечия. Но границы литературного и «внелитературного» от этого не смещаются.

Например:

Думал *хват* Денис

(«Казак», 1814) [3]

Ср. в стихотворении Нелединского-Мелецкого «Ответ В. Л-чу М...му», в 1778 году:

«Смотри ко, хват какой! — Он ладит хоть подраться

(Соч., 104)

Милая, небось!

(«Казак»)

Ср. в «Записках» С. Н. Глинки: «Courage, le coeur à l'ouvrage, courage! Страх есть глупость; я люблю *русскую поговорку: небось*» (57).

Но ср. в том же стихотворении отражения французского языка:

Храбрый видит красну деву...
Радость! не страшись... —

при украинском обращении «*коханечка!*», придававшем местный колорит картине:

Выдь, *коханечка,* скорее...
Верь, *коханечка,* пустое

(Ср. в автографе надпись: «Подражание малороссийскому».)

В «Послании к Наталье» (1814):

Дамам вслух того не скажет,
А уж так и сяк *размажет,*
Я *по свойски* объяснюсь

---

[1] «Русск. старина» 1883, сент., 632.

[2] Ср. свидетельство Юзефовича. Ср. Бумаги А. С. Пушкина, изд. П. И. Бартеневым, вып. II, 61.

[3] Ср. «Словарь Акад. Росс.», V, 25—26.

В стихотворении «Городок» (1814):

Но назову ль *детину*, [1]
Что доброю порой
Тетради половину
Наполнил лишь собой!

Ср. однако в басне И. И. Дмитриева «Лиса-проповедница»:

И слава о ее витийстве донеслася
До самого царя зверей,
Который, несмотря, что в нем природа львина,
Был смирный, так сказать, *детина*... [2]

...То мы *уходим* [3] горе
За чашей круговой

(«Городок»).

В «Монахе»:

Тот *девкою* с прелатом повалился.
Святой вздремал, *всхрапел,* как *старый* вол.

Ср.

И вдруг дьячек на крылосе *всхрапел*...
Сомкнул глаза, заснул и стал *храпеть*

Ср. в «Бове»:

Монах *храпит* и чудный видит сон...
Захрапели многомыслящи...

и т. п.

В «Монахе»:

Стоя как пень, и *рот в сажень разинув*...
И на бекрень *взъярясь* клобук надвинув...

В стихотворении «Моему Аристарху» (1815):

Ерошу волосы клоками. [4]

Ср. употребление поговорочного выражения в послании к А. М. Горчакову (1815):

Что прибыли соваться в воду,
Сначала не спросившись броду,
И вслед Державину парить.

В стихотворении «Усы» (1816):

Наедине с красоткой милой
Ты *маешься* — одной рукой,
В восторгах неги сладострастной,
Блуждаешь по груди прекрасной,
А грозный ус крутишь другой.

---

[1] В «Словаре Акад. Росс.», II, слово *детина* отмечено как простонародное.

[2] Соч. И. И. Дмитриева, 1818, ч. III, 11.

[3] «Словарь Акад. Росс.» относит это значение глагола *уходить* к «низкому просторечию» (VI, 1078). Ср. также в «Городке» — описание вестей добренькой старушки, например:

Фома свою хозяйку
Не за что наказал,
Антошка балалайку,
Играя, разломал.

[4] «Словарь Акад. Росс.» глагол *ерошить* считает простонародным (II, 372).

В стихотворении «Мансурову» (1819): «Мансуров, *закадышный друг*...»

Ср.:

Мы пили — и Венера с нами
Сидела *прея* за столом

(27 мая 1819 г.)

Как египетские боги,
Дамы преют и молчат

(«Раззевавшись от обедни», 1821)

Так точно, позабыв сегодня,
Проказы младости своей,
Глядит с улыбкой ваша сводня
На *шашни* молодых *блядей.* [1]

(«Дельвигу», 1821)

И вотще ты *пятишь* гузно

(«Раззевавшись от обедни», 1821)

Ср. стих Дмитриева, примененный Пушкиным в эпиграмме на Каченовского:

Плюгавый выползок из гузна Дефонтена

и др. под.

Трудно усмотреть в этих и им подобных формах просторечия что-нибудь индивидуально характерное для Пушкинского языка — тем более, что некоторые из этих «низких», «грубых» слов явно оставались для самого Пушкина за пределами литературы. Не только лексический состав просторечия, но и его стилистические типы (ср. употребление фамильярного светского «арго»):

Ты ночью *прыгаешь* с прекрасной

(«А. И. Тургеневу», 1817)

в «Евгении Онегине»

... будет бал!
Девчонки *прыгают* заране [2]

употребление военного диалекта — разговорного и официального

Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассесора... [3]

(«Товарищам», 1817)

---

[1] Ср. «Словарь Акад. Росс.», VI, 134.

[2] Примечание к этому стиху: «Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха».

[3] Ср. у И. И. Дмитриева:

Все полз, да полз, да бил челом,
И наконец, таким невинным ремеслом
Дополз до степени известной человеку

(„Модная жена")

и в басне «Башмак, мерка равенства»:

Грудцою наскоча вскричал
Какой-то карлик великану

(Соч. III, 68)

Генерал Орлов,
Обритый рекрут Гименея,
Священной страстью пламенея
Под меру подойти готов
(«К Вас. Льв. Давыдову», 1821)

и т. п. —

говорят о тесной связи Пушкинского языка этой эпохи с социально-бытовыми и литературными разновидностями дворянских стилей разговорной речи. Для сравнения можно привести просторечные слова и выражения из сочинений И. И. Дмитриева: из посланий:

Один *карячится,* надувшись *дичь несет*
(Соч., I, 89)

Обновы музе шьет из разных лоскутков,
Щечится, тратит окуп, а все из бедняков,
(I, 90)

И самого царя *шишикалы* придворны
(I, 97)

из песен:

Меньше *врать,* а больше пить.
(II, 16)

Ср. у Нелединского-Мелецкого в «Эпиграмме»: «Он в прозе и в стихах с успехом равным *врет*». Ср. у Пушкина в эпиграмме на Каченовского:

Палок ищет он чутьем,
А дневного пропитанья
Ежемесячным *враньем.* [1]

Из сказок И. И. Дмитриева:

И через год еще две сотни *зашибу.*
(«Воздушные башни,» II, 18)

Ср. в баснях:

Стоит, *разинув рот и выпуча* глаза.
(Дон-Кишот, 49)

Я *тресну* с голода и злости
(«Суп из костей», 72)

Кирпич иль камешек *лукнул*
(«Два голубя», III, 28)

И начал в них *лукать* [2]
(«Совесть», 44)

и др. под.

---

[1] В «Словаре Акад. Росс.» *врать* считается простонародным словом Ср. в басне Дмитриева: «Пчела и муха»:

Сокройся в улий свой, *вралиха*! иль молчи!

[2] Для нас слово *лукать* стало областным. В начале XIX века оно было «простонародным» и встречалось нередко в низком слоге литературного языка.

Из сочинений Нелединского-Мелецкого (из письма к Д. И. Головниной):

Уж, *матка*, ты мне *уши прожужжала!...*
Ан лих не быть по твоему!
Ну! в этот год *попы машонки понабьют.*
Схватила мать моя себе ты молодца!
Да как подкрался! — И он знать *вор детина:*
Он Дарью поймал: — ведь *экий молодчина!*

(Соч., 112)

Язык этого письма так и просится в параллель с языком старой графини из «Пиковой дамы».

Эти сопоставления с писателями-«европейцами» из старой школы свидетельствуют, что в ранних стихах Пушкина просторечие носит более нейтральный, «городской» характер по сравнению с «областным», поместным и, следовательно, более старомодным просторечием И. И. Дмитриева или Нелединского-Мелецкого. Ближе к Пушкинскому языку по экспрессии просторечие В. Л. Пушкина («Опасный сосед»), кн. П. А. Вяземского [1] и особенно Д. В. Давыдова. Например, из «Опасного соседа» В. Л. Пушкина:

С широкой *задницей*, с угрями на челе,
Вся *провонявшая* и чесноком, и водкой
Сидела сводня тут с известною красоткой...
Брюхастый офицер, полиции рачитель...

Ср. у А. С. Пушкина в «Монахе»:

Тот в Ватикан к *брюхатым* итальянцам...
«Ни с места» — продолжал сосед *велеречивый* [2]

Ни с места! Все равны в *барделе* у *блядей...*
Я на нее взглянул. *Черт дернул!* так и быть!

Ср. в речи самого Буянова:

Я славных рысаков *подтибрил* у Пахома...
Ступай со мной *качнем.*

Ср. у Д. Давыдова:

И в боях *качай-валяй.*

(«Гусарский пир»)

---

[1] Ср. у Вяземского простонародные выражения в роде:

Что ж, как *разнюхают* сударку,
Ее *по шее* да *в припарку*

(„Да как бы не так", 1829)

Закадышная струя

(„Две луны")

и т. п.

[2] Ср. у Пушкина в «Евгении Онегине»:

И вот *сосед велеречивой*
Привез торжественно ответ.

При посредстве цитаты *сосед велеречивой* из «Опасного соседа» Пушкин включает в образ Зарецкого символические формы Буянова.

Проворней отворяй, не то *ракалью в зубы...*

и др. под.

Из сочинений Д. В. Давыдова:

Когда в *барделе* окаянном
Ты *лупишь блядок* по щекам,
Киплю, любуясь на тебя,
Глядя на прыть твою младую.

(«Храброму повесе»)

И тут я *сволочью нахалов* безрассудных
Затолкан до смерти!

(«Договоры»)

А завтра — чорт возьми — как *зюзя натянуся,*
На тройке ухорской стрелою полечу

(«Решительный вечер гусара»)

Ср. в «Евгении Онегине»:

Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого, свалясь,
Как *зюзя* пьяный

(6, V)

В эпиграмме Д. В. Давыдова «На кн. П. И. Шаликова»:

Но *оплеушиной* с закуской
Ему герой наш отвечал.

Ср. у Пушкина:

В полученьи *оплеухи*
Расписался мой дурак?

(«Как сатирой безымянной...» 1829)

В «Гусарской исповеди» Д. В. Давыдова:

Где столько *пуз* затянуто в корсеты

и др. под.

Ср. широкое употребление военного просторечия в стиле Д. Давыдова.

§ 7. Более явственны проблески простонародного языка в «Руслане и Людмиле» Пушкина. Они говорят о левом уклоне поэта, двигавшегося навстречу славянофилам с их демократическим пониманием «народной» речи, но еще не решавшегося уйти далеко от границ Карамзинской традиции.

В поэме «Руслан и Людмила» лексика и фразеология просторечия и простонародного языка беднее всего представлена в авторском повествовании. Редкие словечки и выражения просторечия не ломают структуры Карамзинского стиля. Они только выводят иногда изображаемую действительность за пределы салона, ее «демократизируют», придавая поведению героев простоту и непосредственную грубость старины:

Бояре, задремав от меду,
С поклоном, *убрались* домой

(I, 61—62)

Ср. в послании к кн. А. М. Горчакову (1819):

Но угорел в чаду большого света
И отдохнуть *убрался* я домой.

В «Руслане и Людмиле»:

В седле оправился, *присвистнул...*
(I, 506)

Княжна с постели соскочила...
Дрожащий *занесла кулак,*
И в страхе *завизжала* так,
Что всех арапов оглушила.
(II, 439—444)

Ср. в «Полтаве»:

И с диким смехом *завизжала*

В «Руслане и Людмиле»:

И стал *пред носом* молчаливо;
Щекотит ноздри копием,
И, сморщась, голова *зевнула,*
Глаза открыла и чихнула
(III, 252—255)

Сошлись — и *заварился* бой...[1]

Отдельно стоит несколько «бесцеремонное» и «неприличное» (с точки зрения Карамзинского канона) «Давыдовское» выражение о Дельфире:

А та — *под юбкою гусар,*
Лишь дайте ей усы, да шпоры!
(V, 15—16)

Ср. в начале песни «Девственницы»:

«Она была *под юбкою* герой»

Шире и резче выступает просторечие в диалоге. Таковы выражения низкого слога:

И сон не в сон, как *тошно жить*
(I, 267)[2]

Откройся: кто ты, благодатный
Судьбы наперсник непонятный?
В пустыню кто тебя *занес?*
(I, 271—273)

Молчи, пустая голова!
Слыхал я истину бывало:
Хоть лоб широк, да мозгу мало!

---

[1] Ср. осуждение слова *завариться* в «Невском зрителе», 1820, ч. III стр. 76. Ср. в «Пире во время чумы» в песне председателя:

И заварив пиры да балы,
Восславим царствие чумы.
(IV, 252)

[2] Ср. у Е. А. Боратынского в «Русской песне» (1821):

Тошно жить мне: мать родную
Я покинул!
Тошно жить мне: с милой сердцу
Я расстался!
(Полн. собр. соч., Спб. 1914, т. I, стр. 24)

Я *еду*, еду, не *свищу*
А как наеду, *не спущу!*

(III, 278—283)

Теперь ты наш: *ага дрожишь!*

(V, 91)

Знай наших! молвил он жестоко.

(V, 102)

Я *совершенный был дурак*
Со всей премудростью моей!

(I, 442—443)

Не то — шутите вы со мною —
Всех удавлю вас бородою!

(III, 103—104)

Ступай назад, я не шучу!
Как раз *нахала проглочу!..*

(III, 265—266)

Послушай, *убирайся прочь!*
(III, 273)

Я сдуру также растянулся,
Лежу, не слышу ничего,
Смекая: обману его.

(III, 438—440)

и нек. др.

Правда, «Вестник Европы» (1820, № 11, статья: «Еще критики») решительно высказывался против «простонародности» языка «Руслана и Людмилы», уподобляя Пушкина «Ерусланову рассказчику». «Чего ждать, когда наши поэты начинают пародировать *Киршу Данилова?* Возможно ли просвещенному или хоть немного сведущему человеку терпеть, когда ему предлагают новую поэму, писанную в подражание Еруслану Лазаревичу?.. Живо помню, как все это бывало я слышал от няньки моей; теперь на старости сподобился то же самое услышать от поэтов нынешнего времени!.. Для большей точности или чтобы лучше выразить всю прелесть *старинного* нашего песнословия, поэт и в выражениях уподобился Ерусланову рассказчику, например:

... Шутите вы со мною —
Всех *удавлю* вас бородою!..
Объехал голову кругом
И стал *пред носом* молчаливо;
Щекотит ноздри копием...
Я еду, еду не свищу
А как наеду не спущу.

Потом витязь ударяет голову в щеку тяжкой *рукавицей»* (218—219). На фоне предшествующих рассуждений, направленных против романтического разрушения «языка богов» напором простонародных и просторечных выражений, все эти иллюстрации получают значение обвинений в «нелитературности»: «шутка грубая,

не одобряемая вкусом просвещенным, отвратительна... Если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях, и закричал бы зычным голосом: *здорово, ребята!* — неужели бы стали таким проказником любоваться?» (Ср. защиту просторечия в «Сыне отеч.» 1820, LXIII, № 31). Но это — упреки со стороны крайнего правого крыла «классиков», которые готовы были категорически отрицать просторечные выражения, даже если они «поставлены у места» («Вестн. Европы» 1820, № 16). «И в солнце и в луне есть темные места. Ломоносов употреблял слова: *гать, тое, рыгать, сопхнуть;* несмотря на то, мы все называли их низкими, неприличными. Разве ныне только запрещается это делать...» Не только у Ломоносова, но и у Богдановича уклон к «простонародности» («царевна плачет как *дура*», «едет на *щуке шегардой*» и т. п.) здесь же решительно осуждается «Вестником Европы». Из этих нападок еще нельзя делать заключение о начинающемся отрыве Пушкина от «карамзинства», с которым даже в глазах критики 30—40-х годов была связана поэма «Руслан и Людмила».[1]

И все другие отзывы указывают лишь на единичные «вульгаризмы» в поэме, не осуждая ее общего стиля. Например, А. Ф. Воейков отмечал такие частности: «низкое слово *басурман*» («Сын отеч.» 1820, LXIV, № 36).

«*Всех удавлю* вас бородою

Отвратительная картина!..

Но все легки да слишком малы. Слово *да* низко.

Колдун упал да там и сел.

Выражение слишком низкое» («Сын отеч.» 1820, LXIV, № 37). В особом комментарии нуждается осуждение «мужицких» рифм в стихах:

Объехав голову *кругом*...
Щекотит ноздри *копиём*...
Дразнила страшным языком...
Грозил ей молча *копиём*...

Поверхностному истолкователю может показаться это ё в слове *копиём* данью той «простонародности», к которой призывал Шишков. Но это не так. Шишков возмущался этим ё и категорически отрицал его употребление в книжном языке. Так, он горячо

[1] Ср. «Сын отеч.» 1831, XXIII, ч. 145, № 40, 41, статья И. Среднего Камашева о «Борисе Годунове»; ср. в «Галатее» 1839, III, № 19—20: «При появлении «Руслана и Людмилы» у нас существовала школа пуризма, которую псевдолитераторы назвали *старою школою...* К этой школе принадлежал сам Пушкин не как теоретик, но как практик. Впоследствии времени он, было, уклонился от нее, зато, может быть, и музы иногда уклонялись от него. При конце земного поприща он принес им очистительную жертву в «Каменном госте», в этой, к сожалению, недоконченной пьесе, запечатленной истинным вкусом, необыкновенной отделкой стиха».

протестовал в письме к Ранчу от 23 декабря 1821 г. против «введения в чистый и благородный язык простонародного произношения *йо* или *ё*». «Откуда оно взялося? Возьмем весь письменный язык наш от самого начала его, найдем ли где оное? Находится ли оно в священных писаниях, образцах красноречия, силы и важности слога? Находится ли в летописях, писанных языком простейшим или более народным? Найдем ли оное даже в «Елисее», шутливой поэме Майкова?...». И в другом месте Шишков заявляет: «Хотеть писать одинаковыми словами и выражениями как важную, так и простую речь, есть не знать и унижать достоинство языка. То же можно сказать и о простонародном произношении *йо*. Письменный, чистый и благородный язык не может вмещать в себя оного. Оно терпимо только в разговорном языке, и то в самых низких словах, таковых как *шлйопнуться, клйок*, сердце *йокнуло* и тому подобных».[1] Известно, что впервые употребил *ё* (вм. *йо*) Н. М. Карамзин, напечатав в «Аонидах»: *слёзы* (см. Я. Грот, «Филол. разыскания», II, 206). Таким образом для Шишкова *йо* (*ё*) вместо *е* — карамзинизм, т. е. перенос разговорного произношения в сферу книжного языка.[2] Да и А. Ф. Воейкову указанные им примеры простонародности «Руслана и Людмилы» не мешают восхвалять «разборчивый вкус» ее автора.[3]

---

[1] Ср. также Собр. соч. и перев., V, 96, и мн. др.; «Записки, мнения и переписка адм. А. С. Шишкова», Berlin 1870, I, 411—412. В оценке буквы *е* и самого произношения *ё* вм. *е*, как «простонародного» соглашался с А. Шишковым М. Т. Каченовский, полагавший, что нельзя вводить «простонародное» в «книжный высокий и благородный язык» («Вестн. Европы» 1811, ч. 57, № 12, стр. 302).

[2] Любопытно замечание А. Е. Измайлова («Благонамеренный» 1820, II, № 8) в ответ на рецензию А. Ф. Воейкова: «Под *мужицкими* рифмами разумеет он те, из которых одна имеет в окончании букву о, а другая е. — Однако, такие рифмы употребляются и лучшими нашими стихотворцами, напр., в этой же самой книжке «Сына Отечества», т. е. в 37 № напечатан отрывок из поэмы: *Искусства и Науки*, соч. А. Ф. Воейкова, где между прочим есть рифмы: звездочетства — мореходство, ревет — оплот».

[3] Любопытны, как свидетельство неустойчивости, расплывчатости границ литературного просторечия в эту эпоху, разоблачения «Вестником Европы» стиля самого Воейкова — в ответ на его протест против Пушкинской «простонародности» («Вестн. Европы» 1821, III, № 4). Берутся стихи из «Послания к жене и друзьям» Воейкова:

Подкопан трон, в крови потопло царство,
На плахе добрый царь,
И опрокинутый олтарь!

и комментируются: «какому трону приличны выражения: *подкопан*, говоря о троне; *потопло* царство вместо *потонуло*; на *плахе*, вместо на *эшафоте* или *на лобном месте*; олтарь *опрокинутый*, вместо *ниспроверженный* или *разрушенный*. Какое странное сочетание слов, кои сообщают понятие о предметах высоких и внушающих благоговение, с словами низкими, приличными только *Энеиде на изнанку* или *Елисею* Майкова, не говоря уже, что слово *потопло* есть областное, которое не может быть употреблено ни в каком слоге».

Любопытнее всего то, что сам Карамзин упрекал «Руслана и Людмилу» не за лексику, а за синтаксис и композицию, порицал разорванность частей и экспрессивную пестроту стиля (в письме к И. И. Дмитриеву от 7 июля 1820 г.); «Ты, по моему мнению, не отдаешь справедливости таланту или *поэмке* молодого Пушкина, сравнивая ее с Энеидою Осипова: в ней есть живость, легкость, остроумие, вкус; только нет искусного расположения частей, нет или мало интереса; все сметано на живую нитку» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, Спб. 1866, 289—290).[1]

§ 8. Следующим этапом на пути «демократизации» стихового языка Пушкина была поэма «Братья разбойники». Она по языку резко выделяется из предшествующих произведений Пушкина. С лексики и фразеологии решительно совлекается экспрессия салонной «литературности». Простонародность выступает уже не как экзотический словесный материал, а как область новых характеристических форм речи. Творческие усилия Пушкина направлены на воссоздание народно-эпической «размашки», на достижение экспрессивной свободы повествования. Поэтому уже в авторском стиле намечается сложное смешение двух стихий

---

[1] Вместе с тем нельзя смешивать с стилистическими формами просторечия и простонародности «картин сладострастия», т. е. таких выражений, которые казались неприличными и безнравственными (ср.: «Невский зритель» 1820, № 7; «Сын отеч.» 1820, LXIV, № 36; «Сын. отеч.» 1820, LXV, № 42). Кроме стиха: «А та — *под юбкою гусар*», вся эротическая фразеология не преступает границ условной литературности. А. Ф. Воейков так характеризует это свойство языка Пушкина. Поэт «любит *проговариваться*, изъясняться двусмысленно, *намекать*, если сказать ему не позволено, и кстати и не кстати употреблять эпитеты: *нагие, полунагие, в одной сорочке*, у него даже и *холмы нагие*, и *сабли нагие*. Он беспрестанно *томится какими-то желаниями, сладострастными* мечтами, *во сне и на яву ласкает младые прелести дев, вкушает восторги* и проч.» («Сын Отеч.» LXIV, № 37). В сущности и И. И. Дмитриев больше, чем «бюрлеском», возмущается «неприличием» эротических картин поэмы (письмо к Вяземскому от 20 октября 1820 г.): «Это недоносок пригожего отца и прекрасной матери. Я нахожу в нем очень много блестящей поэзии, легкости в рассказе: но жаль, что часто впадает в бюрлеск, и еще больше жаль, что не поставил в эпиграф известный стих с легкою переменою: La mère en defendra la lecture à sa fille. Без этой предосторожности поэмка его с четвертой страницы выпадет из рук доброй матери». Ср. письмо И. И. Дмитриева к А. И. Тургеневу от 19 сент. 1820 г. (Соч. И. И. Дмитриева, Спб. 1893, II, стр. 269).

С вопросом о просторечии, о раздвижении пределов литературы в сторону простонародного языка не надо смешивать проблему стилистического «прюдства», стилистических приличий. Именно нарушение благопристойности было поводом для самых ожесточенных нападок на «Руслана и Людмилу», как потом на «Евгения Онегина» (ср. в 5 главе:

Онегин тихо увлекает
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью...)

и особенно на «Графа Нулина». Сам Пушкин всегда разделял эти явления

речи — народно-поэтической, которая и по символике и по лексике ближе к сфере «простонародного языка» (ср. старинное и народно-поэтическое слово *чарка:*[1]

И чарка пенного вина
Из рук в другие переходит;

ср. в «Похоронной песне» Иокинфа Магиановича (из цикла «Песни западных славян»):

Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна;

формы народно-поэтического отрицательного параллелизма:

Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
За Волгой, ночью, вкруг огней,
Удалых шайка собиралась;

ср. просторечную конструкцию:

Тот их, кто с каменной душой
Прошел все степени злодейства)

— и стихии литературно-книжной, иногда даже с архаистическим оттенком. Ср.

Опасность, кровь, разврат, обман
Суть узы страшного семейства...[2]

Авторское повествование сменяется рассказом разбойника. Здесь простонародный язык находит более широкое, свободное применение, выражаясь в отслоениях разбойничьих песен и вообще народно-поэтического творчества, например:

В товарищи себе мы взяли
Булатный нож да темну ночь
... на воле
Один гуляет в чистом поле,
Тяжелым машет кистенем.

Но чаще «простонародность» проявляется в открытом, нарочитом употреблении «низких» слов и выражений в развязной и непринужденно-грубой экспрессии повествовательного стиля:

Завидели в харчевне свечи —
Туда, к воротам, и стучим,
Хозяйку громко вызываем;
Вошли — все даром: пьем, едим
И *красных девушек ласкаем!*
Идет ли позднею дорогой
Богатый жид иль поп убогой,—
Все наше! все себе берем.
И что ж? *попались молодцы.*
И стража отвела в острог.
Не он ли сам от мирных пашен
Меня в дремучий лес *сманил..?*

---

[1] Ср. в Словаре 1847 слово *чара* с пометой: старинное (IV, 425).
[2] В «Полярной звезде» 1825 г.:

Вот узы страшного семейства.

То мнил уж видеть пред собою...
И страшный ход до места казни
И кнут и грозных палачей...
Нам *тошен был* и мрак темницы...

Ср. смешение разных стилей:

Забыли робость и печали,
А совесть *отогнали прочь.*
Он снова *жаждою томился*
И градом *пот по нем катился.*
Житье в то время было нам,
Когда, *погибель презирая,*
Мы все делили пополам.
Болезнь ужасная прошла.
И с нею грезы удалились.
Воскресли мы. Тогда *сильней*
Взяла *тоска по прежней доле...*
Потухший взор изобразил
Одолевающую муку;
Рука задрогла, он вздохнул,
И на груди моей уснул.

Экспрессия простонародного рассказа отражается и в синтаксических формах разговорного языка:

Завидели в харчевне свечи
Туда! к воротам...
Вошли — все даром: пьем, едим,
И красных девушек ласкаем.
Река шумела в стороне,
Мы к ней, — и с берегов высоких
Бух! поплыли в водах глубоких...
Он утонул — *мы в воду вновь.*

Эта резкость перехода от просторечия к книжному языку ставилась Пушкину в вину критикой 20—30-х годов. «Разбойник из простолюдинов говорит по местам языком книжным, от этого в колорите происходит неверность, неточность, — погрешность, от которой Пушкин не умел или не хотел освободиться» («Галатея» 1839, II, № 24). И все же путь литературной ассимиляции простонародного языка вырисовывается здесь очень отчетливо.

Таким образом «простонародность» с трудом пробивает себе дорогу в литературно-книжную речь и влечет с собой разнообразные формы разговорного языка, вовсе не типичные для системы самого крестьянского просторечия. Простонародный язык на пути в литературу обслаивается формами устной речи, свойственной интеллигенту.

§ 9. Но с половины 20-х годов «простонародная» стихия вливается в творчество Пушкина более широким потоком и несет с собой свою систему образов и мифов. Она разрушает однообразие отвлеченно-метафорической структуры французского стиля. Она противопоставляет условным, оторванным от живой действительности перифразам и метафорам новые формы симво-

лики, тесно связанной с повседневным бытом. Правда, пределы «простонародности» до конца 20-х годов (1828—1829) еще очень ограничены и изменчивы. «Простонародность» выступает то как одна из форм романтической экзотики, то как одно из выражений «исторической народности». Но приемы русско-французского стиля, постепенно освобождаемые от манерного формализма условно-светской фразеологии, придвигаются к тем границам дворянского просторечия, которые соседили с простонародным языком. Проскальзывают «грубые» выражения. Экспрессия становится более разговорной, более фамильярной, например:

Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно;
Потешил *дерзости бранчивую* свербежь;
Но извини меня: *мне было невтерпеж.*

(«Второе послание к цензору», 1824)

Ср. у кн. П. А. Вяземского в «Послании к А. И. Тургеневу» (1820):

Пусть, радуясь его правленью, каждый
Покорностью почтит властей дележ,
И в свой черед балует прихоть жажды,
И языка болтливого свербежь.

— Фу! надоел курилка журналист!
Как загасить *вонючую лучинку?*
Как уморить курилку моего?
Дай мне совет. — Да... *плюнуть на него.*

(«Жив, жив, курилка!», 1825)

Разговорные конструкции нарушают синтаксическую упорядоченность стиля европейцев, сливаясь в структурное единство с просторечной лексикой.

Но *бестолковая* кукушка,
Самолюбивая *болтушка*
Одно куку свое твердит,
И эхо вслед за нею то же.
Накуковали нам тоску.
Хоть убежать...

(«Соловей и кукушка», 1825)[1]

---

[1] Ср.

То ли дело, быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, об невесте
На досуге помышлять!
То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай,
Ну, пошел же, погоняй!

(„Дорожные жалобы“, 1829)

Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня
И рысью по полю при первом свете дня,
Арапники в руках, собаки вслед за нами...
Куда как весело!

(„Зима. Что делать нам в деревне“, 1929)

Таким образом просторечие (т. е. фамильярно-бытовой язык дворянства, соприкасавшийся с разговорными стилями мещанства и крестьянства) устилает дорогу в литературу для простонародного языка. Это понятно. Иначе невозможен был национальный синтез простонародности с традициями литературно-книжной речи. Простонародность движется в литературу по рельсам дворянского просторечия. Это «мещанство во дворянстве», эта литературная канонизация «просторечия», по мысли Пушкина, должны были привести к национально-литературному синтезу живых стилей.

Но ориентация на просторечие требовала иного отношения к слову. Слово, идиома в просторечии были слиты с предметом и в то же время носили резкий отпечаток субъекта, его экспрессии. Принцип структурности исторически дифференцированных культурно-бытовых контекстов и принцип классового многообразия социально-характеристических варьяций субъектов в историческом разрезе выступают теперь как основные критерии стилистической оценки. Писателем, у которого литературный «предмет» сливался с бытовою вещью, не теряя художественного совершенства и широкого символизма, по мнению Пушкина, был И. А. Крылов.

В свете этих взглядов становится понятной оценка Пушкиным языка Крылова и его поэзии. [1] Пушкин называет Крылова представителем духа русского народа (IX, 21). Своеобразие этой социально-языковой позиции Пушкина и ее принципиальная

А нынче... погляди в окно...
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?

(„Зимнее утро", 1829)

Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это, наконец, и жителю берлоги
Медведю надоест...

(„Осень", 1833)

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен.

и мн. др.

(Ib.)

Ср.:

Что за диво, что за каша
Для рассудка моего!
Чорт возьми, но воля ваша,
Не скажу я ничего

и т. п.

(1826)

[1] В языке басен Крылова, кроме эпиграмматически-поговорочных и пословичных форм народной словесности, нашла художественное воплощение и применение простонародная струя дворянского языка, несколько сближенная с просторечием городской буржуазии. Вот — несколько примеров: «*смышляла* жениха», «уж стали женихи *навертываться* реже» («Разборчивая невеста»); «дел *веремя*»; «*чай,* он *зубаст*»; «за что ж к ослам ты столько лих» («Осел»); «у меня его *с руками оторвут*» («Червонец»); «*не*

отдаленность от традиции «европейцев» аристократического толка уясняются из такого протеста кн. Вяземского против «представительства» Крылова: «И жопа есть некоторое представительство человеческой природы, но смешно же было бы живописцу ее представлять, как типическую принадлежность человека. Назови Державина, Потемкина представителями русского народа, это дело другое; в них золото и грязь наши par excellence. Но *представительство* Крылова и в самом литературном отношении есть ошибка, а в нравственном, государственном даже и преступление de léze-nation, тобою совершенное» (Переписка, I, 305). Характерен ответ Пушкина, сочетающий каламбурную манеру Вяземского со стилем Крылова: «Ты уморительно критикуешь Крылова, молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума. Я назвал его представителем *духа* русского народа — не ручаюсь, чтоб он отчасти не вонял. В старину наш народ назывался смерд» (Ib., 301). В связи с этим любопытно указание Вяземского, сделанное им на полях «Цыган», против стиха: «Где нет любви, там нет веселий»: «*Голубок* Крылова». В самом деле, слова Алеко соответствуют таким стихам крыловской басни: «Мор зверей»:

С голубкой голубь врозь живет,
Любви в помине больше нет,
А без любви какое уж веселье? [1]

Однако было бы ошибочно думать, что на пути литературного усвоения просторечия и простонародного языка Пушкин выбрал Крылова своим единственным руководителем. Для Пушкина здесь были интересны все дороги — и В. Л. Пушкина («Опасный сосед»), [2] и Д. В. Давыдова (ср. отражения его сти-

---

зевай — тут будет на харчи», «*да лих* свалился он не *с олухом-детиной*» («Разбойник и извощик»); «*шмыгнуть*», «ты всем в деревне *насолил*» («Волк и кот»); «будешь не *в накладе*», «взял за него *сотняжку, бог олушка послал*» («Купец»); «*вышел* новый чин ослу, бедняжке, *соком*»; «ослу колом *ворочает бока*» («Осел»); «свинья на барский двор когда-то *затесалась*» («Свинья») и мн. др. под.

[1] Полн. собр. соч. И. Крылова, 1847, II, 139. Замечателен отзыв В. Плаксина, считавшего Пушкина, после И. А. Крылова, первым «народным поэтом в полном смысле этого выражения»: «Все их (Крылова и Пушкина) предшественники, классики и романтики, писали для немногих, для высших только сословий; самые баснописцы всегда употребляли язык книжный. И. А. Крылов — басни, а потом А. С. Пушкин поэмы начали писать так, что одно и то же произведение и вельможа и простолюдин читают с равным удовольствием. Пушкин... не старается, подобно В. А. Жуковскому, обогащать русский язык новыми оборотами, а разрабатывает богатый, неисчерпаемый рудник языка народного; он материальную часть нашего языка знает лучше всех других писателей; его можно назвать окончательным образователем внешней стороны нашей поэзии» («Сын отеч.» 1831, ч. 142 и 143, № 24, 25, 26, 27 и 28).

[2] Ср. выступление Буянова в 5 главе «Евгения Онегина»:

Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком...

хового стиля в «Евгении Онегине», прозаического — в «Истории Пугачевского бунта»; ср. стихотворение Пушкина «Д. В. Давыдову», 1836), и П. А. Катенина (ср. отзыв Катенина о пушкинском «Женихе», 1824), и А. С. Грибоедова (ср. замечание В. К. Кюхельбекера, «Дневник», 92—93), и Н. М. Языкова, и Н. И. Хмельницкого (в его пьесах), и даже кн. П. А. Вяземского. Насколько некоторые формы этого просторечного стиля были далеки от буржуазного понимания и признания, показывает стилистический анализ Пушкинского послания к Языкову (1826), сделанный в 40-х годах В. Г. Белинским: «Что такое *удалое послание,* и почему же это только удалое, а вместе с тем и не *ухарское,* не *забубенное?* Что такое — *буйство молодое?* — В «Слове о полку Игореве» слова: *буй* и *буесть* употреблены в смысле *храбрый, сильный, храбрость, богатырство;* но в наше время *буйство* означает только ту добродетель, за которую сажают в тюрьму. И потом: что за эпитет — *молодое буйство? Хмельная брага* — напиток, который сами наши поэты заменяли или английским портером или кроновским пивом. Эпитет *разымчивый* происходит от глагола *разнимать, разбирать,* о пьяных говорят: *эк его разнимает,* эк его *разбирает!* Что такое *свободная жажда* — решительно не понимаем».[1]

Просторечная лексика и идиоматика, с ее «низкой» предметно-бытовой и экспрессивной атмосферой, бросает отсвет на светскую фразеологию, придавая ей оттенок легкой, свободной иронии, не уничтожавшей однако разнообразия скрытых под ней других более глубоких экспрессивных изъявлений. Таково, например, простое это изреченье: «*Аминь, аминь, рассыпься*», прогнявшее сатану и ставшее символической формой выраженья страсти в стихотворении «Е. Н. Ушаковой» (1827). Такова просторечная примесь в стихотворении «К Языкову» (1827):

И что ж? Гербовые заботы
Схватили за полы меня.

В послании к Великопольскому (1828):

Вот молодежь: погорячился,
Продулся весь и так пропал...

В ответе Катенину (1828):

Пока воинственный угар
Его на месте *не подкосит...*
Я сам служивый: мне домой
Пора убраться на покой.

Вместе с тем возникают острые формы стилистических антитез и контрастов, создаваемые столкновением и противопоста-

Ср. некоторые стилистические черты в обрисовке образа Зарецкого, восходящие к «Опасному соседу», например эпитет: «сосед велеречивый».

[1] «Русская литература в 1844 г.» («Отеч. зап.», 1845, № 1).

влением литературно-книжных и просторечных выражений. Например, в стихотворении «Чернь» в словах поэта (1828):

Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже;
Ты пищу в нем себе варишь.
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор — полезный труд!
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?

В стихотворении «Осень»:

... — Нельзя же целый век
Кататься нам в санях с Армидами младыми
Иль *киснуть у печей* за стеклами двойными?

и др. под.

К концу 20-х годов слагалась и утверждалась в языке Пушкина новая сфера литературной действительности — «низкая природа», укреплялись «низкие слова» — те, которые питали повседневный речевой быт дворянина, еще не утратившего национальной индивидуальности. [1] В «Евгении Онегине», «Графе Нулине», «Домике в Коломне» и целой серии стихотворений выступают эти новые приемы воспроизведения быта простыми и «прозаическими» красками его повседневных речевых отражений. Таковы, например, еще не очень резкие проявления просторечия в «Графе Нулине»:

Все, подбочась, обозревает...
Он холку *хвать* и в стремя ногу.
В деревне скучно, грязь, ненастье,
Осенний ветер, мелкий снег,
Да вой волков. Но *то-то* счастье
Охотнику...

Жалеет о Париже *страх*...
Давно *храпит* слуга в передней...
Сгорел граф Нулин от стыда,
Обиду *проглотив* такую

и др. под.

Это «обнажение» натуры и воспроизведение ее в формах фамильярно-бытового, внелитературного просторечия возбудили упреки у старых литераторов Карамзинской школы и у буржуазных искателей высоких предметов искусства, например у Надеждина, которому творчество Пушкина представлялось пародией, цепью карикатур-гротесков. В этом смысле расценивались просторечие и простонародность всех произведений, например

---

[1] Ср. в эпиграмме (1829):

Сердито Феб его прервал
И тотчас *взрослого болвана*
Поставить в палки приказал.

Ср.:

Так *старый хрыч* цыган Илья...

1831)

того же «Графа Нулина». Картина барского двора, открывшаяся взору Натальи Павловны, привлекла особенное внимание Надеждина: Наталья Павловна

«... скоро как то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо (?) занялась.
Кругом мальчишки хохотали;
Меж тем печально под окном
Индейки с криком выступали
Во след за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже.
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор...

«... Здесь изображена природа во всей наготе своей à l'antique. Жаль только, что сия мастерская картина не совсем дописана. Неужели в широкой раме черного барского двора не уместились бы две, три хавроньи, кои, разметавшись по-султански на пышных диванах топучей грязи, в блаженном самодовольствии и совершенно епикурейской беззаботности о всем окружающем их, могли бы сообщить нечто занимательное изображенному зрелищу?.. Почему поэт, представляя бабу, идущую развешивать белье через грязный двор, уклонился несколько от верности, позабыв изобразить, как она, со всем деревенским жеманством, приподнимала выстроченный подол своей пестрой понявы» («Вестн. Европы» 1829, № 3). Гоголь, как известно, довершил ироническое пожелание Надеждина: «Нигде растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то перебранивались» («Мертвые души»). Таким образом Пушкин с точки зрения норм старой высокой литературы, отчасти усвоенных и буржуазной традицией, вводил чересчур низкие предметы в стихи:

«Она Тарквинию с размаха...

(«Уф!..» — восклицает Надеждин)

Дает пощечину, да! да!
Пощечину, да ведь какую!..

Вот истинно высокое поэзии!.. Какой беспредельный океан вскрывается для взора и слуха читателя... Здесь живописец сливается с музыкою, краски мешаются со звуками...»[1]

---

[1] Ср. в «Сыне отеч.» (1829, CXXIV, № 12) иронический отзыв о критике Надеждина в статье «О чутье критика, живущего на Патриарших прудах» — статье, применившей к Надеждину образ Крыловской хавроньи, которая не приметила богатства никакого:

Все только лишь навоз да сор.

В «Евгении Онегине» просторечие, которое вовсе не появляется в первой главе и лишь смутно мелькает во второй —

И *запищит* она (бог мой!)...
Вражду, любовь, печаль и радость
Она готова *разболтать.*
И все тогда *пошло на стать.* [1]

постепенно начинает с третьей главы, сплетаясь с простонародностью, все глубже проникать в ткань повествования. Отзывы современной Пушкину критики бегло рисуют этот общий процесс «демократизации» Пушкинского стихового языка. [2] В авторский язык Пушкина проникают такие грубые слова, как *сволочь*, [3]

А вы, ребята, подлецы,
Вперед! Всю вашу сволочь буду
Я мучить казнию стыда
(Набросок «О муза пламенной сатиры», 1830)

Из мелкой сволочи вербую рать
(«Домик в Коломне»)

Ср. употребление этого слова Катениным («Ольга»). Ср. у Н. М. Языкова в стихотворении «Графу Д. И. Хвостову»:

Но признаюсь, я робким взором
Смотрю на будущность мою,
Хотя не вместе с буйным хором
Бескнижной сволочи пою.

Ср. также у Пушкина в «Истории Пугачевского бунта».
Шлюха: [4]

Меж ними нет, замечу кстати,
Ни тонкой вежливости знати,
Ни милой ветренности шлюх
(Ненапеч. строфа IV гл. «Евгения Онегина»)

и др. под.

---

[1] Ср. иное значение *стать* («склад в телосложении», по определению «Акад. словаря»):

Не стану их надменно браковать,
Как рекрутов, добившихся увечья,
Иль как коней, за их плохую стать.
(«Домик в Коломне»)

Ср. у Крылова:

Да плакать мне какая стать?

[2] Ср. данные у Ф. Е. Корша в работе «К вопросу о подлинности «Русалки»; у К. А. Шимкевича в статье «Пушкин и Некрасов»; у А. Грушкина в брошюре «К вопросу о классовой сущности Пушкинского творчества», 1931 (впрочем, эта книга богата всякими наивными утверждениями) и др.

[3] «Словарь Акад. Росс.» 1822, VI, причисляет слово *сволочь* к простонародным словам и определяет так: «Собрание, скопище, сходбище разных людей низкого состояния. *В этом доме всякая живет сволочь*» (74).

[4] Характерно, что это значение слова *шлюха*, как «неприличное», вовсе не помещено в «Словаре Акад. Росс.». Здесь читаем (VI, 1370): «*Шлюха, -хи* и умалит. *шлюшка, -шки*, с. ж. 1 скл. Небольшая бабка». В «Общем церковнославяно - российском словаре» П. Соколова (1834) добавлено: «Небольшая говяжья бабка» (II, 1732).

«Домик в Коломне» (1830) является теоретическим манифестом новых принципов литературно-просторечного стиля и их иллюстрацией. Разрушается система высокой русско-французской фразеологии, облекавшей основные поэтические символы — *рифмы, стиха, Пегаса, Парнаса, Феба, муз.* [1] Так, рифмы выступают в образе рекрутов, «мелкой сволочи», к которой раздается команда на языке военного просторечия:

... слушай!
Равняйтеся, вытягивайте ноги
И по три в ряд в октаву заезжай...
Держись вольней и только не плошай.

В исключенных строфах были отражения и военного арго:

У нас война. Красавцы молодые!
Вы, *хрипуны* (но *хрип* ваш приумолк),
Сломали ль вы походы боевые?..

Вспоминается характеристика Скалозуба, данная Чацким в образах офицерского арго:

Хрипун, удавленник, фагот...

«*Хрипунами* прозывали за картавое произношение звука *Р* тех военных фанфаронов, которое употребляли всегда французский язык вместо русского, имели высокомерно-хватовской вид и старались отличиться светскою ловкостью».[2] И на этом фоне приобретает особый символический смысл противопоставление Ширванского полка «светским», столичным «хрипунам», сравнение октавы, как формы нового стиля, с Ширванским полком:

Видали ль в Персии Ширванский полк?
Уж люди! Мелочь, старички кривые,
А в деле всяк из них, что в стаде волк,
Все с ревом так и лезут в бой кровавой.

---

[1] Ср. в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы», образы Парки и Жизни:

Парки *бабье лепетанье...*
Жизни *мышья беготня.*

(1830)

Ср. стиль пейзажа в «Евгении Онегине»:

Гулять? Но голы все места,
Как лысое Сатурна темя,
Иль крепостная нищета...

и т. п.

[2] М. И. Пыляев, «Замечательные чудаки и оригиналы», стр. 37. Ср. также М. И. Пыляев, «Старое житье», Спб. 1892: «Офицеров, которые отличались светскою ловкостью и французским языком, называли «хрипунами», последнее название произошло от подражания парижанам в произношении буквы *Р*» (101). Кн. П. А. Вяземский приписывает военно-жаргонное значение слова *хрип* творчеству конногвардейца «лингвиста» Раевского: «Слово *хрип* также его производства, оно означало какое-то хватовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственною хриплостью голоса» («Старая записная книжка», 110). Повидимому, определение кн. П. А. Вяземского тоньше и ближе к действительности.

В соответствии с этим литературным апофеозом внешней неприглядности, будничности и картина Парнаса облекается символикой «смиренной лачужки», в которой «в отставке Феб живет».[1]

...Но Пегас
Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец
Иссох. Порос крапивою Парнас.
В отставке Феб живет, а хороводец
Старушек муз уж не прельщает нас.
И табор свой с классических вершинок
Перенесли мы на толкучий рынок.[2]

Эти стихи своим просторечно-бытовым языком разительно отличаются от таких, например, торжественно-классических картин Парнаса:

Ты пел — и весь Париж в восторге пробудился;
В Феррару с музами Феб юный ниспустился;
Назонову тебе он лиру сам вручил.
И гений крыльями бессмертья осенил

(Батюшков, «Тассу»).[3]

---

[1] Ср. Манифест нового стиля в «Путешествии Онегина»:

Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых —
Раздолье уток молодых;
Теперь мила мне балалайка
Да пьяный топот трепака
Перед порогом кабака.
Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой.

Достаточно сопоставить с этим стилем такую оценку простонародной поговорки *щей горшок, да сам большой,* которая представляется «карикатурным выражением мысли, что независимость обеспечивает человека», в «Российском музеуме» 1815, ч. II, в статье: «Некоторые черты дурного вкуса»: «На сих днях случилось мне встретить образец... дурного вкуса. Я видел две печати с эмблемами и девизами весьма странными. На одной представлен горшок с ложкою перед сидящим человеком, вокруг вырезана надпись: *щей горшок, да сам большой»* (стр. 197).

[2] Ср. в одной из редакций следующие стихи:

И там себе мы возимся в грязи,
Торгуемся, бранимся так, что любо,
Кто в одиночку, кто с другим в связи...

[3] Но ср. у Н. М. Языкова в стихотворении «Барону Дельвигу» (1829) символы поэтического «служения», близкие к пушкинским:

Пушкинским «приниженным» образам Парнаса соответствует и фамильярный стиль обращения с музой, которая похожа на коломенскую Парашу:

Усядься, муза, *ручки в рукава,*
Под лавку ножки! не вертись, резвушка!

Отсюда — такие черты просторечия в «Домике в Коломне», как, например:

К чему? скажите: уж и *так мы голы...*
Из мелкой *сволочи* вербую рать.
Поплетусь-ка дале.
При ней *варилась гречневая каша.*
Бывало, мать *давным-давно храпела,*
А дочка — на луну еще смотрела.
Везде во всем уж как-нибудь *подгадит.* [1]
«Ах, ах!» и шлепнулась...
Да ну бежать, закрыв себе лицо

и т. д.

Ср. формы просторечия в стихотворении «Дорожные жалобы» (1829), [2] «Эпиграмма» (1829), «Делибаш» (1830), «Румяный критик мой» (1830), «Моя родословная» (1830), «Гусар» (1833), «Родословная моего героя» (1833) и мн. др. под.

§ 10. Стилистические функции просторечия целесообразнее показать на подробном анализе какого-нибудь стихотворения, хотя бы «Д. В. Давыдову» (при посылке «Истории Пугачевского бунта») (1836). Здесь смешение просторечия с формами литературного языка создавало своеобразную разновидность приема символических отражений. [3] Один и тот же образ как бы дви-

---

Непроходимо—беспокойно
Служенье Фебу в наши дни:
В раздольи буйной толкотни
Кричат, бранятся непристойно
Жрецы поэзии святой...
Так точно праздничной порой
Кипит торговля площадная;
Так говорливо вторит ей
Разноголосица живая
Старух, индеек и гусей!
Туда ль душе честолюбивой
Нести плоды священных дум,
Да увлекут они счастливо
Простонародный крик и шум!

(Стихотворения Н. Языкова, 1833, стр. 188—189)

[1] Ср. в «Моей родословной»:

Упрямства дух нам всем *подгадил...*

[2] Ср.:

Иль чума меня *подцепит,*
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум *влепит*
Непроворный инвалид?..
Иль со скуки *околею*
Где-нибудь в карантине?

[3] О приеме символических отражений подробно см. в моей книге «Стиль Пушкина».

жется через разные сферы социальной групповой, классовой терминологии и символики, переводится с одного стиля на другой.

Так, в стихотворении «Д. В. Давыдову» (при посылке «Истории Пугачевского бунта») уже в первом стихе показываются (будучи предначертаны обращением А. В. Арно к Давыдову: A vous poëte, à vous guerrier) два символических лика — певца и героя, которые сливаются в образе чудного наездника (Д. В. Давыдова):

Тебе п е в ц у, тебе г е р о ю.

Этот образ наездника символически включается в образ *героя* посредством эффектной картины неудавшихся мечтаний лирического «я»:

Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.

Так устанавливается контраст между лирическим «я», которое является только «певцом», и образом *певца-героя* в лице «ты» (Д. В. Давыдова). Этот контраст обостряется тем, что лирическое «я» и в сфере поэзии каламбурно-иронически приспособляет к себе образы военной службы:

Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир...

Следовательно, образ н а е з д н и к а перемещается в метафорический план.[1] Тем самым он контрастно применяется к обоим поэтам. И тут еще раз за адресатом, за собеседником (Д. В. Давыдовым), утверждаются его прямые военные эпитеты — обозначения «отца и командира». Это прикрепление к Давыдову званий «отца и командира» получает особенную символическую значительность от того, что сам поэт-партизан применял к Пушкину эти эпитеты — «Парнасского отца и командира». Теперь они как бы возвращаются по их истинному адресу:

Но и по этой службе трудной
И тут, о мой наездник чудной,
Ты мой отец и командир.

Ср. у кн. П. А. Вяземского в стихотворении «А. Я. Княжнину» (1823):

Почтенный инвалид в служении Беллоне,
И добрый офицер в почетном батальоне,
В котором твой отец — *отец и командир!*

Эти характеристические названия («отец и командир») создают атмосферу солдатской «простонародности». Они мотивируют ввод новой вариации образа наездника, но уже из иного социально-

---

[1] Ср. у И. Е. Великопольского в «Послании к А. С. Пушкину» (1826):

Но смелый всадник на Пегасе,
Ты так же пылок на сукне,
Как ты заносчив на Парнасе.

речевого круга. Они переводят образную патетику предшествующих стихов в стилистический строй военного просторечия.[1] Ср. усиление фамильярного стиля: «*Вот мой Пугач*: при первом взгляде он виден...». Ср. просторечную характеристику Пугача: «*плут, казак прямой*». Итак, формами «партизанского просторе-

---

[1] Сам по себе прием употребления профессиональной, служебной символики в применении к Парнасу не нов. Еще в стихотворении «Моему Аристарху» (1815) Пушкин писал:

Так пишет (молвить не в укор)
Конюший дряхлого Пегаса
Свистов, Хлыстов или Графов,
Служитель отставной Парнаса...

Ср. у Жуковского в шутливом ответе на письмо «Хорошо, что ваше письмо коротко» (1812):

А служба? вот иное!
Но я служу давно!
Кому? — Султану Фебу!
И лезу прямо к небу,
С простых чинов начав!
Я прежде был пристав
Крылатого Пегаса,
За стойлами Парнаса
Душистыми глядел.
Но вскоре произвел
Не в очередь за рвенье,
И прочим в поощренье
Державный Феб потом
Меня истопником

Ср. у И. И. Дмитриева в послании «К графу Н. П. Румянцеву»:

Довольно и того мне жребия в удел,
Что рядовой на Пинде воин,
Давно желанный лик героя приобрел.

(Соч., 1818, I, 107)

Но от этих традиционно-литературных образов Пушкин отходит в 20-х годах, сближая свою символику с формами бытового просторечия.

Так, в «Ответе Катенину» (1828) военные образы имеют уже ярко выраженный реалистический характер и особенно в применении к лирическому «я» ориентируются на солдатское просторечие.

Не так ли опытный гусар,
Вербуя рекрута, подносит
Ему веселый Вакха дар,
Пока воинственный угар
Его на месте не *подкосит?*
Я сам служивый: мне *домой*
Пора убраться на покой.
Останься ты в строю Парнаса...

Ср. у князя Вяземского в стихотворении «Остолопову» (1812):

А я, я рекрут новобранный
И на Парнасе безымянный...

чия» изображается Пугач, т. е. главный герой Пушкинской «Истории Пугачевского бунта». Стилистический эффект этого нового языкового «поворота» в движении стихотворения состоит в том, что на литературный образ Пугачева, созданный автором, накладываются стилистические краски казака, «лихого урядника» из передового отряда партизана Давыдова.[1] Это литературное сродство Пугачева с Давыдовскими партизанами ведет к новой смысловой параллели между автором («я», просто певцом) и певцом-героем («ты»). С одной стороны, Пугач как бы реабилитирует автора, создавшего этот героический образ «плута, казака прямого», «урядника лихого»; с другой стороны, образ Пугача еще ярче показывает своим «казацким» выражением зависимость автора (т. е. Пушкина) от его «отца и командира» на литературном поприще (от Д. В. Давыдова).

Таким образом все смысловое движение стихотворения определяется строем слов и фраз, которые, притягиваясь к образу наездника, то вращаются в сфере книжного языка, то вырываются из него в среду разговорно-военного просторечия. И на этом фоне своеобразное социологическое истолкование получает образ Пугачева, сведенный с романтических высот байронизма в историко-бытовой мир плутов-казаков из партизанского отряда Дениса Давыдова.

§ 11. Просторечие, вливаясь в систему литературного языка, изменяло не только мир литературных «предметов», но и круг литературных героев. Оно отражалось и на предметно-смысловых и на субъектно-экспрессивных формах слов.[2] Субъект речи, пользуясь выражениями «грубого» просторечия, выходил из обстановки «светского» литературно-общественного этикета и из круга литературных переживаний. Он вступал в разнообразные и изменчивые контексты фамильярно-бытового обихода. Его экспрессия, формы обращения с «собеседником» теряли печать светской галантности.[3] Интонации и манера речи ста-

---

[1] Острота образов Пушкина станет резче, если раскрыть облекающие их намеки на поэтический автопортрет Д. В. Давыдова (1824—1825):

Я не поэт — я партизан, казак,
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком
И беззаботно кое-как
Раскидывал перед Кастальским током
Мой независимый бивак.

[2] Просторечие, врываясь в стихи, становясь его стилеобразующей формой, создает впечатление «прозаичности». «Галатея» так и писала о седьмой главе» «Евгения Онегина»: «Многие стихи у него не стихи, но проза, заостренная рифмою, которая часто заставляет его повторять одну и ту же мысль» («Галатея» 1830, XIII, № 14).

[3] Ср. стиль разговора друзей в стихотворении «Любопытный» (1828):

— Эй не хитри: ты верно что-то знаешь...
«Ох! отвяжись, я знаю только то,
Что ты дурак, да это уж не ново».

новились непринужденными, свободными от стеснений салонного этикета.

Так, в «Евгении Онегине» критик строгий «нашей братье рифмачам»

Кричит: «да перестаньте плакать
И все одно и то же квакать...»
(4, XXXII)

С другой стороны, в стихотворении «Румяный критик мой» (1830) сам «автор» с такой грубой и развязной фамильярностью ведет разговор с критиком:

Румяный критик мой, *насмешник толстопузой,*
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди ка ты сюда, присядь ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой...

И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал, да церковь отворил:
Скорей, ждать некогда! давно бы схоронил!
Что, *брат, уж не трунишь, тоска берет — ага!*

В стихотворении: «Как сатирой безымянной Лик зоила я пятнал» (1829):

Отвечал он? точно ль так?
В полученьи *оплеухи*
Расписался мой дурак?

В стихотворении «Моя родословная» (1830):

Смотри, пожалуй, вздор какой!
Я, братцы, мелкий мещанин.
Упрямства дух нам всем *подгадил...*
С Петром мой пращур не *поладил...*
И не *якшаюсь* с новой знатью...
Я сам большой, я мещанин.

В стихотворении «Я здесь, Инезилья» (1830):

Проснется ли старый,
Тотчас *уложу;*

и мн. др.

Но ср. иные формы просторечия в стихотворении: «Французских рифмачей суровый судия» (1833):

Не лучше ль вам стократ с надеждою смиренной
Заняться службою гражданской иль военной,
С хваленым Жуковым табачный торг завесть...
Чем объявления совать во все журналы,
С оплошной публики (как некие писаки)
Подписку собирать — на будущие враки.

Ср. у Е. А. Боратынского:

На чепуху и враки
Чутьем наведена
Занятиям мараки
Мешать пришла она
(„На некрасивую виньетку", 1827)

С просторечием, с разными его кругами, были связаны разные субъектно-характеристические образы. Ведь язык — не только система форм выражения, но и система социальной характерологии. В просторечии, в простонародном языке были заложены свои характеристические образы субъектов, действующих среди той общественной обстановки, в пределах которой применялись разные стили просторечия. Таким образом просторечие несло в язык Пушкина не только новые национально-характеристические формы субъектов, но и новые социально-бытовые контексты, новые варианты социальной биографии лирического или повествовательного «я». Характерен образ лирического «я», гуляющего на свете — то в коляске, «то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком», в стихотворении «Дорожные жалобы» (1829):

Не в наследственной *берлоге,*
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил...
То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..

Таким образом просторечие выводило лирического героя из круга салонных изъявлений, вовлекало его в иные бытовые ситуации, сталкивало с собеседниками из «простонародья». Ср. стиль обращения автора к своим «собеседникам»:

Делибаш! *не суйся к лаве,*
Пожалей свое *житье*
Вмиг *аминь лихой забаве*:
Попадешься на копье.
Эй, казак! не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч *удалую башку.*

(«Делибаш», 1830)

Характерно, что именно в эту эпоху в творчестве Пушкина образ «лирического я» погружен в атмосферу деревенского быта или дорожных скитаний. Сопоставление дорожного цикла Пушкина с соответствующим жанром стихотворений хотя бы кн. Вяземского (например, «Станция», «Зимние карикатуры» и др.) легко может обнаружить более демократическую, менее барскую окраску Пушкинского просторечия. Например, в Пушкинских «Бесах» символика метели, представление ее в образе кружащихся бесов, «надрывающих сердце визгом жалобным и воем», вовлекается в авторский язык из речи ямщика (ср.: «Вон уж он далече скачет»). Эта речь литературно стилизована, но в ней просачиваются струи живого простонародного языка, например:

Нет *мочи:*
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно:
Сбились мы!!... Что делать нам!
В поле бес нас водит, *видно,*
Да кружит по сторонам.
Посмотри: *вон вон играет,*
Дует, плюет на меня...

В авторском изображении простонародный бес символически сливается с кружащейся снежной пылью метели: он превращается в бесконечное множество «духов», собравшихся средь белеющих равнин, затем в «бесов», обвеянных мифологией простонародья:

Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

В появившихся почти одновременно с «Бесами» [1] стихотворениях Вяземского «Кибитка» и «Метель» [2] сходные мифологические образы облечены совершенно иной экспрессией каламбурно-иронической издевки, насмешливого остроумничанья барина-европейца. Лексика и фразеология представляют не только пеструю смесь литературно-книжных образов, посыпанных, как перцем, простонародными образами и словечками, но образуют назойливую «игру слов», напоминающую об авторе — салонном остроумце.

В стихотворении «Метель»:

Штурм сухопутный: тьма и страх!
Компас не в помощь, ни *кормило:*
Чутье заглохло и застыло
И в ямщике и в лошадях.
Тут выскочит *проказник леший,*
Ему раздолье в *кутерьме:*
То огонек блеснет во тьме,
То перейдет дорогу пеший...
Пойдешь вперед, поищешь сбоку,
Все глушь, все снег, да *мерзлый пар,*
И божий мир стал *снежный шар,*
Где как ни шарить, все без проку
Тут к лошадям *косматый враг*
Кувыркнется с поклоном в ноги,
И в полночь самую с дороги
Кибитка на бок и в овраг. [3]

---

[1] «Бесы» напечатаны в «Сев. цветах на 1832 г.».

[2] Из цикла «Зимние карикатуры» (Отрывки из журнала зимней поездки в степных губерниях, 1828), напечатанного в «Деннице» на 1831 г.

[3] Ср. в «Кибитке»:

Подушки, *отдыха приюты,*
Неугомонною возней,

Для иллюстрации тех напряженных драматических символов при изображении судьбы «лирического я», которые создавались смешением просторечия с формами литературно-романтического стиля, представляет глубокий интерес стихотворение «Не дай мне бог сойти с ума» (1834). Ср. просторечные строки:

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака,
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.

§ 12. Просторечие уже включало в себе некоторые элементы «простонародности» — в понимании Пушкина. Сближение литературной действительности с областью «просторечия» налагало отпечаток «простонародности» на образы и символы поэтического творчества Пушкина. Простонародность просачивается в авторский стиль, служивший нормой литературного выражения, двумя струями. Одна движется через диалоги литературных субъектов, помещенных в сферу солдатского или крестьянского быта; другая, вторгаясь в символику автора, несет с собой новую систему образов, которые постепенно обрастают простонародной лексикой и фразеологией. Для характеристики этих новых символов и связанных с ними новых форм синтаксического построения интересные наблюдения можно извлечь из анализа стихотворения «Телега жизни» (1823) как наиболее раннего проявления этой простонародно-бытовой струи в Пушкинской символике. Небесполезно сопоставить языковую структуру Пушкинской «Телеги жизни» и стихотворения И. И. Дмитриева «Путешествие» (Соч., 1818, II, 73).

В них — при различии ритма и метра — одна и та же лирическая тема и сходный образ путешествия до «ночлега», до «пристанища», как символ течения жизни.[1]

Скользят, вертятся под тобой,
Как будто в них *бесенок лютый...*
И в шапке *дьявол колобродит.*
То лоб теснит, то с лба ползет,
То голова в нее уйдет,
То с головы она уходит...
Дремота липнет ли к реснице,
Твой сон горячки бред шальной;
То *обопрется домовой*
На грудь железной рукавицей.

[1] Промежуточную лексическую форму, осложненную новой символикой и тематикой, представляет стихотворение Боратынского «Дорога жизни» (1825) (ср. такие слова, как *корчма,* путевые *прогоны*). В этом стихотворении характерны не только близкое к Пушкинскому стилю символическое переосмысление бытовой повседневности («дорога жизни», «нас быстро годы почтовые с корчмы довозят до корчмы», «путевые прогоны жизни платим мы»)

Вот текст стихотворения И. И. Дмитриева:

Начать до света путь и ощупью идти,
На каждом шаге спотыкаться,
К полдням же за треть дороги перебраться;
Тут с бурей и грозой бороться на пути,
Но льстить себя вдали какою-то мечтою;
Опомнясь, под вечер вздохнуть,
Искать пристанища к покою,
Найти его, прилечь, и наконец уснуть...
Читатели! загадки в моде;
Хотите ль ключ к моей иметь?
Все это значит в переводе:
Родиться, жить и умереть. [1]

Для языка этого стихотворения характерно, прежде всего, лексическое и символическое однообразие, определенное нормами «среднего стиля». Отслоения просторечия — «*до света*», «*к полдням*», «*перебраться*» — не нарушают общих норм разговорной речи, приспособленной к «салону», к светскому обществу. Выражения, отзывающиеся книжностью: «*льстить себя* вдали какою-то мечтою», «*искать пристанища к покою*» — в ту эпоху характеризовали разговорно-бытовое светское красноречие в его галантных риторических изъявлениях.

и смешение книжной фразеологии с формами бытовой речии («снов золотых... *запас*»; «снами теми путевые *прогоны жизни* платим мы»), но и эффектное завершение стихотворения формой прерывистого присоединения, создающей экспрессивное напряжение:

Нас быстро годы почтовые
С корчмы довозят до корчмы,
И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.

(Соч. Боратынского, I, 83)

Однако в стихотворении Боратынского нет оттенка «простонародности». Ср. также лексику и образы «партизанского» стихотворения кн. Вяземского «Катай — валяй» («Альбом северных муз», 1828), в котором есть единичные блестки простонародности:

По нивам, по коврам цветистым
Не тороплюсь в дальнейший путь:
В тени древес, под небом чистым
Готов беспечно я заснуть,
Спешить от счастья безрассудно!
Меня, о время, *не замай;*
Но по ухабам жизни трудной
Катай — валяй!

[1] Ср. у кн. Вяземского в «Истории человека» (1810):

Родиться, жить и умереть,
Есть тихие брега — покинуть для волненья,
Бороться с бурями, повсюду гибель зреть,
И бросить якорь свой у пристани забвенья.

Так вытягивается в одну стилистическую линию общая разговорной речи и среднему стилю литературы лексика, чуждая церковнославянизмов и торжественных книжных слов. С этой «ровностью» среднего стиля гармонирует бедность символики («Тут с бурей и грозой бороться на пути»). Не менее однотонны и синтаксические формы этого стихотворения. В сущности, стихотворение построено по типу распространенного предложения, выражающего утверждение тожества между инфинитивами «подлежащего» и сказуемого в роде: «умереть — уснуть» (название повести Боборыкина), tout comprendre — tout pardonner, vivre c'est souffrir и т. п. Цепь инфинитивов, относящихся к «подлежащему», образуется формами совершенного вида, обозначающими последовательность действий («Начать до света путь... К полдням уже за треть дороги перебраться... Опомнясь под вечер вздохнуть... Найти его, прилечь и наконец уснуть»), и вставками форм несовершенного вида, обозначающих одновременные, сопровождающие, «описательные» действия («Начать до света путь и *ощупью идти*. На каждом шаге *спотыкаться*... Тут с бурей и грозой *бороться* на пути; Но *льстить* себя вдали какою-то мечтою... *Искать пристанища к покою*»). Эта цепь не придвигается вплотную к знаку тожества — к глагольной связке или паузе сказуемого. Она прерывается обращением к читателям. В этом обращении с светской кокетливостью указывается на «иносказательность», «загадочность» сообщения. Предшествующее изложение определяется как «загадка»:

Читатели! загадки в моде

Так подготовлен риторический вопрос:

Хотите ль ключ к моей иметь?

И этот синтаксический разрыв ведет к обобщающему соединительному звену в форме повествовательного предложения: «Все это значит в переводе». Пауза и интонация двоеточия присоединяет к оборванным инфинитивам сказуемое тожества: «Родиться, жить и умереть». [1]

---

[1] Ср. в элегическом стиле первой четверти XIX века синтаксическое и экспрессивное осложнение инфинитивных конструкций, которое было органически связано с преобладанием форм присоединительного перечисления — очень разнообразного по экспрессивной окраске сцепляемых частей. Такова, например, элегия В. И. Туманского:

На скалы, на холмы глядеть без нагляденья;
Под каждым деревом искать успокоенья;
Питать бездействием задумчивость свою;
Подслушивать в горах журчащую струю
Иль звонкое о брег плесканье океана;
Под зыбкой пеленой вечернего тумана
Взирать на облака, разбросанны кругом,
В узорах и в цветах, и в блеске золотом;
— Вот жизнь моя в стране...

У Пушкина символика жизни детализируется и воплощается в ряд простонародных образов. Жизнь превращается в крестьянскую телегу, «седое время» — в «лихого ямщика», который

Везет, не слезет с облучка.

Происходит резкое преобразование литературной «французской» символики, связанной с образом времени. Ср. в ранних произведениях Пушкина:

Седого времени не страшна ей обида
(«Венере от Лаисы», 1814)

Пускай старик крылатый
Летит на почтовых
(«К Пущину», 1815)

Ср. у Батюшкова:

Пока бежит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной косой.
(«Мои пенаты»)

Образ «телеги жизни», вероятно, находится в связи с «одноколкой прыткой жизни» кн. П. А. Вяземского, но «простонароднее», чем выражение Вяземского. Ср. в стихотворении кн. Вяземского «Из Москвы» (29 декабря 1821 г.):

Пусть прыткой жизни одноколка
По свежим бархатным лугам
Везет вас к пристани покойной!
И на заре и в полдень знойный
Пусть бережет вас добрый дух!
И не перечит вам дороги
Исподтишка ни случай строгий,
Ни граф Хвостов с стихами в слух.
(Полн. собр. соч., III, 254)

Ср. у Жуковского образы литературно-книжного стиля в стихотворении «Мечты» (1812):

И быстро жизни колесница
Стезею младости текла.

Просторечие несет с собою в Пушкинский стиль не только новую символику, но и новые приемы синтаксического построения. Лексика стихотворения «Телега жизни», не выходя из сферы просторечия (кроме фразы: «презирая лень и негу»), семан-

---

Исключительное употребление формы несовершенного вида, располагающих все действия одной прихотливой вереницей перечислительного присоединения, и распространение глаголов дополнениями и их определениями, придающими пластичность образам, — все это создает семантическую красочность и экспрессивную сложность словесного рисунка.

тически и синтаксически разнообразится, следуя за структурой строф и развитием лирической темы. В зависимости от времени жизни и общего психического и физического состояния путника образы резко меняют экспрессию и укладываются в разные синтаксические рамки. При изображении утра жизни действия энергичны, экспрессивно подчеркнуты. Они актуализированы. Все глаголы первой строфы имеют своим субъектом *мы* как непосредственного их производителя. Обозначение движения инверсировано, выдвинуто на первый план. Внушается мысль о добровольности, активности действия:

С утра с а д и м с я *мы* в телегу.

За этим моторным глаголом следует изображение чувства, но и оно актуализировано. Обозначение психического состояния («мы рады») дополняется инфинитивом — просторечной идиомой («голову сломать»), выражающей стремительное, экспрессивно окрашенное действие:

Мы рады *голову сломать.*

Изображение чувства и действий, сопрягаясь, образует следующие, сложные по экспрессивным переходам, два стиха, в которых «просторечие» достигает предела в междометном выкрике, содержащем «русский титул». Эти стихи прикрепляются к предшествующим посредством присоединительного союза *и:*

И презирая лень и негу
Кричим: пошол!..

Этому лихому понуканию, этим активным личным конструкциям противопоставлена третья строфа, где формы местоимения «мы» — уже не субъект действия, а объект воздействия. Та же экспрессия фамильярно-просторечного повествования облекает здесь безлично-глагольные и именные конструкции. Они создают впечатление бездействия путника, вялости, пассивного восприятия потока жизни:

Но в полдень *нет уж той отваги;*
Порастрясло нас; нам *страшней*
И косогоры и овраги.

Так контрастно видоизменилась синтаксическая структура предложений, изображающих психическое и физическое состояние ездока. Лишь один активно-личный глагол — в третьей строфе *«кричим».* Он соответствует тому же слову в заключительном стихе второй строфы. Но, при внешнем лексическом и синтаксическом совпадении этих стихов, экспрессия «крика» — противоположная. Здесь в окрике путника на ямщика звучит уже не побуждение погонять лошадей, не понуканье, а требование осторожной, более тихой езды, стремление приостановить движение:

Кричим: *полегче, дуралей!*

Опять остро врезываются в повествовательное построение простонародно-бытовые, далекие от стеснительных норм салонной вежливости грубые окрики путника на ямщика, на «седое время». В четвертой строфе символические и экспрессивные формы речи раздваиваются. Инерция движения преодолевает бездейственность путника. Глаголы, которые имеют своим объектом форму «мы» (т. е. ездока), по своей грамматической природе активны. Но реальное значение одного из них (*«привыкли»*) обозначает пассивное состояние. «Активность» в нем состоит именно в освоении пассивного отношения к движению.

Под вечер мы привыкли к ней.

В другом глаголе («едем»), обозначающем активность путника, это активное значение парализуется деепричастием наречного типа, выражающим пассивное состояние.

И *дремля* едем до ночлега.

Путник как бы отдается во власть других действующих сил. А такими действующими силами являются в этой последней строфе *телега* и *время*. «Телега», которая в первой строфе определялась именной «характеристической» конструкцией:

Телега на ходу *легка*

впервые сочетается с глаголом моторного значения:

Катит по прежнему телега.

Жизнь самопроизвольно движется, увлекая нас. А время, которое в первой строфе было субъектом глаголов с характеристическим значением, определявших действие скорее как свойство, как характеристическую примету ямщика, и вместе с тем устанавливавших образ этого действия («Везет, не слезет с облучка»), теперь соединяется с глаголом ярко выраженной активности, неопределенно-моторного значения:

А время *гонит* лошадей.

Так контрастно смыкается конец с началом стихотворения, очерчивая круг жизни. Присоединительное, прерывистое значение союза *а*, обозначая внезапную стремительность прицепки, противительного присоединения, в то же время придает последнему стиху смысл бесконечного протяжения, оттенок действия, продолжающегося бесконечно, простертого в беспредельность:

А время гонит лошадей.

Этот оттенок утверждается и моторно-неопределенным (по терминологии А. А. Шахматова) значением глагола *гонит*.

Так простонародная символика начинает притягивать к себе язык Пушкина и постепенно склонять его в сторону слов более «низкой, простонародной» экспрессии. [1]

Ср. простонародную символику эпиграммы (1829):

Дурень, к солнцу став спиною,
Под холодный Вестник свой
Прыскал мертвою водою,
Прыскал ижицу живой

и др. под.

Ср. в письме к Языкову (1836 г.):

«Ваши стихи вода живая; наша вода мертвая; мы ею окатили «Современника» (Переписка, III, 299).

§ 13. Простонародность со всем разнообразием своих выразительных форм прежде всего получает доступ в литературный диалог или сказ, приписанный «простолюдину». В прозе «Вальтер-скоттовская» традиция укрепила этот прием еще раньше Пушкина. В Пушкинском «Арапе Петра Великого» принесена покорная дань этой традиции. Здесь контекст авторского повествования и диалоги персонажей стилистически противопоставлены. В то время как повествование вращается в пределах Карамзинской языковой традиции, в диалогах разрабатывается богатый источник просторечия и простонародного языка (например, раешный стиль дуры Екимовны, простонародный язык самих бояр: «а дура-то врет, врет, да и правду соврет...»; «*животик перетянут,* так что еле не перервется»; «*исподницы напялены* на обручи», «девушка *на выданьи*» и т. п. — в речи Татьяны Афанасьевны; «по мне жена как хочешь одевайся: хоть *кутафьей, хоть болдыханом*» — в речи воеводы Кирилла Петровича; «*молоденькие бабы дурачатся,* а мы *их потакаем*»; «*чорт меня догадал* принять в свой дом проклятого волчёнка» и т. п. — в речи Гаврилы Афанасьевича и мн. др.). Но Пушкин скоро приходит к иной манере повествования и к иным приемам соотношения между сферой повествовательного стиля и речами персонажей. Образ автора становится смысловой сферой объединения разнородных социально-языковых контекстов. Пушкин разрушает ту субъектную ограниченность повествовательного монолога, которая характеризовала стиль XVIII и начала XIX века. Там идеальный образ автора, как великосветски галантного, безупречно добродетельного, чувствительного и просвещенного человека и гражданина-европейца, проникал и язык повествования и речи героев. Идя вслед за вальтер-скоттовскими подражателями, например, Загоскиным, Пушкин разрабатывает приемы социально-речевой характеристики персонажей, широко прибегая к формам просторечия и простонародного языка (ср., напри-

---

[1] Ср. отражения народно-поэтической струи в стихотворении «Зимний вечер» (1825).

мер, язык героев «Капитанской дочки»). Но Пушкин в то же время создает единство повествования из многообразия социальных стилей и диалектов. И это сложное единство мог воплотить лишь образ «многоликого» социально-противоречивого субъекта, вобравшего в себя все противоречия, все многообразие изображаемой действительности. Пушкин поэтому делает скользкой границу между автором и героями. Она двигается, меняется в структуре повествования. Автор повествования у Пушкина имманентен изображаемому миру, рисует этот мир в свете его социально-языкового самоопределения и тем сближается с героями. Но он не сливается с ними и не растворяет их в себе, так как не нарушает полной объективации ни одного образа. Он как бы колеблется между разными сознаниями образов героев и в то же время отрешен от них всех, становясь к ним в противоречивое отношение, меняя в движении сюжета их оценку. Субъектные перегородки и наслоения оказываются настолько сложными, что они понимаются как объективное свойство самой художественной действительности. Тем самым субъект повествования у Пушкина становится составной частью самой исторической действительности.[1] Он не только имманентен ей, но так же многозначен, противоречив и изменчив, как она. Создается необыкновенное многообразие стилистических оттенков слова, необыкновенное богатство экспрессивных форм. Структура повествования делается субъектно многослойной (ср. «Повести Белкина», где на образ издателя наслаивается образ Белкина, а на образ Белкина наслаиваются лики разных рассказчиков; ср. «Историю села Горюхина», «Капитанскую дочку» и т. д.). Получается иллюзия исторической объективности повествования, называющего вещи их бытовыми именами, пользующегося всем разнообразием присущих изображаемой среде характеристик и определений. Повествовательный монолог превращается в «полилог». Но этим не нарушается структурное единство литературной речи. Она не разбивается на обособленные драматические контексты. Возникает внутренняя драматизация, внутренняя борьба, движение и столкновение смыслов в пределах одного повествовательного контекста. Так, Пушкин сочетал в новой системе литературного языка единство социально-языковой личности с многообразием ее социально-характеристических расслоений. Этим он преодолел классовую ограниченность литературных стилей предшествующей эпохи и определил пути эволюции литературного языка в XIX веке. Этот метод Пушкина лучше всех усвоил и глубже всех развил применительно к буржуазно-литературному языку второй поло-

[1] Ср. указание В. Плаксина на характерную особенность Пушкинского прозаического языка: «Пушкин разрабатывает язык народный, знакомя нас с известными, но забытыми выражениями» («Краткий курс словесности», Спб. 1832, стр. 146).

вины XIX века Достоевский. Естественно, что повествовательная проза Пушкина богата просторечными и простонародными выражениями. Вот несколько примеров. Из «Капитанской дочки»: «(говоря по-русски) любил *хлебнуть лишнее»*; «Я *со смеху чуть не валялся»*; «он кое-как *умудрился* и надел его, распоров по швам»; «вместо ответа на какой-то вопрос, он *захрапел и присвистнул»*; «моя любовь уже не казалась батюшке пустою *блажью»* и мн. др.; из «Истории села Горюхина»: *«баба здоровенная»* и др.; из «Гробовщика»: «заставал их без дела *глазеющих* в окно на прохожих»; «он надеялся *выместить*[1] убыток на старой купчихе» и пр.; из «Станционного смотрителя»: *«хлопнул* двери ему *под нос»*; *вытянул он пять стаканов»* и мн. др.

Принципы отбора форм просторечия и простонародного языка и приемы сочетания их с другими стилями в Пушкинской прозе — тема, тесно связанная с вопросом о стилистической структуре субъекта.[2] Во всяком случае в Пушкинское повествование вовлекались лишь те формы просторечия и простонародного языка, которые или были, или по своему языковому составу могли стать формами общенационального языка.

§ 14. Проблема Пушкинского диалога и Пушкинского сказа — тех его форм, которые основаны на материале простонародного языка, — в сущности это проблема индивидуально-художественного стиля. Однако и здесь принципы отбора элементов показательны для оценки общего отношения писателя к разным стилям и диалектам устно-бытовой речи. Например, Пушкинский язык избегает всего того, что непонятно и неизвестно в общем литературно-бытовом обиходе той эпохи. Он не стремится к экзотике областных выражений. В литературе он чуждается арготизмов (кроме игрецких-карточных — см. в «Пиковой даме»; военных — см., например., в «Домике на Коломне», условно-разбойничьих в «Капитанской дочке»), которые все требуются самим контекстом изображаемой действительности.[3] Пушкинский язык не пользуется профессиональными диалектами городской мелкой буржуазии (ср. отсутствие примет купеческого языка в «Женихе»). Пушкин не прибегает к разговорно-чиновничьему диалекту, как Гоголь и молодой Достоевский.

---

[1] Ср. стилистическую помету при этом значении глагола *вымещать* в «Словаре Акад. Росс.» (II, 891—892).

[2] См. мою книгу «Стиль Пушкина».

[3] В письмах Пушкина есть характерные явления своеобразного кружкового светско-дворянского арго. Но язык переписки надо изучать на соответствующем фоне. Выражение *будущий* в значении «спутник, человек, едущий при другом» (в подорожных), встречающееся в стихотворении «Череп» («обстоятельства не позволяли ему брать с собою *будущего»*) и в «Отрывке неоконченной повести» о прапорщике Черниговского полка («от города до Петербурга едущий 6-го класса чиновник с будущим взял двенадцать лошадей») было, повидимому, в Пушкинскую эпоху живым почтовым термином.

Словом, Пушкинскому языку чужды приемы буржуазно-городской социально-групповой и профессиональной диалектизации литературного языка, свойственные так называемой «натуральной школе», которая возникала и слагалась на глазах Пушкина. Метод Пушкинского творчества со второй половины 20-х годов можно определить, как *метод символического реализма*, осложненный в 30-х годах тенденцией к историко-бытовой реставрации и, следовательно, приемами архаизации стиля (ср., например, язык «Дубровского»). Из сфер «простонародного» языка, кроме той простонародной струи, которая просочилась в обиходный язык дворянства, у Пушкина в диалоге и сказе шире всего представлены крестьянские и солдатские стили речи. Крестьянские и солдатские слова и выражения, соответствующая им экспрессия служат приметами социального облика героев-простолюдинов, формами социальной характеристики персонажей из «народа». Однако и тут простонародная и просто435речная стихия у Пушкина не выступает как голое натуралистическое отражение речевого быта и его классовых расслоений. И в разговорах простолюдинов у Пушкина осколки просторечия и простонародного языка не только отливаются нередко в синтаксические формы литературной речи, но иногда густо перемешаны литературно-книжными выражениями, приспособлены, так сказать, к системе языка «хорошего общества». Например, няня в «Евгении Онегине» говорит таким литературным языком:

...Я, бывало,
Хранила в памяти не мало
Старинных былей, небылиц

(3, XVIII)

Ср. в ее же речи элементы простонародного языка (см. у Ф. Е Корша, «К вопросу о подлинности Русалки») ср. в «Женихе: [1]

Отец ей: что твой сон *гласит?*

Впрочем, в конце 20-х годов приемы построения речи «простолюдинов» в стиле Пушкина изменяются. Уклон к простонародности, между прочим, предполагал появление персонажей-простолюдинов в их бытовом антураже. Таково, например, стихотворение Пушкина «Утопленник» (1828). В его диалоге появляются такие простонародные слова и выражения, как *тятя, ребята; ужо, щенки, э-вот, поколотить* (в значении наказать побоями), *чтоб ты лопнул*. Бытовая экспрессия крестьянской речи и ее социальная обстановка как бы непосредственно отражаются в таких стихах:

Суд наедет, отвечай-ка!
С ним я ввек не разберусь,

---

[1] Эта баллада, хотя и изображает судьбу купеческой дочери, но пользуется приемами народной сказки — вслед за балладами П. Катенина.

Делать нечего, хозяйка,
Дай кафтан: уж поплетусь...
Вы, щенки! за мной ступайте!
Будет вам по калачу,
Да смотрите ж, не болтайте,
А не то поколочу.

Характерно, что и повествовательный язык стихотворения получает отпечаток простонародности, например:

Горемыка ли несчастный
Погубил свой грешный *дух*,
Рыболов ли взят волнами,
Али хмельный молодец,
Аль ограбленный ворами
Недогадливый купец?
Мужику какое дело?

и пр.

Дело, конечно, не столько в лексических и фразеологических отражениях простонародного языка, сколько в литературной стилизации общего склада, экспрессивно-идеологической манеры «простонародного» повествования. С стихотворением «Утопленник» можно поставить рядом для оценки характера и стилей Пушкинской простонародности «монолог пьяного мужичка»: «Сват Иван — как пить мы станем»,[1] и речи мельника в «Русалке».

Солдатское просторечие наиболее ярко отражается в стихотворениях «Рефутация Беранжера» (1827) и «Гусар» (1833).[2] В «Рефутации Беранжера» характерны такие формы простонародной речи как: «н е х р и с т ь», «наш старик т р е п а л вас *живодеров,* и вас *давил на ноготке, как блох»;* «Бонапарт — буян», «от *угара* вдруг *одурел»;* «ты помнишь ли... и батарей задорный *подогрев,* солдатский штык, и петлю казаков»; *«морочил* вас». Особенно интересны по своей фразеологии строки, имитирующие солдатское самохвальство:

Хоть это нам *не составляет много,*
Не из иных мы прочих, так сказать.

Однако здесь же наблюдаются такие выражения литературно-книжного языка, которые явно выводят язык песни из сферы солдатской речи, например: *«победы россиян», «на огне московского пожара* вы жарили»; «фальшивый *песнопевец»; «мороз среди родных снегов».*

В «Гусаре» солдатская и крестьянская струи с легким налетом украинизмов *(горелка, галушки, красотки чернобровой, хлопец)* слиты в повествовательное единство.[2]

§ 15. Тяготение к «просторечию» и простонародности у Пушкина тесно связано с «историческим направлением века». Ведь история

---

[1] Ср. у К. А. Шимкевича в статье «Пушкин и Некрасов».
[2] Ср. язык стихотворения: «Был и я среди донцов» (1829).

в романтико-философском аспекте созерцается и понимается через «народную словесность». В. Плаксин так выражал свое восхищение сценой между патриархом и игуменом в «Борисе Годунове»: «Язык игумена и патриарха столь естественен и сообразен лицам говорящим и предмету речи, что, очаровав читателя, переносит его в *век простоты*» («Сын отеч.» 1831, XX, ч. 142 и 143). Литературное освоение простонародного языка — метод возрождения и оживления национально-исторических основ «природного» русского стиля. Первоначально сам историко-бытовой контекст иной эпохи оправдывал простонародность речи персонажей, даже принадлежавших к высшим классам.

Так, Надеждин издевался над той лавиной простонародного языка, которая в «Полтаве» смыла, снесла традиционные запруды литературности. «В глаза также бросается неудачное покушение подделываться под тон простонародного разговора, например:

Расчет и дерзкий и плохой,
И в нем не будет *благодати*,
Пропала, видно, цель моя.
Что делать? *дал я промах важной*.

И это говорил Мазепа, гетман малороссийский!.. Но то ли еще, правда, говорит он!.. Какова покажется вам его апоффегма, коею Мазепа приправляет свой пафетический монолог:

В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.

Льзя ли вульгарнее выразиться о блаженном состоянии супружеской жизни?.. Жаль лишь, что всю силу этой слишком народной поговорки вполне может чувствовать не вся русская чернь, а только — архангелогородская» (Ib.). Точно так же подвергается издевке и простонародность речи Карла: «Ого! пора! вставай, Мазепа. Рассветает!». «Надобно же иметь богатый запас веселости, чтобы заставить Карла в столь роковые минуты так бурлацки покрикивать над самым ухом несчастного гетмана». Таким образом демонстрируются с осуждением образцы простонародного разговора героев из высшего круга. Сюда же присоединяются такие «эмфатические фразы»:

Ты проклянешь и день и час...
И ночь, когда голубку нашу
Ты, старый коршун, заклевал.

«Это уж не то слишком малярно, не то слишком марально!». Но та же грубая простонародность отмечается и в авторском повествовании:

... не один
Урок нежданый и кровавый
Задал ей шведский Паладин.

Задать Надеждин сразу же истолковывает в плане бытового просторечия: «Эта аллегория в прозаическом переводе значит, что Карл XII не один раз секал Россию до крови» («Вестн. Европы», 829, № 8).

— И с диким смехом *завизжала*.

«Фай! этак говорят только об обваренных собаках! Бедная Матрена-Мария!»

Глубокий интерес представляют наблюдения над отражениями просторечия и простонародного языка в речи персонажей, принадлежащих к высшим классам. Они важны не только как иллюстрация Пушкинской мысли, что в быту и литературе речь князя может иногда не отличаться от речи «конюха», но и как метод изучения одного из тех путей, по которым простонародные слова проникали в нормы литературного языка. Например, в «Борисе Годунове» — в речи Шуйского:

Народ еще повоет, да поплачет,
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина.

В. Плаксин комментирует: «Это сравнение не всегда может быть позволено даже комедии, и при том выражение: «*что пьяница пред чаркою поморщится*» неправильно, ибо частица *что* тогда только употребляется в сравнительном смысле, когда мы сравнение произносим с удивлением, отдавая преимущество сравниваемой вещи пред тою, с которою она сравнивается. Например: рубашка на нем, что кленов лист, или: что твой кленов лист» («Сын отеч.» 1831, XX, ч. 142 и 143).[1]

Король его ласкает
И, говорят, *помогу* обещал
(Пушкин)

Все это, *брат,* такая *кутерьма,*
Что голова пойдет кругом невольно
(Шуйский)

Ух, тяжело... дай, *дух переведу*
(Царь)

и мн. др. под.

Но значение форм «исторической народности» в процессе национально-демократического расширения пределов литературного языка этим не ограничивалось. В сфере исторического повествования раздвигались рамки самой простонародности, которая включала в себя «архаизмы».

[1] Интересен упрек Пушкину со стороны В. Плаксина («Сын отеч.» 1831, XX, ч. 142) за нарушение национального колорита в стилизации «народности»: «Еще слово о народной жалобе, а именно о выражении: «о боже мой!» это голос не русского народа. Русский один не скажет «о боже мой», а говорит обыкновенно: *наш;* и притом русские любят сложные восклицания и воззвания, как например: «Ах, господи, боже наш! О, пресвятая богородица!».

Ср.:

И дабы впредь не смел *чудесить*,
Поймавши, *истинно повесить*
И *живота весьма лишить*

(Соч. Пушкина, изд. Акад. наук, IV, 287)

Сей рыцарь был хорош собой
Разумен, хоть и молоденек.

и др. (1825)

§ 16. Другим потоком, который нес в язык Пушкина простонародные выражения, символы и конструкции, был поток «этнографической народности». Проф. В. Миллер (в работе своей «Пушкин как поэт-этнограф») очень тонко изобразил постепенное обострение интереса Пушкина к так называемой народной словесности, к этнографической народности (ср. работы Н. Трубицына, Б. М. Соколова, В. И. Чернышева, Н. Н. Виноградова, А. С. Орлова и др.). Из богато собранного материала В. Миллер делает вывод, что народное творчество интересовало Пушкина во всем своем объеме, во всех областях. «Во всех областях народного творчества мы видим у Пушкина добросовестное изучение подлинного народного достояния, нередко из первых рук, руководимое вполне сознательным убеждением в необходимости такого внимательного исследования народности» (32—33). Приемы народно-поэтического творчества подвергаются в стиле Пушкина некоторому олитературиванью, которое состоит в приспособлении их к нормам литературной речи, в смешении народно-поэтических формул и простонародных выражений с литературно-книжной лексикой и фразеологией. Тут также наблюдается противоречивая эволюция пушкинского языка. С одной стороны, все более свободным и непосредственным становится движение простонародных выражений в авторский стиль Пушкина. С другой стороны, делаются все сложнее, разнообразнее, неожиданнее и как бы архаичнее в Пушкинском языке формы синтеза «простонародности» с другими литературными стилями. Народная поэзия рассматривается не только как квинтэссенция исторически отстоявшихся форм общенационального языка, но и как воплощение «духа русского языка», как бродильное начало национальности, которое подмешивается в разные стилистические составы. В самом понятии народно-поэтической стихии объединяются и народно-поэтические формулы, и старинные выражения, и простонародная, крестьянско-мещанская фразеология. «Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка» (Пушкин). Таким образом, хотя формы стилизации народно-поэтического языка были стеснены узкими пределами преимущественно двух жанров — песен и сказок (но ср. обрядовое свадебное действо в «Русалке»), здесь постигались свойства русского языка. И это не могло не отразиться и на

других стилях литературной речи. Характерно, что принципы перевода с европейских языков и приемы изображения иностранного быта под влиянием этих культурно-исторических и народнических тенденций терпят существенные изменения (ср. уже в 1828 г. «Два ворона»).[1] Крепнут принцип культурно-бытового правдоподобия и принцип национального соответствия в формах выражения. Таким образом приемы литературной ассимиляции форм «этнографической народности» соответствовали общей тенденци Пушкинского языка к синтезу основных дворянских и крестьянско-мещанских стилей, оправданных историей, воплотивших «коренные» национальные начала. Нормы будущего общенационального языка, по Пушкину, должны вместить в себя живой опыт прошлого. Но эта точка зрения была неприемлема для тех писателей, которые стремились к утверждению норм дворянско-аристократического или буржуазно-демократического литературного языка. Для них народная словесность была музейным памятником исторического прошлого русского народа. Поэтому попытки Пушкина привить к литературе подлинные приемы и формы простонародного языка, воплощенные в «народной поэзи», вызывали единодушную отрицательную оценку у литературных консерваторов и литературных новаторов.[2] «Телескоп» писал о языке «Сказки о царе Салтане» (1832, IX, № 9): «Мы еще не имели своей, русской, народной поэзии. У Пушкина были притязания на имя русского народного поэта, и он долго считался таковым: но его народность ограничивалась тесным кругом наших гостиных, где русская богатая природа вылощена подражательностью до совершенного безличия и бездушия. Отсюда непрочность его успехов и славы... Попытка Пушкина обнаруживает теснейшее знакомство с наружными формами старинной русской народности; но смысл и дух ее остается все еще тайною, не разгаданною поэтом. Отсюда все произведение носит на себе печать механической подделки под старину, а не живой поэти-

---

[1] Ср. приписку на черновике французского письма к Чаадаеву (с датой окончания «Капитанской дочки» — 1836 г., 19 окт.): «Ворон ворону глаза не выклюет — шотландская пословица, приведенная Ск(оттом) в Woodstock».

[2] Ср. замечания Е. А. Боратынского в письме к И. В. Киреевскому: «Я прочитал здесь «Царя Салтана». Это — совершенно русская сказка, и в этом, мне кажется, ее недостаток. Что за поэзия — слово в слово привести в рифмы Еруслана Лазаревича или Жар-птицу? И что это прибавит к литературному нашему богатству? Оставим материалы народной поэзии в их первобытном виде, или соберем их в одно полное целое, которое настолько бы их превосходило, сколько история превосходит современные записки. Материалы поэтические иначе нельзя собрать в одно целое, как через поэтический вымысел, соответственный их духу и, по возможности, все их обнимающий. Этого далеко нет у Пушкина. Его сказка равна достоинством одной из наших старых сказок — и только... Как далеко от этого подражания русским сказкам до подражания русским песням Дельвига!» («Татевский сборник», 49).

ческой ее картины. Несмотря на искусный подбор слов и выражений в тоне русских народных сказок, в нем изобличаются беспрестанно следы новой работы... умысел подделывающегося искусства. Какое различие между «Русланом и Людмилой» и «Сказкой о царе Салтане»! Там, конечно, меньше истины, меньше верности и сходства с русской стариной в наружных формах: но зато, какой огонь, какое одушевление! Невольно забываешь все археологические притязания, чтобы любоваться прелестями свежей, роскошной поэзии». Белинский несколько позднее повторял те же мысли о Пушкинских сказках («Молва» 1836, II, № 3): «Самые его сказки — они конечно, решительно дурны; конечно, поэзия и не касалась их;[1] но все-таки они целою головою выше всех попыток в этом роде других наших поэтов... Русская сказка имеет свой смысл, но только в таком виде, как создала ее народная фантазия; переделанная и прикрашенная, она не имеет решительно никакого смысла».

Чтобы убедиться, какую широкую и свежую волну не только народно-поэтических формул, но и простонародно-бытовых выражений и их комбинаций с книжной фразеологией нес этот поток народной словесности и ее стилистических имитаций в литературную речь, достаточно привести несколько примеров из «Песен западных славян»: «она чует *беду неминучу*»; «кровь по *щиколку*[2] ему досягает»; «с *вострия* до самой рукоятки» («Видение короля»); «что ему дома *не сидится*» («Янко королевич»); «поделом тебе, старый бездельник! Ай да, *баба,* отделалась славно!»; «стали *баить*: Елена брюхата»; «*взвыл* Феодор» («Феодор и Елена»); «и *только что* пьют да гуляют»; «Здесь я, точно бедная *мурашка*» («Влахи в Венеции»); «*незаменные* три песни», «ворон конь мой *притомился*» («Соловей»); «*аль* о двух *головах* ты родился?», «из ума старик, видно, выжил, *коли* лаешь безумные речи» («Песня о Георгии Черном»); «долго ль вам мирволить янычарам? долго ль вам терпеть оплеухи?» («Воевода Милош»); «Горе! *малый* я не сильный» («Вурдалак») и мн. др.[3]

---

[1] «Впрочем «Сказка о рыбаке и рыбке» заслуживает внимания по крайней простоте и естественности рассказа, а более всего по своему размеру чисто-русскому».

[2] Ср. примечание Пушкина: «щиколодка, по московскому наречию щиколка».

[3] Ср. такие слова и выражения, шедшие через авторский сказ в литературный язык из стилизованной простонародной или народно-поэтической речи: «домовой *повадился* в конюшни» («Всем красные...» 1828); «*Заместо* красного яичка, поднес ученого скворца» («Брадатый староста», 1828); «Стали медвежата *промеж* собой играть» («Как весенней теплою порою...», 1830); «Приходит байбак тут *глумян*» (Ib.); «друг сердечный мне *намедни* говорил»; ср. в «Евгении Онегине»:

Порой дождливою *намедни*
Я, завернув на скотный двор...

и т. п.

§ 17. После 30-х годов Пушкин, укрепив и организовав тот литературный центр, в котором соприкасались три основных стихии русского литературного языка — церковнославянская, европейская и русская национально-бытовая, — начинает двигаться по периферии литературного языка и как бы испытывает возможности примирения и объединения стилистических крайностей. Тот же принцип применяется и к простонародному языку. Например: в стихотворении «Из Пинедемонте» (1836):

И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, слова, слова, слова.[1]

(к слову *олух* очень ярким комментарием может служить такое замечание А. А. Марлинского, наткнувшегося на это слово в диалоге романа Н. Полевого: «Клятва при гробе господнем» (1832): «Предчувствую, что при слове *олух* наши чопорные критики вонзят по крайней мере три восклицательных знака, как будто три отбитых бунчука»);[2] в стихотворении «Когда за городом задумчив я брожу» (1836):

Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...

в притче «Сапожник» (1836):

Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах;
Но черт его несет судить о свете...

и др. под.[3]

Шевырев («Москвитянин», 1841, V, № 9) так писал об этой особенности Пушкинского языка последней поры: «Пушкин не пренебрегал ни единым словом русским и умел часто, взявши самое простонародное слово из уст черни, оправлять его так в стихе своем, что оно теряло свою грубость. В этом отношении он сходствует с Дантом, Шекспиром, с нашими Ломоносовым и Державиным. Прочтите эти стихи в «Медном Всаднике»:

... Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури,
И спорить стало ей не в мочь.

---

[1] Hamlet... Примечание Пушкина.

[2] А. А. Марлинский, «Стихотворения и полемические статьи», 1840, стр. 322.

[3] Ср., например, совмещение в одном контексте, по соседству, таких выражений: «*И заголили* их и вниз *пихнули* с криком, и обе, *сидючи, пустились* вниз стрелой... *Порыв отчаянья я внял в их вопле* диком» и т. п. («И дале мы пошли...», 1832).

Здесь слова: *буйная дурь* и *не в мочь* вынуты из уст черни... Пушкин вслед за старшими мастерами указал нам на простонародный язык, как на богатую сокровищницу, требующую исследований».

Так из безбрежной стихии устно-бытовых национальных стилей Пушкин отбирал только то, что, по его мнению, могло приблизить литературу к коренным основам национального языка и могло претендовать на общенациональное значение, что не носило отпечатка провинциализма и не принадлежало к «языку дурных обществ», т. е. к языку буржуазной полуинтеллигенции.

Заключение

Итак, начав свой литературный путь борьбой с церковно-книжной традицией (ср. отзыв В. Л. Пушкина: «Александровы стихи не пахнут латынью и не носят на себе ни одного пятнышка семинарского»), Пушкин затем не только оправдал историческую роль церковнославянизмов, но признал их жизненное значение для последующего развития литературы. Выступив на литературное поприще как «француз», как европеец, Пушкин скоро понял идеологическую узость и художественный «провинциализм» стилей русских европейцев. Осмыслив понятия национального языка и европейского мышления в свете романтико-философских категорий исторического процесса, Пушкин убедился в необходимости национально-исторического оправдания европейских, по преимуществу французских, элементов в составе русского литературного языка.

Проблема синтеза национальной и европейской стихии привела поэта к разработке «сокровищ живого слова». В национально-бытовом дворянском просторечии, не зараженном «французской болезнью», и в простонародном языке, к которому примыкали и «мутные, но кипящие источники» народной поэзии и памятники древне-русской письменности, Пушкин увидел структурную основу русского национально-литературного языка. Синтез этих трех основных языковых категорий — церковнославянской, европейской и национально-русской — по мысли Пушкина должен был опираться на представление о языке «хорошего общества» (т. е. о языке буржуазно-дворянской интеллигенции) как об идеальной норме литературного выражения.

Путь синтеза — объединение в структуре слова тех его значений и применений, бытовых и литературных, которые раньше были разобщены социальными дроблениями в среде «хорошего общества». Соответственно этой задаче Пушкин руководствовался пониманием слова как структуры логически стройной, очерченной точным кругом предметных значений и вместе

с тем стилистически подвижной, семантически многопланной, многоликой по своим социально-характеристическим приметам и меняющей свои смыслы и свою экспрессию в зависимости от социально-языкового контекста. Новое понимание слова органически сочеталось с новыми формами синтаксиса и композиции. Так проблема Пушкинского языка ищет своего завершения в работе о Пушкинском стиле.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Нужно*
84	11 сн.	не пожелев	не пожалев
91	20—19 сн.	потетикив	патетики в
93	13 сн.	огонь	огнь
97	18 св.	жил	ожил
122	17 »	Питерея!	Цитерея!
130	7 »	занесенной	занесенный
136	9 сн.	И уголь...	И угль...
149	16 »	la marcha	la marche
149	14 »	в стихах Андрея Шенье	в стихотворении «Андрей Шенье»
157	22 »	низводить	низводит
161	2 св.	былое	было
162	9 »	водоворением	водворением
171	23 сн.	Перепоясались	Препоясалась
209	18—17 сн.	Оскар	Осгар
228	11 сн.	lui arracheriès ploutôt	lui arracheriez plutôt
249	9 св.	брачного	мрачного
296	2 сн.	скромон	скромен
370	13 св.	вутренностный	внутренностный
439	5 сн.	формы	форм
451	22 „	Влахи	Влах
452	8 св.	Пинедемонте	Пиндемонте

Редактор А. Н. Тихонов.
Художественная редакция
М. П. Сокольников.
Технич. ред. Г. Л. Гилес.

*

Сдана в набор 31. XII. 33.
Подписана к печати 1. I. 35.
Вышла в свет II. 35. Тираж 3.300. Уполн. Главлита
Б-37900. Изд. № 141. Печатн.
листов 28,75. Автор. листов
30,76. Бум. листов 14,37 по
86000 зн. Зак. № 87.

*

Отпечатано в типографии
имени Володарского, Фонтанка, 57.

Цена Р. 12.—
Переплет Р. 2.—

